# Танго старой гвардии

# Артуро Перес-Реверте

Перевод А. Богдановского

«И все же такой женщине, как вы, нечасто суждено совпасть на земле с таким мужчиной, как я».

*Джозеф Конрад*

Вноябре 1928 года Армандо де Троэйе отправился в Буэнос-Айрес сочинять танго. Он мог себе позволить такое путешествие. Сорокатрехлетний автор «Ноктюрнов» и «Пасодобля для Дон Кихота» пребывал в зените славы, и не было в Испании иллюстрированного журнала, где не появилось бы фотографий композитора об руку с красавицей женой на борту трансатлантического лайнера «Кап Полоний» компании «Гамбург-Зюд».[[1]](#footnote-1) Самым удачным вышел снимок в журнале «Бланко и негро» под рубрикой «Высший свет»: на палубе первого класса стоит чета Троэйе; муж (в английском макинтоше на плечах, одна рука — в кармане пиджака, в другой — сигарета) шлет прощальную улыбку собравшимся на пирсе; жена кутается в шубку, и светлые глаза, мерцая из-под элегантной шляпы, обретают, по восторженному мнению автора подтекстовки, «восхитительную золотистую глубину».

Вечером, когда еще не скрылись из виду береговые огни, Армандо де Троэйе переодевался к ужину, немного промешкав со сборами из-за приступа легкой, но не сразу унявшейся мигрени. Однако он настоял, чтобы жена дожидалась его не в каюте, а в салоне, откуда уже доносилась музыка, сам же с присущей ему обстоятельностью еще сколько-то времени перекладывал сигареты в золотой портсигар, прятал его во внутренний карман смокинга, а по другим рассовывал все необходимое для вечернего бдения — золотые же часы с цепочкой и зажигалку, два тщательно сложенных носовых платка, коробочку с таблетками пепсина, бумажник крокодиловой кожи с визитными карточками и мелкими купюрами для чаевых. Потом погасил верхний свет, закрыл за собой дверь в каюту люкс и, приноравливая шаг к мягкому покачиванию палубы, пошел по ковровой дорожке, приглушавшей гул машин, которые содрогались и грохотали где-то глубоко внизу, в самых недрах огромного корабля, увлекая его в атлантическую тьму.

Прежде чем пройти в салон, откуда навстречу ему со списком гостей уже спешил метрдотель, Армандо де Троэйе отразился в большом зеркале холла крахмальной белизной манишки и манжет, глянцевитым лоском черных туфель. Вечерний костюм, как всегда, подчеркивал хрупкое изящество его фигуры — композитор был среднего роста, с правильными, но невыразительными чертами лица, которым придавали привлекательности умные глаза, выхоленные усы и вьющиеся черные волосы, кое-где уже тронутые ранней сединой. Мгновение Армандо де Троэйе чутким ухом профессионала ловил, как ведет оркестр мелодию меланхолического нежного вальса. Потом улыбнулся, слегка и снисходительно — исполнение было верным, хоть и не более того, — заложил руку в карман брюк, ответил на приветствие мэтра и двинулся следом за ним к столику, зарезервированному на все время плавания в лучшей части салона. Знаменитость узнавали, провожали пристальными взглядами. От неожиданности и восхищения затрепетали ресницы красивой дамы с изумрудами в ушах. Когда оркестр начал следующую пьесу — еще один медленный вальс, — де Троэйе усаживался за стол, на котором под недвижным пламенем электрической свечи в стеклянном тюльпане стоял нетронутый коктейль с шампанским. С танцевальной площадки, то и дело заслоняемая вертящимися в вальсе парами, улыбалась композитору его молодая жена. Мерседес Инсунса де Троэйе, появившаяся в салоне на двадцать минут раньше, кружилась в объятиях статного молодого человека во фраке — профессионального танцора, по долгу службы, по судовой роли обязанного занимать и развлекать пассажирок первого класса, путешествующих в одиночку или оказавшихся без кавалера. Улыбнувшись в ответ, Армандо де Троэйе закинул ногу на ногу, с несколько преувеличенной придирчивостью выбрал сигарету и закурил.

## 1. Жиголо

В прежние времена у каждого из подобных ему была тень. Он был лучшим. Безупречно двигался на пятачке дансинга, а за его пределами был несуетлив, но проворен, всегда готов поддержать разговор уместной фразой, остроумной репликой, удачным и своевременным замечанием. Это обеспечивало расположение мужчин и восхищение женщин. Он зарабатывал на пропитание бальными танцами — танго, фокстрот, вальс-бостон — и когда говорил, не знал себе равных в умении пускать словесные фейерверки, а когда молчал — навевать приятную меланхолию. За долгие годы успешной карьеры у него почти не случалось осечек и промахов: любой состоятельной женщине вне зависимости от возраста трудно было отказать ему, где бы ни устраивалась вечеринка с танцами — в залах «Паласа», «Ритца», «Эксельсиора», на террасах Ривьеры или в салоне первого класса трансатлантического лайнера. Он принадлежал к той породе мужчин, которые по утрам во фраке сидят в кондитерской, пригласив на чашку шоколада прислугу из того самого дома, где накануне вечером она подавала ужин после бала. Он обладал таким даром или свойством натуры. Однажды, по меньшей мере, случилось ему спустить в казино все до нитки и вернуться домой без гроша, стоя на площадке трамвая и с напускным безразличием насвистывая: «Тот, кто банк сорвал в Монако...» И так элегантно умел он раскуривать сигарету или завязывать галстук, так безупречно были всегда отглажены сверкающие манжеты его сорочек, что взять его полиция осмеливалась не иначе как с поличным.

— Макс.

— Слушаю, хозяин.

— Можете отнести вещи в машину.

Играя на хромированных частях «Ягуара Марк Х», солнце Неаполитанского залива режет глаза точно так же, как прежде, когда под его лучами ослепительно вспыхивал металл других автомобилей, сам ли Макс Коста водил их или кто другой. Так, да не так: и это тоже переменилось неузнаваемо, и даже былой тени не найдешь нигде. Он смотрит себе под ноги и, более того, чуть сдвигается с места. Без результата. Он не может точно сказать, когда именно это случилось, да это и неважно, в сущности. Тень ушла со сцены, осталась позади, как и многое другое.

Сморщившись — то ли в знак того, что ничего не попишешь, то ли просто от того, что солнце бьет прямо в глаза, — он, чтобы отделаться от мучительного ощущения, накатывающего на него всякий раз, когда ностальгии или тоске одиночества удается разгуляться всерьез, старается думать о чем-нибудь конкретном и насущном: о давлении в шинах при массе полной и массе снаряженной, о том, плавно ли ходит рычаг переключения скоростей, об уровне масла. Потом, протерев замшевой тряпочкой посеребренного зверя на радиаторе и вздохнув глубоко, но не тяжко, надевает серую форменную тужурку, сложенную на переднем сиденье. Застегивает ее на все пуговицы, поправляет узел галстука и лишь после этого неторопливо поднимается по ведущим ко главному входу ступеням, по обе стороны которых стоят безголовые мраморные статуи и каменные вазы.

— Не забудьте саквояж.

— Не беспокойтесь, хозяин.

Доктору Хугентоблеру не нравится, когда прислуга называет его «доктором». В этой стране, часто повторяет он, плюнешь — не в dottori попадешь, так в cavalieri или commendatori.[[2]](#footnote-2) А я — швейцарский врач. Это серьезно. И я не желаю, чтобы меня принимали за одного из них — за племянника кардинала, за миланского промышленника или еще за кого-то подобного. А к самому Максу Косте все обитатели виллы в окрестностях Сорренто обращаются просто по имени. И это не перестает удивлять его, потому за жизнь он успел поносить много имен: в зависимости от обстоятельств и требований момента — с аристократическими титулами и без, изысканных или самых простонародных. Но вот уже довольно давно, с тех пор, как тень его помахала платочком на прощанье — как женщина, что исчезает навсегда в клубах пара, заволакивающего окно спального вагона, а ты так и не понял, сейчас ли она скрылась из виду или уже давно начала двигаться прочь, — он зовется своим собственным, настоящим именем. Взамен тени вернулось имя: то самое, что до вынужденного, относительно недавнего и в известной степени естественного уединения, отмеренного тюремным сроком, значилось в пухлых досье, собранных полицейскими в половине стран Европы и Америки. Так или иначе, думает он сейчас, ставя в багажник кожаный саквояж и чемодан «Самсонайт», никогда, никогда, как бы солоно ни приходилось, даже вообразить было невозможно, что на закате дней своих будет говорить «слушаю, хозяин», отзываясь на свое крестное имя.

— Поехали, Макс. Газеты положили?

— У заднего стекла, хозяин.

Хлопают дверцы. Усаживая пассажира, он надевает, снимает и снова надевает форменную фуражку. Сев за руль, кладет ее на соседнее сиденье и с давним неизбывным кокетством смотрится в зеркало заднего вида, прежде чем поправить седую, но еще пышную шевелюру. И думает, что эта фуражка как ничто другое подчеркивает невеселый комизм ситуации и метит тот бессмысленный берег, куда житейские волны выбросили его после гибельного кораблекрушения. Но тем не менее всякий раз, когда в своей комнате на вилле он бреется перед зеркалом и, как шрамы, оставленные страстями и битвами, считает морщины, у каждой из которых есть имя — женщины, рулетка, рассветы неопределенности, полдни славы или ночи неудач, — он ободряюще подмигивает своему отражению, словно в этом рослом и пока еще вовсе не дряхлом старике с темными усталыми глазами узнаёт давнего и верного сообщника, которому ничего не надо объяснять. В конце концов, фамильярно, немного цинично и не без злорадства говорит ему отражение, просто необходимо признать, что в шестьдесят четыре года, да с такими картами на руках, что в последнее время сдает тебе жизнь, просто грех жаловаться. В схожих обстоятельствах другим — Энрико Фоссатаро, например, или старому Шандору Эстерхази — пришлось выбирать, обратиться в благодетельную службу социального призрения или смастерить удавку из собственного галстука и минутку подергаться в ванной комнате убогого гостиничного номера.

— Что там слышно в мире? — говорит Хугентоблер.

С заднего сиденья доносится вялый шелест перелистываемых страниц. Это не вопрос, а скорее комментарий. В зеркало Макс видит опущенные глаза хозяина, сдвинутые на кончик носа очки для чтения.

— Русские еще не сбросили атомную бомбу?

Хугентоблер, разумеется, шутит. Швейцарский юмор. Когда доктор в духе, он любит пошутить с прислугой — может быть, потому, что у него, человека холостого, нет семьи, которая посмеется его остроумию. Макс раздвигает губы, обозначая учтивую улыбку. Сдержанную и, если смотреть издали, вполне уместную.

— Ничего такого особенного: Кассиус Клей выиграл очередной бой... Астронавты «Джемини XI» вернулись домой целыми и невредимыми... Разгорается война в Индокитае.

— Во Вьетнаме, хотите сказать?

— Да-да. Во Вьетнаме. А из местных новостей — в Сорренто начинается шахматный матч на приз Кампанеллы: Келлер против Соколова.

— Господи боже... — говорит Хугентоблер с рассеянным сарказмом. — Ах-ах-ах, какая жалость, что я не смогу присутствовать. Чем только люди не занимаются...

— Да уж...

— Нет, вы только представьте — всю жизнь пялиться на шахматную доску. Непременно повредишься в рассудке. Вроде как этот Бобби Фишер.

— Ну да.

— Поезжайте по нижней дороге. Время есть.

Скрип гравия под шинами стихает — «Ягуар» выехал за железную ограду и медленно катит по бетону автострады, обсаженной оливами, мастиковыми и фиговыми деревьями. Макс мягко притормаживает на крутом повороте — и вот за ним открывается тихое сияющее море, против света похожее на изумрудное стекло, силуэты пиний, домики, лепящиеся на склоне горы, и Везувий по ту сторону залива. Позабыв на миг о присутствии пассажира, Макс поглаживает руль, всецело отдавшись удовольствию от вождения, благо две точки расположены во времени и в пространстве так, что можно слегка расслабиться. Врывающийся в окно ветер напоен медом, и смолой, и последними ароматами лета — в здешних местах оно всегда сопротивляется смерти, простодушно и ласково сражаясь с листками календаря.

— Чудесный день, Макс.

Моргнув, он возвращается к действительности и снова поднимает глаза к зеркалу заднего вида. Доктор Хугентоблер, отложив газеты в сторону, подносит ко рту гаванскую сигару.

— В самом деле.

— Когда вернусь, все будет уже совсем иначе.

— Будем надеяться, что нет. Всего три недели.

Вместе с клубом дыма Хугентоблер испускает невнятное бурчание. Этому краснолицему благообразному человеку принадлежит санаторий в окрестностях озера Гарда. Своим состоянием он обязан богатым евреям, просыпавшимся посреди ночи от того, что приснилось, будто они по-прежнему — в лагерном бараке, снаружи доносится лай караульных собак и эсэсовцы сейчас поведут в газовую камеру. Хугентоблер вместе со своим партнером, итальянцем Баккелли, в первые послевоенные годы лечил их, помогал забыть об ужасах нацизма и избавиться от кошмарных видений, а по окончании курса рекомендовал совершить поездку в Израиль, организуемую дирекцией, и присылал астрономические счета — благодаря им он и может теперь содержать дом в Милане, квартиру в Цюрихе и виллу в Сорренто с пятью автомобилями в гараже. Вот уже три года Макс водит их и отвечает за техническое состояние, а также следит, чтобы все было в исправности и порядке на вилле, где, кроме него, служат еще садовник и горничная — супруги Ланца из Салерно.

— Прямо в аэропорт не надо. Проедем через центр.

— Слушаю, хозяин.

Скользнув беглым взглядом по циферблату «Фестины» на левом запястье — часы в корпусе поддельного золота идут верно, а стоят дешево, — Макс вливается в редкий поток машин, мчащих по проспекту Италии. Действительно, времени более чем достаточно, чтобы доктор на моторном катере успел добраться из Сорренто на другой берег, минуя все извивы и повороты дороги, ведущей в аэропорт Неаполя.

— Макс.

— Да, хозяин?

— Остановите у Руфоло и купите мне коробку «Монтекристо № 2».

Трудовые отношения между Максом Костой и будущим работодателем были урегулированы мгновенно, с первого взгляда, которым психиатр окинул претендента, тотчас потеряв интерес к лестным — и наверняка лживым — рекомендациям его предшественников и соперников. Хугентоблер, человек практического склада, свято уверенный, что профессиональное чутье и житейская опытность никогда не подведут и помогут разобраться в особенностях «condition humaine»,[[3]](#footnote-3) решил, что стоящий перед ним элегантный, хоть и несколько потасканный человек с открытой, почтительной и спокойной манерой держаться, с благовоспитанной сдержанностью, сквозящей в каждом жесте и слове, есть олицетворение порядочности и приличий, воплощение достоинства и компетентности. И кому же, как не ему, вверить попечение о том, чем так гордится доктор из Сорренто, — великолепную коллекцию автомобилей, в которой имелись «Ягуар», «Роллс-Ройс Silver Cloud II» и три антикварные диковины, в том числе и «Бугатти 50Т-купе». Разумеется, Хугентоблер и вообразить себе не мог, что в былые времена его нынешний шофер сам раскатывал в машинах не менее роскошных — собственных или чужих. Будь сведения швейцарца полнее, он пересмотрел бы, пожалуй, свои воззрения и счел бы нужным подыскать себе колесничего с наружностью менее импозантной и с биографией более заурядной. И сочтя так, просчитался бы. Ибо всякий, кто сведущ в оборотной стороне явлений, понимает: люди, потерявшие свою тень, подобны женщинам с богатым прошлым, подписывающим брачный контракт: не бывает жен вернее — они знают, чем рискуют. Но, разумеется, не Максу Косте просвещать доктора Хугентоблера по части мимолетности теней, порядочности потаскух или вынужденной честности тех, кто был сначала жиголо, а потом так называемым вором в белых перчатках. Впрочем, белыми они оставались не всегда.

Когда моторный катер «Рива» отваливает от дебаркадера «Марина Пиккола», Макс Коста еще несколько минут стоит, опершись на ограждение волнолома и глядя вслед суденышку, скользящему по голубому клинку залива. Потом развязывает галстук, снимает форменную тужурку и, перебросив ее через руку, идет к автомобилю, припаркованному возле управления финансовой гвардии, у подножья обрывистой горы, возносящейся к Сорренто. Сунув пятьдесят лир мальчику, присматривавшему за «Ягуаром», садится за руль и медленно выезжает на дорогу, по замкнутой кривой поднимающуюся к городку. На площади Тассо останавливается, пропуская вышедшую из отеля «Виттория» троицу — двух женщин и мужчину, — и рассеянно смотрит, как, держась почти вплотную к радиатору, они проходят мимо. У всех троих вид богатых туристов — из тех, что предпочитают приезжать не в пик сезона, когда так многолюдно и шумно, а попозже, чтобы спокойно наслаждаться морем, солнцем и хорошей погодой, благо она тут держится до глубокой осени. Мужчине — темные очки, пиджак с замшевыми заплатами на локтях — на вид лет тридцать. Младшая его спутница — хорошенькая брюнетка в мини-юбке; длинные волосы собраны в «конский хвост». Старшая — женщина более чем зрелых лет — в бежевом кардигане, в темной юбке, в мужской твидовой шляпе на очень коротко остриженной серебристо-седой голове. Птица высокого полета, наметанным глазом определяет Макс. Такая элегантность достигается не самой одеждой, а умением ее носить. Это выше того среднего уровня, который даже в это время года встречается на виллах и в хороших отелях Сорренто, Амальфи и Капри.

В этой женщине есть нечто такое, отчего невольно провожаешь ее глазами. Может быть, дело в том, как она держится, как неторопливо и уверенно идет, небрежно сунув руку в кармашек вязаного жакета: эта манера присуща тем, кто всю жизнь твердо ступает по коврам, устилающим мир, который принадлежит им. А может быть, в том, как поворачивает голову к своим спутникам и смеется каким-то их словам или сама произносит что-то, но что именно — не слышно за поднятыми стеклами машины. Так или иначе, но на одно стремительное мгновение, как бывает, когда в голове вдруг вихрем проносятся разрозненные обрывки забытого было сна, Максу чудится, что он ее знает. Что узнаёт какой-то давний, дальний образ, жест, голос, смех. Все это так удивляет его, что, лишь вздрогнув от раздавшегося сзади требовательного гудка, он приходит в себя, включает первую передачу и проезжает немного вперед, не сводя глаз с троицы, которая уже пересекла площадь Тассо и заняла, не ища тени, столик на веранде бара «Фауно».

Макс уже почти на углу Корсо Италия, когда память его вновь будоражат знакомые ощущения, но на этот раз воспоминание конкретней — отчетливей лицо, внятнее голос. Яснее предстает какой-то эпизод или даже череда сцен. Удивление сменяется ошеломлением, и он давит на педаль тормоза так резко, что водитель задней машины опять сигналит ему в спину, а потом негодующе жестикулирует, когда «Ягуар» внезапно и стремительно уходит направо и притирается к обочине.

Макс вынимает ключ из замка зажигания и несколько секунд сидит неподвижно, разглядывая свои руки на руле. Потом вылезает из машины, натягивает тужурку и под пальмами, которыми обсажена площадь, шагает к террасе бара. Он встревожен. Он, можно даже сказать, напуган тем, что реальность вот-вот подтвердит смутное наитие. Троица все еще сидит на прежнем месте и занята оживленным разговором. Стараясь, чтобы не заметили, Макс прячется за кустами небольшого сквера, метрах в десяти от стола, и теперь женщина в твидовой шляпе обращена к нему в профиль: она болтает со своими спутниками, не подозревая, как внимательно за ней наблюдают. Да, вероятно, в свое время была очень хороша, думает Макс, лицо ее и сейчас, как принято говорить, хранит следы былой красоты. Может быть, это и есть та, о ком я думаю, размышляет он, мучаясь сомнениями, но определенно утверждать нельзя. Слишком много женских лиц промелькнуло за время, объявшее и «до», и долгое-долгое «после». По-прежнему скрываясь за кустами, он вглядывается, ловит какие-то ускользающие черточки, способные освежить память, но так и не может прийти ни к какому выводу. Наконец спохватывается: если будет торчать здесь и дальше, то непременно привлечет к себе внимание — и, обогнув террасу, усаживается за столик в глубине. Заказывает негрони[[4]](#footnote-4) и еще минут двадцать изучает женщину, сопоставляя ее манеры, повадки, жесты с теми, что хранит его память. Когда трое покидают бар и снова переходят площадь, направляясь к виа Сан-Чезарео, Макс наконец узнает ее. Или думает, что узнал. Держась поодаль, он идет следом. Лет сто уж не билось так сильно его старое сердце.

Хорошо танцует, отметил Макс Коста. Раскованно и даже не без дерзости. Отважилась повторить за ним неожиданное, сложное, вычурное па, которое он сделал специально, чтобы опробовать ее мастерство: менее ловкая женщина нипочем бы не справилась. Лет двадцати пяти, прикинул он. Высокая, стройная, руки длинные, с тонкими запястьями, а ноги под легким, темным, на свету отливающим в лиловое шелком, который открывает ее плечи и спину до самой талии, кажутся просто бесконечными. Она была на высоких каблуках, подобающих вечернему туалету, и потому лицо — невозмутимое, хорошо очерченное и вылепленное — приходилось вровень с лицом Макса. Золотисто-русые волосы по последней моде сезона были слегка подвиты и коротко подрублены сзади, на затылке. Танцуя, она смотрела в одну точку — чуть выше фрачного плеча, где лежала ее рука с обручальным кольцом на безымянном пальце. Ни разу после того, как Макс с учтивым поклоном пригласил ее на медленный вальс-бостон, он так и не встретился с ней глазами. А они у нее под ровными дугами высоких, выщипанных в ниточку бровей цветом напоминали прозрачный, текучий мед и были слегка подведены — ровно настолько, насколько нужно, точно так же, как в самую меру были чуть тронуты помадой губы. Ничего общего с другими пассажирками, которым Макс Коста оказывал внимание в тот вечер, — зрелыми дамами, крепко надушенными пачулями или сиренью, и неуклюжими, затянутыми в светлые платья с короткими юбками барышнями, которые прикусывали губы, силясь не сбиться с такта, вспыхивали, когда он обхватывал их талию, и хлопали в ладоши при звуках «хупы-хупы». Так что танцор с «Полония» впервые за весь вечер начал получать удовольствие от своей работы.

Они так и не взглянули друг на друга, пока оркестр, завершив бостон «What I’ll Do», не начал танго «В сумраке». На мгновение замерли на полупустой площадке, и Макс, увидев, что она не спешит возвращаться к своему столику — куда только что сел человек в смокинге: муж, без сомнения, — при первых тактах приглашающе развел руки, и женщина бесстрастно, как и прежде, подчинилась. Опустила левую руку на плечо партнеру, томно протянула ему правую и пошла (точнее говоря, «заскользила», подумал Макс) по паркету, как и прежде уставившись медовыми глазами куда-то поверх головы кавалера: она как будто его не замечала, но при этом с поразительной точностью повиновалась уверенному медленному ритму, в котором он вел ее, стараясь сохранять почтительное расстояние — ни на дюйм не меньше нужного для правильного выполнения фигур.

— Как вам здесь нравится? — спросил он, исполнив сложное па, которое она повторила с полнейшей непринужденностью.

Она наконец удостоила его мимолетным взглядом. И, кажется, намеком на улыбку — мелькнувшую и тотчас вслед за тем исчезнувшую.

— Здесь прекрасно.

В последние годы танго, возникшее в Аргентине и вошедшее в моду на парижских «балах апашей», производило фурор по обе стороны Атлантики. И неудивительно, что танцевальная площадка немедленно заполнилась парами, с большей или меньшей грацией выполнявшими разнообразные фигуры, причем выполнение это в зависимости от мастерства варьировало от пристойного до смехотворного. Партнерше Макса меж тем легко удавались самые сложные па — причем и классические, ожидаемые и предусмотренные, и такие, которые он, с каждой минутой все больше доверяя своей даме, изобретал на ходу, в свойственных ему изысканно-простом стиле и чуть замедленном темпе, а она, ни разу не сбившись, не потеряв ритма, следовала за ним естественно и свободно. И тоже получала явное удовольствие от движения и музыки — об этом можно было судить и по улыбкам, которыми после каких-нибудь особо замысловатых фигур теперь иногда одаривала Макса, и по тому, что время от времени ее золотистый взгляд, возвращаясь из неведомых далей, на несколько секунд обращался к партнеру.

Во время танца Макс наметанным глазом терпеливого охотника изучал мужа своей дамы. Он привык оценивать женщин, с которыми танцевал, еще и по тому, какие у них мужья, отцы, братья, сыновья, любовники. Одним словом, мужчины, сопровождавшие их кто горделиво, кто высокомерно, кто со скучливой досадой, кто с равнодушной покорностью судьбе — и роднила все эти разнообразные чувства лишь их принадлежность к сильному полу. Многое могут рассказать о человеке булавка в галстуке, часовая цепочка, портсигар и перстень, толщина бумажника, полуоткрытого при расплате с лакеем в ресторане, покрой костюма и добротность ткани, из которой он сшит, стрелка на брюках и глянец на башмаках. И даже узел, каким повязан галстук. Все эти сведения позволяли Максу Косте в такт музыке намечать цель и определять пути к ее достижению, а выражаясь прозаически — переходить от бальных танцев к занятиям более прибыльным. Прожитые годы и знание жизни сошлись воедино в словах, сказанных ему семь лет назад в Мелилье графом Борисом Долгоруким-Багратионом — капралом первой роты Иностранного легиона — за полторы минуты до того, как от бутылки сквернейшего коньяка его вывернуло наизнанку на заднем дворе борделя некой Фатимы:

— Вот что я тебе скажу, милейший мой Макс: женщину нельзя оценивать саму по себе. Женщина помимо того — и сверх того — это мужчины, которые у нее были, есть и еще могут быть. Без этого ни одну невозможно понять... И тот, кто примет весь список, тот и завладеет ключом от ее сейфа. И проникнет в ее тайны.

Когда музыка смолкла, Макс, проводив даму до места, смог разглядеть поближе мужа — элегантного, уверенного в себе господина за сорок. Его никак нельзя было назвать красавцем, но привлекательности ему добавляли тонкие, выхоленные усы, волнистые, уже начинавшие седеть волосы, живые и умные глаза, которые, как догадался Макс, замечали мельчайшие подробности всего, что происходило на площадке. Еще прежде, чем приблизиться к его жене, Макс нашел их имена в списке гостей, и метрдотель подтвердил: да, это испанский композитор Армандо де Троэйе с супругой, плывут первым классом, каюта люкс, за обедом места им зарезервированы в главном зале судового ресторана, за капитанским столом, что в мире лайнера «Полоний» означало большие деньги или чрезвычайно видное положение в обществе, а чаще — то и другое вместе.

— Вы доставили мне истинное удовольствие, сеньора. Превосходно танцуете.

— Спасибо.

Макс отдал короткий, почти военный полупоклон, зная, что его партнершам нравится и эта его манера благодарить за танец, и та непринужденность, с какой он брал и подносил к губам руку дамы — а Меча Инсунса де Троэйе, прежде чем сесть на стул, предупредительно отодвинутый поднявшимся с места мужем, ответила легким и холодным кивком. Макс повернулся, пригладил с боков — сперва левой рукой, а потом правой — блестящие, черные, чуть припомаженные волосы, зачесанные назад, и удалился. Огибая танцующих, он шел с учтивой улыбкой на губах, ни на кого не глядя, но чувствуя, что все его сто семьдесят девять сантиметров, облитые безупречным фраком (купленным на последние деньги перед подписанием контракта с пароходством), приковывают к себе любопытные взгляды дам, еще остававшихся за столами, — многие пассажиры уже поднялись и потянулись в ресторан. Половина присутствующих сейчас глубоко презирают меня, подумал он, весело и привычно принимая свой удел. Другую половину составляют женщины.

Троица меж тем останавливается перед лавочкой с сувенирами, открытками и книгами. Хотя с окончанием сезона закрылись многие магазины и рестораны Сорренто, в том числе и несколько роскошных бутиков на Корсо Италия, старый квартал с центром на Сан-Чезарео по-прежнему любим туристами и исправно ими посещается. Улица не широка, так что Макс должен остановиться на изрядном расстоянии — возле магазина деликатесов: укрепленная в деревянной раме на подставке грифельная доска, где мелом выведен перечень товаров, служит ему надежным укрытием. Девушка с «конским хвостом» вошла внутрь, а двое ее спутников остались на тротуаре. Черноволосый красивый молодой человек смеется, сняв свои темные очки. Женщина в твидовой шляпе, вероятно, относится к нему с нежностью, потому что минуту назад ласково погладила его по щеке. Вот юноша сказал что-то смешное, и она расхохоталась так громко, что до соглядатая отчетливо донесся ее смех — звонкий и безудержный: смех ее очень молодит, а Макса заставляет вздрогнуть от нахлынувших воспоминаний. Это она, убеждается он окончательно. Минуло двадцать девять лет с тех пор, как он видел ее в последний раз. Тогда над осенним побережьем моросил дождь: под балюстрадой, отделяющей от пляжа проспект Англичан, носился по влажной гальке пес, и Ницца, раскинувшаяся за белым фасадом отеля «Негреско», теряя четкость очертаний, расплывалась в серой влажной дымке. Столько времени минуло от одной встречи до другой, что немудрено, если воспоминания путаются. Тем не менее бывший жиголо, ныне управляющий и водитель доктора Хугентоблера, больше не сомневается. Конечно, это та самая женщина. Он узнает ее манеру смеяться и наклонять голову набок, несуетливость повадок и естественное изящество движений. И эту привычку держать одну руку в кармане. Макс хочет подойти и взглянуть на нее вблизи, чтобы развеять последние сомнения, но не смеет. Тут в дверях сувенирной лавки появляется девушка, и вот все трое уже идут обратно, и пока они еще не поравнялись с гастрономом, Макс успевает торопливо спрятаться за грифельную доску. Оттуда он провожает взглядом женщину в твидовой шляпе, еще раз всматривается в ее профиль и, вздрогнув, понимает, что не ошибся. Текучий прозрачный мед ее глаз подтверждает его правоту. И, по-прежнему держась поодаль, Макс следует за троицей до самой площади Тассо, до ворот отеля «Виттория».

Он снова увидел ее на следующий день, на шлюпочной палубе. Это получилось случайно: ни ему, ни ей нечего было там делать. Максу, как и всему персоналу — в отличие от судовой команды, — не было доступа в зону первого класса. И чтобы не появляться на прогулочной палубе левого борта, где пассажиры в парусиновых шезлонгах и плетеных креслах принимали воздушные ванны — правый борт предназначался тем, кто предпочитал кегли, шаффлборд[[5]](#footnote-5) или стрельбу по тарелочкам, — ему пришлось по короткому трапу подняться туда, где по обе стороны от трех огромных красно-белых труб под брезентом стояли по восемь в ряд шестнадцать спасательных шлюпок. Место это было тихое и безлюдное — нечто вроде нейтральной территории, куда не заглядывают пассажиры, потому что громоздкие лодки нарушают уют и портят вид. Но для пассажиров, все же решивших заглянуть туда, предусмотрены были деревянные скамьи — и вот на одной из них Макс, пройдя между выкрашенной в белый цвет крышкой палубного люка и огромным раструбом вентиляционного кожуха, подающего свежий воздух внутрь корабля, увидел и узнал ту, с кем танцевал накануне вечером.

День был ясный, безветренный и для этого времени года — теплый. Макс, вышедший запросто, без шляпы, без перчаток и трости, в серой пиджачной паре, белой рубашке и галстуке в горошек, ограничился поэтому легким поклоном. Когда, проходя мимо, он на миг заслонил солнце, женщина в элегантном кашемировом костюме — жакет три четверти с прямой плиссированной юбкой — оторвалась от книги, которую держала на коленях, подняла голову в фетровой шляпке с опущенными полями, делавшими лицо у́же, и посмотрела на него. По мелькнувшей в ее глазах искорке Макс понял, что его узнали, и с тактом, продиктованным обстоятельствами встречи и положением каждого из них двоих на этом пароходе, позволил себе на миг задержаться и сказать:

— Добрый день.

Она, уже было опустившая голову, при этих словах вновь вскинула глаза и ответила безмолвным кратким кивком.

— Я... — начал он, ощущая внезапную скованность оттого, что вступал на зыбкую почву, и уже раскаиваясь, что заговорил.

— Помню, — отвечала она спокойно. — Мой вчерашний кавалер.

И оттого, что произнесено было «кавалер», а не «партнер», он вдруг проникся к ней благодарностью.

— Не помню, успел ли сказать вам, что вы чудесно танцуете.

— Успели.

И вновь взялась за книгу. Покуда раскрытый том лежал у нее на коленях, он заметил, что́ это. Бласко Ибаньес «Четыре всадника апокалипсиса».

— Всего доброго. Приятного чтения.

— Спасибо.

Он пошел дальше, не зная, читает ли она или смотрит ему вслед. Шел руки в карманы, стараясь держаться независимо и свободно. Остановился у крайней шлюпки и, спрятавшись за ней от ветра, достал из серебряного портсигара с чужой монограммой на крышке сигарету, прикурил. И воспользовался этим, чтобы незаметно оглянуться туда, где на скамейке склонившаяся над книгой женщина продолжала читать. И оставалась все так же невозмутима.

Отель «Виттория». Застегивая тужурку, Макс Коста проходит под золоченой вывеской на железной арке входа, здоровается со швейцаром и шагает дальше по широкой дорожке, окаймленной столетними пиниями и разнообразными кустами. Парк здесь тянется от площади Тассо до самого края обрыва, нависая над зданием морского вокзала «Марина Пикколо» и над морем, где возвышаются три корпуса гостиницы. Спустившись по небольшой лестнице, Макс оказывается в холле центрального здания, перед стеклянной стеной, за которой виден зимний сад и террасы, заполненные — как странно для этого времени года — множеством людей: они пьют аперитивы. Слева, за стойкой портье, стоит Тициано Спадаро — их знакомство относится к тем давним временам, когда нынешний шофер доктора Хугентоблера останавливался в отелях такого класса, как «Виттория». Частые и щедрые чаевые, сунутые и принятые незаметно, как велит неписаный закон, подготовили почву для взаимной, искренней, проверенной годами симпатии, которая связывает тех, кого принято называть «подельниками». Отсюда и дружеское «ты», немыслимое двадцать лет назад.

— Кого я вижу! Макс! Давно не заглядывал.

— Почти четыре месяца.

— Очень рад тебя видеть.

— Взаимно. Как поживаешь?

Пожав плечами, Спадаро — лысоватый, с выпирающим из-под тесного пиджака брюшком — заводит обычную песню, как трудно живется людям его профессии в мертвый сезон: чаевых мало, постояльцы — в основном те, кто приезжает на уик-энд с девицами, мечтающими о карьере актрисы или модели, да орава горластых янки, которые совершают тур Неаполь — Искья — Капри — Сорренто (в каждом городе — bed and breakfeast[[6]](#footnote-6)) и постоянно требуют воды в бутылках, потому что из-под крана пить опасаются. По счастью, Спадаро показывает на отделенный стеклянной стеной зимний сад, где для межсезонья на удивление многолюдно — спасает положение шахматный матч «Приз Кампанеллы»: поединок Келлер — Соколов привлек в отель шахматистов, журналистов и болельщиков.

— Мне нужно кое-что у тебя узнать. Потихоньку.

Спадаро не произносит «вроде как в добрые старые времена», однако в его глазах, поначалу удивленных, затем насмешливых, вспыхивает искорка былого — и чуть опасливого — сообщничества. Теперь, на пороге пенсии, когда за плечами — пятьдесят лет службы, начавшейся с нажимания кнопок в лифте неапольского «Эксельсиора», он может сказать, что повидал всё. В это «всё» входит и Макс Коста эпохи расцвета. Неужели еще не увял?

— Я думал, ты отошел от дел.

— Я и отошел.

— А-а, — с облегчением произносит старый портье.

Тогда Макс задает свой вопрос: его интересует дама — уже в годах, элегантная, появляется в сопровождении девушки и молодого человека привлекательной наружности. Вошли в отель десять минут назад. Они — здешние постояльцы?

— Ну да, разумеется. Парень — это не кто иной, как сам Келлер.

Макс моргает не без растерянности. Молодой человек и девушка его как раз не интересуют.

— Кто-кто?

— Хорхе Келлер, чилийский гроссмейстер. Претендент на звание чемпиона мира по шахматам.

Макс наконец припоминает это имя, а Спадаро сообщает подробности. Приз Лучано Кампанеллы, который будет в этом году разыгрываться в Сорренто, учрежден туринским мультимиллионером, одним из основных акционеров «Оливетти» и «ФИАТ». Страстный поклонник шахмат, он, каждый раз выбирая какой-нибудь заметный итальянский город, а в нем — самый фешенебельный отель, ежегодно устраивает подобные турниры с участием первых шахматистов мира, получающих за это огромные деньги. Нынешняя встреча двух сильнейших — действующего чемпиона мира и претендента на это звание — будет длиться четыре недели и состоится за несколько месяцев до чемпионата мира. Победитель получает пятьдесят тысяч долларов, проигравший — десять, но, помимо крупной денежной премии, престиж турнира Кампанеллы высок еще и потому, что замечено: победитель этого матча неизменно одерживал верх и на чемпионате мира, завоевывая или сохраняя корону. Сейчас действующему чемпиону Соколову предстоит играть с Келлером, опередившим всех остальных соперников.

— Так этот юноша и есть Келлер? — удивленно спрашивает Макс.

— Ну да, он самый. Очень душевный малый, без фанаберии — не в пример прочим своим коллегам... Русский, надо сказать, малоприятный тип. Сидит у себя, как барсук в норе... вокруг всегда охрана...

— А она?

Спадаро неопределенно пожимает плечами; надо отдать портье должное — этот жест у него в ходу лишь по отношению к очень редкой категории постояльцев. К тем, о которых почти ничего не известно.

— Невеста. Но тоже числится в составе его команды. — Освежая память, портье листает книгу записи постояльцев. — Ирина ее зовут... Ирина Ясенович. Имя югославское, но паспорт у нее канадский.

— Нет, я имел в виду другую. Седая, коротко стриженная.

— А-а, это мамаша.

— Чья? Невесты?

— Келлера.

Новая встреча произошла два дня спустя, в танцевальном салоне. В тот день капитан устроил торжественный ужин в честь какого-то именитого пассажира, и протокол предписывал мужчинам сменить темный костюм или смокинг на узкий облегающий фрак с крахмальным пластроном и белым галстуком. Сперва пассажиры собрались в салоне и пили коктейли, слушая музыку, потом прошли в ресторан, а после ужина самые молодые или самые неугомонные снова и уже до глубокой ночи засели в салоне. Оркестр, как всегда, начал с нежных медленных вальсов, и партнершами Макса Косты уже раз шесть становились почти исключительно юные барышни и молодые дамы — категория пассажирок, интереса не представляющая. Лишь медленный фокстрот доставил ему некую англичанку — не первой молодости, но довольно хорошенькую, путешествовавшую вдвоем с подругой. Каждый раз, оказываясь в танце рядом с ними, он видел, что они перешептываются, подталкивая друг друга локтями. Англичанка была белокурая, пухленькая, может быть, несколько чопорная. И при этом немного вульгарная, если судить по тому, как обильно была она надушена «My Sin» и обвешана драгоценностями, — но танцевала неплохо. Впрочем, помимо красивых голубых глаз, у нее имелось и еще одно неоспоримое достоинство — деньги: подойдя, чтобы пригласить ее, Макс с ходу оценил лежавшую на столе золотую плетеную сумочку, да и драгоценности на первый взгляд казались хороши, особенно сапфировый гарнитур — браслет и серьги: камни в них тянули не меньше чем на четыреста фунтов стерлингов. Ее звали мисс Ханиби, как, сверившись со списком гостей, сообщил Максу распорядитель по фамилии Шмюкер (почти вся судовая команда и персонал состояли из немцев), с высоты полувекового опыта трансатлантических плаваний предположивший, что она, скорее всего, вдова или в разводе. Так что Макс, после нескольких туров тщательно изучив, как действует на партнершу неизбежно возникающая в танце близость в сочетании с безукоризненными манерами — ни единого неуместного движения, идеально выдержанная дистанция, корректность истинного профессионала — и с победительной мужской улыбкой, озарявшей его лицо, когда он подводил даму к ее месту и слышал покорное «so nice»,[[7]](#footnote-7) — внес англичанку в список возможных жертв. Пять тысяч морских миль и три недели пути сулили многое.

На этот раз супруги де Троэйе появились вместе. Макс как раз отошел за вазоны с цветами, окаймлявшие эстраду, чтобы передохнуть, выпить стакан воды и выкурить сигарету. Оттуда он и увидел, как они входят, предшествуемые обходительным Шмюкером: держатся рядом, но жена идет чуть-чуть впереди, а за нею следует муж с белой гвоздикой на черном атласе лацкана, правая рука — в кармане, отчего слегка оттопыривается фрачная фалда, в левой — сигарета. Армандо де Троэйе, казалось, был глубоко равнодушен к тому, что публика встретила его появление с таким интересом. Что же касается его жены, то она будто сошла со страниц иллюстрированного журнала. Посверкивая жемчугами на шее и в ушах, уверенно постукивая высокими каблуками по настилу чуть покачивающейся палубы, она невозмутимо несла себя, и графически четкие, удлиненные и кажущиеся нескончаемыми линии статного тела угадывались под легким длинным дымчато-зеленоватым платьем (самое малое, пять тысяч франков в Париже, на рю де ла Пэ, наметанным глазом определил Макс): оставляя обнаженными руки, плечи и спину до самой талии, оно держалось на единственной тоненькой лямке на шее, открытой обольстительно высоко, до самого затылка. Восхищенный Макс сделал два вывода. Жена де Троэйе относится к числу тех женщин, чью элегантность оцениваешь с первого взгляда, а красоту — лишь со второго. И принадлежит к разряду дам, рожденных носить подобные платья так, словно это их вторая кожа.

Потанцевать с ней удалось не сразу. Оркестр заиграл сперва кэмел-трот, а потом все еще не вышедший из моды шимми с нелепым названием «Тутанхамон» — и Максу пришлось одну за другой потешить двух юных бразильских резвушек, которым не терпелось, пусть и под бдительным приглядом — обе пары симпатичных на вид родителей издали следили за дочерьми — испробовать недавно выученные па, что они и делали довольно изящно и живо, дергая поочередно то левым, то правым плечом вперед-назад до тех пор, пока не выбились из сил сами и едва не довели до изнеможения своего кавалера. А при первых тактах блэк-боттома[[8]](#footnote-8) «Love and popcorn» на Макса предъявила права еще молодая, не очень миловидная, но безукоризненно одетая и наряженная американка, которая мало того что оказалась приятной партнершей, но и незаметно сунула в руку кавалера, когда тот проводил ее на место, сложенную вдвое пятидолларовую купюру. В течение вечера Макс время от времени оказывался у стола, где сидели композитор с женой, но так и не смог встретиться с Мерседес взглядом — всякий раз оказывалось, что она смотрит в другую сторону. Сейчас за столом никого не было, и лакей убирал два пустых стакана. Вероятно, Макс, занятый случайной партнершей, пропустил ту минуту, когда супруги де Троэйе поднялись и прошли в ресторан.

Воспользовавшись перерывом — в семь часов начался ужин, — он выпил чашку крепкого бульона. Когда предстояло танцевать, он никогда не ел плотно, следуя еще одной привычке, усвоенной много лет назад в Иностранном легионе, хотя в ту пору танцы были иные, и наедаться перед боем солдаты избегали на случай раны в живот. Покончив с бульоном, надел плащ и вышел на прогулочную палубу левого борта выкурить еще одну сигарету, проветриться и поглядеть, как переливается в море отражение восходящей луны. В четверть девятого вернулся в салон, сел за свободный столик неподалеку от эстрады и болтал с музыкантами, пока из ресторана не показались первые пассажиры — мужчины направлялись в игорный зал, в библиотеку или в курительный салон, молодежь и парочки рассаживались вокруг танцевальной площадки. Оркестр принялся настраивать инструменты, Шмюкер взбодрил официантов, зазвучал смех, захлопали шампанские пробки. Макс встал, удостоверился, что галстук-бабочка не сбился набок, манишка и манжеты не вылезли дальше положенного, одернул фрак и обвел салон взглядом, ища, не требуются ли кому-нибудь его услуги. Тут под руку с мужем и вошла она.

Чета заняла тот же стол. Оркестр начал болеро, и публика немедленно оживилась. Мисс Ханиби и ее подруга не вернулись из ресторана, и Макс не знал, появятся ли они сегодня еще. Впрочем, их отсутствие его обрадовало. Под каким-то вздорным предлогом он пересек площадку, огибая пары, уже задвигавшиеся под текучую музыку. Супруги продолжали сидеть молча, наблюдая за танцующими. Лакей как раз ставил перед ними два широких низких бокала и ведерко со льдом, откуда выглядывало горлышко «Клико», когда Макс остановился у их столика. Поклонился мужу, который сидел нога на ногу, слегка откинувшись на стуле, одной рукой облокотившись на столешницу, а в другой, с поблескивающими на безымянном пальце обручальным кольцом и массивным золотым перстнем с синим камнем, держал очередную сигарету. Затем Макс взглянул на жену, с любопытством рассматривавшую его. На ней не было никаких украшений — ни браслетов, ни колец (кроме обручального) — кроме великолепного жемчужного ожерелья и жемчужных же серег. Предлагая себя в качестве кавалера, Макс не произнес ни слова, но лишь снова поклонился — чуть резче, чем в первый раз, уронил и вздернул голову, почти по-военному, с легким щелканьем сдвинув каблуки, после чего замер, пока она медлительной благодарной улыбкой не обозначила отказ. Он уже хотел было извиниться и отойти, когда муж снял локоть со стола, тщательно выровнял стрелки на брюках и, сквозь сигаретный дым взглянув на жену, небрежно сказал:

— Я устал. И, похоже, слишком плотно поужинал. Потанцуй, мне приятно будет посмотреть на тебя.

Она поднялась не сразу. Мгновение смотрела на Армандо де Троэйе, а тот снова затянулся сигаретой и движением век молча подтвердил разрешение.

— Развлекись, — проговорил он чуть погодя. — Молодой человек чудесно танцует.

Как только она встала, Макс осторожно ее обнял. Мягко взял за правую руку, обхватил талию. Прикосновение к теплой коже неожиданно удивило. Он уже видел этот длинный вырез на вечернем платье, однако при всей своей опытности в деле обнимания дам не предполагал почему-то, что в танце ладонь его дотронется до обнаженного тела. Хотя он быстро скрыл замешательство под непроницаемым профессиональным бесстрастием, его кратчайшую заминку партнерша заметила — или ему показалось. Верным признаком этого был взгляд, направленный, пусть и на мгновение, прямо ему в глаза, а потом вновь устремившийся в какие-то неведомые дали. Чуть изогнувшись вбок, Макс начал движение, подхваченное ею с удивительной естественностью, и они заскользили по площадке среди других пар. Раз и другой он коротко оглядел ее ожерелье.

— Не боитесь покружиться? — шепнул он через минуту, зная, что следующие несколько аккордов позволят выполнить эту фигуру.

Секунды две она смотрела на него молча и потом ответила:

— Нет, конечно.

Он остановился, снял руку с ее талии, и дама, грациозностью движений как будто возмещая неподвижность кавалера, два раза подряд сделала оборот вокруг своей оси — сначала в одну, а потом в другую сторону. Ладонь его вновь легла на плавный изгиб ее талии, и они продолжили танец с такой идеальной согласованностью всех движений, словно репетировали его раз шесть. На ее губах появилась улыбка, а Макс удовлетворенно кивнул. Другие танцоры посторонились, глядя на их пару с восхищением или завистью, и тогда она слегка сжала ему руку и шепнула предостерегающе:

— Не будем привлекать внимания.

Макс извинился, получив в ответ еще одну улыбку, означавшую, что извинение принято. Ему нравилось танцевать с этой женщиной. Она подходила ему по росту — приятно было ощущать под правой ладонью тонкую талию, а на левой — опирающиеся о нее пальцы партнерши и уверенную легкость и свободу, с какими его дама двигалась в такт музыке, ни на миг не теряя элегантной уверенности в себе. В ее манере держаться на площадке была, может быть, даже доля вызова, без малейшей, впрочем, вульгарности, — это особенно почувствовалось в ту минуту, когда она с величайшим спокойствием и грацией совершила два оборота вокруг партнера. Взгляд ее по-прежнему почти все время был устремлен в какую-то даль, но это позволяло Максу рассматривать ее хорошо очерченное лицо, рисунок неярко подкрашенных губ, слегка напудренный нос, гладкий лоб, а под ним — ровные дуги выщипанных бровей и длинные ресницы. И пахло от нее приятно — какими-то нерезкими духами, которые Макс не мог опознать, потому что они смешивались с запахом ее кожи: может быть, «Arpège»? Да, она, без сомнения, относилась к тем женщинам, каких называют «желанными». Он посмотрел на мужа — тот из-за столика наблюдал за ними, не выказывая особо пристального внимания, время от времени поднося к губам бокал с шампанским, — а потом снова перевел глаза на ожерелье своей дамы, в котором приглушенно, матово дробились электрические огни. Не меньше двухсот первоклассных жемчужин, прикинул Макс. В свои двадцать шесть, благодаря и собственному опыту, и кое-каким предосудительным знакомствам, он досконально разбирался в жемчуге — плоском, круглом, грушевидном или еще более причудливой формы — и знал, сколько он стоит в ювелирных лавках и на черном рынке. Ожерелье его дамы было из круглых жемчужин высочайшего качества — скорее всего, персидских или индийских. И цена им была не меньше пяти тысяч фунтов стерлингов, то есть больше полумиллиона франков. На эти деньги можно было провести несколько недель с птичкой самого высокого полета в самом фешенебельном отеле Парижа или Ривьеры. А если распорядиться более благоразумно — то прожить больше года, ни в чем себе особенно не отказывая и очень даже недурно.

— Вы прекрасно танцуете, сеньора, — повторил он.

Устремленный в пространство взгляд как бы нехотя обратился на него.

— И возраст — не помеха? — спросила она.

Но это был не вопрос. Было ясно, что до ужина она наблюдала за ним и видела, как он танцует с бразильскими барышнями. При этих словах Макс должным образом возмутился:

— Возраст?! Побойтесь бога! Как вы можете говорить такое?!

Она с любопытством за ним наблюдала. Казалось, ее это почти забавляет:

— Как вас зовут?

— Макс.

— Ну же, Макс, отважьтесь. Сколько лет вы мне дали бы?

— Мне и в голову бы не пришло...

— Ну, пожалуйста.

Он ведь уже ответил, но если чего-нибудь и не хватало ему в общении с женщинами, то уж точно не самообладания. Лицо ее вдруг просияло широкой улыбкой (блеснули белые зубы), которую Макс изучал, казалось, с почти научной обстоятельностью.

— Пятнадцать?

Она расхохоталась — громко и живо. С детским чистосердечием. И ответила в том же духе, в каком шел весь разговор:

— Угадали! Как вам удалось?

— У меня это хорошо получается.

Гримаска, появившаяся на ее лице, была и лукавой, и одобрительной, а может быть, женщина просто показывала: она довольна, что разговор не сбивает кавалера с такта и не мешает вести ее по площадке меж других пар.

— Не только это, — произнесла она загадочно.

Отыскивая какой-нибудь добавочный, потаенный смысл в этих словах, Макс глядел ей в глаза, но те, лишившись всякого выражения, опять уставились в какую-то точку над его правым плечом. Болеро кончилось. Они разомкнули объятия, хоть и по-прежнему стояли напротив друг друга, покуда оркестр настраивал инструменты, готовясь к следующему номеру. Он снова взглянул на великолепное колье. На миг ему показалось, будто женщина перехватила его взгляд.

— Довольно, — сказала она вдруг. — Благодарю вас.

Под куполом, расписанным облупившимися фресками, на верхнем этаже старого дома, куда ведет мраморная лестница, располагается зал периодики. Поскрипывая рассохшимся паркетом, Макс Коста с тремя подшивками журнала «Скаччо Матто»[[9]](#footnote-9) проходит через зал, усаживается там, где посветлее, — у окна, откуда виднеются полдесятка пальм и бело-серый фасад церкви Сан-Антонио. На столе, кроме переплетенных годовых комплектов, футляр с очками для чтения, блокнот, шариковая ручка, несколько газет, купленных в киоске на виа ди Майо.

Спустя полтора часа Макс откладывает ручку, снимает очки и, потерев усталые глаза, смотрит на площадь, на удлиненные послеполуденным солнцем тени пальм. К этой минуте шофер доктора Хугентоблера знает едва ли не все, что написано о шахматисте Хорхе Келлере, который следующие четыре недели здесь, в Сорренто, будет играть с чемпионом мира Михаилом Соколовым. В журналах много фотографий Келлера: почти на всех он сидит перед доской; на иных он еще совсем юн, почти подросток, вступающий в единоборство с матерым противником. Последняя по времени фотография опубликована в сегодняшнем номере местной газеты: в холле отеля «Виттория» стоит Келлер с двумя женщинами — теми самыми, с которыми увидел его Макс на площади Тассо; да и пиджак на нем тот же, что и тогда.

«Келлер, родившийся в 1938 году в Лондоне в семье чилийского дипломата, поразил шахматный мир своей победой над гроссмейстером Решевским (США), проводившим в Сантьяго сеанс одновременной игры. Ему было тогда только четырнадцать лет, а в следующее десятилетие он совершил ошеломительный взлет, превратившись в одного из самых феноменальных шахматистов всех времен...»

Взлет взлетом, но Макса сейчас интересует не столько спортивная биография, сколько сведения о его семье. И вот он наконец находит их. И «Скаччо Матто», и остальные газеты, освещающие «Приз Кампанеллы», единодушно сходятся в том, что после развода с мужем, чилийским дипломатом, огромный вклад в карьеру сына внесла его мать:

«Супруги Келлер расстались, когда мальчику было семь лет. Мерседес Келлер, унаследовавшая от первого мужа, погибшего в гражданской войне в Испании, крупное состояние, сумела обеспечить сыну великолепные условия для подготовки. Когда обнаружилось, что мальчик исключительно одарен, она нашла ему лучших наставников, возила на разнообразные турниры в Чили и за ее пределами и сумела убедить гроссмейстера Эмиля Карапетяна, чилийца армянского происхождения, стать тренером сына. Юный Келлер не обманул возложенных на него ожиданий. Он легко побеждал сверстников и под руководством матери и маэстро Карапетяна, которые и по сей день сопровождают его, быстро добился впечатляющих успехов...»

Выйдя из библиотеки, Макс садится в машину и едет к Марина-Гранде, где паркуется возле церкви. Затем направляется в тратторию Стефано, в этот час еще закрытую для посетителей. Он закатал рукава рубашки на два витка манжет, тужурку снял и перекинул через плечо и с удовольствием вдыхает солоноватую свежесть бриза. На террасе маленького ресторана официант расстилает скатерти, раскладывает приборы на четырех столиках почти у самой воды, рядом с вытащенными на берег рыбачьими лодками и громоздящимися тут же грудами сетей с пробковыми поплавками и яркими флажками.

Хозяин по имени Ламбертуччи в ответ на его приветствие что-то бурчит, не отрываясь от шахматной доски. Макс здесь — свой человек и потому бесцеремонно проходит к кассе за стойкой, бросает на нее тужурку, сам наливает себе вина и со стаканом в руке присаживается за стол, где владелец заведения всецело поглощен первой из двух ежедневных партий, которые на протяжении вот уже двадцати лет играет с капитаном Тедеско. Антонио Ламбертуччи — лет пятьдесят: он тощий, нескладный, в несвежей футболке, открывающей армейскую татуировку — память о тех временах, когда он воевал в Абиссинии, после чего попал в лагерь военнопленных в Южной Африке, а по возвращении женился на дочери Стефано, хозяина траттории. Черная повязка на месте левого глаза, потерянного в бою под Бенгази, придает его противнику довольно зловещий вид. Обращение «капитан» не с ветру взято: Тедеско, уроженец Сорренто, как и Ламбертуччи, в самом деле воевал в этом звании, пока трехлетний плен в Дурбане, где у обоих не было никаких иных развлечений, кроме шахмат, не покончил с субординацией и, значит, с титулованием. В отличие от Макса, который знает лишь, как ходят фигуры, а в тонкостях игры разбирается слабо, хоть сегодня и пополнил свои представления на этот счет больше, чем за всю предшествующую жизнь, эти двое пользуются репутацией истинных знатоков. Они — члены местного шахматного клуба и всегда в курсе дела насчет чемпионатов, турниров, гроссмейстеров и прочего.

— Что собой представляет Хорхе Келлер?

Ламбертуччи вместо ответа снова неразборчиво бурчит, раздумывая над ловушкой, которую, судя по всему, строит ему ход соперника. Но вот решается наконец и делает ход. Происходит быстрый обмен фигурами — и вот уста капитана роняют бесстрастное «шах». Спустя десять секунд Тедеско укладывает фигуры в коробку, а Ламбертуччи ковыряет в носу.

— Келлер? — говорит он. — У него большое будущее. Станет чемпионом мира, если сумеет, конечно, свалить русского... Блестящий шахматист, из молодых, да ранний и не такой сумасброд, как этот... Фишер.

— А правда, что он начал чуть ли не в детстве?

— Говорят... Насколько я знаю, были четыре турнира, на которых раскрылся его феноменальный дар, а было ему тогда пятнадцать-восемнадцать лет. — Ламбертуччи глядит на капитана, как бы прося подтвердить, и принимается считать, загибая пальцы: — Международный в Порторосе... Мар-дель-Плата... международный чилийский... матч претендентов в Югославии...

— И не проиграл никому из грандов, — добавляет Тедеско.

— А это кто? — спрашивает Макс.

Капитан улыбается — мол, знаю, о чем говорю.

— Это — Петросян, Таль, Соколов... Лучшие в мире шахматисты. Ну а его окончательное посвящение состоялось четыре года назад в Лозанне, где он победил Таля и Фишера на турнире из двадцати партий.

— Наголову разбил, как говорится, — подчеркивает Ламбертуччи, который уже сходил за бутылкой и сейчас вновь наполняет стакан Макса.

— Да, там были самые первачи, — подводит итог Тедеско, округляя единственный глаз. — А Келлер разделал их, что называется, под орех: двенадцать партий выиграл, семь свел к ничьей.

— И чем же он берет?

Ламбертуччи с любопытством оглядывает Макса:

— У тебя что, выходной сегодня?

— Выдалось несколько свободных дней. Хозяин в отъезде.

— Тогда оставайся ужинать. Есть пармезан с баклажанами и заслуживающая внимания бутылочка «Таураси».

— Спасибо, не могу. Надо кое-какими делами заняться на вилле.

— Раньше тебя вроде не интересовали шахматы.

— Ну... Сам понимаешь... — Макс с меланхолической улыбкой подносит к губам стакан. — Кампанелла и все такое прочее. Пятьдесят тысяч долларов — деньги немалые.

Тедеско с мечтательным видом снова вращает глазом:

— Еще бы. Любопытно, кому они достанутся.

— Так все же в чем его сила? — допытывается Макс.

— Ну-у, условия у него для подготовки замечательные... хорошо натренирован... — отвечает Ламбертуччи и, пожав плечами, оборачивается на капитана: добавь, мол, подробностей, если есть.

— Мальчик очень упорный, — говорит тот после краткого раздумья. — Когда начинал, многие гранды придерживались тактики осторожной, оборонительной... Келлер все это поменял. Тяготел в ту пору к неистовым, ярким атакам, неожиданным жертвам фигур, опасным комбинациям...

— А сейчас?

— Он верен своему стилю — рискованному, блестящему, с бурным эндшпилем... Играет совершенно бесстрашно, с пугающим безразличием к потерям... Иногда кажется, что он допустил промах или оплошность, зазевался или зарвался, но его противники теряют голову от того, какие сложные комбинации он строит на доске. Он, конечно, рвется к чемпионской короне, а матч в Сорренто — это как бы пролог к поединку, который начнется через пять месяцев в Дублине. Ставки высоки, как видишь.

— Ты будешь сидеть в зале?

— Это несусветно дорого. Зал в «Виттории» предназначен для людей с большими деньгами и для журналистов... Удовольствуемся тем, что нам расскажут по радио и по телевизору... разыграем на собственной доске.

— Это вправду такой важный матч?

— Ни один другой так не ждали с шестьдесят первого года, когда Решевский играл с Фишером, — объясняет Тедеско. — Соколов — игрок жесткий, цепкий, бесстрастный, упорный, чтобы не сказать «вязкий». Лучшие свои партии он неизменно сводит к ничьим. Берет противника измором. Недаром у него прозвище Советский Утес... Но дело в том, что больно уж многое стоит на кону... Деньги, само собой. Но и политики хватает.

Ламбертуччи мрачно смеется:

— Говорят, будто Соколов снял недалеко от «Виттории» целый дом — для себя, своих тренеров, секундантов и агентов КГБ, которые его охраняют.

— А известно что-нибудь о его матери?

— Чьей?

— Келлера! В прессе про нее много пишут.

Капитан задумывается ненадолго:

— Да как тебе сказать... Не знаю... Говорят, будто она ведет все его дела. И, кажется, это именно она открыла в нем талант и нашла лучших учителей. Шахматы поначалу, когда ты еще ничего собой не представляешь, — дорогое удовольствие. Поездки, отели и прочее... Для этого надо либо иметь деньги, либо уметь их доставать. Судя по всему, это у нее получилось. Да, она занимается всем, руководит всей командой своего Хорхе и следит за его здоровьем. Еще говорят, хоть, наверно, это преувеличение, что она создала его. Не думаю: кто бы и как бы ни помогал, гениальные игроки вроде Келлера создают себя сами.

Следующая встреча произошла на шестой день плавания перед ужином. Макс Коста уже полчаса танцевал с разными дамами, в том числе с американкой, сунувшей ему пять долларов, и с голубоглазой мисс Ханиби, когда Шмюкер торжественно проводил супругу Армандо де Троэйе на ее обычное место. Как и в первый вечер, она пришла одна. Макс, оказавшись возле ее столика — он в эту минуту танцевал с одной из бразильянок, — заметил, что лакей подает ей коктейль с шампанским, а она, вправив сигарету в короткий мраморный мундштук, закуривает. Сегодня вместо жемчужного ожерелья на ней было янтарное. А надела она черное атласное платье с голой спиной, волосы зачесала наверх, по-мужски, и пригладила бриллиантином и сильней, чем обычно, — черным — подвела глаза, придав им легкую раскосость. Макс несколько раз безуспешно пытался перехватить ее взгляд. Наконец он коротко переговорил с музыкантами, и когда те, покладисто кивнув, начали модное в этом сезоне танго «Адьос, мучача», а пары потянулись на площадку, поблагодарил бразильянку, подошел к столику, коротко поклонился и застыл в ожидании, достав из арсенала своих улыбок самую любезную. Меча Инсунса де Троэйе подняла на него глаза, и на миг он решил, что последует отказ. Но вот этот миг истек, и Макс увидел, что она кладет дымящуюся сигарету в пепельницу и поднимается. Ему показалось, что она делает это нестерпимо долго, а движение, которым она опустила левую руку на его правое плечо, — обескураживающе вялым. Но мелодия, дошедшая до самых своих ударных мест, захватила и увлекла обоих, и Макс тотчас понял, что музыка выступает сегодня на его стороне.

И в очередной раз убедился, что танцует она удивительно. Танго требует не стихийности, но четкого замысла, который внушается партнеру и осуществляется мгновенно в мрачном, почти злобном безмолвии. Так и танцевали эти двое, то приникая друг к другу, то отшатываясь, безошибочно угадывая, что сделает партнер в следующий миг, и с такой естественностью двигаясь по площадке в окружении других пар, что те рядом с ними представали беспомощными дилетантами. Макс, как профессионал, отлично знал, что правильное танго невозможно без умелой, вышколенной партнерши, способной приноровиться к этому танцу, где ровный ход перебивается внезапными остановками и кавалер ломает ритм, имитируя — или даже пародируя — схватку, в которой дама, сплетясь с ним в объятии, постоянно пытается убежать — и каждый раз замирает, с горделивым вызовом принимая свое поражение.

Протанцевав два танго подряд — второе называлось «Шампань танго́», — они не обменялись ни единым словом: так полно захватили их музыка и удовольствие от движения. Когда атлас случайно соприкасался с фрачным сукном, Макс не столько ощущал, сколько угадывал близкое тепло, которым веяло от юного разгоряченного тела партнерши, от ее лица и зачесанных наверх волос, от шеи и обнаженной спины. В одной из пауз между танцами они замерли напротив друг друга, слегка задыхаясь от быстрых движений и ожидая, когда вновь заиграет музыка: Меча не выказывала намерения вернуться за стол, а Макс, заметив бисер испарины над ее верхней губой, вытащил один из двух своих платков — не тот, который выглядывал из нагрудного кармана фрака, а другой — безукоризненно отглаженный и сложенный, лежавший в кармане внутреннем, — и с полнейшей естественностью протянул ей. Она приняла квадратик белого батиста, чуть прикоснулась им ко рту и отдала обратно — едва уловимо повлажневший и с легким красным пятнышком посредине. И опять же, вопреки ожиданиям Макса, не пошла к своему столу, чтобы достать из сумки пудреницу. Макс тоже вытер пот с верхней губы и со лба — от взгляда женщины не ускользнуло, что именно в таком порядке, — спрятал платок, и, когда началось второе танго, они начали танцевать так же слаженно, как раньше. Но теперь ее взгляд не блуждал неведомо где; наоборот, останавливаясь после сложного па, получившегося особенно отчетливо и чисто, или перед тем, как выйти из неподвижности и вновь начать движение по площадке, они пристально глядели друг на друга. Был один миг, когда, не доведя до конца движение, Макс замер, застыл сосредоточенно и бесстрастно, и ее тело во всем своем зрелом изяществе неожиданно прильнуло к нему, гибко колеблясь из стороны в сторону и как бы порываясь высвободиться из мужских объятий, а на самом деле не желая этого. Впервые за все то время, что Макс профессионально занимался танцами, он почувствовал искушение вытянуть губы и проскользить ими вдоль этой шеи — девически гладкой, стройной, длинной и благодаря открытому затылку кажущейся еще длиннее. Именно в эту минуту он случайно заметил, что Армандо де Троэйе сидит за столиком — сигарета меж пальцев, нога на ногу — и, внешне безразличный ко всему, очень внимательно наблюдает за ними. А когда перевел взгляд на свою даму, увидел золотистые отблески, которые, казалось, множились, покуда она хранила безмолвие Женщины вечной, не имеющей возраста. Владеющей ключами от всех тайн, непостижимых для мужчины.

Расположенное на корме fumoir-café[[10]](#footnote-10) соединяло прогулочные палубы правого и левого бортов. Когда пассажиры ушли ужинать, Макс Коста направился туда, зная, что в этот час там наверняка почти никого нет. Дежурный официант поставил перед ним украшенную логотипом пароходной компании чашку двойного черного кофе без сахара. Немного ослабив белый галстук и расстегнув тугой крахмальный воротничок, Макс выкурил сигарету у иллюминатора, где за стеклом среди отражений ярких огней, горевших внутри, плавала в ночной черноте луна, заливая светом кормовую надстройку лайнера. По мере того как выходили из ресторана пассажиры, курительный салон постепенно заполнялся, так что Макс вскоре встал и пошел к выходу. В дверях посторонился, пропуская нескольких мужчин с сигарами; среди вошедших был и Армандо де Троэйе — один, без жены. Ее он вскоре увидел на прогулочной палубе левого борта рядом с другими пассажирами первого класса, которые, завернувшись в пледы или надев плащи, принимали воздушные ванны или любовались ночным морем. Было довольно тепло, но океан — впервые с того дня, как вышли из Лиссабона, — погнал белые барашки, и хотя «Кап Полоний» был оснащен новейшими системами курсовой устойчивости, качка стала чувствоваться ощутимо и, судя по возгласам, беспокоить пассажиров. В танцевальном салоне народу собралось гораздо меньше, чем обычно, многие столики пустовали — в том числе и зарезервированный за супругами Троэйе. Кое-кто из пассажиров уже страдал от морской болезни, и потому танцевальный вечер вышел коротким. У Макса было мало работы сегодня, и после всего лишь двух туров вальса он уже освободился.

Отразившись в огромных зеркалах главной лестницы, они встретились у лифта: Макс собирался спуститься в свою каюту во втором классе. Мерседес — в палантине из чернобурки, с парчовой сумочкой в руках — в одиночестве направлялась на прогулочную палубу, и Макса удивило, как уверенно идет она на высоких каблуках по зыбкому настилу: волнение усиливалось, и палубы даже такого огромного корабля, как этот, обрели неприятные свойства замкнутого трехмерного пространства. Оглянувшись, он открыл дверь и держал ее до тех пор, пока женщина не шагнула через порог наружу. Она отозвалась скупым «спасибо», Макс поклонился, закрыл дверь и продолжил путь, успев сделать шагов восемь или десять. И в задумчивости шел все медленнее, а потом и вовсе остановился. Да что за черт, сказал он себе. Попытка не пытка. Отчего бы не попробовать, с должной осторожностью, разумеется.

Он вскоре заметил ее в слабом свете ламп, покрытых густым налетом соли, — она прогуливалась вдоль борта, — и остановился перед ней с самым непринужденным видом. Без сомнения, она искала спасения от морской болезни на свежем воздухе. Пассажиры в большинстве своем, напротив, сутками напролет в лежку лежали в каютах, пав жертвами собственных взбунтовавшихся желудков. На миг Макс испугался, что она пройдет мимо, сделав вид, что не заметила его. Опасения его оказались напрасны. Некоторое время она глядела на него, стоя молча и неподвижно. Потом неожиданно произнесла:

— Это было приятно.

С собственным замешательством ему удалось справиться не сразу.

— И мне тоже, — выговорил он наконец.

Женщина продолжала смотреть на него. И то, как она смотрела, вернее всего было бы определить как «с любопытством».

— Вы давно занимаетесь этим профессионально?

— Пять лет. Но с перерывами. Эта работа...

— Доставляет удовольствие? — перебила она.

Теперь, стараясь попадать в такт, они снова шли по медленно раскачивающейся палубе. Порою натыкались на темные бесформенные силуэты или даже могли различить лица редких пассажиров. Когда Макс оказывался на неосвещенных участках, становились видны лишь белые пятна пластрона, фрачного жилета и галстука, накрахмаленных манжет, выглядывавших из рукавов ровно на полтора дюйма, да платочек в верхнем кармане.

— Я не это хотел сказать, — мягко улыбнулся он. — Совсем не это. Это работа временная, скорее даже случайная. Помогает кое в чем.

— В чем же, например?

— Ну... Как видите, дает возможность путешествовать.

Оказавшись в эту минуту под фонарем, он убедился, что теперь улыбается она, причем одобрительно.

— Больно уж хорошо вы справляетесь с этой случайной работой.

Макс пожал плечами.

— В первые годы я работал более или менее постоянно.

— Где же?

Макс решил не раскрывать весь свой послужной список. Кое-какие пункты огласке не предавать, а приберечь исключительно для себя. Китайский квартал в Барселоне или, например, старый марсельский порт. Или имя той венгерской танцовщицы, что брила себе ноги, распевая «La Petite Tonquinoise»,[[11]](#footnote-11) и питала пристрастие к юнцам, порой просыпавшимся посреди ночи в холодном поту — в кошмарных снах им виделось, что они по-прежнему в Марокко.

— Зимой — в хороших парижских отелях, — сказал он вслух. — В пик сезона — Биарриц и Лазурный Берег... Одно время работал в кабаре на Монмартре.

— Да? — переспросила она не без интереса. — Мы не могли с вами где-то пересечься?

— Нет, — улыбнулся он уверенно. — Не могли. Я бы запомнил.

— Так что вы хотели мне сказать? — спросила она.

Он не сразу понял, что она имеет в виду. Но потом сообразил: после того как они встретились внутри, он вышел следом за ней на прогулочную палубу и молча, без объяснений заступил дорогу.

— Что никогда и ни с кем у меня не бывало такого идеального танго.

Ее молчание длилось секунды три-четыре. Можно было понять его так, что она польщена. Потом остановилась под укрепленным на переборке фонарем и в его помутнелом от соли свете взглянула на Макса:

— В самом деле? Вот ведь... Что ж, спасибо, вы очень любезны, сеньор... Макс, кажется?

— Да.

— Спасибо, сеньор Макс, за комплимент.

— Это не комплимент. И вы сами это знаете.

Она рассмеялась — открыто и чистосердечно. Как накануне вечером, когда он в шутку предположил, что ей пятнадцать лет.

— Мой муж — композитор. Так что в музыке и танце я разбираюсь. Но вы, должна признать, исключительный партнер. Вам так легко повиноваться.

— Но ведь вы не повинуетесь. Вы танцуете сами. Поверьте моему опыту.

Она задумчиво кивнула:

— Да. Опыт у вас есть, судя по всему.

Макс оперся о влажный планшир. Подошвами он ощущал, как качающейся палубе передаются содрогания машины во чреве корабля.

— Не угодно ли сигарету?

— Нет, спасибо, сейчас не хочу.

— А вы не будете возражать, если я закурю?

— Пожалуйста.

Из внутреннего кармана он извлек портсигар, достал сигарету, зажал ее в зубах. Женщина следила за его движениями.

— Египетские? — спросила она.

— Нет, турецкие. «Абдул-паша». С медом и опием.

— Тогда угостите.

С коробком спичек в руке он наклонился к ней и, держа меж ладоней, поднес огонек к кончику ее сигареты, уже вправленной в мраморный мундштучок. Потом прикурил сам. Ветер тотчас развеял дым, не дав прочувствовать его запах и вкус. Максу показалось, что женщина зябко вздрогнула под своим палантином. Он показал на дверь находившегося рядом «пальмового салона», как называлось на лайнере нечто вроде зимнего сада — просторного, двусветного, обставленного плетеными креслами, низкими столиками и кадками с цветами.

— Профессионально заниматься танцами... — сказала она, когда они вошли туда. — Забавно... для мужчины.

— Я не вижу особой разницы, мужчина этим занимается или женщина. И мы, как видите, делаем это для заработка. Танцы вовсе не всегда увлечение или развлечение.

— А правду ли говорят, что характер женщины проявляется в том, как она танцует? И тут уж не притворишься?

— Да, бывает... Но, впрочем, так же, как и мужчины.

Салон был пуст. Мерседес села, небрежно сбросив с плеч палантин и глядясь в золотую, отполированную крышечку vanity-box,[[12]](#footnote-12) которую достала из сумки, провела по губам бледно-красной «Тэнджи». Припомаженные, поднятые кверху волосы придавали чертам лица какую-то юношескую резкость, а с нею — и порочную прелесть двуполого существа, но черный атлас платья выгодно, как отметил Макс, обрисовывал женственные очертания фигуры. Перехватив его взгляд, она закинула ногу на ногу и стала слегка покачивать ею. Правый локоть уперла в поручень кресла, а в левой руке между указательным и безымянным пальцами с длинными выхоленными ногтями, покрытыми лаком точно того же оттенка, что губная помада, держала сигарету. И время от времени роняла с нее пепел на пол так, словно пепельниц, подумал Макс, в природе не существовало.

— Я хотела сказать — забавно наблюдать вблизи и своими глазами человека вашего ремесла. Вы первый из ваших коллег, кому я сказала что-нибудь, кроме «спасибо» и «до свиданья».

Макс принес ей пепельницу и остался на ногах, сунув правую руку в карман. Он тоже курил.

— Мне бы хотелось потанцевать с вами.

— И мне. Я бы охотно сделала это, если бы оркестр еще играл и в салоне были люди.

— Ничто не мешает нам потанцевать прямо сейчас.

— Простите?

Она смотрела в его улыбающееся лицо так, словно услышала нечто крайне неуместное. Но Макс продолжал безмятежно улыбаться. «Ты славный парень, — говорили ему венгерка и Борис Долгорукий — говорили не сговариваясь, потому что не подозревали о существовании друг друга. — Когда ты так улыбаешься, Макс, никто не усомнится, что ты — очень славный парень. Постарайся извлечь из этого пользу для себя».

— Уверен, что вы сможете вообразить себе музыку.

Она в очередной раз стряхнула пепел на пол.

— Отважный вы человек.

— Сможете?

Теперь черед улыбнуться — и с оттенком вызова — пришел женщине.

— Ну конечно, смогу, — она выпустила дым. — Я замужем за композитором, не забывайте. И музыка у меня в голове.

— Как насчет «Дурной компании»? Знаете это?

— Прекрасно.

Макс потушил сигарету и одернул смокинг. Она еще мгновение сидела неподвижно: улыбка ее исчезла; еще какое-то время смотрела на него задумчиво снизу вверх, словно желая убедиться, что он не шутит. Потом положила в пепельницу свой мундштук с ободком губной помады на конце, медленно поднялась и, глядя Максу прямо в глаза, опустила левую руку ему на плечо, пальцы правой вложила в его выжидающе протянутую ладонь. Постояла так, выпрямившись, очень спокойная и серьезная, пока Макс, дважды слегка сжав ее пальцы, чтобы обозначить первый такт, не отклонил корпус чуть вбок, выставил вперед правую ногу — и они, обнявшись и не сводя друг с друга глаз, пошли в танце между плетеными креслами и цветочными горшками «пальмового салона».

Из транзисторного «Маркони» в белом пластиковом корпусе несется твист в исполнении Риты Павоне. В открытое окно своей комнаты на вилле «Ориана» Макс видит меж садовых пальм и пиний с широкими кронами панораму Неаполитанского залива: на кобальтово-синем фоне темнеет вдалеке конус Везувия; линия побережья тянется вправо до самого Скутоло; Сорренто примостился на краю крутого скалистого откоса; два причала — каменные волнорезы, лодки, вытащенные на берег или покачивающиеся на якорях невдалеке. Шофер доктора Хугентоблера довольно долго стоит в задумчивости, не сводя глаз с этого пейзажа. После завтрака на тихой кухне он надолго застывает у окна, прикидывая, насколько возможен и вероятен замысел, который всю ночь не давал ему спать, заставляя ворочаться с боку на бок и, вопреки ожиданиям, не оставил в покое даже при свете дня.

Но вот наконец Макс приходит в себя и делает несколько шагов по своей скромной комнате — угловой, на первом этаже виллы. Потом, бросив прощальный взгляд на Сорренто, идет в ванную, холодной водой освежает лицо. Вытираясь, разглядывает себя в зеркале — разглядывает долго, дотошно и придирчиво, будто желая проверить, далеко ли продвинулась старость с прошлого раза. Будто ища черты ушедшего давно и далеко. Невесело созерцает серебристую, уже чуть поредевшую шевелюру, кожу, протравленную временем и жизнью, морщины на лбу и в углах рта, пробившиеся за ночь на подбородке седые щетинки, набрякшие веки, гасящие живость взгляда. Потом ощупывает поясницу — все больше дырочек на ремне, все дальше они от пряжки — и недовольно качает головой. Лишних килограммов могло бы быть поменьше. Как и лет за плечами.

Он выходит в коридор и, минуя двери, ведущие в подземный гараж, направляется прямо в гостиную. Там все прибрано и вычищено, мебель упрятана в белые холщовые чехлы. Супруги Ланца проводят отпуск в своем Салерно. И это означает полнейшие покой и праздность: всех обязанностей у него — сторожить виллу, пересылать срочную корреспонденцию, содержать в исправности и готовности хозяйские «Ягуар», «Роллс-Ройс» и три антикварных автомобиля.

Медленно и все еще задумчиво Макс подходит ко встроенному бару, открывает дверцу и на палец от дна наполняет резной хрустальный стакан «Реми Мартен». Морща лоб, пьет маленькими глотками. Обычно он крайне воздержан. И почти всю жизнь, включая даже самые суровые и трудные годы, был умерен в питье — лучше даже сказать, «благоразумен» или «осторожен» — и умел превратить спиртное, выпитое им самим или другими, не в непредсказуемого врага, но в полезного союзника, в профессиональный инструмент, совершенно необходимый при его сомнительном занятии — вернее, при всем многообразии его сомнительных занятий — и столь же действенный, как улыбка, удар или поцелуй. Однако в последнее время, когда впереди все отчетливей вырисовывается конец пути, стал ценить небольшие дозы алкоголя — стакан вина, рюмка вермута, порция хорошо сбитого негрони, — способного подхлестнуть сердце и мысли.

Допив коньяк, Макс бесцельно бродит по пустому дому. И по-прежнему прокручивает в голове то, что всю ночь не давало ему уснуть. По радио — он так и не выключил его и оставил в глубине коридора — женщина просит «Resta cu même»[[13]](#footnote-13) так, словно и впрямь страдает в разлуке. Макс на минуту заслушивается песней. Потом возвращается к себе, выдвигает ящик, где хранится его чековая книжка, проверяет состояние счета. Свои весьма ограниченные средства. Хватит в обрез, чтобы осуществить задуманное, прикидывает он. Взбодрившись, открывает шкаф и производит смотр гардероба, воображая вполне предсказуемые ситуации, а потом отправляется в главную на этой вилле спальню. Он и сам не замечает, что движется легко и свободно, и шаг его так же упруг и уверен, как много лет назад, когда мир был всего лишь опасным завораживающим приключением, нескончаемой чередой испытаний для его выдержки, ума, ловкости. Но вот решение принято, и стало легче: прошлое сплетается с настоящим в удивительную арабеску, и все предстает в обманчивой простоте. В спальне доктора Хугентоблера мебель и кровать — в чехлах, сквозь задернутые шторы просачивается золотистое сияние. Когда Макс раздвигает их, поток света заливает комнату, а за окном открывается залив, деревья, соседние виллы, лепящиеся по склонам. Он подходит к шкафу, снимает с верхней полки чемодан от Гуччи, кладет его на кровать, а потом, повернувшись и подбоченясь, оглядывает богатый выбор, предоставляемый хозяйским гардеробом. У доктора Хугентоблера примерно тот же размер воротника и объем груди, так что Макс набирает полдюжины шелковых сорочек и два пиджака. Размеры обуви и брюк не совпадают — он выше ростом, — и потому, делать нечего, придется зайти в дорогие магазины на Корсо Италия, а вот новый ремень хорошей кожи и пар шесть трусов неброских тонов летят в чемодан. Окинув шкаф прощальным взглядом, добавляет два шелковых шейных платка, три красивых галстука, золотые запонки, зажигалку «Дюпон» — хоть давно уже бросил курить — и часы «Омега Симастер Девиль», тоже золотые. С чемоданом в руке возвращается к себе в комнату. Теперь по радио Доменико Модуньо поет «Vecchio frac». Старый фрак. Забавное совпадение, думает Макс, улыбаясь. Это можно счесть добрым предзнаменованием.

## 2. Танго страдательные и танго убийственные

— Ты что, рехнулся?

Тициано Спадаро, портье отеля «Виттория», перегибается через стойку, чтобы взглянуть на чемодан, который Макс опустил на пол. Потом оглядывает визитера с ног до головы: коричневые сафьяновые туфли, серые фланелевые брюки, голубая шелковая сорочка, шейный платок, темно-синий блейзер.

— Даже и не думал, — отвечает новоприбывший с полнейшим хладнокровием. — Мне всего лишь хочется на несколько дней сменить обстановку.

Спадаро в задумчивости проводит рукой по лысине. Подозрительно вглядывается в Макса, ища подвох или потаенные намерения. Опасные вторые смыслы.

— А ты помнишь, сколько стоит у нас номер?

— Помню, конечно. Двести тысяч лир в неделю. И что с того?

— Мест нет. Наплыв, я же тебе говорил.

Улыбка, которой одаривает его Макс, исполнена дружелюбия и уверенности. В ней — внятный отзвук былой верности и высшей доверительности.

— Тициано... Я сорок лет живу в отелях. Не может быть, чтобы не нашлось чего-нибудь подходящего.

Спадаро вновь опускает взгляд к стойке лакированного красного дерева, на которую опирается обеими руками. К тому месту, что оказалось между его ладонями и куда Макс только что положил десять десятитысячных купюр в конверте. Портье отеля «Виттория» глядит на него пытливо, как игрок в баккара — на сданные ему карты, которые не решается открыть. Наконец одна рука, левая, медленно сдвигается, и указательный палец дотрагивается до конверта.

— Позвони мне попозже. Посмотрим, что можно будет сделать.

Максу нравится это движение — конверт потрогали, но не открыли. Старый шифр.

— Нет, — отвечает он мягко. — Сейчас надо решить.

Мимо проходит несколько постояльцев, и оба замолкают. Портье оглядывает вестибюль: ни на лестнице, ведущей в номера, ни у стеклянной двери в зимний сад, откуда доносится рокот голосов, никого нет, а помощник занят своим делом — раскладывает ключи по ячейкам.

— Я думал, ты завязал, — говорит Тициано вполголоса.

— Так и есть. Я ведь так тебе и сказал в прошлый раз. Просто желаю провести отпуск, как в прежние времена. Чтобы ледяное шампанское и приятный вид из окна.

Спадаро снова обводит испытующим взглядом сперва чемодан, а потом элегантный наряд собеседника. Через окно он видит и «Роллс-Ройс», припаркованный у лестницы, спускающейся к входу в отель.

— Хорошо, наверно, идут у тебя дела в Сорренто...

— Замечательно идут, как видишь.

— Вот так вдруг взяли — и пошли?

— Именно. Так вот вдруг.

— А твой патрон с виллы «Ориана»?

— О нем как-нибудь в другой раз.

Спадаро снова потирает ладонью лысину — прикидывает и оценивает. За долгую службу чутье у него развилось как у легавой, тем более что конверт на стойку перед ним Макс кладет не впервые. В последний раз это было десять лет назад, когда портье еще работал в неаполитанском отеле «Везувий». Из номера немолодой киноактрисы Сильвии Массари — смежного с тем, куда стараниями Спадаро вселился Макс, — пропало дорогое колье. Это прискорбное происшествие случилось, когда он завтракал на террасе с актрисой, всю ночь и целое утро предававшейся с ним осенней, но все еще бурной страсти и на несколько минут, ненадолго лишив себя прекрасного вида на залив и нежного взгляда спутницы, отлучился из-за стола — вымыть, как он сказал, руки. Ей, разумеется, и в голову не пришло его заподозрить: слишком уж ласково он на нее смотрел, слишком пленительно улыбался и так искренне проявлял свою нежность. Кончилось тем, что в краже обвинили горничную: ее допросили, доказать ничего не смогли, но уволили. Уверенность актрисы в том, что Макс непричастен, решила дело, а когда он расплатился по счету и покинул отель, с повадкой истинного джентльмена раздав чаевые, Тициано Спадаро получил примерно такой же конверт, как тот, что сейчас лежит перед ним, — ну, может быть, чуть более объемистый.

— Вот не знал, что ты любитель шахмат.

— Не знал? — Из старого репертуара улыбок извлекается одна из самых отборных — широкая и белозубая. — Ну-у... Меня всегда интересовала эта игра. Опять же, общество собирается любопытное. И единственная возможность посмотреть на гроссмейстеров. Все лучше, чем футбол.

— Что ты затеваешь, Макс?

Тот невозмутимо выдерживает испытующий взгляд.

— Ничего такого, что грозило бы твоей скорой пенсии. Даю тебе слово. А ты знаешь — слово свое я держу.

Следует долгая, задумчивая пауза. Меж бровей у Спадаро появляется глубокая вертикальная складка.

— Это правда, — соглашается он наконец.

— Отрадно, что помнишь.

Портье рассматривает пуговицы своей тужурки и задумчиво стряхивает с них воображаемые пылинки.

— Полиция увидит твой формуляр...

— Ну и что с того? В Италии за мной ничего нет. И потом, к полиции это не будет иметь никакого касательства.

— Послушай... Не поздно ли тебе снова браться за такие дела? Да и мне тоже. Вспомни, сколько тебе лет.

Макс с прежним бесстрастием смотрит на портье. А тот — на так и не вскрытый конверт, лежащий на лакированном дереве стойки.

— Сколько дней?

— Не знаю... — Макс беспечно пожимает плечами. — Недели хватит, я полагаю.

— Полагаешь?

— Хватит.

Спадаро прижимает конверт пальцем. Потом со вздохом медленно открывает регистрационную книгу.

— Пока могу оформить только на неделю. Дальше посмотрим.

— Идет.

Спадаро ладонью трижды хлопает по шпеньку гонга, зовя боя.

— Номер маленький, одиночный, вида никакого. Завтрак не включен.

Макс достает документы из кармана пиджака. Кладет их на стойку и видит, что конверт уже исчез.

Макс удивился, увидев Армандо де Троэйе в баре второго класса. Было позднее утро, и Макс сидел за аперитивом — стаканом абсента с водой и оливками — у широкого сплошного окна, выходившего на прогулочную палубу левого борта. Ему нравилось это место, потому что оттуда отлично просматривался весь салон — с плетеными креслами вместо удобных диванов красной кожи, как в первом классе, — и можно было любоваться морем. Погода по-прежнему стояла хорошая, солнце сияло целый день, а ночью небо было чистым. Двое суток изнурительной качки остались позади, и пассажиры могли передвигаться уверенней и глядеть друг на друга, а не зависеть от того, какое положение примет палуба. Так или иначе, Макс, пересекавший Атлантику в пятый раз, не помнил более спокойного и приятного плавания.

За соседними столами посетители — почти исключительно мужчины — играли в карты, в нарды или в шахматы. Максу, который сам играл лишь изредка и лишь наверняка — даже во время службы в Марокко он не пристрастился к азартным играм, — нравилось тем не менее наблюдать за профессионалами, в изобилии водившимися на трансатлантических рейсах. Уловки, хитрости, простодушие, те или иные реакции игроков, разные манеры поведения, столь наглядно и подробно показывающие всю многообразную сложность рода человеческого, — все это было превосходной школой для всякого, кто умел взглянуть на это под нужным углом, и Макс почерпнул у них множество полезных навыков и познаний. Как и на всех лайнерах, на «Кап Полонии» в первом, во втором и даже в третьем классе тоже работали шулера. Команда, разумеется, была в курсе дела: и судовой комиссар, и метрдотели, и распорядители знали их в лицо, исподволь следили за ними и подчеркивали их имена в списке пассажиров. Макс, еще служа на «Кап Арконе», познакомился с легендарным игроком по имени Бреретон, о котором рассказывали, что будто бы долгую партию в бридж, шедшую в курительном салоне первого класса на «Титанике», он не прерывал, пока не выиграл, и лишь когда пароход уже погружался в ледяные воды Северной Атлантики, бросился за борт, успев доплыть до последней спасательной шлюпки.

Когда в то утро в салон-бар второго класса вошел Армандо де Троэйе, Макс удивился, потому что нарушать границы, установленные для каждой категории пассажиров, было не принято. Еще сильнее он удивился, когда знаменитый композитор — в пиджаке «норфолк»,[[14]](#footnote-14) в жилете, пересеченном часовой цепочкой, в брюках-гольф и дорожной кепке — остановился в дверях, оглядел помещение и, заметив Макса, прямо направился к нему с дружелюбной улыбкой и занял соседнее кресло.

— Что пьете? — спросил он, жестом подзывая лакея. — Абсент? Нет, для меня, пожалуй, чересчур крепко... Лучше вермута.

Когда лакей в красной курточке принес заказ, Армандо де Троэйе прежде всего наговорил Максу комплиментов по поводу его танцевального мастерства, а потом повел легкую светскую — сообразно обстоятельствам — беседу о лайнерах, музыке и профессиональных танцах. Композитор, сочинивший «Ноктюрны» — помимо прочих произведений, принесших ему славу, — «Скарамуша» или балета «Пасодобль для Дон Кихота», с огромным успехом поставленного Дягилевым, — был, как убедился Макс, человеком уверенным в себе, твердо знающим, кто он такой и что собой представляет. И хотя здесь, в баре второго класса, он не оставлял свою элегантную манеру легкого превосходства — маэстро, стоящий на вершине музыкального Олимпа, снисходит до разговора с жалким поденщиком, пребывающим у самого ее подножья, — было видно, что он очень старается быть любезным. И все же, ясно обозначая дистанцию, держался совсем не так надменно и небрежно, как в предыдущие дни, когда Макс танцевал с его женой.

— Поверьте, я следил за вами очень внимательно. Превосходно двигаетесь.

— Спасибо, но вы, право, преувеличиваете, — учтиво полуулыбнулся в ответ Макс. — В нашем деле многое зависит от партнерши... Вот ваша супруга танцует в самом деле великолепно, что вы, разумеется, и сами знаете.

— Разумеется. Редкостная женщина, что говорить... Но все же инициатива — за вами. Вы пролагаете путь, вы ставите вехи. Такое экспромтом не сделаешь. — Поставленный лакеем на стол бокал Армандо де Троэйе посмотрел на свет, словно сомневаясь, что во втором классе подадут что-нибудь пристойное. — Вы позволите задать вам профессиональный вопрос?

— Прошу вас.

Осторожный глоток. Губы под тонкими усами удовлетворенно поджались.

— Где вы научились так танцевать танго?

— Я родился в Буэнос-Айресе.

— Да? Удивительно. — Армандо де Троэйе сделал еще глоток. — Выговор не чувствуется.

— Я не очень долго прожил там. Отец мой, родом из Астурии, эмигрировал в девяностые... Не преуспел, вернулся в Испанию больным и вскоре умер. Но успел перед этим жениться на итальянке, произвести на свет нескольких детей и вывезти нас всех с собой.

Композитор подался вперед, опираясь о плетеные подлокотники.

— И сколько же вы там прожили?

— До четырнадцати лет.

— Это все объясняет... Потому у вас и получается настоящее танго. Чему вы улыбаетесь?

Макс пожал плечами и ответил чистосердечно:

— Потому что нет в них ничего настоящего. Истинное танго — это нечто совсем другое.

Непритворное удивление — или ему показалось? Может быть, это всего лишь привитое воспитанием внимание к собеседнику? Стакан остановился на полпути от стола ко рту.

— Вот как? И какое же оно?

— В исполнении народных музыкантов — стремительное. И если определить одним словом — скорее сладострастное, нежели элегантное. В нем больше лихости, удали... это танец проституток и воров.

Де Троэйе рассмеялся:

— Кое-где у нас такое тоже бывает.

— Не вполне. Оригинальное танго сильно изменилось, особенно когда лет десять-пятнадцать назад вошло в моду в Париже после «балов апашей»... И стиль подонков общества подхватили порядочные люди. Потом танго, уже офранцузившись, вернулось в Аргентину, стало утонченным и почти респектабельным... — Макс снова пожал плечами, допил абсент и взглянул на композитора, дружески ему улыбавшегося. — Полагаю, объяснил?

— Конечно. Очень интересно. Признаюсь, сеньор Коста, вы для меня — приятная неожиданность.

Макс не помнил, чтобы называл свою фамилию ему или его жене. Вероятно, Армандо де Троэйе наткнулся на нее в списках персонала. Или искал и нашел. Он на миг задумался об этом, но погружаться в размышления не стал, а вновь принялся утолять любопытство собеседника. В подражание парижанам танго привилось и в высшем аргентинском обществе, прежде считавшем его аморальным и безнравственным. Танец перестал быть прерогативой сброда с окраин и переместился в бальные залы. Впрочем, и сегодня настоящее танго — то, которое танцуют в Буэнос-Айресе воры, бандиты и всякого рода темные личности, — существует как бы подпольно: барышни из хороших семей играют его тайком, по нотам, раздобытым для них братьями-шалопаями и женихами-полуночниками.

— Но вы-то ведь, — возразил Армандо де Троэйе, — танцуете современное танго?

При слове «современное» Макс улыбнулся.

— Ну конечно. То, что востребовано. Впрочем, это то, что я умею. Старое танго, которое в ходу в Буэнос-Айресе, я выучить не успел — был еще слишком мал. Только видел несколько раз, как его исполняют. Забавно, что этому танго я научился в Париже.

— Как же вы там оказались?

— Это долгая история. Боюсь вас утомить.

Де Троэйе подозвал официанта и, не обращая внимания на возражения Макса, заказал еще по порции. Было похоже, что он привык поступать так, ни с кем не советуясь. Он принадлежал или хотел показать, что принадлежит, к той категории людей, что ведут себя по-хозяйски даже за чужим столом.

— Утомить? Вот еще... Нисколько. Вы даже представить себе не можете, до чего мне интересно то, что вы рассказываете. Неужели до сих пор в Буэнос-Айресе танцуют старинное танго?.. Чистое, так сказать, танго?

Макс после секундного размышления с сомнением покачал головой:

— Нет. Чистого не найти нигде. Но кое-где танцуют нечто подобное... Не в модных салонах, разумеется.

Он взглянул на руки собеседника. Крепкие, широкие кисти. Ни малейшего изящества, казалось бы, присущего рукам знаменитого музыканта. Коротко остриженные отполированные ногти. На безымянном пальце над обручальным кольцом — золотой перстень с синим камнем.

— У меня к вам просьба, сеньор Коста... Это очень важно для меня.

Подали абсент и вермут. Макс не прикоснулся к своему бокалу. Де Троэйе улыбался дружелюбно и уверенно.

— Я хотел бы пригласить вас отобедать, — продолжал он, — с тем чтобы можно было обсудить все подробно.

Макс сумел скрыть удивление под извиняющейся улыбкой:

— Благодарю вас, но я не имею права появляться в ресторане первого класса. Персонал туда не допускают.

— Да, верно... — Композитор сморщил лоб, словно прикидывая, до какой степени позволительно ему нарушать нормы, установленные на борту лайнера. — Неприятное обстоятельство. Хотя мы могли бы устроиться во втором классе... А впрочем, есть идея получше. Мы с женой занимаем suite — там две соединенные между собой каюты, — и прекраснейшим образом можно накрыть стол на троих. Окажете нам честь?

Макс, все еще в растерянности, отвечал с запинкой:

— Вы очень любезны... Но я, право, не знаю, могу ли...

— Не беспокойтесь. Я сам переговорю с суперкарго и все улажу. — Композитор сделал последний глоток и твердо, с легким стуком, словно припечатав сказанное, поставил бокал на стол. — Итак, вы согласны?

Теперь Макса останавливала только простая осторожность. Ничего опасного это предложение в себе не заключало. А если все же заключало? Ему требовались время и толика новых сведений, чтобы взвесить все «за» и «против». Ведь Армандо де Троэйе ввел в игру новый и совершенно неожиданный элемент.

— Но как отнесется к этому ваша супруга? — спросил Макс.

— Меча будет в восторге, — снова припечатал композитор, движением бровей потребовав у официанта счет. — Она уверяет, что танцора, равного вам, никогда еще не встречала. Так что вы и ей тоже доставите удовольствие.

Не взглянув на счет, он поставил на нем подпись и номер каюты, положил на поднос банкноту, чаевые, и встал из-за стола. Повинуясь рефлексу учтивости, Макс тоже хотел подняться, но де Троэйе, опустив ему руку на плечо, удержал. Рука оказалась крепче, чем можно было ожидать от музыканта.

— Я некоторым образом хотел посоветоваться с вами, — тут он за цепочку вытянул из жилетного кармана золотые часы, небрежно скользнул по ним взглядом. — Итак, в полдень? Каюта 3-А. Мы ждем вас.

С этими словами он вышел, не дожидаясь ответа и считая само собой разумеющимся, что приглашение принято. И после того, как Армандо де Троэйе покинул бар, Макс еще некоторое время смотрел ему вслед. И раздумывал о том, какой непредвиденный оборот приняли или могут принять события, развития которых он ожидал в ближайшие дни. И в конце концов пришел к выводу, что открываются перспективы новые, нежданные и более обнадеживающие, нежели можно было предположить ранее. Дойдя в своих размышлениях до этого пункта, он насыпал сахар горкой в ложечку, положенную на бокал с абсентом, и тоненькой струйкой пустил сверху воду, глядя, как сахар исчезает в зеленой жидкости. И, поднося бокал к губам, улыбнулся самому себе. На этот раз жгучий и сладкий вкус не напомнил ему ни капрала Бориса Долгорукого-Багратиона, ни трущобы Марокко. Его мысли занимало жемчужное ожерелье, под огнями люстр сверкавшее и переливавшееся на груди Мечи Инсунсы де Троэйе. И линия ее обнаженной шеи, стройно вознесенной от плеч к затылку. Ему захотелось засвистать танго, и он почти уже сделал это, но вовремя вспомнил, где находится. Когда же поднялся из-за столика, вкус абсента во рту стал сладостен, как предощущение женщины и приключения.

Портье Спадаро слукавил: номер и вправду мал, из мебели только старинный зеркальный шкаф, бюро да узкая кровать; ванная и вовсе убогая. Слукавил насчет вида — в единственное окно, выходящее на запад, видны часть Сорренто над Марина-Гранде, густая зелень парка, виллы, стоящие на крутом гористом склоне мыса Капо. И когда Макс отворяет обе створки и, ослепленный светом, выглядывает наружу, то различает даже часть залива с расплывающимся вдалеке островом Искья.

После ванны, набросив на голое тело белый махровый халат с вышитым на груди логотипом отеля, шофер доктора Хугентоблера разглядывает себя в зеркало. Придирчивый взгляд, обостренный профессиональной привычкой изучать особей рода человеческого — от этого зависит успех или провал его начинаний, — медленно скользит по застывшему перед зеркалом старику, который всматривается в собственные мокрые седые волосы, морщины, усталые глаза. Все еще ничего себе, делает он вывод: если снисходительно отнестись к ущербу, который в таком возрасте обычно наносится внешности мужчины. Следы убытков, поражений, упадка. Невосполнимых потерь. В поисках утешения он ощупывает себя под халатом: несомненно, отяжелел и раздался в поясе, но талия все же сохраняет пристойный объем, фигура — былую стать, глаза — живой блеск, а осанка подтверждает, что упадок, годы неудач и безнадежности так и не смогли согнуть его. В доказательство Макс, как актер, отрабатывающий трудный кусок роли, несколько раз подряд улыбается в зеркало старого шкафа, и эти внезапно вспыхивающие улыбки, которые совсем не кажутся заготовленными заранее, освещают лицо: оно привлекательно, располагает к себе и, как золото убедительным знаком высокой пробы, отмечено даром внушать доверие. Так он стоит неподвижно еще секунду, и улыбка очень медленно, будто сама собой, гаснет у него на губах. Потом берет гребешок с бюро и на свой прежний манер зачесывает волосы назад, прочерчивая слева и очень высоко безупречно ровный пробор. Критическим оком окинув результат, приходит к заключению, что все еще не утратил былую элегантность повадки. Или может не утратить, если постарается. Все еще сквозят и подразумеваются навыки хорошего воспитания, которые в былые годы нетрудно было выдать и за приметы хорошей породы: годами, привычкой, необходимостью и талантом навыки эти отшлифованы до такого блеска, что в нем давным-давно исчез даже малейший след первоначального обмана. Все еще угадываются следы прежней притягательной силы, позволявшей ему когда-то с дерзкой самоуверенностью промышлять в краях неведомых — если не враждебных. Пускать там корни и даже процветать. По крайней мере, до совсем еще недавних пор.

Макс сбрасывает халат и, насвистывая «Вернись в Сорренто», начинает одеваться с медлительной взыскательностью былых времен, когда сборы — рутинный ритуал выбора: как именно заломить шляпу, каким узлом завязать галстук, каким из пяти способов разместить белый платочек в верхнем кармане пиджака — заставляли его в хорошие минуты, когда верится в свои силы и в свою удачу, чувствовать себя воином, надевающим доспехи перед битвой. И это вот смутное дуновение былого, знакомый аромат ожидания и неизбежности схватки тешит его оживающую гордыню, меж тем как он натягивает хлопчатобумажные трусы, серые носки — это требует известных усилий и, чтобы не сгибаться, ему приходится сесть на кровать, — сорочку, ведущую происхождение от гардероба доктора Хугентоблера и потому чуть широковатую в талии. В последние годы носят обтягивающие пиджаки, расклешенные брюки, приталенные блейзеры и рубашки, но Макс не в состоянии следовать моде, тем более что ему нравится классический покрой бледно-голубой «Sir Bonser» с воротником «баттон-даун» — и она, как и все прочее, сидит так, будто сшита по мерке. Прежде чем застегнуться, Макс останавливает взгляд на звездчатом, диаметром около дюйма, шраме на левой стороне груди, чуть ниже ребер — это память о пуле, которая 2 ноября 1921 года в марокканском городке Тахуда задела легкое, уложила на койку в госпитале Мелильи и оборвала недолгую военную карьеру Макса Косты: за пять месяцев до этого под этим именем, навсегда сменившим прежнее — Максимо Ковас Лауро, — его зачислили в 13-ю роту первого батальона Иностранного легиона.

Танго, пояснил Макс, это слияние нескольких элементов — андалузского танца, хабанеры, милонги и безымянной пляски чернокожих рабов. Гаучо-креолы, со своими гитарами все ближе подступая к кабакам, тавернам и притонам на окраинах и в предместьях Буэнос-Айреса, освоили и милонгу-песню, а вслед за тем — и танго, начинавшееся как милонга-танец. Важный вклад внесли и негритянские музыка и пляски, потому что в ту эпоху пары танцевали не в обнимку, но лишь соприкасаясь друг с другом. Это позволяло выполнять фигуры, как бесхитростные, так и замысловатые, с большей свободой, чем теперь.

— Негритянское танго? — Армандо де Троэйе, казалось, был по-настоящему удивлен. — Я не знал, что там были чернокожие.

— Были. Бывшие рабы, разумеется. К концу века очень многих скосила желтая лихорадка.

Все трое сидели за столом, накрытым в двойной каюте первого класса. Здесь пахло хорошей кожей чемоданов и саквояжей, одеколоном и скипидаром. В широком иллюминаторе виднелась тихая синева океана. Макс — в сером костюме, в сорочке с мягким воротником и клетчатом шотландском галстуке — в две минуты первого постучал в дверь каюты, и в первые несколько секунд ему показалось, что в ее обширном пространстве композитор находится один, да и за обедом — консоме со сладким перцем, лангуст под майонезом и сильно охлажденный рейнвейн — разговор вел он: рассказав несколько забавных случаев из своей жизни, принялся расспрашивать гостя о его детстве в Буэнос-Айресе, о возвращении в Европу, о карьере профессионального увеселителя, протекавшей в фешенебельных отелях, на курортах и на трансатлантических лайнерах. Макс, осмотрительный, как всегда, если дело касалось его биографии, ограничивался краткими репликами и хорошо продуманными туманностями. Под занавес, когда закурили за кофе с коньяком, он по просьбе де Троэйе вновь заговорил о танго.

— Белые, — продолжал Макс, — которые поначалу только наблюдали за неграми, потом приспособили их танец под свои вкусы, замедлив темп там, где не способны были его выдерживать, и добавив еще фигуры вальса, хабанеры и мазурки... Следует учесть, что танго было тогда не просто музыкой, но еще и манерой танцевать. И прикасаться к партнеру.

Пока он говорил, деликатно опираясь о край стола одними запястьями в обрамлении белых манжет с серебряными запонками, глаза его несколько раз встретились с глазами Мечи Инсунсы. Жена композитора почти весь обед слушала молча, в разговор не вмешивалась и лишь изредка позволяла себе сделать беглое замечание или вскользь задать вопрос, с учтивым вниманием ожидая ответа.

— Танго, когда за него взялись итальянцы и другие выходцы из Европы, сделалось более медленным и упорядоченным, хотя шпана из предместий и с окраин усвоила манеру чернокожих, — продолжал Макс. — Когда его танцуют «верной дорогой», как принято выражаться там, где оно родилось, кавалер резко останавливается сам и останавливает свою даму, чтобы покрасоваться или зафиксировать позу, — тут он взглянул на внимательно его слушавшую Мечу. — Это знаменитое па называется «кебрада», и в благопристойной версии тех танго, что танцуют ныне, вы превосходно с ним справляетесь.

Меча Инсунса поблагодарила его улыбкой. Сегодня на ней было легкое платье из charmeuse[[15]](#footnote-15) цвета шампанского; в падавшем из иллюминатора свете золотились на затылке коротко остриженные волосы, открывавшие стройную шею, которую после безмолвного танго в зимнем саду Макс вспоминал теперь постоянно. Из драгоценностей на ней было только жемчужное ожерелье в два витка и обручальное кольцо.

— А что представляют собой компадритос? — спросила она.

— Представляли. Их уже нет.

— Нет?

— За последние десять-пятнадцать лет многое изменилось. В детстве моем компадритос называли молодых людей из низов общества, сыновей или внуков тех гаучо-скотоводов, которые постепенно заполоняли городские окраины и предместья.

— Звучит угрожающе, — заметил композитор.

Макс бесстрастно объяснил, что их-то как раз можно было не опасаться. Вот с компадре и компадронами дело обстояло иначе, это были люди пожестче: одни — настоящие бандиты, другие всячески старались им подражать. Политики охотно пользовались их услугами — на выборах, к примеру, и в тому подобных делах — или брали в телохранители. Впрочем, тех, настоящих, как правило, носивших испанские фамилии, вытеснили теперь подражавшие им дети эмигрантов — окраинный сброд, перенявший лишь манеры головорезов из предместий, пригородов, окраин, но не обладавший ни их отвагой, ни кодексом чести.

— А подлинное танго — это танец компадре и компадрито? — спросил Армандо де Троэйе.

— Так было раньше. Те, первые, танго были откровенно непристойны: пары прижимались друг к другу более чем вплотную, переплетали ноги, вращали бедрами, как это принято в негритянских плясках. Немудрено, если вспомнить, что их первыми партнершами были девицы из публичных домов.

Краем глаза Макс перехватил улыбку Мечи — одновременно пренебрежительную и заинтересованную. Ему и раньше приходилось видеть такие улыбки у дам одного с ней круга, когда речь заходила о чем-то подобном.

— Ну да, отсюда и пошла дурная слава... — сказала она.

— Разумеется, — ответил ей Макс и продолжал, из деликатности обращаясь к мужу: — Знаете ли вы, что одно из первых танго называлось «Дай марочку»?

— Марочку?

Жиголо, метнув на нее искоса еще один быстрый взгляд, замялся, подбирая подходящие слова.

— Ну, — вымолвил он наконец, — это билетик, который мадам... хозяйка заведения выдает девицам за каждого принятого клиента, а девицы вручают своим котам для отчета...

— Кому? — переспросила женщина.

— По-французски это maquereau, — пояснил ей муж. — Сутенер.

— Спасибо, дорогой, я прекрасно поняла.

И даже когда танго, ставшее популярным, начали танцевать на домашних праздниках и семейных вечерах, продолжал Макс, такие вот резкие остановки были запрещены как неприличные. В его детстве танго танцевали только на утренниках, устраиваемых испанскими или итальянскими землячествами, либо в борделях, либо на холостых квартирках молодых шалопаев со средствами. И сейчас, хоть танго триумфально пришло на сцены театров и в бальные залы, еще остаются под запретом определенные па — корте и кебрада. Ну, вульгарно выражаясь, нельзя просовывать ногу меж колен партнерши. Чтобы попасть в приличное общество, танго пришлось поступиться характером. Оно, как будто утомившись, сделалось менее стремительным и не таким сладострастным. И вот оно-то, укрощенное и одомашненное, попало в Париж и обрело славу.

— И превратилось в тот монотонный танец, который мы видим в салонах, или в ту пародию, которую демонстрирует на экране Валентино.[[16]](#footnote-16)

Медовые глаза смотрели на него пристально. Зная это, стараясь избегать встречи с ними и сохранять, насколько это возможно, спокойствие, Макс вытащил портсигар и открыл его перед Мечей. Она взяла турецкую сигарету, муж последовал ее примеру и, дождавшись, когда она вправит свою в мраморный мундштучок, щелкнул золотой зажигалкой. Меча, чуть наклонившись вперед, поймала огонек, потом вскинула голову и снова взглянула на Макса сквозь первое облачко дыма, в потоке света из иллюминатора ставшего плотным и голубоватым.

— А в Буэнос-Айресе? — спросил Армандо де Троэйе.

Макс улыбнулся и, осторожно постучав кончиком сигареты о крышку портсигара, тоже закурил. Новый поворот разговора позволил ему опять взглянуть в глаза Мечи. Он смотрел на нее и держал улыбку не меньше трех секунд. Потом повернулся к мужу.

— Среди обитателей предместий до сих пор принято перегибать партнершу в поясе и просовывать колено между ее ногами. В социальных низах еще сохраняются последние остатки старого танго... А то, что делаем мы, — на самом деле бледная тень этого. Не более чем элегантная хабанера.

— И с текстами произошло нечто подобное?

— Да, но относительно недавно. Поначалу была только музыка или театральные куплеты. Когда я был еще ребенком, танго только-только начинали петь, и слова неизменно были малопристойные, лукавые — двусмысленно-похабные истории, которые рассказывались от лица циничных проходимцев...

Он замолчал, засомневавшись на миг, что продолжать будет уместно.

— И что же?

Это произнесла Меча, играя серебряной ложечкой. И Макс решился.

— Ну... Стоит только вспомнить, что некоторые невинные на первый взгляд названия — «Ветерок слабоват, а пыль столбом», или «Семь дюймов», или «Немытая рожа» — на самом деле значат совсем другое. Или «Раковина Лоры».

— Кто такая эта Лора?

— «Проститутка» — на воровском арго. Гардель[[17]](#footnote-17) часто использует его в своих танго.

— А раковина?

Макс, не отвечая, взглянул на де Троэйе. Усмешка позабавленного композитора превратилась в широкую улыбку.

— Понятно, — сказал он.

— Понятно, — через секунду повторила она. И не улыбнулась.

Танго чувствительное, продолжал Макс, — недавнее явление. Слезливые баллады, где непременно действуют бандиты-рогоносцы и сбившиеся с пути женщины, обрели популярность благодаря Гарделю. И под его пером цинизм преступника стал жалостным и меланхоличным. За поэтами такое водится.

— Мы с ним познакомились два года назад, когда он гастролировал в Мадриде, — сообщил Армандо де Троэйе. — Очень милый человек. Немного шарлатан, конечно, но очень располагает к себе, — он взглянул на жену. — И эта его знаменитая улыбка, да? Как будто он тут вообще ни при чем.

— Я его видел только однажды и то издали — в «Тропесоне», — сказал Макс. — Он ел куриное пучеро.[[18]](#footnote-18) Вокруг, как всегда, толпились люди, и я не решился подойти.

— Поет он замечательно. Но немного слишком томно и сладко, не находите?

Макс затянулся сигаретой. Де Троэйе, подливая себе коньяку, предложил и ему, но тот молча качнул головой.

— Он ведь в самом деле изобрел этот стиль. Прежде были только куплеты или бордельные песенки... Едва ли у него найдутся предшественники.

— А в отношении музыки? — Де Троэйе чуть пригубил и поверх бокала посмотрел на Макса. — В чем, по-вашему, разница между танго старым и современным?

Макс откинулся на спинку кресла, указательным пальцем слегка тронул сигарету, сбивая столбик наросшего пепла.

— Я ведь не музыкант. Я всего лишь зарабатываю себе на жизнь танцами. И не сумею, наверное, отличить целую ноту от восьмушки.

— И тем не менее я хочу знать ваше мнение.

Макс еще несколько раз затянулся сигаретой и лишь после этого ответил:

— Я могу сказать лишь о том, что знаю. Что помню... Произошло то же самое, что и с манерой танцевать и петь танго. Поначалу музыканты продвигались на ощупь, по наитию и разрабатывали малоизвестные темы по партитурам фортепиано или по памяти. Импровизировали наподобие джазменов.

— А что это были за оркестры?

Маленькие, уточнил Макс. Три-четыре человека, простые аккорды, максимальная быстрота исполнения. Скорее интерпретации, чем оригинальные композиции. Со временем эти группы усвоили кое-какие новшества: вместо гитар — соло фортепьяно и в дуэте со скрипкой... Это помогало неопытным танцорам и новичкам-любителям. Потом к новому танго приспособились и профессиональные оркестры.

— Это танго мы и танцуем, — договорил Макс Коста и очень аккуратно погасил в пепельнице окурок. — Оно и звучит в салоне «Кап Полония» и в приличных заведениях Буэнос-Айреса.

Меча Инсунса раздавила свою сигарету в той же пепельнице — но спустя несколько секунд после того, как это сделал Макс.

— А другое? — спросила она, играя мундштуком. — Что стало со старым танго?

Он не без труда отвел глаза от ее рук — тонких, изящных и породистых. На безымянном пальце левой сверкало золотое кольцо. Подняв голову, он перехватил устремленный на него взгляд де Троэйе — пристальный, но лишенный всякого выражения.

— Так и идет до сей поры, — ответил он. — Все дальше оттесняется на обочину, все реже встречается. И когда изредка его все же играют, почти никто не танцует. Оно труднее. Жестче, грубее.

Макс помедлил. С такой улыбкой, что внезапно заиграла у него на губах, обычно что-нибудь припоминают.

— Один мой приятель говорит, что есть танго страдательные, а есть убийственные... Оригинальное танго относится ко второй категории.

Меча Инсунса облокотилась на стол, подперла щеку ладонью. Казалось, она слушает его с огромным вниманием.

— Его порой называют «танго старой гвардии», — уточнил он. — Чтобы отличить от нынешних, современных.

— Красиво, — заметил композитор. — Откуда взялось такое название?

Теперь его взгляд никак нельзя было счесть бесстрастным. Де Троэйе вновь превратился в любезного хозяина. Макс чуть развел руками:

— Не знаю. Затрудняюсь сказать вам. Вероятно, в память какого-нибудь старого танго...

— И оно все так же... непристойно? — спросила она.

Спросила тусклым голосом, безразличным тоном. Как если бы ученый-энтомолог справлялся у коллеги, насколько непристойно спариваются майские жуки. Если, конечно, они спариваются, подумал Макс. Почему бы им, впрочем, не спариваться?

— Это зависит от того, где танцуют.

Армандо де Троэйе был в восторге от услышанного.

— Замечательно интересно все, что вы рассказали, — сказал он. — Это превзошло все мои ожидания. И поменяло мои представления. Я хотел бы увидеть это своими глазами... Увидеть это танго в его естественной, так сказать, среде обитания.

— Насколько мне известно, сейчас такое можно увидеть лишь там, где приличным людям появляться не стоит, — ответил Макс уклончиво.

— И вы знаете в Буэнос-Айресе такие места?

— Знать-то я знаю... Но... — Он помедлил, взглянул на Мечу Инсунсу. — Порядочной женщине туда лучше не ходить... это может быть небезопасно.

— На этот счет не тревожьтесь, — сказала она очень холодно и очень спокойно. — Нам уже случалось бывать в неподобающих местах.

Вечереет. Солнце, клонясь к закату, еще висит над мысом Капо, окрашивая в красновато-зеленые тона стены вилл, густо рассыпанных по склону. Макс Коста в том же темно-синем блейзере и серых фланелевых брюках — он лишь сменил шелковый шейный платок на завязанный виндзорским узлом красный галстук в синюю точку — выходит из своего номера и присоединяется к другим постояльцам, пьющим аперитивы перед ужином. Кончилось лето, а с ним — и многолюдство, но благодаря шахматному матчу в отеле оживленно почти по-прежнему: заняты едва ли не все столики в баре и на террасе. Плакат на подставке сообщает о том, что утром состоится очередная партия матча Келлер — Соколов. Остановившись, Макс рассматривает фотографии соперников. Из-под густых бровей — они такого же пшеничного цвета, что и ежик на голове, — светлые водянистые глаза советского чемпиона недоверчиво всматриваются в фигуры на доске. При виде его округлого, простецки-грубоватого лица, склоненного над доской, невольно думается, что несколько поколений его предков так же смотрели, уродился ли хлеб, следили за передвижением облаков по небу, гадая, дождь завтра будет или вёдро. А рассеянный, почти мечтательный — даже немного наивный, думает Макс — взгляд Хорхе Келлера устремлен прямо в объектив. Но впечатление такое, что видит он не фотографа, а кого-то или что-то, находящееся чуть поодаль и не имеющее никакого отношения к шахматам, и кажется, будто гроссмейстер по-юношески грезит наяву или созерцает какие-то смутные химерические образы.

Ласковый ветерок. Гул голосов смешивается с нежной негромкой музыкой. Великолепная терраса отеля «Виттория» вместительна и просторна. За балюстрадой открывается прекрасная панорама: Неаполитанский залив нежится в золотистых закатных лучах — с каждой минутой они ложатся все более и более полого. Мэтр ведет Макса к столику возле изваянной из мрамора обнаженной женщины, заглядевшейся на море. Расположившись, Макс заказывает бокал белого похолодней, смотрит по сторонам. Публика элегантна, как и подобает этому месту и времени суток. Есть хорошо одетые иностранцы — в основном американцы и немцы, — проводящие в Сорренто мертвый сезон. Прочие — это гости миллионера Кампанеллы, немногие избранные, приехавшие по его приглашению и живущие за его счет. И те неистовые поклонники шахмат, кому по карману расходы на путешествие и проживание. Среди сидящих за соседними столами Макс узнает красавицу кинозвезду и ее мужа, продюсера «Чинечитта», в компании еще каких-то неизвестных ему лиц. Неподалеку бродят двое молодых людей, по виду — местные журналисты, у одного на шее висит «Pentax», и всякий раз, как репортер вскидывает фотоаппарат, Макс как бы случайно закрывается ладонью или отворачивается, делая вид, будто что-то привлекло его внимание в другом конце террасы. Это автоматическая реакция охотника, не желающего стать дичью. Давний рефлекс, развившийся за долгие годы постоянного профессионального риска почти до степени безусловного. Главная опасность для Макса Косты возникала, если по лицу устанавливали его личность, а потом то и другое оказывалось в распоряжении какого-нибудь полицейского, склонного поинтересоваться, а что, собственно, затевает здесь (или там) виднейший представитель племени тех, кого в былые времена определяли наивным иносказанием «воры в белых перчатках»?

Когда репортеры удаляются, Макс смотрит по сторонам, ищет. Выходя из номера, он подумал, что будет слишком невероятной удачей, если он сразу же повстречает ту женщину, — однако вот она, здесь, поблизости, сидит за столиком, и рядом с ней нет ни Келлера, ни девушки с «конским хвостом». Сегодня она без своей твидовой шляпы: коротко стриженная, серебрящаяся сединой — вроде бы вполне натуральной, — голова непокрыта. Слушая собеседников, она наклоняет ее с учтивым вниманием — это движение так отчетливо помнится Максу, — а порой, с улыбкой следя за разговором, откидывает на высокую спинку стула. Одета очень просто, с той же элегантной небрежностью, что и вчера: на ней просторная темная юбка и белая шелковая блузка, перехваченная в талии широким ремнем. На ногах — замшевые мокасины, на плечи наброшена замшевая же куртка. Ни колец, ни серег и вообще никаких украшений — только плоские часы на запястье.

Попробовав вино и убедившись, что охлаждено оно правильно — бокал запотел, — Макс чуть наклоняется, чтобы поставить его на стол, и вдруг встречается глазами с женщиной. Это происходит случайно и длится не больше секунды. Она как раз договорила фразу и обвела взглядом террасу — и в этот самый миг встретилась глазами с человеком, сидящим через три столика. Взгляд этот не остановился на нем, а скользнул дальше, а сама она возвращается к прерванному разговору, внимательно слушая собеседника, и не сводит глаз с него и других своих спутников. Макс, меланхолично отметив, что самолюбие его слегка задето, улыбается про себя и ищет утешение в новом глотке «Фалерно». Ну да, разумеется, время его не пощадило, но ведь и она тоже изменилась. И сильно — с той последней встречи, двадцать девять лет назад, осенью 1937-го в Ницце. И еще сильней — если вести отсчет с событий, произошедших в Буэнос-Айресе за десять лет до того. И еще больше времени минуло с разговора на шлюпочной палубе — разговора, который состоялся спустя четыре дня после памятного ланча в каюте супругов де Троэйе, куда его пригласили поговорить о танго.

После бессонной ночи, когда Макс до утра лежал с открытыми глазами в своей каюте второго класса, ощущая мягкое покачивание огромного судна и где-то в самой его утробе — отдаленную вибрацию машины, он начал искать встречи с Мечей. Были вопросы, требующие ответа, были планы, нуждавшиеся в доработке. Надо было прикинуть вероятный выигрыш и возможный провал. Но кроме того — хоть он и самому себе не желал в этом признаться, — билось и пульсировало в его желании отыскать женщину нечто личное, необъяснимое, не имеющее никакого отношения к материальным обстоятельствам. Нечто, на удивление лишенное обычного расчета, но состоящее из ощущений, опасений, тяги.

Он нашел ее на шлюпочной палубе — там же, где и в прошлый раз. Лайнер полным ходом шел сквозь легкий туман, мало-помалу рассеивавшийся и редевший под лучами восходящего солнца, — золотистый диск с размытыми очертаниями полз по небосводу все выше. Меча Инсунса сидела на тиковой скамье под тремя огромными красно-белыми трубами. На ней были спортивного покроя юбка в складку и полосатый шерстяной джемпер, туфли на низком каблуке, а склоненную над книгой голову охватывала узкополая соломенная шляпка колоколом. На этот раз Макс не прошел мимо, ограничившись кратким поклоном, но остановился перед ней, снял кепку и поздоровался. Море было спокойно, солнце било в спину, и потому чуть колеблющаяся тень Макса легла на страницы книги и, когда женщина подняла глаза, на ее лицо.

— А-а, — сказала она. — Это вы? Танцор-совершенство?

И улыбнулась, но глаза, оставаясь совершенно серьезными, смотрели изучающе и оценивающе.

— Как поживаете, Макс? Сколько юных барышень и одиноких дам отдавили вам ноги за последние дни?

— Слишком много, — со стоном отвечал он. — Всех и не упомнишь.

Меча Инсунса и ее муж вот уже четыре дня не появлялись в танцевальном салоне. После ланча в каюте Макс их так и не видел.

— Я подумал над тем, что сказал мне сеньор де Троэйе... Насчет того, где в Буэнос-Айресе можно увидеть подлинное танго.

Улыбка обозначилась яснее. Красивый рот, подумал Макс. Да и вся она.

— Танго в духе старинной гвардии?

— Старой. Гвардия — старая. Да. Я это имею в виду.

— Чудесно, — сказала она. Захлопнула книжку и очень непринужденно подвинулась, давая ему место на скамейке. — И вы сможете сводить нас туда?

Это неожиданное множественное число немного смутило его. Он продолжал стоять перед ней, кепку по-прежнему держа в руке.

— Вас обоих?

— Ну да.

Макс наклонил голову в знак согласия. Потом надел кепку — не без кокетства надвинув ее на правый глаз — и сел на освобожденную ему часть скамейки. Это место было закрыто от ветра белой металлической конструкцией, соединенной с массивным вентиляционным коробом — одним из тех, что тянулись вдоль всей палубы. Макс краем глаза взглянул на книгу, лежавшую на коленях у Мечи. Заглавие было по-английски — «The Razor’s Edge». «Лезвие бритвы» Сомерсета Моэма. Имя автора показалось ему знакомым, хоть он не читал никаких его книжек. Макс был, что называется, не по этой части.

— Что же, это вполне возможно, — ответил он. — Конечно, в том случае, если вы готовы ко всяким неожиданностям.

— Вы меня пугаете.

При этом она ни в малейшей степени не выглядела напуганной. Макс смотрел куда-то вдаль, поверх спасательных шлюпок, но чувствовал на себе ее пристальный взгляд. На мгновение засомневался, стоит ли обидеться на скрытую в ее словах насмешку, и решил, что не стоит. Быть может, она и в самом деле не лукавила, хотя представить, что она может чего-то испугаться, было все же очень трудно. Особенно — неожиданностей определенного свойства.

— Речь идет о заведениях, которые посещает так называемое простонародье. Находятся они в кварталах бедноты, — пояснил он. — Но я по-прежнему не знаю, должны ли вы...

Он замолк и обернулся к ней. А ее, казалось, забавляет эта преднамеренная осторожная заминка.

— Вы хотели сказать, должна ли я рисковать, появляясь там?

— На самом деле там не так уж опасно. Главное — не слишком выставлять напоказ... Не кичиться.

— Чем?

— Ничем. Ни деньгами. Ни драгоценностями. Ни дорогими или чересчур элегантными нарядами.

Откинув голову, она громко расхохоталась. Какой беспечный, чистосердечный смех, подумал Макс. Такой слышится на теннисных площадках, на модных пляжах, в гольф-клубах, доносится из двухместных открытых «Испано-Сюиз».

— Понимаю... Мне надо будет одеться проституткой, чтобы не бросаться в глаза?

— Не шутите.

— Я и не думаю шутить, — она взглянула на него неожиданно серьезно. — Если бы вы знали, сколько девочек мечтают нарядиться принцессами и сколько взрослых женщин — выглядеть как шлюхи.

Последнее слово в ее устах почему-то прозвучало не вульгарно, подумал растерявшийся Макс. Но лишь вызывающе. Вполне в стиле и духе женщины, способной из любопытства или развлечения ради отправиться в квартал, пользующийся дурной славой, чтобы посмотреть, как танцуют танго. Умеющей произносить некоторые слова и смотреть в глаза мужчины, словно от слов она уже перешла к делу. Но что бы ни говорила Меча Инсунса, вульгарной она не была и быть не могла. Капрал Долгорукий-Багратион, пока был жив, хорошо это формулировал: «Мое меня не минует, а что миновало — то не мое».

— Удивительно, что вашего мужа так интересует танго, — сказал Макс, несколько оправившись. — Я считал его...

— Серьезным композитором?

Теперь черед рассмеяться пришел Максу. И он сделал это с мягкой и хорошо рассчитанной уверенностью человека светского:

— Это ведь всего лишь игра понятий. Но, конечно, как-то принято различать ту музыку, что сочиняет он, и ту, что звучит на танцульках.

— Можем назвать это прихотью. Мой муж — человек своеобразный.

В душе Макс не мог с этим не согласиться. Да, вот именно, «своеобразный» — самое подходящее слово. Насколько ему было известно, Армандо де Троэйе входит в пятерку самых известных и высокооплачиваемых композиторов мира. А из ныне живущих испанцев один лишь Фалья[[19]](#footnote-19) ему вровень.

— Восхитительный человек, — добавила женщина через секунду. — За тринадцать лет он достиг такого, о чем другие не могут даже мечтать... Вы знаете, кто такие Дягилев и Стравинский?

Макс дал понять, что это обидный вопрос. Да, я всего лишь жиголо, говорила его улыбка. И музыку знаю лишь понаслышке. Но все же не до такой степени неуч и невежда.

— Да, разумеется. Русский хореограф и его любимый композитор.

Меча кивнула и стала рассказывать. Армандо часто встречался с ними в Мадриде во время Великой войны, у своей чилийской приятельницы Эухении Эррасурис. Русские готовились показать в «Театро Реаль» «Жар-птицу» и «Петрушку». Армандо де Троэйе же в ту пору был композитором многообещающим, но малоизвестным. Они прониклись друг к другу симпатией: де Троэйе возил их в Толедо и Эскориал. Вскоре подружились. Через год снова встретились — теперь уже в Риме, и там они познакомили его с Пикассо. После войны, когда Дягилев и Стравинский вновь привезли в Мадрид свои балеты, де Троэйе показывал им в Севилье процессии на Святой неделе. По возвращении они сблизились еще больше. Спустя три года, в 1923-м, в Париже состоялась премьера его «Пасодобля для Дон Кихота». Успех был оглушительный.

— Об остальном вы узнаете сами, — сказала Меча. — Турне по Соединенным Штатам, триумф «Ноктюрнов» в Лондоне, где на первом исполнении присутствовала испанская королевская чета, соперничество с Фальей, восхитительный скандал в парижском «Саль де Плейель» на прошлогодней премьере «Скарамуша», который поставил Серж Лифарь[[20]](#footnote-20) и оформил Пикассо.

— Да, это называется «триумф», — беспристрастно оценил Макс.

— А что для вас триумф?

— Гарантированные пятьсот тысяч песет в год. Можно больше.

— Ого. У вас слишком высокие требования.

В словах Мечи, глядевшей на него с любопытством, Максу почудилась ядовитая насмешка.

— А как вы познакомились с мужем?

— Тогда же и там же — у Эухении: она моя мачеха.

— Интересная, наверно, жизнь рядом с таким человеком.

— Да.

Односложное слово прозвучало отрывисто. И безо всякого выражения. Женщина смотрела туда, где за спасательными шлюпками виднелось море и в золотисто-серой дымке все выше поднималось солнце.

— А какое же отношение имеет ко всему этому танго? — спросил Макс.

И увидел, как она, склонив голову набок, раздумывает, словно перебирает один за другим возможные варианты ответа.

— Армандо — человек с юмором. Он любит игру. Во многих смыслах слова. И в своем творчестве тоже, разумеется. Игру рискованную, новаторскую... Именно этим он в свое время пленил Дягилева.

Она замолчала на миг, рассматривая рисунок на переплете книги, где был изображен какой-то элегантный господин на фоне средиземноморского пейзажа с зонтичными соснами и пальмами.

— Можно сказать, — наконец продолжила она, — что ему безразлично, для рояля пишется музыка, для гитары или для барабана глашатая... Музыка, по его мнению, есть музыка. Он на том стоит. И говорить тут больше не о чем.

За пределами их укрытия морской ветерок был слабым и возникал только от перемещения лайнера. Солнечный диск, становясь все четче и ярче, нагревал дерево. Меча Инсунса поднялась, и Макс встал следом.

— И всегда — необыкновенно своеобразный юмор, — продолжала она, очень естественно продолжая разговор. — Однажды он сказал репортеру, что хотел бы, подобно Гайдну, сочинять для увеселения монарха. Симфонию? — Сделайте одолжение, ваше величество! А не понравится — обтешем ее, пригладим, превратим в вальс и напишем для него слова... Ему нравится делать вид, что он пишет по заказу, хотя это чистая ложь. Это он так кокетничает.

— Надо обладать большим умом, чтобы собственные чувства выдавать за подделку, — сказал Макс.

Он не помнил, где вычитал или услышал эту фразу. За неимением культуры истинной и собственной он очень ловко, уместно и своевременно умел вворачивать в свою речь чужие мнения. Меча Инсунса поглядела на него с легким удивлением:

— Хм... Кажется, мы вас недооценивали, сеньор Коста.

Макс улыбнулся. Они медленно шли по палубе на корму.

— Просто Макс.

— Да, конечно... Макс.

Дошли до ограждения, облокотились, наблюдая, как мелькают внизу кепки, мягкие шляпы, белые панамы, женские памелы,[[21]](#footnote-21) модные в том сезоне фетровые и соломенные шапочки-каскетки с разноцветными лентами. На палубе первого класса, где прогулочные галереи левого и правого бортов соединялись на небольшой террасе курительного салона, царило оживление: все столики были заняты, и пассажиры наслаждались спокойным морем, погожим мягким днем. Был час аперитивов: десяток лакеев в темно-красных курточках сновали меж столиков, балансируя подносами с напитками и закусками, а метрдотель зорко следил, чтобы все было достойно высокой цены билета.

— Симпатичные... — заметила она. — Я про официантов. Кажется, они очень довольны своей жизнью. Может быть, это море так на них действуют.

— Это в самом деле только так кажется. Их безжалостно гоняют офицеры и пассажирский помощник. А вызывать симпатию — часть их работы: им платят за то, чтобы улыбались.

Меча Инсунса поглядела на него со вновь пробудившимся интересом. Иначе, чем прежде.

— Похоже, вы хорошо осведомлены.

— Уж в этом можете не сомневаться. Но мы говорили о вашем муже. О его музыке.

— Да-да... Я собиралась рассказать, что Армандо любит углубляться в апокрифы, произвольно смешивать разные эпохи. И с бо́льшим удовольствием работает с копией, нежели с оригиналом... То здесь, то там оставляет некие метки, куски, сделанные в стиле и духе Шумана, или Сати, или Равеля... Он примеряет разные маски, доходя почти до пародирования. И пародирует даже то — и главным образом то, — что само по себе уже пародия.

— То есть некий иронический плагиат?

Замолчав, она снова взглянула на него как-то по-особенному. Пытливо и изучающе, будто стараясь проникнуть в самую суть.

— Иногда это называют модернизмом, — смягчил свое высказывание Макс, явно опасаясь зайти слишком далеко.

И предъявил свою фирменную улыбку — улыбку доброго малого, который звезд с неба не хватает и весь как на ладони. Или, как назвала его при встрече Меча Инсунса, «танцора-совершенство». Спустя еще миг она отвела глаза и покачала головой.

— Не путайте, Макс... Он — необыкновенный композитор, вполне заслуживающий своей славы. Он притворяется, что ищет, хотя уже нашел, и делает вид, что пренебрегает деталями, хотя скрупулезнейшим образом разработал их. Умеет быть вульгарным, но даже вульгарность эта — особого свойства. Знаете, тщательно продуманная небрежность в одежде подчеркивает ее изысканность... Вы слышали интродукцию к «Пасодоблю для Дон Кихота»?

— Нет. К сожалению. По части музыки мои познания не простираются дальше бальных танцев. Ну, или почти.

— В самом деле жаль. Тогда вам были бы понятней мои слова. Введение, которое никуда ничего не вводит. Гениальная шутка.

— Для меня это слишком сложно, — искренне признался он.

— Несомненно, — ответила она, в очередной раз окинув его внимательным взглядом. — Да.

Макс стоял, по-прежнему опершись на выкрашенный в белый цвет планшир. Его левая рука находилась в двадцати сантиметрах от ее правой руки, державшей книгу. Жиголо посмотрел вниз, на пассажиров первого класса. Отшлифованная многолетними усилиями выучка позволила ему почувствовать сейчас лишь слабый, смутный намек на злобу. Причем не такую, с которой нельзя было бы совладать.

— И танго, которое мечтает сочинить ваш муж, тоже будет шуткой? — спросил он.

Да, в определенном смысле, ответила она. Но не только. Танго стало настоящим поветрием. Оно одинаково сводит людей с ума в салонах, в театрах, в кино или на танцульках в парке. И вот Армандо намерен поиграть с этим безумием. Вернуть публике простонародность, но как бы процеженную сквозь фильтры иронии, о которой она говорила Максу чуть раньше.

— Замаскировать его на свой манер и в своем стиле. И во всю силу своего таланта создать танго, которое было бы пародией на пародии.

— Нечто вроде того рыцарского романа, который когда-то разом покончил со всеми рыцарскими романами?

Она не смогла скрыть удивление:

— Вы читали «Дон Кихота», Макс?

Он быстро просчитал в уме варианты. И решил, что лучше будет не рисковать. Ни к чему козырять интеллектом. Как говорится, лжец и ловкач попадают впросак чаще, чем неуклюжий простак.

— Нет, — ответил он, снова улыбнувшись с безупречно отработанной непринужденностью. — Сам роман не читал, но о нем — очень много.

— Ну, «покончить» — это, может быть, слишком сильно сказано. По крайней мере, отринуть, оставить позади. Создать нечто непревзойденное и собравшее в себе все. Совершенное танго.

Они отошли от борта. Над морем, на глазах терявшим сероватый оттенок и набиравшим яркой синевы, солнце рассеивало последние остатки дымки. Восемь спасательных шлюпок левого борта сверкали белым так ослепительно, что Максу пришлось поглубже надвинуть на глаза козырек. Меча Инсунса из кармашка своего джемпера достала и надела темные очки.

— Он в восторге от ваших рассказов, — проговорила она, сделав еще несколько шагов по палубе. — И очень рассчитывает, что вы исполните обещание и покажете ему в Буэнос-Айресе настоящее танго.

— Ему одному?

Не замедляя шага, она сбоку взглянула на него так, словно не поняла вопроса. Минеральные воды «Инсунса», вспомнил Макс. В читальном салоне он нашел в иллюстрированных журналах рекламные объявления, а потом еще уточнил у пассажирского помощника. В конце века ее дед-фармацевт нажил состояние, разливая в бутылки и продавая воду из целебного источника в Сьерра-Неваде. Потом отец построил там два отеля и современный санаторий для лечения болезней печени и почек, и вскоре летние поездки на воды вошли в моду среди высшей андалузской буржуазии.

— На что расчет, сеньора? — настойчиво спросил Макс.

На этом этапе разговора он вправе был ожидать, что она попросит называть ее Меча или Мерседес. Но этого не произошло.

— Мы женаты пять лет. И я глубоко восхищаюсь им.

— И потому хотите, чтобы я отвел вас туда? Вас обоих? — Он позволил себе нотку скепсиса. — Вы-то ведь не сочиняете музыку?

Ответ был дан не сразу. Меча Инсунса продолжала медленно шагать по палубе, пряча глаза за стеклами темных очков.

— А вы, Макс, что намерены делать? Вернетесь обратным рейсом в Европу или останетесь в Аргентине?

— Останусь, наверно, на какое-то время. Мне предложили трехмесячный контракт в столичном отеле «Плаза».

— Танцевать?

— Пока — да.

Последовало молчание. Краткое.

— Все же эта профессия сулит не слишком блестящее будущее. Если только...

Она оборвала фразу, но Макс без труда мог завершить ее: если только благодаря великолепной внешности, улыбке славного малого и танго не подцепишь надушенную «Roger & Gallet» миллионершу, которая возьмет на себя оплату всех твоих расходов, тебя — в chevalier servant.[[22]](#footnote-22) Или, как выражаются итальянцы, — в чичисбеи. А если еще грубее и проще — в альфонсы.

— Но я и не собираюсь посвящать этому всю жизнь.

Теперь темные стекла обратились в его сторону. И замерли. Он видел в них свое отражение.

— В прошлый раз вы очень интересно сказали о танго страдательных и танго убийственных.

Интуиция и на этот раз подсказала Максу: следует быть искренним.

— Это не мои слова. Так считал один мой друг.

— Тоже танцор?

— Нет. Он был солдатом.

— Был?

— Был. Его уже нет на свете.

— Сочувствую.

— Тут нет повода для сочувствия, — уклончиво улыбнулся Макс. — А звали его Долгорукий-Багратион.

— Простых солдат так не зовут... Это имя больше подходит офицеру, а? Какому-нибудь русскому аристократу.

— Именно так. Он был и русский, и аристократ. По крайней мере, так представлялся.

— А на самом деле? Настоящий аристократ?

— Возможно.

Меча Инсунса впервые, кажется, за все это время показалась ему растерянной. Они остановились у фальшборта, под спасательными шлюпками. На корме черными буквами было выведено название. Женщина сняла шляпу — Макс успел заметить на подкладке этикетку со словом «Talbot» — и встряхнула волосами, подставляя голову ветру.

— И вы тоже были солдатом?

— Недолго.

— И воевали в Европе?

— В Африке.

Она чуть качнула головой, как бы с удивлением, словно видела Макса впервые.

В течение многих лет североафриканскими названиями пестрели заголовки испанских газет, а портреты молодых офицеров заполняли страницы иллюстрированных журналов «Эсфера» или «Бланко и негро»: капитан такой-то (регулярная армия, пехота), лейтенант такой-то (Иностранный легион), младший лейтенант такой-то (регулярная армия, кавалерия) пали смертью храбрых — упомянутые на страницах светской хроники неизменно гибнут героически и никак иначе — в Сиди-Хаземе, в Кераме, в Баб-эль-Кариме, в Игерибене.

— Вы имеете в виду Марокко? Мелилью, Анваль и прочие ужасные места?

— Да. Их все.

Прислонившись к борту, он наслаждался легким ветром, освежавшим лицо, щурил ослепленные солнечным блеском глаза на море, на яркую белизну шлюпки. Потом достал из внутреннего кармана пиджака портсигар с чужой монограммой и заметил, что Меча Инсунса очень внимательно наблюдает за ним. Она продолжала изучающее смотреть на него и, когда он протянул ей раскрытый портсигар, качнула головой, отказываясь. Макс же достал сигарету, слегка постучал ею по крышке, прежде чем поднести ко рту.

— Где вы научились так вести себя?

Достав коробок спичек с логотипом пароходной компании на этикетке, он зашел за шлюпку, чтобы зажечь спичку и прикурить. И на этот раз тоже не покривил душой, отвечая:

— Что вы имеете в виду?

Женщина сняла темные очки. Глаза на таком свету казались гораздо светлее и прозрачнее.

— Не обижайтесь, Макс, но в вас есть что-то такое, что сбивает с толку. Вы безупречно держитесь, чему, разумеется, помогает ваша наружность. Вы чудесно танцуете и умеете носить фрак, как, пожалуй, мало кто из всех, кого я знаю. И все же не кажетесь человеком...

Он улыбнулся, скрывая неловкость, чиркнул спичкой. Но прежде чем успел прикурить, ветер задул огонек, хоть и спрятанный меж ладоней.

— Воспитанным?

— Нет, я не это хотела сказать... Вы не выставляетесь напоказ, как свойственно людям недалеким, нахраписто лезущим к успеху, не стремитесь предстать не таким, как на самом деле, лишены пошловатого тщеславия. И даже того природного нахальства, которое так свойственно юношам из благополучных семей... Но кажется, что мир льнет к вам, стелется вам под ноги, хоть вы и не прилагаете к этому особых усилий... И я не только женщин имею в виду... Понимаете меня?

— Ну, более или менее.

— И все-таки, когда вы в прошлый раз рассказывали о своем детстве в Буэнос-Айресе, о возвращении в Испанию... Жизнь в ту пору вроде бы не слишком много обещала вам... Потом дела пошли на лад?

Макс снова чиркнул спичкой — на этот раз удачно, сквозь первое облачко дыма взглянул на Мечу. И внезапно перестал смущаться. Ему припомнились Китайский квартал Барселоны, марсельский Канебьер, пот и страх Иностранного легиона. Три тысячи иссушенных солнцем трупов, оставленных на пути от Анваля к Монт-Аррюи. И венгерку Боске в Париже — ее горделивую нагую стать в лунном свете, льющемся через единственное оконце мансарды на улице Фюрстенберг, играющем серебристыми тенями на скомканных простынях.

— Да, — ответил он наконец, глядя в море. — В самом деле, кое-что наладилось.

Солнце уже скрылось за мысом Капо, и Неаполитанский залив медленно погружается в темноту, гаснут на воде последние лиловатые отблески. Вдалеке под мрачным склоном Везувия по всей линии побережья от Кастелламаре до Поццуоли загораются первые огни. Настает час ужина, и терраса отеля «Виттория» мало-помалу пустеет. Макс Коста со своего места видит, как женщина встает и направляется к стеклянной двери. Они снова на миг встречаются глазами, но ее взгляд — рассеянный и случайный — скользит по лицу Макса с прежним безразличием. А Макс, впервые увидев ее здесь, в Сорренто, так близко, понимает, что время хоть и пощадило кое-что из былой ее красоты — прежними остались и глаза, и очерк красиво вырезанных губ, — все же и по ней прошлось тяжко, не пожалело: очень коротко остриженные волосы стали серебристо-седыми, как и у Макса; кожа одрябла, потускнела и будто заткана паутиной бесчисленных мельчайших морщинок, особенно заметных в углах рта и вокруг глаз; на тыльных сторонах ладоней, сохранивших свое точеное изящество, безобманными приметами старости проступили пигментные пятна. Но движения остались такими же, как запомнилось Максу, — уверенными и спокойными. Присущими женщине, которая всю жизнь шла по свету, сотворенному именно и только для этого. Пятнадцать минут назад Хорхе Келлер и девушка с «конским хвостом» присели за тот же столик, а теперь вместе с нею идут к выходу, пересекают террасу, минуя Макса, и скрываются из виду. Их сопровождает грузный лысый мужчина с полуседой бородой. Едва лишь эти четверо проходят мимо, Макс встает, идет следом, выходит за дверь и останавливается на миг возле кресел «либерти»[[23]](#footnote-23) и кадок с пальмами, украшающими зимний сад. Отсюда ему видны стеклянная дверь в холл и лестница в ресторан. Когда он оказывается в холле, Меча Инсунса и ее спутники уже поднялись по двум маршам внешней лестницы и углубились в аллею, выводящую на площадь Тассо. Макс возвращается в холл, останавливается перед конторкой младшего портье:

— Неужто это и есть Келлер, шахматный чемпион?

Удивление сыграно блестяще. Долговязый костлявый молодой парень со скрещенными золотыми ключами на лацканах черной тужурки недоверчиво смотрит на него:

— Он самый, синьор.

Макс Коста, за полвека где только не побывавший, чего только не повидавший, одно, по крайней мере, усвоил твердо — от подчиненных можно добиться большего толка, чем от начальников. Потому он неизменно старался завести добрые отношения с теми, от кого и вправду что-то зависит напрямую, — с портье, швейцарами, официантами, секретаршами, таксистами, телефонистками. С людьми, чьи руки на самом деле приводят в действие шестерни благоустроенного общества. Однако такие полезные знакомства не случаются с бухты-барахты: для этого нужны время, здравомыслие и еще что-то такое, чего не купишь за деньги, — особая манера общения, многозначительная и естественная, как бы говорящая: «ты — мне, я — тебе, но в любом случае я тебе обязан, друг мой, и в долгу не останусь». Что же касается Макса лично, то щедрые ли чаевые, бесстыдная ли взятка — его изысканные манеры неизменно затушевывали и без того неясную черту меж этими понятиями — всегда служили не более чем предлогом для сокрушительной улыбки, которой он потом одаривал как жертв своей интриги, так и вольных или невольных сообщников. И благодаря этой тщательности, пронесенной через всю жизнь, шофер доктора Хугентоблера собрал обширную коллекцию личных знакомств, связанных с ним отношениями тайными и особыми. Были в его коллекции мужчины и дамы сомнительной, очень мягко говоря, нравственности, способные, не моргнув глазом, вытащить у человека золотые часы, но готовые эти самые часы и заложить, чтобы его же выручить в трудную минуту или заплатить долг.

— И, надо полагать, маэстро отправился ужинать?

Парень снова кивает, но на этот раз губы его раздвигаются в машинально-учтивой улыбке: он знает, что этот пожилой респектабельный джентльмен, который сейчас небрежно достает из внутреннего кармана красивый кожаный бумажник, платит за каждую ночь в «Виттории» столько же, сколько портье получает в месяц.

— Обожаю шахматы... Мне так хочется знать, где ужинает синьор Келлер. Сами понимаете, фетишизм поклонника...

Пятитысячная, деликатно сложенная вчетверо, переходит из одной руки в другую и исчезает в кармане тужурки со скрещенными ключами на лацканах. Улыбка ее носителя обретает бо́льшую живость и естественность.

— Ресторан «О`Парруччиано» на Корсо Италия, — отвечает он, сверившись с книгой заказов. — Славное место для тех, кто любит рыбу или каннелони.[[24]](#footnote-24)

— Непременно схожу как-нибудь. Спасибо.

— Всегда к вашим услугам, синьор.

Времени больше чем достаточно, соображает Макс. И потому, скользя пальцами вдоль перил широкой лестницы, украшенной фигурами в якобы помпейском духе, он поднимается на второй этаж. Тициано Спадаро перед тем, как смениться с дежурства, сообщил ему, в каких номерах остановились Хорхе Келлер и его спутники. Женщина живет в номере 429, и к нему-то по длинному коридору, по ковровой дорожке, глушащей звук шагов, и направляется Макс. Дверь самая обычная, без затей, с классическим замком, так что через скважину можно заглянуть внутрь. Макс пробует сначала отпереть ее собственным ключом (не раз уж бывало так, что счастливый случай одолевал технические сложности), а потом, настороженно оглядев коридор из конца в конец, достает из кармана незамысловатую отмычку — инструмент столь же совершенный в своем разряде, как скрипка Страдивари — в своем, — стальную, сантиметров десять длиной, узкую, тонкую и раздвоенную на конце; часа два назад он уже испробовал ее на двери собственного номера. Полминуты спустя три негромких щелчка сообщают, что путь свободен. Тогда Макс поворачивает дверную ручку и открывает дверь с хладнокровием профессионала, значительную часть жизни с абсолютным миром в душе взламывавшего чужие двери. Потом, еще раз оглядев коридор, вешает на ручку табличку «Не беспокоить» и входит в номер, тихонько насвистывая сквозь зубы: «Тот, кто банк сорвал в Монако».

## 3. Парни былых времен

С балкона, выходящего на залив, в номер проникает последний свет гаснущего дня. Макс предусмотрительно задергивает шторы, приносит из ванной полотенце и кладет его у двери, затыкая щель меж косяком и полом. Потом надевает тонкие резиновые перчатки и включает свет. Номер одиночный, обставлен штофной мебелью; по стенам гравюры с видами Неаполя. На бюро — свежие цветы в вазе; все прибрано и вычищено. На полочке в ванной комнате стоят флакон «Шанели» и набор увлажняющих и омолаживающих кремов от Элизабет Арден. Макс ни к чему не прикасается, запоминает, где что стоит, чтобы после его ухода все в номере осталось как было. В ящиках, на бюро, на ночном столике лежат какие-то мелочи, блокноты, сумочка с несколькими тысячами лир банкнотами и мелочью. Надев очки, Макс осматривает книги: два английских детектива Эрика Амблера — такие обычно покупают на вокзале в дорогу — и одна по-итальянски, некоего Сольдати «La lettere da Capri». Под ними, заложенная конвертом с отельной «памяткой», лежит английская биография Хорхе Келлера с его портретом на обложке. Несколько абзацев подчеркнуто карандашом. Макс читает наугад:

«Вспоминают, что он до такой степени огорчался от проигрыша, что безутешно рыдал и по несколько дней отказывался от еды. Но мать неизменно говорила ему: „Без поражений не бывает побед“».

Положив книгу на место, Макс открывает шкаф. На верхней полке — два неновых чемодана «Луи Виттон», а внизу развешаны на плечиках замшевый пиджачок, платья и юбки темных тонов, шелковые и льняные блузки, вязаные жакеты и кардиганы, французские, тонкого шелка косынки, расставлены английские и итальянские туфли — дорогие и удобные, на плоской подошве или на низком каблуке. Еще ниже, под стопками сложенной одежды, Макс обнаруживает большую кожаную коробку, запирающуюся на маленький замок, — и, чувствуя давний, забытый зуд в пальцах, даже тихо урчит от удовольствия, как голодный кот над хребтом сардины. Еще через полминуты с помощью отмычки, изогнутой в форме буквы L, коробка открыта. Внутри оказываются небольшая пачка швейцарских франков и чилийский паспорт на имя Мерседес Инсунсы Торренс... место рождения — Гранада, Испания... дата рождения — 7 июня 1905 года... проживает — Шемен дю Бо-Риваж, Лозанна, Швейцария. Фотография наклеена недавно, и Макс изучает ее со всем вниманием, узнавая седые, почти по-мужски коротко стриженные волосы, взгляд, направленный в объектив, морщины в углах глаз и губ — все то, что заметил, когда женщина проходила мимо по террасе отеля, и что сейчас, на снимке, сделанном в резком свете вспышки, обнаруживается еще более очевидно. Шестьдесят один год. Возраст скоро можно будет счесть преклонным. На три года моложе его самого, только надо учесть, что губительное время к женщинам еще безжалостней, чем к мужчинам. И все же красота, которую Макс оценил почти сорок лет назад на борту «Кап Полония», заметна даже на этой фотографии — и невозмутимые глаза, сделавшиеся от фотовспышки светлее, чем запомнилось ему, и восхитительно вырезанные губы, и нежный очерк лица, и не одрябшая длинная шея — признак хорошей породы. Некоторые особи наделены красотой так щедро, меланхолично думает Макс, что ее хватает до старости. Постаравшись положить деньги и паспорт в точности на прежнее место, он смотрит, что еще есть в коробке. Немного драгоценностей — изящные простые серьги, узкий гладкий золотой браслет, дамские часики «Вашерон Константин» на черном кожаном ремешке. И еще один кожаный футляр — коричневый, сильно потертый. И Макс, открыв его и увидев внутри то самое колье — двести первоклассных жемчужин и золотая застежка, — от нежданной удачи не может унять дрожь в руках и сдержать искривившую губы, довольную усмешку, от которой вдруг молодеет сосредоточенное, напряженное лицо.

Пальцами, обтянутыми тонкой резиной, он вытягивает колье из гнезда и разглядывает под лампой — сохранившись безупречно, оно осталось в точности таким, как он когда-то увидел. Даже застежка прежняя. Мягкий, почти матовый блеск красивых бусин играет на свету. Тридцать восемь лет назад, в Монтевидео, когда он на несколько часов стал обладателем этого колье, ювелир по фамилии Троянеску уплатил за него хоть и куда меньше истинной цены, но все же очень и очень немалые по тем временам три тысячи фунтов стерлингов.

Рассматривая жемчуга, Макс пытается подсчитать, сколько же они могут стоить сейчас. Он всегда был докой в таких экспресс-экспертизах, и глаз у него наметан — опытом, практикой, остротой ситуаций. Из-за перепроизводства искусственного жемчуга натуральный сильно упал в цене, но все же старинные камни высшего качества стоят дорого: эти вот, например, потянут до пяти тысяч долларов. Надежный итальянский барыга — у Макса есть такой, еще не удалившийся на покой, — даст четыре пятых этой суммы, то есть, в пересчете на лиры, два с половиной миллиона, что равно трехлетнему жалованью шофера с виллы «Ориана». И так вот Макс оценивает колье Мечи Инсунсы: женщины, давно ему известной — и незнакомой. Той, чья фотография вклеена в паспорт и чей новый, неведомый, а может, и попросту забытый аромат он вдохнул, войдя в номер, и ощущал, рассматривая вещи в шкафу. Той самой — и совсем, а может быть, и не совсем другой, — которая меньше часа назад прошла мимо и не узнала его. От теплых прикосновений жемчужин нахлынули воспоминания о звуках музыки и разговорах, об огнях прошлых лет (кажется, не лет, а столетий), о предместьях Буэнос-Айреса, о дробном стуке дождевых капель в оконное стекло, за которым — Средиземное море, о теплом привкусе кофе на губах женщины, о шелковистой упругости ее кожи. Все эти физические ощущения казались давно забытыми, а теперь вдруг разом и все вместе вернулись, словно осенний ветер принес ворох сухих листьев. И от этого старое сердце, навеки вроде смиренное, забилось чаще.

Макс присаживается на край кровати и сидит в задумчивости, глядя на ожерелье, перебирая жемчужины, как зерна четок. Наконец со вздохом поднимается, одергивает покрывало и прячет ожерелье на место. Убирает очки, окидывает номер прощальным взглядом, гасит свет, поднимает с пола полотенце и, сложив, кладет в ванной. Потом отдергивает шторы. Уже совсем стемнело, и вдалеке виднеются огни Неаполя. Выходя, он снимает с дверной ручки табличку «Не беспокоить», запирает дверь. Стягивает резиновые перчатки и широко, упруго шагает по ковровой дорожке — одна рука в кармане, большим и указательным другой поправляет узел галстука. Ему шестьдесят четыре года, но он чувствует себя молодым. Привлекательным. И, главное, дерзко-отважным.

Сновали бои с телеграммами и messages, провозили тележки с багажом. Было людно и шумно, как и должно быть в подобном месте, дорогом и космополитичном. На толстых пушистых коврах сиял логотип гостиницы. Макс Коста уже час и пятнадцать минут ждал в вестибюле отеля «Палас» Буэнос-Айреса, в курительной у подножья монументальной лестницы с бронзовыми перилами. Бившее из-под высокого, расписного и разукрашенного купола послеполуденное солнце освещало огромные витражные окна, и фигуру танцора обволакивали разноцветные полотнища. Он сидел, развернув кожаное кресло так, чтобы держать в поле зрения вращающуюся дверь, весь огромный холл, один из лифтов и стойку портье. Макс пришел без пяти три, как и было условлено с четой де Троэйе, однако часы над камином в курительном салоне показывали уже десять минут пятого, а супругов все не было. Снова взглянув на циферблат, он сменил позу, не позабыв поддернуть, чтобы не вытягивались на коленях, серые брюки, собственноручно выглаженные в номере пансиона, и потушил сигарету в большой латунной пепельнице. Опоздание композитора и его жены он воспринимал спокойно. В конце концов, в некоторых ситуациях — а по сути дела, во всех — терпение есть полезнейшее свойство. В высшей степени необходимая добродетель. И он — охотник искусный и умеющий выжидать — был наделен ею в полной мере.

Он находился в Буэнос-Айресе уже пять дней — столько же, сколько супруги де Троэйе. После стоянок в портах Рио-де-Жанейро и Монтевидео «Кап Полоний» прошел против течения илистую Рио-де-ла-Плату и после долгого маневрирования наконец ошвартовался у причальной стенки, где на фоне портальных кранов и краснокирпичных пакгаузов волновалась и бурлила толпа встречающих. В Европе стояла осень, а в Южной Америке начиналась весна, и с высоких палуб лайнера видно было, что все собравшиеся на причале — в легком и светлом, в соломенных шляпах. Макс, не имевший права сойти на берег раньше пассажиров, смотрел, как спустившуюся по главному трапу чету де Троэйе встречают человек шесть и стайка репортеров, ведут туда, где под присмотром троих стюардов и агента судоходной компании громоздятся их уже выгруженные чемоданы и баулы. Супруги попрощались с Максом два дня назад, после ужина, устроенного по случаю благополучного прибытия, и Меча Инсунса танцевала с ним трижды, а муж курил за своим столиком, наблюдая за ними. Потом они пригласили жиголо в бар первого класса, и, хотя это возбранялось правилами, Макс согласился — это был последний день его работы. Они выпили несколько коктейлей с шампанским, до глубокой ночи обсуждая аргентинскую музыку, и договорились встретиться в Буэнос-Айресе — с тем чтобы Макс исполнил обещание и сводил их в какое-нибудь заведение, где еще можно увидеть подлинное, старое танго.

И вот теперь он сидит здесь, в холле отеля, и ждет с тем же профессиональным спокойствием, с каким, доверяя своей интуиции и воспринимая свое терпение как полезную добродетель, пролежал в ожидании последние пять суток на кровати в номере убогого пансиона на проспекте Адмирала Брауна, выкуривая одну сигарету за другой и вытягивая стакан за стаканом абсент, от которого наутро просыпался с головной болью. И вот на исходе самому себе назначенного срока, после которого следовало озаботиться поисками выгодной партии, в дверь постучала хозяйка и сказала, что его просит к телефону некий кабальеро по имени Армандо де Троэйе. Композитор сообщил, что утром у него будет деловая встреча, но во второй половине дня и вечером он свободен. Так что они могут встретиться, выпить кофе, а потом отужинать вместе, прежде чем отправиться на обещанную вылазку в неприятельский стан. Де Троэйе произнес эти два слова легко и шутливо, так, словно не воспринял всерьез предупреждение, что посещение столичных притонов — дело опасное. С нами, разумеется, пойдет и Меча. Это он добавил после краткой паузы, отвечая на невысказанный вопрос Макса. И, помолчав еще немного, сказал, что ей это еще интересней, чем ему, причем можно было догадаться, что она где-то рядом: «Палас» — современный отель, телефоны стоят в каждом номере, и Максу нетрудно было себе представить, как супруги многозначительно переглядываются и вполголоса перебрасываются репликами, пока муж зажимает трубку ладонью. В последний их вечер на борту лайнера Меча заявила, что пойдет с ними во что бы то ни стало.

— Ни за что на свете не пропущу такой случай, — сказала она очень спокойно и твердо.

Тогда она сидела на высоком винтовом табурете перед стойкой, за которой бармен сбивал коктейли. На шее у Мечи Инсунсы сверкало и переливалось жемчужное колье в три витка, а платье от Vionnet — белое, простое, с открытыми плечами и спиной (протокол прощального ужина требовал вечернего туалета) — подчеркивало ее изящество. Протанцевав с ней три танго, Макс — он ни разу за все время плавания не увидел, чтобы она танцевала с мужем, — снова и с удовольствием почувствовал кожу под атласом длинного платья, доходившего до туфелек на высоком каблуке и при резких поворотах в такт музыке пленительно обрисовывающего линии тела, которое он держал в своих объятиях профессионально крепко, но не вполне безразлично.

— Там могут возникнуть непредвиденные ситуации, — настойчиво повторил он.

— Я рассчитываю на вас и на Армандо, — ответила она невозмутимо. — Надеюсь, вы меня защитите.

— Прихвачу свою «астру»,[[25]](#footnote-25) — весело сказал композитор, похлопав себя по карману.

И подмигнул Максу, но тому не понравилось ни легкомыслие мужа, ни бестрепетность жены. На миг он усомнился в том, что игра стоит свеч, но хватило одного взгляда на колье, чтобы увериться в обратном. Возможность риска уравновешена вероятностью выгоды, утешил он себя. Дело житейское. И ограничился лишь тем, что сказал меж двумя глотками:

— С оружием лучше туда не ходить... И не только туда, а и вообще никуда. Всегда появляется искушение применить.

— Не для того ли оно и существует?

Армандо де Троэйе бесшабашно улыбался. Вероятно, ему нравится этот шутливо-воинственный тон ироничного искателя приключений. Макс почувствовал уже знакомый укол злости. Легко было представить, как композитор потом будет хвастаться этой эскападой в кругу друзей — миллионеров и снобов. Того же Дягилева, например, с его «Русскими сезонами». Или пресловутого Пикассо.

— Когда достаешь оружие, ты приглашаешь других сделать то же самое.

— Ого... — протянул де Троэйе, — для человека вашей профессии вы недурно осведомлены.

В этой внешне благодушной реплике звучала язвительно-насмешливая нотка. Макс уловил ее, и она ему не понравилась. Может быть, подумал он, знаменитый композитор вовсе не так мил и обходителен, каким хочет выглядеть. А может быть, ему показалось, что три танго за один вечер и с одной партнершей — это чересчур.

— В самом деле недурно, — сказала женщина.

Де Троэйе взглянул на нее с легким удивлением. Так, словно прикидывал, что может знает о Максе его жена такого, чего не знает он.

— Ну разумеется, — заключил композитор, и понимать эту туманную фразу можно было как угодно. Потом снова заулыбался — на этот раз более искренне — и сунул нос в высокий стакан, словно знать ничего больше не желал.

Глаза Макса и Мечи Инсунсы на мгновение встретились. Танцуя с ним сегодня, она, как всегда, смотрела куда-то выше его правого плеча и — намеренно ли, случайно — избегала его взгляда. Но то, что возникло между ними во время безмолвного танго в «пальмовом салоне», изменило их поведение, проникнутое тихим, непоказным сообщничеством, которое сквозит в молчании, в движениях, фигурах, позах, принимаемых будто по взаимному уговору; когда кажется, что душевное состояние одного не просто передается, а властно, почти насильно навязывается другому, — но и то, как они смотрели друг на друга, еще не высказывая этими взглядами все до конца, и те только кажущиеся простыми ситуации, когда он предлагал ей очередную турецкую сигарету и спустя мгновение подносил огонек зажигалки или чуть изгибался на стуле, вроде бы ведя разговор с мужем, а на самом деле обращаясь к ней, или когда ждал, замерев и сдвинув по-военному каблуки, пока Меча Инсунса поднимется, небрежно протянет к его руке одну руку, а другую опустит на атласный отворот фрака, и в идеальной согласованности всех движений они заскользят по площадке, искусно огибая другие пары, которые рядом с ними будут казаться более неловкими или менее привлекательными.

— Это будет забавно, — заключил Армандо де Троэйе, допив свой стакан. Показалось, что он обозначил словами последнее звено длинной логической цепочки.

— Да, — согласилась Меча.

Макс, слегка сбитый с толку, не понял, что́ имеют в виду супруги. Более того, не был уверен, что они имеют в виду одно и то же.

Часы на стене курительного салона в отеле «Палас де Буэнос-Айрес» показывали уже четверть пятого, когда Макс наконец заметил вошедших в холл супругов де Троэйе: композитор был в канотье и с тростью в руках, Меча Инсунса — в элегантном платье из креп-жоржета, перехваченном в талии кожаным поясом, и соломенной памеле. Макс снял свою мягкую фетровую кнапп-фельт — очень приличную, хоть и далеко не новую — и пошел к ним навстречу. Армандо де Троэйе извинился за опоздание («Сами понимаете, „Жокей-клуб“ и чрезмерное аргентинское гостеприимство, хоть разговоры только о мороженом мясе и скаковых английских кобылах») и, поскольку Макс ждал так долго, предложил прогуляться, чтобы размять ноги, а потом где-нибудь выпить кофе. Меча отказалась, сославшись на усталость, пообещала присоединиться к ним за ужином и, на ходу стягивая перчатки, направилась к лифту. Армандо и Макс вышли на улицу и, ведя беседу, медленно тронулись под сводами арок, тянувшихся до самого порта вдоль проспекта Леандро Алема, который был густо обсажен деревьями, в это время года сплошь — в золотисто-желтых цветах.

— Вы упомянули Барракас, — сказал внимательно слушавший Макса композитор. — Это улица или квартал?

— Квартал. И вполне соответствует своему названию... Можем пойти туда, а можем — в квартал Ла-Бока.

— А вы что рекомендуете?

Барракас лучше, ответил Макс. И там, и там на каждом шагу — кабаки и притоны, но все же Ла-Бока расположена ближе к порту и потому наводнена моряками, докерами, приезжими. Иностранцами, так сказать, самого последнего разбора. И танцуют там танго офранцуженное, усвоившее черты парижского стиля; это интересно, но не чисто. Тогда как в Барракас, населенном итальянскими, испанскими, польскими иммигрантами, можно увидеть его в первозданном виде. И музыканты там ближе к истокам. Или, по крайней мере, делают вид.

— Понимаю, — улыбнулся Армандо де Троэйе. — Иными словами, навахи местного сброда содержат больше танго, нежели финки иностранной матросни?

Макс рассмеялся:

— Можно и так сказать. Однако не обольщайтесь. Нож есть нож и везде опасен одинаково... Не говоря уж о том, что теперь все предпочитают пистолеты.

На углу Коррьентес, возле здания биржи, они свернули налево, и аркады остались позади. Макадам и асфальт мостовой, уходившей вверх до старого почтамта, были взломаны — там прокладывали подземку.

— Я еще раз прошу вас, — прибавил Макс, — вас и вашу супругу: оденьтесь, пожалуйста, так, чтобы не привлекать к себе внимания. Не надевайте драгоценностей, не берите с собой много денег и не держите их на виду... И вообще постарайтесь быть незаметней.

— Не беспокойтесь. Будем вести себя скромней скромного. Тише воды, что называется... Не хочу, чтобы у вас были неприятности.

Макс остановился, уступая дорогу спутнику, чтобы тот мог обойти колдобину.

— Если будут неприятности — так уж не у меня, а у нас троих... А вам в самом деле так необходимо брать с собой жену?

— Да вы не знаете Мечу! Она никогда не простит мне, если я оставлю ее в отеле. Эта экскурсия в предместье разжигает ее, как ничто другое.

Макс с раздражением подумал, что у этого глагола есть несколько значений. Ему не нравилась игривость, с какой композитор употреблял некоторые слова. Но сейчас же вспомнил медовые глаза Мечи Инсунсы и ее взгляд, когда на борту лайнера впервые заговорили о походе в злачные места Буэнос-Айреса. Не исключено, заключил он, что Армандо де Троэйе сказал сейчас именно то, что хотел сказать, и назвал вещи своими именами.

— А вы почему согласились сопровождать нас, Макс? Вам зачем это нужно?

Макс в удивлении уставился на композитора. Вопрос звучал естественно и, казалось, был задан искренне. Тем не менее у Армандо был какой-то отсутствующий вид — словно он осведомлялся формально, из чистой учтивости, продолжая в это время размышлять о чем-то другом.

— Не знаю, право, что вам сказать...

Они продолжали подниматься по улице, оставив позади проспект Реконкисты и Сан-Мартин. Под трамвайными проводами и электрическими фонарями возились рабочие, а между ними сновали бесчисленные автомобили и наемные фиакры. Тротуары, затененные козырьками и навесами над витринами лавок, кафе, кондитерских, заполняла многолюдная толпа, и в ее пестроту были вкраплены темные полицейские мундиры.

— Само собой, я должным образом отблагодарю вас...

Макса вновь — и на этот раз сильнее — кольнуло раздражение.

— Не в этом дело.

Композитор непринужденно вертел в пальцах трость. Пиджак его кремового костюма был расстегнут, большой палец сунут в жилетный карман, откуда тянулась часовая цепочка.

— Я знаю, что не в этом. Потому и спросил.

— А я ответил, что не знаю. — Макс в смущении прикоснулся к полю шляпы. — На корабле вы, помнится...

И намеренно запнулся, глядя, как прямоугольник солнечного света лежит ковром на пересечении улиц Коррьентес и Флориды. На самом деле его слова про обстоятельства сказаны были для проформы. Еще сколько-то шагов он прошел молча, думая о женщине — о ее оголенной спине и о бедрах, закрытых невесомой тканью. И о великолепном колье в вырезе платья, играющем под электрическими огнями танцевального салона.

— Очень хороша, не так ли?

Макс, и не оборачиваясь, знал, что Армандо де Троэйе смотрит на него. И он предпочитал не угадывать, как именно.

— Кто?

— Сами знаете, кто. Моя жена.

После краткого молчания Макс наконец обернулся к собеседнику:

— А вы, сеньор де Троэйе?

Мне не нравится его улыбка, осознал он внезапно. И не та, что сейчас у него на губах, а вообще. И эта манера топорщить ус. Вполне вероятно, и раньше тоже не нравилась.

— Зовите меня просто Армандо. Мы уже давно знакомы.

— Хорошо, Армандо. Итак, чего же хотите вы?

Они уже свернули налево и шли по Флориде — с трех часов дня только пешеходы, автомобили, припаркованные на углах, и множество витрин по обе стороны. Вся улица казалась одной бесконечной торговой галереей. Армандо де Троэйе показал туда, как будто ответ был очевиден:

— Да вы же знаете. Написать незабываемое танго. Позволить себе эту прихоть и доставить себе это удовольствие.

Произнося эти слова, он рассеянно рассматривал витрину, где были выставлены мужские сорочки фирмы «Gath & Chaves». Оба шли в потоке прохожих — главным образом, нарядных женщин, — который струился по тротуарам. С обложки последнего номера журнала «Карас и каретас», выставленного в газетном киоске, им широко улыбался Гардель.

— Все началось с пари. Я был в Сан-Хуан-де-Лус, в гостях у Равеля, и он дал мне послушать эту чушь, которую сочинил для балета Иды Рубинштейн, — настырное болеро, не имеющее развития, основанное только на разных градациях оркестра... Если ты смог написать такое болеро, сказал я ему, я смогу написать танго. Мы посмеялись и поспорили: проигравший платит за ужин. Ну и вот... Я здесь.

— Я не танго имел в виду, когда спрашивал, чего вы хотите. Вернее, не только танго.

— Танго не напишешь одной лишь музыкой, друг мой. В счет идет и то, как ведут себя люди. Это торит дорогу.

— А я-то что делаю на этой дороге?

— К вам я обратился по нескольким причинам. Во-первых, вы откроете двери в ту среду, что интересует меня. С другой стороны, вы исключительно танцуете. И, в-третьих, внушаете мне симпатию... И в отличие от многих и многих, рожденных здесь, не считаете, что быть аргентинцем уже есть заслуга и высшее отличие.

Макс на ходу, не останавливаясь, взглянул на витрину магазина швейных машинок «Зингер», в которой отражались они оба. Когда они стоят вот так, рядом, за этой знаменитостью нельзя признать никаких преимуществ. При всей безупречности манер и элегантности облика Армандо де Троэйе внешне уступал танцору. Тот был стройней и почти на голову выше. И держался не хуже. И одежда его, пусть скромная и поношенная, сидела на нем как влитая.

— Ну хорошо... А ваша жена? Как с ней?

— Ну, это вам должно быть известно лучше, чем мне.

— Вы ошибаетесь. Представления не имею.

Они остановились перед выложенными на стенде книгами — на этой улице было много букинистических лавок. Де Троэйе взял трость под мышку и, не снимая перчаток, вяло, без интереса перелистал одну из книг. Потом с безразличным видом сказал:

— Меча — особенная женщина. Она не только красива и изящна... В ней есть кое-что помимо этого. И, может быть, намного больше этого. Я ведь музыкант, не забывайте. Сколь ни велик мой успех, сколь ни рассеянной кажется жизнь, которую я веду, моя работа неизменно становится между мной и всем остальным миром. Меча — это мои глаза. Мои антенны, если можно так выразиться. Она отцеживает и фильтрует для меня все вокруг. Сказать по правде, до знакомства с ней я и не начинал даже познавать всерьез ни жизнь, ни самого себя... Она из тех женщин, что помогают постигать время, в которое нам выпало жить.

— Но я-то здесь при чем?

Де Троэйе снова взглянул на него. Спокойно и чуть лукаво.

— Боюсь, мой дорогой друг, сейчас вы чересчур возомнили о себе.

Он остановился и, опираясь на трость, снизу вверх взглянул на Макса. Взглянул так, словно беспристрастно и трезво оценивал наружность танцора.

— А впрочем, по здравом размышлении... — вдруг прибавил он. — Может быть, и не чересчур.

И внезапно зашагал дальше, надвинув канотье на брови. Макс двинулся следом.

— Знаете, что такое «катализатор»? — спросил, не оборачиваясь, де Троэйе. — Нет? По-научному говоря, нечто, способное вызывать химические реакции и трансформации, и при этом не меняться само. А если проще — ускорять или облегчать развитие определенных процессов.

Макс услышал его смех. Тихий, словно сквозь зубы. Так смеются над удачной шуткой, смысл которой понятен тебе одному.

— И вы кажетесь мне интересным катализатором, — добавил композитор. — И позвольте еще сказать вам то, с чем вы, без сомнения, согласитесь... Больше ассигнации в сто песо или бессонной ночи не стоит ни одна женщина в мире, если только вы не влюблены в нее. И моя жена — тут не исключение.

Макс отступил в сторону, давая пройти какой-то даме с покупками в фирменных пакетах. За спиной у него, на перекрестке, который они только миновали, раздался протяжный автомобильный гудок.

— Это опасная игра, — возразил он. — Требует умения и навыка.

Смех де Троэйе, сделавшись еще более неприятным, стал затихать и вот смолк, словно иссяк. Композитор остановился и снова взглянул в глаза Максу, из-за разницы в росте — снизу вверх.

— Вы и не знаете, какую игру я затеваю. Но если согласитесь участвовать в ней, я готов заплатить вам три тысячи песо.

— Не слишком ли щедро за одно танго?

— За гораздо большее. — Указательный палец почти уперся ему в грудь. — Соглашаетесь или отказываетесь?

Макс пожал плечами. Вопрос никогда не обсуждался прежде, и оба это знали. Не обсуждался до тех пор, пока на сцену не вышла Меча Инсунса.

— Значит, Барракас, — сказал он. — Сегодня вечером.

Армандо де Троэйе медленно склонил голову. Сумрачное выражение его лица плохо вязалось с тем удовлетворенным, почти ликующим тоном, каким он произнес:

— Вот и замечательно! Да. Барракас.

Отель «Виттория», Сорренто. Послеполуденное солнце золотит занавески на полуоткрытых окнах зала. Перед восемью рядами мест для публики неоновые лампы льют «дневной» — безжизненный и ровный — свет на эстраду, где стоит стол, а в глубине, рядом с другим, судейским, укреплено огромное настенное табло, на котором ассистент обозначает развитие партии. В просторном зале с раззолоченным потолком и множеством зеркал царит торжественная тишина, через неравные и протяженные промежутки времени нарушаемая стуком фигуры, занявшей новую клетку, да двойным щелчком шахматных часов — каждый из игроков нажимает соответствующий рычажок, прежде чем записать в разграфленный лист сделанный только что ход.

Макс Коста, сидя в пятом ряду, рассматривает соперников. Русский — он в коричневом костюме, в белой сорочке и зеленом галстуке — играет, откинувшись на спинку стула и не поднимая головы. Широкое лицо Михаила Соколова над чересчур жестким воротником рубашки склонено к доске, и кажется, будто галстук слишком туго сдавливает ему шею; некоторую топорность облика смягчает выражение кроткой печали, застывшее в водянисто-голубых глазах. Телосложением и круглой головой, поросшей короткими светлыми волосами, он напоминает миролюбивого медведя. Сделав очередной ход — сегодня его черед играть черными, — он отрывает взгляд от доски и подолгу смотрит себе на руки, в которых каждые десять-пятнадцать минут начинает дымиться очередная сигарета. В перерывах чемпион мира теребит себя за нос или обкусывает заусенцы, а потом либо вновь погружается в сосредоточенную неподвижность, либо достает новую сигарету из пачки, лежащей рядом, вместе с зажигалкой и пепельницей. Макс замечает, что русский чаще смотрит на свои руки, чем на расположение фигур.

Снова щелкает рычажок шахматных часов. Хорхе Келлер, сидящий по другую сторону стола, двинул белого коня и, сняв колпачок с шариковой ручки, записывает ход, который ассистент тотчас повторяет на демонстрационном табло. И каждый раз, когда чилиец передвигает фигуру, по рядам зрителей проходит некое содрогание, сопровождающееся вздохом ожидания и еле слышным рокотом. Партия близится к миттельшпилю.

За доской Хорхе Келлер кажется еще моложе. Черные волосы, падающие на лоб, спортивного покроя пиджак, мятые штаны цвета хаки, узкий полураспущенный галстук и непрезентабельные спортивные туфли придают облику чилийца приятную небрежность. Он вызывает симпатию — вот верное слово. По внешности и повадкам гроссмейстер больше напоминает немного сумасбродного студента, чем грозного шахматиста, который через пять месяцев будет оспаривать у Соколова титул чемпиона мира. Макс видел, как он пришел к началу партии с бутылкой апельсинового сока, не глядя, протянул руку русскому, уже сидевшему на своем месте, сел сам, поставил бутылку и, все так же не глядя на доску и не задумываясь, сделал первый ход, наверняка заготовленный заблаговременно. В отличие от русского, он не курит и вообще, когда оценивает положение или ожидает хода противника, сидит неподвижно — разве что изредка протягивает руку к бутылке и отпивает глоток прямо из горлышка. А иногда в ожидании — оба игрока подолгу раздумывают перед каждым ходом, но Соколов тратит больше времени, чтобы решиться, — Келлер, упершись локтями в стол, опускает голову в ладони, как если бы расстановку фигур на доске ясней видит в воображении, а не глазами. И после того, как противник делает ход, вскидывает голову, будто мягкий стук переставленной фигуры выводит его из забытья.

Для Макса все происходящее тянется нестерпимо медленно. Партия в шахматы, особенно такого уровня и так церемонно обставленная, наводит на него тоску. И он сильно сомневается, что. даже если бы Ламбертуччи и капитан Тедеско объяснили ему подоплеку и смысл каждого хода, это сумело бы пробудить в нем интерес. Но обстоятельства и удобное место позволяют вести наблюдение в свое удовольствие. И не только за игроками. В первом ряду, в кресле на колесах, в сопровождении помощницы и секретаря, сидит спонсор матча — промышленник-миллионер Кампанелла, уже десять лет как парализованный после автокатастрофы на повороте трассы Рапалло — Портофино. Слева от него между юной Ириной Ясенович и грузным лысым мужчиной с седеющей бородой сидит и Меча Инсунса. Макс со своего места — достаточно лишь чуть наклониться вбок, чтобы не загораживала голова впереди сидящего — видит ее плечи, покрытые легким шерстяным кардиганом, короткие седые волосы, открывающие стройную шею до самого затылка, и, когда она поворачивается что-то прошептать на ухо своему тучному соседу справа, — профиль, не утерявший с годами четкость очертаний. Он узнает ее спокойную и уверенную манеру склонять голову, внимательно вглядываясь в происходящее на эстраде, точно так же, как в былые дни смотрела она на другие вещи, на другие игры, которые, вспоминает Макс с меланхолической улыбкой, были замысловаты не менее, чем та, что разворачивается сейчас у них на глазах, на доске и на табло, где ассистент демонстрирует положение фигур.

— Приехали, — сказал Макс Коста.

Автомобиль — лиловый лимузин «Пирс-Эрроу» с эмблемой «Автомобильного клуба» на радиаторе — остановился на углу длинной кирпичной стены в тридцати шагах от железнодорожной станции «Барракас». Луна еще не взошла, и, когда шофер погасил фары, только одинокий уличный фонарь неподалеку да четыре желтоватые лампочки над козырьком подъезда разгоняли темноту. Последние красноватые блики истаивали в черном небе Буэнос-Айреса, скользили по застроенным приземистым домам и улочкам, уводившим на левый берег и к докам Риачуэло.

— Диковатое место, — сказал Армандо де Троэйе.

— Вы же хотели танго... — ответил Макс.

Он вылез из машины первым и, сняв шляпу, придержал дверцу перед композитором и его женой. При свете фонаря стало видно, что Меча Инсунса в наброшенной на плечи шелковой шали невозмутимо оглядывается по сторонам. Без шляпы, без всяких украшений, в светлом платье, в туфлях на невысоком каблуке, в белых перчатках до локтя, она все равно была чересчур шикарна, чтобы разгуливать по таким местам. Ни тонувший во мраке перекресток, ни угрюмая кирпичная дорожка, уходящая во тьму между стеной и приподнятым над землей бетонным и железным зданием станции, не произвели на нее особого впечатления. А вот Армандо де Троэйе в синем саржевом костюме, в шляпе и с тростью озирался вокруг не без тревоги. Было вполне очевидно, что действительность сильно превосходит его ожидания.

— Вы в самом деле хорошо знаете это место, Макс?

— Ну еще бы. Я родился в трех кварталах отсюда. На улице Виэйтес.

— В трех кварталах?.. Черт возьми.

Макс склонился к открытому окну лимузина, что-то втолковывая шоферу — плотному, молчаливому итальянцу с гладко выбритыми щеками и черными волосами, выбивавшимися из-под форменной фуражки. В «Паласе», когда де Троэйе заказывал лимузин, его отрекомендовали как опытного водителя и вполне надежного человека. Чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, Макс не хотел оставлять машину у самого входа в заведение, куда они направлялись. Последний отрезок пути он намеревался проделать пешком и потому сейчас объяснял шоферу, где тот должен был ожидать их — не слишком близко, но в пределах видимости. Потом, чуть понизив голос, спросил, есть ли у него оружие. Итальянец коротко кивнул и показал на «перчаточный ящик».

— Пистолет или револьвер?

— Пистолет, — сухо ответил тот.

Макс улыбнулся:

— Как вас зовут?

— Петросси.

— Сожалею, Петросси, но вам придется нас подождать. Часа два, не больше.

Любезность, как известно, стоит дешево, а ценится дорого: учтивостью ты инвестируешь в будущее. Ночью, да еще в таком месте, крепкий и к тому же еще вооруженный итальянец будет совсем не лишним. Подстраховаться никогда не помешает. Макс дождался, когда шофер, не теряя профессионального безразличия, снова кивнет, но все же заметил в свете фонаря быстрый благодарный взгляд. Он положил ему руку на плечо, дружелюбно похлопал и пошел догонять супругов.

— Мы и не знали, что вы здешний, — сказал композитор. — Вы не говорили.

— Повода не было.

— И прожили здесь до самого отъезда в Испанию?

Де Троэйе был непривычно говорлив — без сомнения, так он пытался замаскировать свое беспокойство, сквозившее тем не менее в каждом жесте и слове. Меча Инсунса шла рядом, между ним и Максом, держа мужа под руку. Шла молча, все замечая, но не произнося ни звука, — только постукивали ее каблуки по кирпичной дорожке. Все трое двигались вдоль стены, постепенно углубляясь в безмолвную тьму квартала, простершегося между станцией и приземистыми домиками, где жизнь все еще шла по обычаям не города, а предместья, — и Макс с каждым шагом узнавал его горячий влажный воздух, особый запах кустистой травы, пробившейся сквозь выбоины мостовой, илистый смрад недалекой Риачуэло.

— Да. Первые четырнадцать лет я провел в Барракас.

— Подумать только... Вы просто шкатулка с секретом.

В тоннеле, где строенное эхо шагов звучало особенно гулко, Макс, выводя спутников на свет второго уличного фонаря, стоявшего за станцией, обернулся к де Троэйе:

— Вы правда захватили «астру»?

Композитор громко рассмеялся:

— Да нет, конечно, что за вздор... Я пошутил. Не ношу оружия.

Макс с облегчением кивнул. Его охватывало беспокойство при мысли о том, как композитор, вопреки его советам, входит в притон с пистолетом в кармане.

— Тем лучше.

Казалось, ничего не изменилось за эти двенадцать лет, что Макс не был здесь, хоть и приезжал раза два в Буэнос-Айрес. Он шел сейчас, будто ступая по собственным следам, вспоминая дом невдалеке отсюда, где провел детство и раннюю юность, — доходный дом, неотличимый от других таких же на улице Виэйтес, в квартале и в городе. Стиснутые стенами ветхого двухэтажного здания, там копошились пестрые, разношерстные, лишенные и намека на приватность бытия полторы сотни людей всех возрастов, звучала испанская, итальянская, польская, немецкая речь. Там не запирались двери, и в съемных комнатах многочисленными семействами и поодиночке жили эмигранты обоих полов: те, кому повезло, работали на Южной железной дороге, на дебаркадерах и пристанях Риачуэло, на окрестных фабриках, четырежды в день завывавших гудками, которые определяли уклад семей, где не водилось часов. Женщины, ворочавшие в чанах одежду, дети, роившиеся во внутреннем дворе под вечно вывешенным на просушку бельем, которое пропитывалось чадом жарева, паром варева, вонью общих сортиров с обмазанными гудроном стенами. Комнаты, где крысы были на положении домашних животных. Мир, где лишь малые дети в невинности своей улыбались открыто, не предполагая еще, что жизнь обрекла почти каждого из них на неминуемое поражение.

— Ну, вот и пришли.

Они остановились у фонаря. За железнодорожной станцией, на другой стороне туннеля тянулась темная прямая улица, где среди приземистых лачуг стояло несколько двухэтажных домов; на одном из них горела неоновая вывеска «Отель», причем последняя буква отсутствовала. В дальнем конце улицы угадывалось в полутьме заведение, которое они искали, — нечто похожее на пакгауз с цинковыми стенами и крышей, с желтоватым фонариком над дверью. Макс дождался, когда справа возникнут сдвоенные фары «Пирс-Эрроу», который медленно продвигался вперед и затормозил там, где и было условлено, — в пятидесяти метрах, на соседнем перекрестке, начинался другой квартал. Когда фары погасли, Макс оглядел супругов и убедился, что композитор от волнения зевает, как рыба, выброшенная на сушу, а Меча Инсунса улыбается, странно блестя глазами. Тогда он пониже надвинул шляпу, сказал «пошли», и все трое пересекли улицу.

Внутри пахло табачным дымом, джином, бриллиантином и человеческим телом. Как и в других дансингах возле Риачуэло, в просторном помещении «Ферровиарии» днем торговали съестным и спиртным, а по вечерам играла музыка и устраивались танцы; деревянный пол скрипел под ногами, за железными столиками на железных стульях сидели посетители, а иные — самого бандитского вида — стояли у стойки, освещенной голыми электрическими лампочками: кто облокотился, кто привалился боком. На стене, за спиной бармена-испанца, которому помогала худосочная и нескладная девица, вяло сновавшая меж столиками, висело большое запыленное зеркало с рекламой кофе «Агила» и плакат страховой компании «Франко-Аргентина» с изображением гаучо, пьющего мате. Справа от стойки, у двери, за которой виднелись бочонки соленых сардин и ящики с вермишелью, между погашенной керосиновой печкой и древней ободранной пианолой «Олимп» на небольшой эстраде трио — аккордеон, гитара и пианино: клавиши слева были прожжены сигаретами — тянуло нечто заунывно-жалобное; и, вслушавшись, Макс не сразу узнал танго «Старый петух».

— Замечательно... — с восхищением пробормотал Армандо де Троэйе. — И так неожиданно... Другой мир.

Да уж, подумал Макс, примиряясь с неизбежным, достаточно только поглядеть на тебя. Композитор положил на стул канотье и трость, сунул желтые перчатки в левый карман пиджака и закинул ногу на ногу так, что под идеально отглаженными брючинами открылись гамаши. Заведение, куда он попал, разительно отличалось от тех дансингов, которые они с женой посещали, одевшись по всем правилам этикета. «Ферровиария» в самом деле была другим миром, и обитали здесь иные существа. Прекрасный пол был представлен десятком женщин — в большинстве своем молодых, большей частью — сидевших за столиками или танцевавших с мужчинами в свободном пространстве. Это, собственно говоря, не проститутки в общепринятом смысле слова, вполголоса объяснял Макс, а так называемые рюмочницы: они обязаны уговаривать мужчин-посетителей потанцевать, получая за каждый танец «марку», а за нее — несколько сентаво от хозяина, и заказывать как можно больше спиртного. У одних есть женихи или возлюбленные, и кое-кто из них присутствует здесь, у других — нет.

— Коты? — спросил де Троэйе, вспомнив термин, употребленный Максом еще во время их первого разговора на лайнере.

— В той или иной степени, — подтвердил тот. — Но не все здесь проститутки. Иные просто зарабатывают на жизнь танцами — и ничем иным. Подобно тому, как их подруги работают на фабриках или в портняжных мастерских. Вполне добропорядочные барышни.

— Когда танцуют, не производят впечатления ни добрых, ни порядочных, — сказал де Троэйе, озираясь. — И даже когда так просто сидят — тоже.

Макс показал на сплетенные в объятиях пары, двигавшиеся по площадке. Важные, сосредоточенные, преувеличенно мужественные кавалеры внезапно, посреди музыкальной фразы обрывали танец — здешнее танго шло стремительней, чем обычное, — и, не только не выпуская партнершу, но и крепко прижимая к себе, заставляли сделать оборот вокруг своей оси. При этом ноги дамы, делавшей резкое, виляющее движение бедрами, проскальзывали поочередно по обеим ногам кавалера. Все это было до крайней степени чувственно.

— Как видите, совсем другое танго. Другая среда.

Подошла официантка с графином джина и тремя стаканами, поставила их на стол, сверху вниз оглядела Мечу Инсунсу, окинула безразличным взглядом обоих мужчин и удалилась, вытирая руки о передник. Когда несколько минут назад они переступили порог заведения, воцарилась внезапная и напряженная тишина, и от двери до столика вошедших проводили десятки глаз, но сейчас опять зазвучали голоса, хотя посетители продолжали — кто нахально и открыто, а кто исподволь и бегло — рассматривать незнакомых посетителей. Макс, другого и не ожидавший, счел, что это в порядке вещей. В высшем обществе аргентинской столицы ради экзотики и чтобы пощекотать себе нервы было принято совершать такие турне по кабаре последнего разбора и окраинным кабакам, однако и Барракас, и Ла-Бока оставались за пределами подобных маршрутов. Здесь едва ли не все завсегдатаи были местными, разве что иногда забредали морячки с баржей и баркасов, ошвартованных у причалов Риачуэло.

— А что скажете о мужчинах? — осведомился де Троэйе.

Макс, ни на кого не глядя, отпил джина.

— Типичные местные компадрито. Или еще только мечтают сделаться таковыми. Тяготеют, так сказать.

— Как вы о них ласково...

— Никакой ласки тут и близко нет. Я вам говорил, что компадрито — это простолюдин из предместья или с окраины, который строит из себя удальца-забияку. Меньшая их часть такова на самом деле, а прочие желают такими стать. Или хотя бы прослыть.

Де Троэйе взглядом показал на посетителей:

— А эти?

— Здесь всякие есть.

— Как интересно! Что скажешь, Меча?

Композитор жадно рассматривал посетителей за столиками и у стойки: у всех был вид людей, готовых на что угодно; из-под низко надвинутых шляп сальные блестящие волосы спускались на воротник куцых пиджачков без шлиц, все носили остроносые башмаки, у всех на столах стоял стакан граппы, коньяка или джина, а в углу рта дымилась сигарета «Аванти», у всех под оттопыренным бортом пиджака или в вырезе жилета угадывались ножи.

— Вид опасный, — заметил де Троэйе.

— Не только вид. Поэтому я вам советую не смотреть пристально или подолгу на них или на женщин, с которыми они танцуют.

— А вот на меня они пялятся, — весело сообщила Меча.

Макс обернулся к ней. Медовые глаза с любопытством и вызовом осматривали заведение.

— Делайте вид, будто не замечаете. И тогда, бог даст, они тем и удовольствуются.

Женщина негромко рассмеялась, и этот приглушенный смех был почему-то ему неприятен. Несколько секунд спустя она взглянула на него и сказала холодно:

— Не пугайте меня, Макс.

— Даже и не думаю, — выдержав ее взгляд, сказал он спокойно. — Я ведь говорил уже, что не верю, будто чем-то таким вас можно напугать.

Он вытащил свой портсигар и открыл его перед супругами. Де Троэйе покачал головой и закурил свою сигарету. Меча Инсунса взяла «абдул-пашу», вправила в мундштук и наклонилась к огоньку спички, протянутой Максом. Дав ей прикурить, он откинулся на спинку, положил ногу на ногу, выпустил первое облачко дыма, наблюдая за танцующими.

— А как отличить, кто проститутка, а кто нет? — поинтересовалась Меча.

Небрежно роняя пепел на деревянный пол, она разглядывала одну из женщин: ее партнер был грузен и тучен, но двигался при этом с удивительным проворством. Женщина была еще молода, по виду — славянка: уложенные короной белокурые волосы отливали на свету старым золотом, светлые глаза были сильно подведены. Под блузой в красно-белых цветах, судя по всему, надето было не слишком много, а чересчур короткая юбка, взвиваясь в танце, порой очень смело открывала обтянутую черным чулком ногу до самого бедра.

— Это не так просто, — ответил Макс, не сводя глаз с этой женщины. — Требуется большой опыт.

— А у вас он какой?

— Приличный.

Музыка стихла, и пара остановилась. Толстяк стал вытирать пот носовым платком, а блондинка, не сказав ему ни слова, вернулась за столик, где сидели еще двое — мужчина и женщина.

— А вот эта, например? — Меча Инсунса показала на нее. — Она проститутка или просто танцует за деньги, как вы на пароходе?

— Не знаю, — Макс был слегка уязвлен и потому отвечал не без раздражения. — Надо приглядеться поближе.

— Ну так приглядитесь.

Он взглянул на кончик сигареты, словно проверяя, хорошо ли горит. Потом поднес ее ко рту, вдохнул точно отмеренную порцию дыма и медленно выпустил.

— Чуть позже, я думаю.

Оркестр начал новую пьесу, и на площадку вышли новые пары. Кое-кто из кавалеров держал руку с зажатой в пальцах сигаретой за спиной, чтобы партнерше не мешал дым. Армандо де Троэйе с довольной улыбкой старался не упустить ни одной подробности. Макс заметил, что он уже дважды доставал карандашик и что-то записывал мелко и убористо на своих крахмальных манжетах.

— Вы правы, — сказал он. — Темп другой, более стремительный. Фигуры не так четки. Да и музыка другая.

— Это она и есть — старая гвардия. — Макс с облегчением воспринял перемену темы. — Танцуют так, как играют, быстрее и резче. И обратите внимание на стиль.

— Да уж обратил. Стиль обворожительно похабный.

Меча Инсунса яростно погасила окурок в пепельнице, словно внезапно обидевшись.

— Нельзя ли без ханжества?

— Боюсь, дорогая, что «похабный» — это самое точное слово. Погляди... Почти возбуждаешься, глядя на них.

Композитор заулыбался шире — заинтересованно и с долей цинизма. Макс догадывался, что супруги, не трудясь расшифровывать, говорят на своем языке, полном намеков и умолчаний, ясных им одним. Его беспокоило, что и он каким-то боком вовлечен в это. Каким же именно, спросил он себя с обидой и любопытством. И насколько глубоко?

— Помните, я рассказывал еще на корабле, — пояснил он, — первоначально это был негритянский танец. И партнеры почти не соприкасались. А вот когда они держат друг друга в объятиях, то даже самый благопристойный вариант сильно меняет дело. Салонное танго сгладило все эти вызывающие позы, сделало их приличными. Но здесь, как видите, приличия мало кого заботят.

— Любопытно, любопытно... — сказал де Троэйе, жадно его слушавший. — А эта музыка оригинальная? Изначально предназначалась для танго?

Оригинальность — не в самой музыке, а в манере исполнения, объяснил Макс. Здешние люди не читают партитур. Играют на свой лад, как повелось исстари, в стремительном темпе. Он показал на маленький оркестр — трех тощих, изнуренных, седых музыкантов с густыми, побуревшими от никотина усами. Самому молодому, аккордеонисту, было сильно за пятьдесят, и зубы у него были такие же выщербленные и желтые, как клавиши его инструмента. Как раз в ту минуту он переглядывался с товарищами, решая, что играть дальше. Вот кивнул и несколько раз притопнул ногой, задавая ритм, пианист ударил по клавишам, прерывисто застонали меха аккордеона, и полились звуки «Серенады». Через секунду площадка заполнилась парами.

— Ну, вот они, перед вами, — улыбнулся Макс. — Ребята былых времен.

На самом деле он улыбался себе — своим воспоминаниям о предместье. Тому, теперь далекому уже времени, когда эта музыка гремела в воскресные утра, в летние вечера, когда он с другими ребятишками играл на мостовых под уличными фонарями — в ту пору еще газовыми. Когда издали глазел на танцующих и кричал парочкам, миловавшимся в темных углах: «Отдай косточку, песик!» — и вслед за тем с хохотом удирал прочь, и каждый день слышал эти до боли знакомые звуки из уст мужчин, которые возвращались после фабричной смены, и женщин, которые собирались во дворах у чанов с мыльной водой. И те же мелодии сквозь зубы насвистывали бандиты в низко надвинутых шляпах, когда, посверкивая в полутьме клинками, подбирались вдвоем к неосторожно забредшему в их владения полуночнику.

— Мне бы хотелось поговорить с музыкантами, — сказал де Троэйе. — Как вы считаете, это возможно?

— Почему же нет? Когда они закончат, пригласите за стол, угостите... А еще лучше — просто дать денег... Только не трясите бумажником. Нас и так уже просверлили глазами.

Танцы шли своим чередом. Блондинка славянского типа снова появилась на площадке — теперь в сопровождении мужчины, с которым раньше сидела за столиком. С мрачным вызовом вперив взгляд в какие-то дали, застланные полотнищами сизого дыма, он в такт музыке вертел ее, направляя легчайшими движениями, чуть заметным нажимом руки на спину, а иногда одним лишь взглядом, и резко, как бы неожиданно, останавливался, чтобы она, одновременно и презрительная, и податливо-льнущая, с бесстрастным лицом уставившаяся на него, шла то в одну сторону, то в другую и внезапно в покорном подчинении его воле приникала всем телом к партнеру, словно разжигая в нем желание, изгибалась, раскачивала бедрами, с полнейшей естественностью повинуясь тому, чего требовал от нее ритуал танца.

— Если бы не аккордеон, — объяснял Макс, — ритм был бы намного более стремительным. Еще более рваным. Учтите, изначально «Старая гвардия» исполнялась только флейтой и гитарой.

Армандо де Троэйе, очень заинтересовавшись, записал и это. Меча Инсунса молчала, не сводя глаз с белокурой девицы и ее кавалера. А тот, оказываясь в танце рядом с их столиком, несколько раз встречался с ней взглядом. Макс отметил, что этот выдубленный своими сорока годами крепыш в заломленной набекрень шляпе по виду — опасному виду — испанец или итальянец. Армандо де Троэйе кивал, блаженствуя в задумчивом восхищении. И пальцами отстукивал такт по столешнице, словно нажимал невидимые клавиши.

— Да-да, — повторял он с явным удовольствием. — Теперь понимаю, что вы говорили тогда. Вот оно — чистое танго.

Всякий раз, как кавалер белокурой в танце проскальзывал мимо, он взглядывал на Мечу Инсунсу, и всякий раз — все более пристально. Образцовый представитель здешней братии — или хотел казаться таковым: густые усы, пиджак в обтяжку, башмаки, проворно сновавшие по деревянному полу и вычерчивавшие замысловатые узоры под дробный перестук каблуков его дамы. Все в нем — и наружность, и костюм, и манеры — несло налет неестественности и было проникнуто желанием выглядеть как истый компадре, — но с чужого плеча была эта одежка. Наметанным глазом Макс заметил, что диковато по теперешним временам смотревшийся нож оттопыривает левый борт пиджака и жилет, на который свисали длинные концы белого шелкового платка, завязанного на шее с рассчитанным щегольством. Скосив глаза, заметил он и то, что Меча вступила в игру и с вызовом выдерживает взгляд танцора, и почувствовал — благо сам вырос в этом квартале, — что назревают неприятности. Пожалуй, не стоит здесь особенно засиживаться, обеспокоенно сказал он себе. Сеньора де Троэйе явно ошибается, если принимает дансинг в «Ферровиарии» за танцевальный салон первого класса на трансатлантическом лайнере «Кап Полоний».

— Ну, чистое танго — это все же чересчур, — ответил он композитору, усилием воли заставив себя вслушаться в его комментарии. — Правильней сказать, что здесь его исполняют на старинный лад. В прежнем духе. Вы чувствуете разницу в ритме, в стиле?

Де Троэйе удовлетворенно кивнул:

— Еще бы! Этот прелестный двудольный ритм, четыре такта клавиш и аккомпанемент струнных. Фортепьяно задает четкий ритм, и вот басовито вступает бандонеон.

— Они играют так потому, — пояснил Макс, — что люди пожилые, а «Ферровиария» ревностно блюдет традицию. Народ в Барракас — резкий, грубый, насмешливый и потому так ценит кортес и кебрадас. Здесь принято прижимать к себе партнершу тесно, держать плотно, просовывать ногу между ее колен и откалывать прочие удалые штуки вроде тех, что проделывают сейчас с этой блондинкой. Если бы так исполняли музыку на каком-нибудь празднике, на семейном воскресном торжестве или среди молодежи, почти никто не вышел бы танцевать. Во-первых, это сочли бы неприличным, а во-вторых, просто не понравилось бы.

— И такой стиль все больше выходит из моды. Очень скоро останется только одомашненное танго, невыразительное, но дурманящее как наркотик — такое, как показывают в кино и танцуют в салонах.

Де Троэйе саркастически рассмеялся. Музыка смолкла и сейчас же зазвучала вновь.

— Манерное, будет правильней сказать.

— Пусть будет манерное, — Макс отпил глоток джина. — Суть одна.

— Впрочем, то, что надвигается на нас, манерным никак не назовешь.

Макс проследил взгляд композитора. Компадрон, оставив белокурую девицу за столиком, рядом с ее спутницей, теперь приближался к ним характерной походкой удальца из предместья — неторопливо, уверенно, мерным шагом ступая по полу с хорошо отработанной мягкостью. Для полноты картины и в качестве фона, подумал Макс, не хватает только стука бильярдных шаров.

— Если вдруг что пойдет не так, — быстрым шепотом проговорил он, — не останавливайтесь поглядеть. Пулей выскакивайте отсюда и прыгайте в машину.

— Что может пойти не так? — осведомился де Троэйе.

Отвечать было уже некогда. Компадрон стоял перед ними неподвижно и очень серьезно, с низкопробной элегантностью заложив левую руку в карман пиджака. И смотрел на Мечу Инсунсу, как будто за столом она была одна.

— Не желаете ли станцевать, сеньора?

Макс метнул беглый взгляд на графин с джином. В случае надобности осколок толстого стекла, разбитого о край стола, становится вполне приличным оружием. Хватило бы только времени задержать компадрона, дать супругам уйти.

— Не думаю, что... — начал он негромко.

И обращался к женщине, а не к тому, кто приглашал ее, однако Меча поднялась и совершенно бестрепетно ответила:

— Угодно.

Неторопливо сняла перчатки, положила их на стол. Посетители, как один, воззрились на нее и на ее кавалера, который ждал, не выказывая нетерпения. И вот, дождавшись, правой рукой обхватил ее талию чуть выше того места, где начинался плавный изгиб бедра. Меча положила свою левую руку ему на плечо, и они, сблизив головы сильнее, чем это допускалось обычным танго, однако держась не вплотную и при этом не глядя друг на друга, заскользили по площадке среди других пар. Всякий сказал бы, что они много раз уже танцевали вместе, подумал Макс, однако вспомнив, как в свое время, на борту «Кап Полония», легко приноровилась к нему Меча, а он — к ней, перестал удивляться. Эта женщина, конечно, отличалась редкостной чуткостью и даром приспосабливаться к любому хорошему танцору. Нынешний кавалер, в сознании своей брутальной неотразимости, умело вел ее, искусно сплетал на полу невидимые арабески. Пара мягко покачивалась; Меча повиновалась ритму и безмолвным приказам, которые партнер отдавал ей легким нажимом пальцев и чуть заметными движениями. Вот внезапно он сделал корте, с щеголеватой небрежностью оторвав правую пятку от пола, а носком описав полукруг, и, к удивлению Макса, женщина очень непринужденно совершила полный оборот вокруг своей оси, скользнув в одну, а потом в другую сторону, когда кавалер притянул ее к себе вплотную, а потом оттолкнул, снова притянул и снова оттолкнул и просунул ногу меж ее колен с таким безупречным трущобным форсом, с таким классическим окраинным шиком, что на лицах наблюдавших за танцем из-за столиков отразилось полное одобрение.

— Черт возьми, — вполголоса сказал Армандо де Троэйе. — Надеюсь, он не завалит ее прямо здесь...

Это замечание, встревожив Макса, заменило досадой то восхищение, которое поначалу вызвали в нем легкость и свобода Мечи. Партнер вел ее, любуясь собой, вперив темные глаза в пустоту, скривив под усами губы в гримасе деланого безразличия, словно отплясывать с дамами такого класса вошло для него в привычку и даже приелось. Внезапно, в такт музыке он отшагнул вбок и величаво замер, с плебейской лихостью отчетливо и громко притопнув каблуками. Меча, ни на миг не замявшись, словно заранее знала об этом коленце, закружилась вплотную к нему, и эта покорная готовность самки теперь уж и Максу показалась совершенно непристойной.

— Матерь божья... — пробормотал Армандо де Троэйе.

Макс, в некотором ошеломлении полуобернувшись к нему, убедился, что композитор не взбешен, а заворожен этим зрелищем. Время от времени он отхлебывал джину, и казалось, что выпитое все явственнее проступает на губах цинической, смутно-удовлетворенной усмешкой. Впрочем, всматриваться было некогда — музыка смолкла, и площадка стала пустеть. Меча Инсунса, надменно постукивая каблуками, вернулась к столику в сопровождении своего кавалера. И тот, когда она уселась безмятежно и невозмутимо, как будто только что завершила тур вальса, слегка поклонился, прикоснувшись к полю шляпы, и сказал хрипловато и спокойно:

— Хуан Ребенке, сеньора. Всегда к вашим услугам.

И тотчас, даже не взглянув на спутников своей дамы, повернулся на каблуках и неторопливо направился к своему столу. Глядя ему вслед, Макс подумал, что это не настоящее его имя — вроде Фунеса, Санчеса или Рольдана, — а прозвище,[[26]](#footnote-26) когда-то полученное его предками — скотоводами-гаучо, а ныне сделалось так же безнадежно старомодно, как весь его вид, как нож, оттопыривающий борт его пиджака. Те удальцы, которым он так хотел подражать, повывелись и сгинули лет пятнадцать-двадцать назад, да и ему подобные давно уже сменили нож на револьвер. Без сомнения, этот самый Ребенке днем работал возчиком, а по вечерам ходил в подобные заведения танцевать танго, щупать гулящих девиц и порой подтверждать свой нрав, крутой и неукротимый, этим самым ножом. Особи его вида — такие, как он, незатейливые бандиты — почти утратили прежние понятия о чести, однако оставались опасны, как встарь.

— Теперь ваш выход, — сказала Меча Инсунса, обращаясь к Максу.

Она вытащила из сумочки лакированную пудреницу. Капельки пота крохотными жемчужинками блестели на верхней губе. Повинуясь галантному побуждению, Макс достал из верхнего кармана пиджака чистый платок и протянул ей.

— В каком смысле?

Женщина взяла из его пальцев белый батистовый прямоугольник.

— Не хотелось бы, — с необыкновенным спокойствием ответила она, — так все и оставить.

Макс уже собирался сказать — довольно на сегодня, я попрошу счет, и пойдем отсюда, но в брошенном на жену взгляде Армандо де Троэйе уловил никогда не виданную раньше искорку циничного вызова. Это длилось лишь мгновение, а вслед за тем все вновь скрылось под маской игривого безразличия. И тогда Макс, передумав, с нарочитой медлительностью повернулся к Мече.

— Разумеется, нельзя, — сказал он.

Его взгляд встретили светлые, чуть осоловелые от джина глаза. В желтоватом свете мед их казался, как никогда, текуч и прозрачен. Вслед за тем она сделала нечто неожиданное. Платок не вернула, а взяла со стола одну из пары перчаток, снятых перед тем, как пойти танцевать, вложила ему в нагрудный карман пиджака и несколькими быстрыми движениями расправила так, что получился белый пышный цветок. Тогда Макс встал и направился к столику, за которым сидели недавний партнер Мечи и две женщины.

— С вашего разрешения.

Тот воззрился на него с высокомерным любопытством, но все внимание Макса уже было обращено к белокурой. Она переглянулась со спутницей — смуглой, вульгарного вида и заметно старше годами, — а вслед за тем посмотрела на компадрона, как бы спрашивая позволения. А он продолжал рассматривать Макса, который стоял, сдвинув каблуки, чуть наклонясь и слегка улыбаясь с самым учтивым видом, с той же безупречной корректностью, с какой приглашал на танец даму из общества где-нибудь в «Паласе» или в «Плазе». Блондинка наконец встала и с профессиональной непринужденностью закинула руку ему на плечо. Вблизи она казалась моложе, несмотря на затененные усталостью, набрякшие подглазья, заметные даже сквозь густой макияж. Голубые глаза, прорезанные чуть вкось, и белокурые волосы, собранные на затылке в узел, выдавали ее славянское происхождение. Русская, вероятно, или полька, подумал Макс. Обнимая ее, он очень близко почувствовал тепло утомленного тела, табачный дым, пропитавший платье и волосы, уловил в ее дыхании привкус недавно выпитой граппы с лимонадом и веявшую от кожи сложную смесь запахов — дешевых духов «Агуа Флорида», влажного талька и сладковатого женского пота, неизбежного, когда два часа кряду танцуешь со всеми подряд.

Зазвучали первые такты другого танго, в которых Макс, сделав поправку на топорное исполнение, узнал «Фелицию». В круг вышло еще несколько пар. Макс и его дама двигались на удивление слаженно, доверяя инстинкту и привычке. С первых шагов он понял, что она, уставившись куда-то вдаль и время от времени мимолетно взглядывая на партнера, чтобы по его лицу угадать следующие па и фигуры, танцует хоть и неважно, но все же с мастеровитой безрадостной умелостью. Так же равнодушно прижималась она к торсу партнера, давая ему почувствовать кончики своих грудей под перкалем низко вырезанной блузки, и послушно обхватывала ногами его поясницу, выполняя фигуры более разнузданные, чем того требовала музыка и к чему побуждали ее руки Макса. Без души танцует, заключил тот. Без желания и порыва, как печальная, но исправная кукла, как профессионалка, которая отдается мужчине, не испытывая никакого удовольствия. На миг он представил, как в номере дешевого отеля — вроде того, чья светящаяся вывеска без последней буквы встретилась им по пути сюда, — она столь же покорно и безучастно принимает клиента, меж тем как этот усатый подонок прячет десять песо в карман своего пиджака. Представил, как она раздевается и ложится на несвежие простыни, на скрипучую кровать. Как дарит наслаждение, ничего не получая взамен. Так же устало, как сейчас исполняет другую повинность.

По неизвестной причине, в которой некогда было разбираться, его восхитила эта мысль. А что такое танго, подумал он, удивляясь, что она не пришла ему в голову раньше, после стольких-то балов, стольких танго, стольких объятий, что такое танго — особенно когда его танцуют так, — как не подчинение самки? Что такое этот танец, здесь неизменно исполняемый в манере, бесконечно далекой от салонного этикета, как не полное взаимное обладание? Воскрешение древних инстинктов, ритуальных жгучих желаний, обещаний, обретающих плоть и кровь на те несколько стремительных мгновений, что длятся музыка и обольщение. Танго старой гвардии. Если есть стиль танца, принятый среди женщин определенной категории, то это, конечно, оно. Оценив его с этой точки зрения, Макс совершенно неожиданно испытал прилив желания к ее телу, столь податливо-послушному каждому его движению. Девица, вероятно, заметила это, потому что на миг вопросительно вскинула голубые глаза, прежде чем вновь поджать губы в безразличной гримаске, а взгляд устремить в дальний угол заведения. Макс, чтобы отвлечься, сделал корте: поставив одну ногу неподвижно, другой шагнул на месте вперед и сейчас же назад, чуть нажал правой рукой на талию партнерши, и женщина, повинуясь безмолвному приказу, снова прильнула к его груди и скользнула внутренней поверхностью бедра поочередно вдоль обеих сторон его ноги, возвращаясь к полнейшей покорности. Покорность эту выражал неслышный, но пронзительный, как от физической боли, стон — стон самки, смирившейся со своей участью и с невозможностью побега.

После этой фигуры, рискованность которой отлично сознавали оба партнера, Макс впервые за все время танца взглянул туда, где сидела чета де Троэйе. Жена курила сигарету, вправленную в мраморный мундштук, и смотрела на них пристально и бесстрастно. В этот миг он понял, что белокурая девица в его объятиях — это всего лишь предлог. А вернее, пролог.

## 4. Дамские перчатки

Вот и случилось наконец то, чего Макс Коста ожидал с опасливой убежденностью человека, верящего в неизбежность. Он сидит на террасе отеля «Виттория», возле статуи обнаженной женщины, обращенной лицом к Везувию, и завтракает, поглядывая на сияющий сине-серый залив. С удовольствием откусывая намазанный маслом тост, шофер доктора Хугентоблера наслаждается положением, на несколько дней позволившим ему вновь пережить лучшие минуты жизни: все еще возможно, и весь мир стелется под ноги, а каждый новый день становится преддверием очередного приключения — отельные купальные халаты, аромат хорошего кофе, изысканно сервированные завтраки, когда, сидя за столом, видишь перед собой пейзажи или женские лица, любоваться которыми вправе лишь те, кто наделен большими деньгами или большими дарованиями. И Макс в темных очках «Persol», принадлежащих доктору Хугентоблеру, равно как и темно-синий блейзер, и шелковый шейный платок под полурасстегнутой рубашкой цвета семги, словно вернул себе сейчас былое благополучие. Он только допил кофе и собирался вместо темных надеть очки для чтения, одновременно протягивая руку к лежащей на белой полотняной салфетке неаполитанской газете «Иль Маттино» — там напечатан репортаж о вчерашней партии Соколов — Келлер, окончившейся вничью, — как вдруг на газетный лист легла чья-то тень.

— Макс?

Сторонний наблюдатель восхитился бы его выдержкой — тот, кого окликнули, еще секунды две смотрит в газету и лишь потом поднимает глаза: растерянность на его лице сменяется удивлением, а та уступает место узнаванию. И наконец он снимает очки, промокает губы салфеткой и поднимается.

— Боже мой... Макс.

Глаза Мечи Инсунсы, как в былые дни, золотятся на утреннем свету. Недалекая уже старость поставила свои метки: испятнала кожу, прочертила ее множеством мелких морщинок вокруг глаз и в углах рта — удивленная улыбка сделала их сейчас еще заметней. Но со всем остальным беспощадный натиск времени не справился — ему не поддались ни плавная размеренность движений, ни стройность удлиненной шеи, ни руки, которые, впрочем, с возрастом стали тоньше, чем прежде.

— Боже мой... — повторяет она. — Столько лет...

Они берутся за руки, всматриваясь друг в друга. Макс, наклонив голову, подносит ее пальцы к губам.

— Двадцать девять, — уточняет он. — В последний раз мы виделись осенью тридцать пятого года.

— В Ницце...

— В Ницце.

Он церемонно пододвигает ей стул, и она садится. Макс подзывает официанта и, осведомившись у Мечи, чего она хочет, заказывает еще кофе. И все то время, что длятся эти протокольные прелиминарии, чувствует на себе неотступный золотистый взгляд. И голос у нее тоже остался прежним — таким, как запомнился.

— Ты изменился, Макс.

Привздернув брови, он придает лицу чуть небрежное выражение легкой меланхолической усталости, какое приличествует вошедшему в пору зрелости гражданину мира.

— Вот как? И сильно?

— Достаточно, чтобы я не сразу тебя узнала.

Слегка подавшись вперед, он спрашивает доверительно и учтиво:

— Когда же это было?

— Вчера, но все-таки не была уверена. Вернее, думала, что это невозможно. Отдаленное сходство... Но сегодня утром снова увидела тебя, входя. И довольно долго приглядывалась.

Макс внимательно, обстоятельно рассматривает ее лицо. Глаза и губы. Они не изменились, несмотря на отметины времени. Слегка потускнела слоновая кость зубов — разумеется, не без помощи многих и многих сигарет. Женщина достает из кармана пачку «Муратти» и держит ее в руке, не вскрывая.

— А ты вот — такая же.

— Глупости не говори.

— Нет, я вполне серьезно.

Теперь она всматривается в него.

— Немного прибавил в весе, — заключает она.

— Боюсь, что не немного.

— Мне просто запомнилось, что ты был худощав. И казалось, что выше ростом. Да и представить тебя седым я не могла...

— А вот тебе очень идет седина.

Меча Инсунса смеется громко, звонко и весело и сразу молодеет от этого. Как раньше, как всегда.

— Льстец... Ты всегда умел разговаривать с женщинами.

— Не знаю, каких женщин ты имеешь в виду. Я помню только одну.

Повисает краткая пауза. Меча улыбается, отводит глаза, всматриваясь в залив. Официант как нельзя вовремя приносит кофе. Макс наливает ей полчашки, потом вопросительно смотрит на сахарницу, а потом — на нее, а она качает головой.

— Молока?

— Да, спасибо.

— А раньше всегда пила черный — и тоже без сахара.

Ее удивляет, что он это помнит.

— Да...

Снова молчание — теперь уже более продолжительное. Потягивая кофе маленькими глоточками, она поверх чашки продолжает рассматривать Макса. С задумчивым видом.

— Что ты делаешь в Сорренто?

— Э-э... Да как тебе сказать... По делам. Дела и денька два безделья.

— Где ты живешь?

Он делает жест в неопределенном направлении, показывая куда-то за пределы отеля и города.

— У меня дом... Неподалеку от Амальфи. А ты?

— В Швейцарии. С сыном. Раз ты остановился в этом отеле, то, наверное, знаешь, кто он.

— Да, я остановился здесь. И, разумеется, знаю, кто такой Хорхе Келлер. Меня сбила с толку фамилия.

Поставив чашку, она распечатывает пачку, достает сигарету. Макс берет лежащий в пепельнице коробок спичек с логотипом отеля и, наклонившись, протягивает через стол укрытый в ладонях огонек. Меча тоже чуть подается вперед, и на мгновение их пальцы соприкасаются.

— Ты интересуешься шахматами?

Женщина вновь откидывается на спинку стула, выпускает дым, тотчас рассеивающийся под ветерком с залива. С любопытством смотрит на Макса.

— Ни в малейшей степени, — отвечает тот очень хладнокровно. — Хоть вчера и заглянул в зал.

— Меня не видел?

— Наверное, не заметил. Да я только взглянул и ушел.

— И ты не знал, что я в Сорренто?

Макс непринужденно и естественно, с давней профессиональной убедительностью отвечает, что нет, не знал. И до последнего времени не подозревал, что фамилия ее сына — Келлер. И что у нее вообще есть сын. После Буэнос-Айреса и того, что было в Ницце, он совсем потерял ее из виду. Потом началась другая война — мировая. Пол-Европы сбилось тогда со следа другой половины. И очень часто — навсегда.

— Я знал только о твоем муже. Что он погиб в Испании.

Меча Инсунса, словно не замечая пепельницу, отводит руку в сторону и роняет на пол точно отмеренный столбик пепла. Твердый и осторожный щелчок пальца по сигарете — и та опять у рта.

— Он так и не вышел из тюрьмы до самой смерти. — В голосе не слышно ни скорби, ни иного чувства: что же, так и надлежит говорить о том, что было давным-давно. — Печальный конец, не правда ли? Особенно для такого человека, как он.

— Очень жаль.

Новая затяжка сигаретой. Новый клуб дыма, разнесенный бризом. Пепел на полу.

— Да. Полагаю, это именно то, что надо сказать в этом случае. Мне и самой тоже.

— А кто твой второй муж?

— Мы расстались, что называется, полюбовно, — она позволяет себе еще одну улыбку. — Как водится меж разумными людьми, без скандалов... Сочли, что для Хорхе так будет лучше.

— Он его сын?

— Ну разумеется.

— Ты, наверное, прожила все эти годы в покое и довольстве. Семья у тебя богатая. Не говоря уж о том, что оставил Армандо де Троэйе...

Женщина равнодушно кивает. Да, с этим никогда не возникало сложностей. Особенно после войны. Когда немцы вошли в Париж, она уехала в Англию. Там вышла замуж за дипломата Эрнесто Келлера. Макс должен помнить его по Ницце. Жила с ним в Лондоне, в Лиссабоне и в Сантьяго-де-Чили. До развода.

— Удивительно.

— Что тебе кажется удивительным?

— Жизнь твоя необыкновенная. И твоя, и твоего сына.

В эту минуту Макс с удивлением замечает, что она смотрит как-то странно — и пронизывающе, и в то же время спокойно.

— А ты, Макс? Что необыкновенного было в твоей жизни за эти годы?

— Ну, ты знаешь...

— Нет. Не знаю.

Макс широко обводит рукой террасу, словно показывая, что где-то там есть свидетельство всего.

— Ездил туда-сюда... Бизнесом занимался... Война в Европе открыла передо мной кое-какие возможности. Впрочем, кое-каких лишила. В общем, грех жаловаться.

— Да, это заметно... Видно, что тебе не на что жаловаться... Вернулся в Буэнос-Айрес?

Макс невольно вздрагивает при упоминании этого города. Осторожно, исподволь, словно вступая на зыбкую почву, он всматривается в лицо женщины, снова отмечая морщинки вокруг рта, поблекшую и увядшую кожу, ненакрашенные губы. Только глаза остались прежними: точно такими же, какими были они в дансинге в Барракас и в других заведениях — потом. В уникальной топографии, хранимой их общей памятью.

— Я почти постоянно жил в Италии все эти годы, — выдумывает он на ходу. — И еще во Франции и в Испании.

— Бизнес, ты сказал?

— Бизнес, но не тот, что был прежде, — Макс старается сопроводить эти слова подходящей улыбкой. — Мне повезло, я сколотил кое-какой капиталец, и дела шли недурно. Сейчас я на покое.

Меча Инсунса теперь смотрит уже иначе. На губах — чуть заметная мрачноватая улыбка.

— Окончательно?

Макс чуть поерзывает от такого вопроса. Перед глазами в мягком матовом блеске жемчужин возникает колье, которое он вчера рассматривал в номере 429. Еще большой вопрос, заключает он, кому из нас предстоит платить по чужим счетам — мне или ей?

— Я живу теперь иначе — если ты об этом...

Женщина смотрит на него невозмутимо:

— Да. Об этом.

— Мне уже давно не надо...

Он произносит это, не моргнув глазом. С полнейшей уверенностью. В конце концов, в каком-то смысле так оно и есть. Так или иначе, она не о том спрашивает.

— У тебя дом в Амальфи?

— В том числе.

— Я рада, что твои дела поправились, — она как будто впервые в жизни обнаружила существование пепельницы. — У меня были сильные опасения на этот счет.

— Да перестань... — Он на итальянский манер потряхивает кистью с растопыренными пальцами. — Все мы рано или поздно беремся за ум. Я ведь тоже сомневался, что ты наладишь свою жизнь.

Меча Инсунса аккуратно давит окурок в пепельнице, гасит тлеющий уголек. Кажется, будто намеренно медлит с ответом.

— Ты имеешь в виду Буэнос-Айрес и Ниццу?

— Конечно.

Внезапно Макс ощущает горечь и не может с ней справиться. И так же внезапно оживают, начинают тесниться в голове воспоминания: отрывистые, почти бессвязные, стонущие слова скользят по обнаженному телу, всеми своими удлиненными линиями мягко отражающемуся в зеркале, где дробится свинцово-серый свет из окна, в переплет которого вписаны, будто полотно импрессиониста, мокрые пальмы, море, дождь.

— Чем же ты занимаешься?

Глубоко и на этот раз непритворно задумавшись, он не сразу слышит или понимает вопрос. Он все еще погружен в себя, в бушующий где-то внутри мятеж против вопиющей, безмерной несправедливости физических процессов — кожа этой женщины всем пяти его чувствам запомнилась теплой, гладкой, совершенной. Теперь они отказываются так же воспринимать ее — с метками, оставленными временем. Не желают ни за что, в бессильной ярости думает он. И кто-то должен ответить за подобное несоответствие. За такой нетерпимый произвол.

— Туризмом, отелями, инвестициями... — отвечает он наконец. — Всем понемножку. Еще я совладелец клиники на озере Гарда, — с ходу сочиняет он. — Вложил туда кое-что из скопленного.

— Ты женат?

— Нет.

Женщина рассеянно смотрит на залив через балюстраду террасы и словно не слышит ответа.

— Должна тебя оставить... У Хорхе сегодня игра, и у меня еще множество дел... Надо все подготовить... Я и так вырвалась всего на минутку — подышать свежим воздухом и выпить кофе.

— Я читал, что ты занимаешься всеми его делами. Еще с тех пор, как он был маленьким.

— Не всеми, но... Я и мать, и менеджер, и секретарша... Готовлю поездки, заказываю отели, слежу за контрактами. Но у него есть команда помощников — тренеров и секундантов, с которыми он разбирает партии и готовится к матчам. Они с ним неразлучно.

— Команда?

— Претендент на мировую корону в одиночку не работает. И партии — это не импровизации. Требуется целый штат специалистов.

— Даже в шахматах?

— В шахматах — особенно.

Они встают из-за стола. Макс слишком поднаторел в своем деле, чтобы пытаться сейчас идти дальше. Всему свой срок. И подгонять события не надо, напоминает он себе. Многие и многие, считая, что дело в шляпе, пропали именно из-за своей торопливости. И чисто выбритое, в меру загорелое лицо пересекает широкая белая полоска его всегдашней улыбки, открывающей хорошие зубы, предусмотрительно сохраненные на фасаде, меж тем как в глубинах имеются и две дырки, и полдесятка пломб, и коронка на месте клыка, выбитого полицейским в стамбульском кабаре. Располагающая, слегка умягченная прожитыми годами улыбка доброго малого — славного парня на седьмом десятке.

И Меча Инсунса, кажется, узнает ее. И смотрит почти как сообщница. И колеблется — или это тоже ему кажется?

— Ты скоро уезжаешь?

— Через несколько дней. Когда улажу кое-какие дела, о которых говорил тебе...

— Может быть, нам...

— Ну, разумеется. Непременно.

Нерешительное молчание. Она сует руки в карманы кардигана, чуть сутулит плечи.

— Давай поужинаем, — предлагает Макс.

Меча не отвечает. Задумчиво разглядывает его.

— Я на мгновение увидела тебя таким, каким ты предстал передо мной там, на пароходе... Ты был такой молодой... статный... во фраке. Боже мой, Макс. Что же с тобой стало?

Макс скорбно разводит руками, склоняет голову с элегантным и несколько преувеличенным смирением.

— Что поделаешь...

— Да нет... — она опять звонко смеется, вмиг молодея. — Для своего возраста ты в превосходной форме... Для своего, для нашего... Я ведь... Как несправедлива жизнь!

Она резко замолкает, и Максу кажется, что в ее лице проступают сыновьи черты — Хорхе Келлер, сидя перед доской, подпирает щеки с таким же выражением.

— Да, надо бы, — говорит она наконец. — Поговорить немножко. Но ведь минуло тридцать лет с нашей последней встречи... Есть места, куда лучше не возвращаться никогда. Ты ведь и сам повторял эти слова в определенных обстоятельствах.

— Я имел в виду не точку на карте.

— Что ты имел в виду, мне известно.

Улыбка ее становится насмешливой. Это даже и не улыбка, а гримаса непритворной печали.

— Погляди-ка мне в глаза... Ты в самом деле считаешь, что я в состоянии куда бы то ни было вернуться?

— Я говорю о других возвращениях, — возражает он, выпрямляясь. — И лишь о том, что мы помним. О том, где мы с тобой были...

— Свидетелями друг друга?

Макс выдерживает ее взгляд, но не отвечает на улыбку — не вступает в игру.

— Может быть, и так. В том мире, который знали.

Взгляд ее смягчается и теплеет. На свету ярче становится его золотистый блеск.

— Танго старой гвардии, — говорит она тихо.

— Вот именно.

Они вглядываются друг в друга. Она опять стала красива, думает Макс. Три слова — а какое волшебное действие!

— Я думаю, что ты много раз слышал его. Как и я.

— Конечно. Много раз.

— И веришь ли, Макс... Не было случая, чтобы при звуках его я не подумала бы о тебе.

— Могу сказать почти то же самое: никогда не переставал думать... о себе.

На неожиданный раскат ее смеха — по-молодому звонкого и звучного — обернулись люди из-за соседних столов. Меча слегка приподнимает руку, словно хочет прикоснуться к его руке.

— Парни былых времен, как ты сказал тогда в Буэнос-Айресе.

— Да, — вздыхает он. — Мы теперь и сами — парни былых времен.

Лезвие затупилось и брило плохо. Прополоскав бритву в мыльной воде и насухо вытерев, Макс правил ее о кожаный ремень, прилаженный к верхнему шпингалету окна, откуда виднелись зеленые, красные, розоватые кроны деревьев на проспекте Адмирала Брауна. Правил упорно и настойчиво до тех пор, пока не привел в порядок, а сам тем временем рассеянно глядел на улицу, где одинокая машина — в квартале, где расположен пансион Кабото, несравненно чаще встретишь трамвай или экипаж и лишь изредка колеса автомобиля раздавят кругляш конского навоза — затормозила возле запряженной мулом тележки, с которой человечек в соломенной шляпе и белом пиджаке выгружал хлеб и пирожные из жженого сахара. Был уже одиннадцатый час утра, а Макс еще не завтракал, и при виде телеги под ложечкой засосало сильней. Да и ночь выдалась не из самых удачных. Проводив супругов де Троэйе из Барракас в отель «Палас», он вернулся к себе далеко за полночь и лег спать, но спал скверно. Сон был беспокойный и отдыха не принес. Это было давно знакомое ему состояние — когда ворочаешься на смятых простынях в полуяви, полудреме, населенной смутными образами, и память подбрасывает тебе картины, которые тотчас же искажаются воображением и перемежаются внезапными вспышками паники. Чаще всего виделся ему желтоватый склон вдоль каменной изгороди, взбегающий вверх, к малому форту, и заваленный тремя тысячами высохших, мумифицированных временем и солнцем трупов с еще заметными следами увечий и примет мучительной смерти — трупов тех, кто принял смерть в этот летний день 1921 года. Максу Коста, рядовому 13-й роты Первого батальона Иностранного легиона, было тогда всего девятнадцать лет, и покуда он вместе с капралом Борисом Долгоруким и еще четырьмя товарищами, которым приказано было выдвинуться перед остальной ротой, задыхаясь от смрада, ослепленный яростным блеском солнца, взмокший от пота, бежал с маузеровским карабином в руках к этому заброшенному форту, отчетливо понимая, что только чудом не превратился пока в одно из этих почернелых тел, еще так недавно бывших молодыми и крепкими, а ныне ставших падалью и заваливших дорогу от Анваля до Монт-Аррюи. После того дня офицеры Иностранного легиона давали по серебряному дуро за голову каждого мертвого мавра. И когда два месяца спустя в городке под названием Тахуда («Надо умереть. Есть добровольцы?» — снова раздалось в ту минуту) винтовочная пуля оборвала его недолгую военную карьеру и уложила на пять недель в лазарет, откуда он дезертировал в Оран, чтобы немедля отправиться в Марсель, — у него набралось уже семь таких монет.

Направив бритву, Макс вновь повернулся к потускневшему зеркалу шкафа и критически осмотрел свое лицо с синяками под глазами — сказывалась бессонная ночь. Семи лет не хватило, чтобы справиться с призраками. Чтобы отогнать демонов, как говорили мавры и перенявший у них это выражение капрал Борис Долгорукий, который однажды, сунув в рот ствол пистолета, покончил с демонами навсегда: с демонами — а заодно и с собой. Чтобы справиться, семи лет не хватило, а вот чтобы научиться терпеливо сносить их беспокойное общество — вполне. И потому Макс сумел отделаться от неприятных воспоминаний и полностью сосредоточился на тщательном бритье, еле слышно напевая себе под нос танго из тех, что звучали вчера в «Ферровиарии». Спустя несколько мгновений задумчиво улыбнулся намыленному лицу, глядевшему на него из зеркала. Воспоминание о Мече Инсунсе оказалось действенным средством против назойливых демонов прошлого. О ее надменной манере танцевать. Или о ее речах, где молчания и отблесков текучего меда больше, чем слов. И о планах, которые Макс постепенно, неторопливо вынашивал в отношении ее самой, ее мужа и будущего. Эти идеи с каждой минутой обретали все бо́льшую определенность и законченность по мере того, как осторожные прикосновения острой стали обнажали кожу из-под хлопьев мыльной пены.

Слава богу, вчерашний вечер окончился без происшествий. Армандо де Троэйе долго слушал танго в старинном духе и смотрел на танцующих — ни Меча Инсунса, ни Макс на площадку больше не выходили, — а потом, когда расстроенная пианола, проигрывавшая шумные и неопознаваемые танго, сменила музыкантов, пригласил все трио за свой стол. И потребовал для них чего-нибудь особенного. Подайте самого лучшего и дорогого, что у вас есть, сказал он, вертя в пальцах свой золотой портсигар. Однако официантка, пошептавшись с хозяином — щетинистоусым испанцем разбойного вида, — сообщила, что за ближайшей бутылкой шампанского надо кварталов сорок ехать на семнадцатом трамвае, да и все равно не достать, потому что уже поздно; так что композитору пришлось довольствоваться несколькими двойными порциями граппы и безымянным коньяком, не считая не откупоренной еще бутылки местного джина и воды в сифоне синего стекла. Всему этому, равно как и поданным на закуску ломтикам мяса на шпажках, была воздана честь в дыму сигарет и сигар. В иных обстоятельствах Макс заинтересовался бы разговором де Троэйе с тремя ветеранами — кривой аккордеонист со стеклянным глазом помнил девятисотые годы, времена Хансена и Руби Мирейи — и послушал бы их воззрения на танго новые и старые, манеру исполнения, тексты и музыку, но в тот день мысли его были заняты другим. Одноглазый музыкант, которому джин и душевная обстановка немного развязали язык, признался, что по нотам играть не умеет, больше того, никогда в них не нуждался. Всю жизнь подбирает по слуху. А исполняет он и двое его товарищей настоящие танго — те, которые танцуют, как исстари повелось, в быстром темпе, с резкими паузами в нужных местах, — а не те прилизанные салонные подделки, введенные в моду Парижем и кинематографом. Что же касается текстов, то сгубило танго и унизило тех, кто танцевал его, неуемное стремление превратить придурковатого плаксивого рогоносца, брошенного женой, в героя, а фабричную девицу — в увядшую болотную кувшинку. Подлинное танго, добавил кривой, под бульканье джина и энергичные одобрительные восклицания своих товарищей, принадлежало сброду из предместий — оно проникнуто злобной и дерзкой насмешкой бандита или проститутки, шутовским цинизмом людей отпетых, конченых и сознающих это. И тут утонченные поэты и музыканты оказались совершенно лишними. Танго хорошо, когда нужно сказать комплимент женщине, обнимая ее, или устроить шумный загул с дружками. И, подводя итог, можно сказать, танго — это инстинкт, ритм, импровизация и похабные слова. А то, во что его превратили, вы уж простите меня, сеньора, — тут его единственный глаз скосился на Мечу — это тошнотные розовые сопли. Если так дальше пойдет со всеми этими розами и грезами, с покинутым холостяцким гнездышком, со всеми этими слезливыми чувствованиями, то скоро, глядишь, взвоют о бедной вдовой мамочке и о несчастной слепенькой девушке, продающей цветы на углу.

Де Троэйе был в восторге от всего этого и на диво разговорчив и общителен. Чокался с музыкантами и время от времени продолжал записывать что-то крошечными буквами на манжете. Выпитое постепенно сказывалось в том, как блестели у него глаза, как он выговаривал иные слова и как склонялся над столом, внимательно слушая собеседников. Через полчаса трое музыкантов из «Ферровиарии» и друг Дягилева, Равеля и Стравинского беседовали так, будто всю жизнь выступали вместе. Макс же был настороже и краем глаза держал в поле зрения остальных посетителей, поглядывавших на их стол с любопытством или опаской. Давешний партнер Мечи не спускал с них глаз из-под век, набрякших от сигаретного дыма — он курил, не переставая, — а его спутница в цветастой блузе, собрав юбку на коленях и подавшись вперед, без стеснения подтягивала черные чулки. В эту минуту Меча сообщила, что хочет выкурить сигарету на воздухе. И, не дожидаясь ответа мужа, поднялась и направилась к дверям, постукивая каблуками так же неторопливо, решительно и твердо, как во время своего недавнего танца с Хуаном Ребенке. А тот издали смотрел ей вслед, наблюдая не без плотоядного интереса, как покачиваются на ходу ее бедра, и отвел от них взгляд, лишь когда Макс подтянул галстук, застегнул пиджак и двинулся за женщиной. И не надо было оборачиваться, чтобы подтвердить то, что он знал и так: Армандо де Троэйе тоже провожает их глазами.

Он прошел по собственной удлиненной тени, которую уличный фонарь растянул по всей кирпичной дорожке. Меча Инсунса неподвижно стояла на углу, там, где исчезали во тьме пустыря, граничившего с Риачуэло, последние домики квартала — приземистые, из волнистого цинка. Приближаясь, Макс поискал глазами «Пирс-Эрроу» и вскоре — когда шофер на миг включил фары, обозначив свое присутствие, — заметил лимузин на другой стороне улицы. Хороший парень, успокоенно подумал он. Ему понравился этот исполнительный и предусмотрительный Петросси в синем форменном костюме, в фуражке и с пистолетом в «бардачке».

Когда он подошел, Меча, отбросив окурок, слушала стрекот цикад и лягушачье кваканье, доносившееся из кустов и со стороны старых гнилых деревянных доков на берегу. Луна еще не взошла, и конец вымощенной брусчаткой улицы тонул во тьме, однако стальная конструкция, венчавшая мост, очень четко вырисовывалась в призрачном свете каких-то огней, пронзавших ночь в квартале Барракас-Сур. Макс остановился рядом и закурил свою турецкую сигарету. Он знал, что, пока горит спичка, Меча разглядывает его. И, тряхнув рукой, погасил огонек, выпустил первое облачко дыма, взглянул в ответ. Темный силуэт выделялся на фоне неба, подсвеченного дальними огнями.

— Мне понравилось ваше танго, — сказала женщина внезапно.

Помолчала, а потом добавила:

— Я думаю, что танец в каждом проявляет скрытое: у одних — утонченность, у других — бесшабашность.

— Точно так же, как алкоголь.

— Вот именно.

Снова помолчали.

— А эта женщина... — проговорила она. — Была...

И осеклась. Или, может быть, сказала все, что хотела.

— На своем месте? — подсказал он.

— Да.

Ни она, ни Макс больше ничего не прибавили к этому. Он молча курил, раздумывая о дальнейших шагах. О возможных ошибках и вероятных просчетах. Потом, как бы подводя итог размышлениям, пожал плечами:

— А вот мне не понравилось, как вы танцевали.

— Вот тебе раз! — Она, казалось, была в самом деле и удивлена, и задета за живое. — Я думала, у меня получилось не так уж скверно.

— Да не о том речь, — он улыбнулся почти машинально, хоть и знал, что в темноте она этого не заметит. — Танцевали вы, разумеется, замечательно.

— А в чем тогда дело?

— В вашем кавалере. «Ферровиария» — не то место, где непременно следует быть учтивым.

— Понимаю.

— Игры определенного сорта могут быть опасны.

Три секунды молчания. И затем — шесть ледяных слов:

— Какие игры вы имеете в виду?

Из тактических соображений он позволил себе роскошь не отвечать. Докурил и выбросил окурок. Красный огонек прочертил дугу и исчез далеко в темноте.

— Ваш муж, судя по всему, очень доволен вечером.

Женщина молчала, словно размышляя над тем, что было сказано раньше.

— Да, очень, — ответила она наконец. — Он просто в восторге, потому что не ждал ничего подобного. Думал, что здесь, в Буэнос-Айресе, будут салоны, хорошее общество и прочее в том же роде. Замысел его был — написать танго элегантное, фрачное... Но, боюсь, еще на пароходе вы заставили его задуматься о другом.

— Очень жаль, если так... Я не предполагал...

— Да нет, жалеть тут не о чем. Наоборот. Армандо вам очень благодарен. Дурацкое пари с Равелем, очень дорогой каприз превращается в забавное приключение. Вы бы послушали, как он теперь рассуждает о танго. О старой гвардии и всем прочем. Ему не хватало только одного — побывать здесь, подышать этим воздухом, повариться в этой среде... Он человек упорный, одержимый своим делом, — она мягко засмеялась. — А теперь, боюсь, станет совсем невыносим, и я, в конце концов, возненавижу танго и того, кто его придумал.

Она сделала несколько шагов наугад и резко остановилась, словно темнота вдруг показалась ей слишком неверной.

— Здесь и вправду опасно?

Макс поспешил успокоить. Не опасней прочих кварталов, сказал он, в Барракас живут люди бедные, тяжко работающие. Конечно, близость Риачуэло с его пристанями и доками накладывает сомнительный отпечаток на заведения, подобные «Ферровиарии», но стоит лишь пройти немного вверх по улице — и будет квартал как квартал: доходные дома, набитые иммигрантами, людьми трудолюбивыми или желающими быть такими. Женщины шаркают шлепанцами или стучат деревянными башмаками, мужчины потягивают мате; после скудного ужина люди в затрапезе вытаскивают плетеные стулья и табуретки на тротуар, дышат вечерней прохладой, обмахиваются веерами, поглядывая, как играют на улице дети.

— В нескольких шагах отсюда, — добавил он, — есть ресторанчик «Пуэнтесито»: по воскресеньям отец, если дела шли недурно, водил нас туда.

— А чем он занимался?

— Всем на свете, но не преуспел ни в чем. Работал на фабрике, держал склад железного лома, возил мясо и муку... Невезучий был человек, из породы тех, что будто на свет появляются с клеймом неудачи на лбу и никакими силами уже не могут стереть его. В один прекрасный день он устал бороться, вернулся в Испанию сам и нас вывез.

— Вы скучаете по своему кварталу?

Макс безо всякого усилия припомнил, как с мальчишками играл в пиратов на берегу Риачуэло, среди остовов лодок и полузатопленных плоскодонок, качавшихся на илистой воде. И как завидовал сыну Коломбо — единственному, у кого был велосипед.

— По детству скучаю, — ответил он чистосердечно. — По кварталу — меньше всего.

— Но ведь это ваша родина.

— Ну да. Моя.

Меча Инсунса сделала еще несколько шагов, и Макс последовал за ней. Оба остановились у края тротуара — уходя в глубь мощеной улицы, в свете фонарей через равные промежутки поблескивали трамвайные рельсы.

— Ну-у, — протянула она со снисходительным сочувствием. — Истоки вашей жизни были пусть скромны, но благородны...

— Так не бывает: что-нибудь одно.

— Не говорите так.

Макс хохотнул сквозь зубы. Как бы про себя. Плеск воды, треск цикад и лягушачий хор почти заглушили этот смешок. Стало сыро, и ему показалось, что Меча зябко поежилась. Ее шелковая шаль осталась в заведении, на спинке стула.

— И что же было потом? После того, как вернулись в Испанию?

— Всего понемножку. Года два отучился в школе, потом ушел из дому, и приятель устроил меня рассыльным в барселонский отель «Ритц». Десять дуро в месяц. Плюс чаевые.

Меча Инсунса, обхватив себя руками, силилась унять дрожь. Макс молча снял пиджак и набросил его на плечи женщине, тоже не произнесшей ни слова. Его взгляд скользнул вдоль ее длинной, высоко, до самого затылка, открытой шеи, очерченной рассеянным светом далекого уличного фонаря. Тот же яркий отблеск мелькнул на мгновение в ее глазах, оказавшихся совсем близко. Ни табачный перегар, ни запах пота, ни духота, стоявшие в «Ферровиарии», не сумели перебить исходивший от нее аромат — аромат чистой кожи и еще не вполне выветрившихся духов.

— Так что об отелях и рассыльных я знаю все, — продолжал он, обретая свое обычное хладнокровие. — Перед вами стоит высокий специалист, в совершенстве владеющий искусством опускать письма в почтовый ящик, не спать ночами на дежурстве, одолевая искушение прилечь на диван, передавать сообщения и бегать по холлам и гостиным, выкликая настойчиво «Сеньора Мартинеса просят к телефону!» и стараясь отыскать этого сеньора Мартинеса за краткий промежуток времени, на которое хватит терпения у того, кто ждет с трубкой возле уха...

— Могу себе представить, — сказала она, явно позабавленная. — Целый мир...

— О-о, вы бы сильно удивились, узнав, какие чувства бушуют за двумя рядами золоченых пуговиц или под несвежим пластроном бессловесного лакея, разносящего коктейли.

— Вы меня пугаете... Уж не большевик ли вы?

Макс коротко рассмеялся. И женщина подхватила его смех.

— Нет, не пугаю. Хотя должен был бы.

Перчатка Мечи Инсунсы, которую она вложила ему в нагрудный карман на манер платочка перед тем, как Макс отправился приглашать на танец блондинку, казалась в полутьме диковинным крупным цветком в бутоньерке. Макс подумал, что так между ними установилась некая связь почти интимного свойства. Что-то вроде почти неуловимого и безмолвного сообщничества.

— Кроме того, — продолжал он все тем же легким тоном, — я превосходно разбираюсь в чаевых. Вот вы с мужем в силу своего социального положения лишь даете их, а потому и понятия не имеете, что клиенты бывают достоинством в одну, три и пять песет. Такова истинная классификация постояльцев, неведомая тем, кто по ошибке относит себя к блондинам или к брюнетам, к долговязым или коротышкам, к промышленникам, путешественникам, миллионерам, инженерам-путейцам... Существуют даже постояльцы по десять сентимо — пусть даже за номер они платят хоть сто песет в сутки. Именно к этой категории они и принадлежат, а к другим не имеют отношения.

Женщина ответила не сразу. Она, казалось, о чем-то очень сосредоточенно думает.

— Полагаю, — произнесла она наконец, — что для наемного танцора чаевые тоже немаловажны.

— Ну разумеется. Если угодить даме, с которой протанцевал вальс, она может незаметно сунуть в карман банкноту, а это избавит тебя от забот на вечер или даже на целую неделю.

Эти слова прозвучали не без язвительности, потому что его слегка кольнула досада, которую он не счел нужным скрывать. И женщина, внимательно слушавшая его, почувствовала это.

— Послушайте, Макс... Я в отличие от большинства людей моего круга, прежде всего, конечно, мужчин, без предубеждения отношусь к профессиональным танцорам. И даже к жиголо. Ведь даже в наши дни дама в туалете от Лелонга или Пату не может пойти в ресторан или на бал одна.

— Да не трудитесь оправдываться. Я человек без комплексов. Расстался с ними давным-давно, в сырых и холодных номерах меблированных комнат, где одеяла изношены, а согреться можно лишь полбутылкой вина.

Помолчали. Макс угадал ее следующий вопрос за секунду до того, как он прозвучал:

— И женщиной?

— Да. Иногда и женщиной.

— Дайте мне сигарету.

Макс вытащил портсигар. Осталось три штуки, определил он ощупью.

— Прикурите ее сами, пожалуйста.

Он чиркнул спичкой. И при свете ее убедился, что Меча пристально на него смотрит. Прежде чем погасить, он, все еще ослепленный вспышкой, раза два затянулся и вложил сигарету в губы Мечи, которая не воспользовалась на этот раз своим мундштуком.

— Что же вас привело на «Кап Полоний»?

— Чаевые... Ну, и контракт, само собой. Прежде я работал и на других лайнерах. Рейсы в Буэнос-Айрес и Монтевидео собирают приятную публику. Путь долгий, и пассажиры желают развлекаться. По внешности я — типичный «латино», недурно танцую танго и другие модные танцы: это все помогает. Как и языки.

— На каких же языках вы говорите?

— По-французски. И еще кое-как по-немецки.

Женщина отбросила сигарету.

— Вы держитесь как настоящий джентльмен, хоть и начинали с мальчика на побегушках... Где научились таким манерам?

Макс рассмеялся, глядя, как на земле, у нее под ногами, меркнет красный уголек.

— Читал иллюстрированные журналы — колонки светской хроники, моды, репортажи из высшего общества... Глядел по сторонам. Прислушивался к разговорам, перенимал стиль поведения. Был у меня приятель, который помог мне в этом отношении...

— Вам нравится эта работа?

— Временами. Я ведь зарабатываю на жизнь не только танцами. Иногда танец — это предлог обнять красивую женщину.

— И всегда — в безупречном фраке или смокинге?

— Разумеется. Это ведь моя спецовка, — он чуть было не добавил, «за которую я еще остался должен портному с улицы Дантон», но сдержался. — Что для танго, что для фокстрота или блэк-боттома.

— Вы меня разочаровываете... Я-то представила, как вы танцуете злодейские танго в самых злачных местах Пляс Пигаль... Где становится оживленно, лишь когда загораются фонари и под ними проходят проститутки, воры, апаши.

— Я вижу, вы хорошо осведомлены о тамошней публике.

— Ну, я ведь сказала, что «Ферровиария» — не первое в моей жизни сомнительное заведение. Кто-то может назвать это извращенным удовольствием от свального греха.

— А мой отец любил повторять: «Повадился кувшин по воду ходить...»

— Разумный человек был ваш отец.

Они уже возвращались, медленно приближаясь к уличному фонарю у входа в «Ферровиарию». Меча немного опередила его, с загадочным видом наклонила голову.

— А какого мнения на сей счет ваш муж? — спросил Макс.

— Армандо так же любопытен, как я. Ну, или почти так же.

Макс призадумался об оттенках значения слова «любопытный». Вспомнил, как с куражливой повадкой опасного уличного задиры остановился перед их столиком этот самый Хуан Ребенке и с какой холодной надменностью Меча Инсунса приняла его приглашение. Вспомнил и то, как ее обрисованные легким шелком бедра качались вокруг ног партнера. Как с нажимом и вызовом произнесла: «Теперь ваш черед», когда вернулась за стол.

— Я знаю заведения на Пигаль, — ответил он. — Хотя работал в других местах. До марта — в русском кабаре «Шахерезада» на улице Льеж, это на Монмартре. А еще раньше — в «Касме» и в «Казанове». В отеле «Ритц», а в сезон — в Довиле и Биаррице.

— Как славно. Без работы не сидели, насколько я вижу.

— Не жаловался. Быть аргентинцем стало так же модно, как танцевать танго. Быть или хотя бы казаться.

— А почему вы жили во Франции, а не в Испании?

— Это долгая история. Соскучитесь слушать.

— Вовсе нет.

— Тогда я соскучусь рассказывать.

Меча Инсунса остановилась. В свете фонаря черты ее лица предстали теперь отчетливей. Чистые линии, в очередной раз убедился Макс. Сверхъестественное спокойствие. И в полутьме было видно: каждая клеточка ее тела свидетельствует, что женщина эта принадлежит к особой породе, к существам высшего разбора. Даже в самых заурядных и обыденных движениях, казалось, чувствовалась рука живописца или античного скульптора. Элегантная небрежность большого мастера.

— Возможно, мы там с вами пересекались, — сказала она.

— Невозможно.

— Почему же?

— Я ведь вам уже сказал на пароходе: потому что я бы вас запомнил.

Она поглядела на него пристально, не отвечая. В неподвижных зрачках двоилось отражение его лица.

— А знаете что? — сказал он. — Мне нравится, как естественно вы соглашаетесь, когда вам говорят, что вы красивы.

Меча Инсунса еще мгновение молчала, глядя на него, как раньше. Хотя теперь, когда половина ее лица попала в тень, стало казаться, что она улыбается уголком губ.

— Теперь понимаю, чему вы обязаны своим успехом у женщин. Да еще при вашей наружности... Совесть не мучает вас за то, что вы разбили столько сердец и зрелым дамам, и нежным барышням?

— Нисколько.

— И правильно. Угрызения совести редки у мужчин, если они добиваются денег или обладания, и у женщин, если они через день меняют возлюбленных... И потом, мы вовсе не испытываем такой благодарности за рыцарские поступки и чувства, как принято думать. И доказываем это, влюбляясь в проходимцев или в грубых мужланов.

Она уже стояла у входа в «Ферровиарию» с таким видом, словно никогда в жизни не открывала дверь сама.

— Удивите меня, Макс. Я терпелива. Я способна ждать, когда вы меня удивите.

Собрав все свое хладнокровие, он протянул руку, чтобы толкнуть дверь. Он бы немедленно поцеловал Мечу, если бы не знал, что из автомобиля за ними наблюдает шофер.

— Ваш муж...

— Ради бога... Забудьте о моем муже.

Лезвие скользило по щекам, а воспоминания о прошлом вечере в «Ферровиарии» все не отпускали Макса. Оставалось выбрить еще небольшой кусок намыленной левой щеки, когда в дверь постучали. Он пошел открывать, в чем был — слава богу, в брюках и туфлях, но в майке и со спущенными подтяжками — и от неожиданности замер с открытым ртом.

— Доброе утро, — сказала женщина.

Она была одета по-утреннему — прямые, легкие линии костюма из синего, в белых полумесяцах фуляра,[[27]](#footnote-27) шляпка колоколом, от которой лицо казалось удлиненно-узким. Не без юмора, чуть обозначив улыбку, взглянула на бритву, по-прежнему зажатую у него в руке. Потом взгляд скользнул вверх, встретился с его взглядом, задержался на майке, обтягивающей торс, на спущенных, болтающихся вдоль бедер помочах, на щеках в хлопьях мыльной пены.

— Я, наверно, не вовремя, — проговорила она с обескураживающим спокойствием.

К этой минуте Макс уже опомнился. С прежним присутствием духа пробормотал извинения за то, что принимает ее в таком виде, отступил, давая пройти, притворил дверь, положил бритву в тазик, набросил покрывало на незастеленную постель, поднял подтяжки на плечи, надел сорочку без воротничка и, пока застегивал ее, пытался успокоиться и поскорее сообразить, что к чему.

— Простите за беспорядок... Я не предполагал...

Она не произнесла ни слова, слушая его и наблюдая, как он пытается скрыть смущение. И лишь спустя минуту сказала:

— Я пришла за своей перчаткой.

Макс растерянно заморгал:

— Перчаткой?

— Ну да.

Он уразумел, о чем речь, и, все еще сбитый с толку, полез в платяной шкаф. Перчатка была там, где ей и полагалось быть, — выглядывала на манер платочка из верхнего кармана пиджака, который был на нем вчера, а теперь висел рядом с серой тройкой, фланелевыми брюками и вечерними костюмами — фраком и смокингом; внизу стояла пара черных туфель, на дверце висело полдюжины галстуков, на полке лежали стопкой трусы, три белые сорочки, манишки и несколько пар накрахмаленных манжет. И все. В зеркало на внутренней стороне двери он заметил, что Меча Инсунса наблюдает за ним, и застеснялся своего убогого гардероба. Потянулся было к пиджаку, чтобы не стоять перед ней в одной сорочке, но увидел, как женщина качнула головой:

— Не надо, прошу вас... Слишком жарко.

Закрыв створку шкафа, он подошел к гостье и протянул ей перчатку. Меча взяла, не взглянув, зажала в руке и принялась легонько похлопывать по своей сафьяновой сумочке. Как бы не замечая единственный стул, она продолжала стоять посреди комнаты — так спокойно, словно вошла в хорошо знакомую ей гостиную отеля. При этом оглядывалась по сторонам и неторопливо рассматривала комнату — выщербленные плитки пола, на которых лежало прямоугольное пятно солнечного света, потертый саквояж, обклеенный ярлыками судоходных компаний и захудалых отелей, предусмотренных контрактами; обогреватель «Примус» на мраморной доске бюро; бритвенные принадлежности, коробочку с зубным порошком и тюбик с бриллиантином «Стакомб», лежавшие возле умывального таза. На ночном столике в изголовье кровати под керосиновой лампой — в пансионе «Кабото» после одиннадцати вечера выключали электричество — лежали паспорт гражданина Французской республики, портсигар с чужой монограммой на крышке, спички с логотипом «Кап Полония» на этикетке и бумажник; слава богу, подумал Макс, ей не видно, что внутри только шесть банкнот по пятьдесят песо и три двадцатки.

— Перчатка — вещь важная, — сказала она. — Перчатку так просто не оставляют.

И продолжала осматриваться. Потом очень спокойно сняла шляпу и словно ненароком задержала взгляд на Максе. Склонила голову набок, и он в очередной раз восхитился длинной изящной линией шеи, открытой высоко, до самого затылка.

— Занятное это место... Я имею в виду «Ферровиарию». Армандо хочет побывать там еще раз.

Макс не без усилия заставил себя осознать смысл ее слов.

— Сегодня вечером?

— Нет. Вечером мы идем на концерт в театре «Колон». Завтра утром, сможете?

— Разумеется.

Она с великолепным самообладанием уселась на край кровати, будто не замечая стула. Перчатки и шляпу, которые были у нее в руках, положила рядом вместе с сумкой. Приподнявшаяся юбка открывала икры длинных стройных ног, обтянутых чулками телесного цвета.

— Не помню, где я читала насчет перчаток, оставленных женщинами...

Она и в самом деле, казалось, размышляет вслух, как бы впервые об этом задумавшись.

— Но пара — это не то, что одна. Пару можно забыть ненароком. А одну...

И замолчала, внимательно глядя на Макса.

— Намеренно? — предположил он.

— Вот что мне в вас по-настоящему нравится, это живой и быстрый ум.

Макс, не моргнув, выдержал взгляд медовых глаз.

— А мне нравится, как вы на меня смотрите, — сказал он мягко.

И увидел, как она чуть сморщила лоб, словно оценивала скрытый смысл этого замечания. Потом положила ногу на ногу, а руками оперлась о матрас. Казалось, ее задели эти слова.

— Вот как?.. — В голосе пробилась холодная нотка отчуждения. — Вы меня разочаровали... Как-то пошловато это прозвучало, мне кажется. Неуместно.

На этот раз Макс не ответил. Он стоял перед ней неподвижно. В ожидании. Наконец она безразлично пожала плечами, как бы признавая, что разгадать эту нелепую загадку ей не по силам.

— Ну и как же я на вас смотрю?

Макс неожиданно улыбнулся с показным простодушием. Это была его лучшая улыбка из категории «славный малый», отработанная сотни раз перед зеркалами дешевых гостиниц и скверных пансионов.

— Мне даже стало жаль мужчин, на которых никогда не смотрели так.

И едва успел скрыть свою растерянность, когда она резко поднялась, словно решила немедленно уйти. Макс лихорадочно соображал, пытаясь понять, в чем просчет. Что он сделал или сказал не так. Но Меча Инсунса вместо того, чтобы собрать свои вещи и покинуть комнату, сделала три шага к нему. Макс совсем забыл, что еще не успел смыть мыло, и потому удивился, когда женщина вытянула руку, набрала кончиком указательного пальца пену со щеки, мазнула его по носу и сказала:

— Теперь ты похож на клоуна.

Обойдясь без слов, молча и неистово они кинулись друг к другу, срывая мешающую одежду, и, сбросив с кровати покрывало, пропитали измятые за ночь простыни своими запахами. В последовавшей вслед за тем жестокой схватке чувств, в протяженной сшибке спешных и жгучих желаний, в упорной и беспощадной стычке Максу потребовалось все его хладнокровие, ибо сражаться пришлось на три фронта — сохранять необходимое спокойствие, следить за реакциями женщины и зажимать ей рот, чтобы стоны не оповестили всех обитателей пансиона о том, что происходит у него в номере. Прямоугольное пятно света медленно ползло по полу, пока не добралось до кровати, и, ослепленные им любовники, время от времени давая роздых измученным устам, языкам, рукам, чреслам, замирали, хмельные от запаха и вкуса друг друга, вымоченные общей, смешавшейся влагой слюны и пота, в этом нестерпимом солнечном блеске покрывавшей их тела подобием сверкающей изморози. То и дело они взглядывали друг на друга в упор то с вызовом, то с изумлением, будто сами не веря силе того свирепого наслаждения, что связывало их, и переводили дух, как борцы в перерыве между схватками, дыша прерывисто и тяжело, чувствуя, как стучит кровь в висках, — и потом вновь бросались друг к другу с жадностью тех, кто уже на грани отчаяния сумел все же наконец решить сложную, застарелую личную проблему.

Макс же, на несколько мгновений возвращаясь к яви, цеплялся за какие-то вещественные подробности или ворочал в голове мысли, чтобы, отвлекаясь, обуздывать себя, запомнил две особенности того утра: в мгновения высшего накала и напряжения Меча Инсунса шептала слова, немыслимые в устах порядочной женщины, а на ее теле — нежном, и теплом, и неожиданно оказавшемся там, где надо, восхитительно пышным — кое-где виднелись голубоватые отметины, похожие на следы ударов.

Когда солнце скрылось за крутыми, обрывистыми берегами, обрамляющими Марина-Гранде, зажглись лампочки картонных и бумажных фонариков. Электрический свет, горящий в траттории Стефано, не так ярок и резок, как тот, что минуту назад истаял окончательно, скользнув последним лиловым отблеском по краю неба, по кромке воды. Он мягко растушевывает черты женщины, сидящей перед Максом, стирает следы протекших лет с ее лица, отчего на нем проступает прежний, безупречно вычерченный абрис, возвращая Мече былую редкостную красоту.

— Вот уж не думала, что шахматы смогут так перевернуть мою жизнь... — говорит она. — Впрочем, перевернул ее мой сын... А шахматы — это так... не более чем привходящие обстоятельства. Был бы он, к примеру, музыкантом или математиком, произошло бы то же самое.

Сегодня еще тепло. Легкий кремовый жакет висит на спинке стула; широкое платье лилового полотна, простое и изящное, оставляет на виду руки и подчеркивает все еще стройную фигуру Мечи, а она, похоже, сознательно пренебрегает модой на яркие цвета и короткие юбки, которой волей-неволей следуют даже дамы не первой молодости. На шее поблескивают три витка жемчужного колье. Макс неподвижно сидит напротив; проявляемый им интерес кажется лишь данью обычной вежливости. Нужно сильно постараться, чтобы узнать в этом седом джентльмене шофера доктора Хугентоблера: слегка подавшись вперед, он слушает собеседницу, а на столике перед ним стоит стакан, который он едва пригубил, верный нерушимому правилу: когда затеваешь большую игру — обходись без спиртного. Джентльмен безупречно держится и прекрасно одет — темно-синий приталенный блейзер, серые фланелевые брюки, голубая рубашка «оксфорд», коричневый галстук в точку.

— А может быть, и не то же самое, — продолжает Меча Инсунса. — Мир профессиональных шахмат — сложный мир. Предъявляет свои требования. Навязывает особый стиль жизни. Накладывает особый отпечаток на тех, кто обитает в нем.

Она замолкает, задумавшись, опускает голову, меж тем как закругленный холеный ноготь, не покрытый лаком, скользит по ободку пустой кофейной чашки.

— В моей жизни, — произносит она спустя несколько секунд, — возникали крутые повороты, определявшие все дальнейшее... Вот, например, смерть Армандо во время гражданской войны... Я обрела свободу, которой, может быть, и не хотела, в которой не нуждалась... — Осекшись, она вскидывает глаза на Макса и добавляет, как бы примиряясь с неизбежным: — А в другой раз — когда обнаружилось, что мой сын с самого детства одарен необыкновенными способностями к шахматам...

— И ты посвятила ему жизнь. Понимаю.

Отставив чашку, она откидывается на спинку стула.

— Пожалуй, это было бы преувеличением... Трудно объяснить, что такое сын. У тебя нет детей?

Макс улыбается. Он отчетливо помнит, как тридцать лет тому назад в Ницце она задала ему тот же вопрос.

— Нет, насколько я знаю. Но почему шахматы?

— Потому что Хорхе был ими одержим. Это его страсть. Наслаждение и мука. Представь, каково это: видеть, как человек, которого ты любишь всем своим существом, бьется над решением некой проблемы — сложной и в то же время очень неконкретной. Ты хочешь помочь ему, но не знаешь как. И тогда ищешь тех, кто может то, чего не можешь ты. Так появляются учителя и тренеры...

Она все с той же задумчивой улыбкой оглядывается вокруг, а Макс внимательно следит за каждым ее жестом и движением. Невдалеке стоят столики соседнего ресторанчика — траттории «Эмилия», — и скучающий официант болтает в дверях с поварихой. С террасы другого заведения, расположенного на дальнем конце пляжа, доносятся громкий говор и смех американцев, и фоном звучит из музыкального автомата или проигрывателя голос Эдоардо Вианелло.[[28]](#footnote-28)

— Ведь схожие чувства испытывает мать, когда сын пристрастится к наркотикам... Не в силах вытащить его из этой пучины, она решает сама броситься в нее.

Она глядит поверх головы Макса и вытащенных на песок рыбачьих лодок куда-то вдаль, где помаргивают вокруг залива и взбираются по черному склону Везувия огни.

— Невыносимо было видеть, как он мучился, сидя перед шахматной доской. Но поначалу я хотела избежать этого... Я ведь не из тех матерей, которые толкают своих детей вперед и вверх, удовлетворяя собственные амбиции. Напротив. Я пыталась отвлечь его, отдалить от шахмат... Но когда поняла, что это невозможно, что он продолжает играть тайком и что это может грозить нам отчуждением, уже перестала колебаться.

Ламбертуччи, хозяин ресторанчика, возник у столика с вопросом, не нужно ли чего, и Макс качает головой. Ты меня не знаешь, предупредил он его час назад по телефону, когда заказывал столик. Я приду в восемь, когда капитана уже не будет, а ты уберешь шахматы. Помни, я тут бывал всего раза два, так что никакой фамильярности. Скромный, спокойный ужин — паста с мидиями, свежевыловленная рыба на гриле, вина подашь белого, хорошего и как следует охлажденного и еще, пожалуйста, сделай так, чтобы не появился твой племянник с гитарой и не завел «О соле мио». Прочее я тебе как-нибудь потом объясню. Или нет.

— Я наказывала его, — продолжает Меча Инсунса, — а потом входила к нему в комнату и видела: он неподвижно лежит на кровати, уставившись в потолок. И вскоре поняла, что ему не нужны фигуры или доска. Он играет в уме, силой воображения расчерчивая на клетки потолок... И тогда я решила быть не против него, а рядом с ним. И помогать ему всем, чем смогу.

— Я читал, что он начал играть очень рано.

— Он рос очень нервным мальчиком. Очень. Безутешно рыдал, когда допускал ошибку или проигрывал. И мы — сначала я, а потом его наставники — должны были заставлять его сперва думать, а потом делать ход. Я постаралась развить то, что впоследствии стало его игровым стилем, — изящество, блеск, стремительность, готовность жертвовать фигуры.

— Еще кофе? — предлагает Макс.

— Да, спасибо.

— В Ницце ты жить не могла без кофе и сигарет.

Женщина улыбается слабо и словно через силу:

— Только этим привычкам я и осталась верна. Впрочем, уже умерилась.

Появившийся Ламбертуччи принимает заказ с непроницаемым выражением лица и с преувеличенной вежливостью, но при этом краем глаза косится на женщину. Похоже, он одобряет новое обличье Макса, потому что незаметно подмигивает ему, прежде чем вступить в беседу с официантом и поварихой из соседнего ресторанчика. Время от времени он поворачивается вполоборота, и Максу нетрудно понять, что Ламбертуччи гадает: какую комбинацию собирается сплести сегодня вечером старый пират? Не зря же он появился тут этаким франтом — причем так, словно всегда так одевается, — да еще с дамой?

— Принято думать, что шахматы — это цепь гениальных импровизаций, — продолжает меж тем Меча Инсунса. — Это не так. Шахматы требуют научных методов, потому что в поисках новых идей надо изучить все возможные ситуации. Хороший игрок помнит ход тысяч партий, своих и чужих, и старается улучшить их новыми вариантами; он изучает своих предшественников, как учат иностранный язык или алгебру. При этом он опирается на целый штат помощников, аналитиков, тренеров... я говорила тебе про них утром. И сейчас у Хорхе несколько таких. Один из них — его учитель Эмиль Карапетян, который сопровождает нас повсюду.

— И у русского — так же?

— Да, разумеется. Помощники всех видов. Его даже сопровождает какой-то чин из посольства. Представляешь? В Советском Союзе шахматы — дело государственной важности.

— Я слышал, команда русского целиком арендовала особняк в парке неподалеку от «Виттории». И там даже есть люди из КГБ.

— Ничего удивительного. У Соколова свита — человек двенадцать, хотя матч на приз Кампанеллы — всего лишь подступ к чемпионату мира... Через несколько месяцев, в Дублине, у Хорхе будет четверо или пятеро аналитиков, секундантов и тренеров. Можно себе представить, сколько народу привезут русские.

Макс коротко прихлебывает из стакана.

— А у вас сколько?

— Со мной — трое. Кроме Карапетяна, нас сопровождает Ирина.

— Я думал, это невеста Хорхе.

— Так и есть. Но еще и очень сильная шахматистка. Ей двадцать четыре года.

Макс воспринимает все это так, будто впервые слышит о ней.

— Русская?

— Родители югославы, но родилась в Канаде. На Олимпиаде в Тель-Авиве была в сборной. Она входит в число десяти-пятнадцати сильнейших шахматисток мира. Гроссмейстер. Вместе с Эмилем Карапетяном составляет постоянное ядро нашей команды.

— Ну а как невестка она тебе нравится?

— Могло быть хуже, — отвечает Меча невозмутимо, не принимая игривый тон, предполагаемый улыбкой Макса. — Характер у девочки непростой, как у всех шахматистов. И в голове такое, о чем мы с тобой и не подозреваем. Но с Хорхе они понимают друг друга с полуслова.

— А в качестве ассистентки, аналитика или как их там?..

— Да. Очень полезна.

— И как же ее воспринимает маэстро Карапетян?

— Хорошо. Поначалу ревновал и рычал, как пес над костью. «Пигалица, девчонка, что она понимает...», ну, и прочее в том же роде... Но она — из тех, кто себя в обиду не даст: сумела поставить его на место.

— Ну а ты?

— Со мной все иначе. — Меча допивает кофе. — Я — мать, понимаешь?

— Понимаю.

— И мое дело — смотреть издали. Внимательно, но издали.

Слышны голоса американцев — они проходят за спиной у Макса и удаляются в сторону дороги, вьющейся вдоль стены и ведущей к самой возвышенной части Сорренто. И снова становится тихо. Меча задумчиво разглядывает красные и белые квадраты скатерти, напоминающей шахматную доску.

— Есть такое, чего я дать своему сыну не могу, — вдруг произносит она, вскинув голову. — И не только в том, что касается шахмат.

— И как долго ты намерена...

До тех пор, пока ему это будет нужно, отвечает она без колебаний. До тех пор, пока Хорхе хочет, чтобы она была рядом. Когда наступит конец, она, надо надеяться, все сообразит сама и вовремя, тихо и незаметно исчезнет без мелодрам. В Лозанне у нее — хороший удобный дом, много книг и пластинок. Библиотека... Будет жить так, как ей хотелось все эти годы, но не получалось. Жить, а потом, когда придет время — мирно окончить свои дни.

— Я тебя уверяю — до этого еще очень далеко.

— Ты всегда был льстецом, Макс... Изящным мошенником, обворожительным жуликом.

Он с напускной скромностью — как если бы эта колкая похвала казалась ему чрезмерной — опускает голову. И на лице появляется утонченно-светское выражение, словно говорящее: «Ну, что я могу на это сказать? Да еще в наши-то годы?»

— Я когда-то — давно уже, много лет назад — прочла какую-то книжку и подумала о тебе... Дословно не помню, но смысл передаю довольно точно: «Тем, кто обласкан женщинами, проходить долиной теней не так мучительно и не так страшно». А? Какого ты мнения на этот счет?

— Звучно и выразительно.

Повисает молчание. Меча теперь вглядывается в черты его лица так, словно пытается узнать их вопреки переменам. Глаза ее мягко лучатся в свете бумажных фонариков.

— Неужели ты так и не был женат, Макс?

— Нет. Побоялся, что это скажется на моей способности пройти долиной теней, когда понадобится.

На раскат ее по-девичьи звонкого, чистосердечного и звучного смеха оборачиваются Ламбертуччи, официант и повариха, все еще толкующие о своем в дверях ресторана.

— Ах, чтоб тебя!.. Ты по-прежнему не лезешь в карман за словом... И как же быстро присваиваешь себе чужое!

Макс проверяет, не слишком ли сильно вылезли из рукавов пиджака манжеты сорочки. Он терпеть не может нынешнюю манеру — когда манжет виден почти целиком, — как, впрочем, и зауженные талии, чересчур широкие галстуки, длинные воротники рубашек, тесные в бедрах и сильно расклешенные брюки.

— Ты в самом деле иногда вспоминала обо мне за эти годы?

Спрашивая, он глядит в ее золотистые глаза. Она чуть склоняет голову набок, продолжая рассматривать его.

— Признаюсь. Вспоминала. Иногда.

Макс прибегает к самому безотказному своему оружию — перед этой внезапно вспыхивающей белоснежной улыбкой, так оживляющей его лицо, в былые дни не могли устоять даже самые закаленные кокетки.

— Даже если тогда не звучала «Старая гвардия»?

— Даже тогда, — принимая игру, отвечает Меча с легким кивком и слабой улыбкой.

Приободренный Макс решает уподобиться тореро, который, чувствуя, что симпатии публики — на его стороне, хочет продлить поединок. Кровь ритмично пульсирует в старых артериях; он уверен и тверд, как во времена былых приключений, и чувствует чуть лихорадочную бодрость, какая бывает, когда после бессонной ночи запьешь кофе две таблетки аспирина.

— А ведь мы с тобой, — с полнейшим спокойствием произносит он, — встречались только трижды: в первый раз — на пароходе, во второй — в Буэнос-Айресе в двадцать восьмом году, а потом — в Ницце девять лет спустя.

— Вероятно, у меня всегда была слабость к негодяям.

— Просто я был молод, Меча.

Эти слова он сопровождает еще одним верным и испытанным номером из своего репертуара — скромно поникает головой и легким небрежным движением левой руки как бы отметает все наносное и лишнее. А под лишним и наносным подразумевается все вокруг за исключением той, что сидит напротив.

— Да. Я же и говорю: молодой обольстительный негодяй. Тем и жил.

— Нет, — учтиво возражает он. — Мне это помогало жить — что не одно и то же... Бывали тяжкие времена. Да, в сущности, все мы таковы.

Он произносит эти слова, глядя на ее колье, и Меча замечает его взгляд.

— Помнишь его?

Макс принимает вид джентльмена, оскорбленного в лучших чувствах:

— Конечно.

— Впрочем, да, ты и должен помнить, — она на миг прикасается к жемчугам. — То, что было в Буэнос-Айресе. То, что кончилось в Монтевидео. Все то же.

— Как я мог забыть? — Старый жиголо делает подобающую случаю меланхолическую паузу. — По-прежнему великолепно.

Но погруженная в свои мысли женщина не обращает внимания на эти слова.

— И тот случай в Ницце... Как ты использовал меня, Макс... И какой же дурой я была тогда. Твоя проделка стоила мне дружбы с Сюзи Ферриоль, не говоря уж обо всем прочем. И больше я ничего о тебе так и не узнала. Никогда.

— Не забудь, меня искали. Мне пришлось скрыться... Эти убитые... Безумием было бы оставаться там.

— Я и не забыла... Ничего не забыла. Я все помню. Даже то, что тебе это послужило идеальным предлогом.

— Ты ошибаешься... Я...

Она предостерегающе вскидывает руку:

— Лучше не продолжай... Испортишь такой приятный ужин.

И, продолжая движение руки, протягивает ее через стол, на мгновение дотрагивается до щеки Макса. Тот инстинктивно прикасается губами к ее уже отдергивающимся пальцам быстрым, скользящим поцелуем.

— Видит бог... За всю жизнь я не видел женщины красивей, чем ты.

Меча Инсунса достает из сумочки пачку «Муратти», сжимает сигарету губами. Макс, перегнувшись через стол, щелкает золотым «Дюпоном», который еще несколько дней назад лежал в кабинете доктора Хугентоблера. Женщина выпускает дым, откидывается на спинку стула.

— Глупости не говори.

— Ты все еще красива, — стоит на своем он.

— Это еще большие глупости. Посмотри на себя. Даже ты уже не тот, что прежде.

Сейчас Макс искренен. Или мог бы быть искренним.

— В других обстоятельствах я...

— Все вышло случайно. В других обстоятельствах у тебя не было бы ни единого шанса.

— На что?

— Да ни на что. Сам знаешь, ты бы не смог и близко подойти ко мне.

Следует длительное молчание. Меча избегает взгляда Макса и курит, рассматривая бумажные фонарики, рыбачьи домики на берегу, груды сетей, угадывающиеся в полутьме лодки.

— Негодяем, если уж на то пошло, был твой первый муж, — говорит он.

Она отвечает не сразу — еще дважды затягивается и выпускает дым, но и после этого держит паузу.

— Оставь его в покое, — говорит она наконец. — Армандо уже тридцать лет как на том свете. И он был необыкновенный композитор. И потом, он всего лишь давал мне то, чего я желала. Примерно так же, как я поступаю сейчас со своим сыном.

— Мне всегда казалось, что он тебя...

— Растлевает? Глупости какие! Разумеется, у него были свои вкусы. Ну да, порой довольно экстравагантные. Но он же не заставлял меня потакать им, не принуждал, не навязывал. Я следовала своим. И в Буэнос-Айресе, и где угодно, всюду и везде я была сама себе полная хозяйка. И потом, вспомни: в Ницце его уже не было со мной. Он погиб в Испании. Или вот-вот должен был погибнуть.

— Меча...

Он берет ее за руку, но она высвобождается — спокойно, без злости.

— Даже не думай, Макс. Если ты сейчас скажешь, что я — любовь всей твоей жизни, я встану и уйду.

## 5. Отложенная партия

— Я представляла себе Буэнос-Айрес не таким, — сказала Меча.

Здесь, вблизи Риачуэло, день казался еще жарче. Чтобы освежить взмокший лоб, Макс снял шляпу и держал ее в руке, а другую время от времени засовывал в карман пиджака. Когда они с Мечей шли в ногу, то на мгновение соприкасались плечами, а потом вновь, шагая вразнобой, отстранялись друг от друга.

— Буэнос-Айрес многолик, — ответил он. — Но главных ликов у него два: это город успеха и город провала.

Они пообедали в таверне «Пуэнтесито», стоявшей рядом с «Ферровиарии», — от Максова пансиона до нее было четверть часа езды на машине. Когда вылезли из «Пирс-Эрроу» — безмолвный Перросси, ни разу не взглянувший на них в зеркало, остался за рулем — и в кафе неподалеку от железнодорожной станции выпили аперитив, облокотившись на мраморную стойку под большой фотографией футбольного клуба «Спортиво — Барракас» и объявлением «Убедительная просьба соблюдать порядок и приличия и не плевать на пол». Меча заказала гренадин с газированной водой, Макс — вермут «Кора» с несколькими каплями «Амер-Пикона»; и оба тотчас же оказались под прицелом любопытствующих взглядов, в гуле испанской и итальянской речи: мужчины с медными часовыми цепочками, тянущимися из жилетных карманов, играли в карты, курили и, время от времени прочищая горло, смачно отхаркивались и сплевывали в урны. Это Меча настояла, чтобы Макс привел ее сюда после скромного обеда в ресторанчике, о котором третьего дня рассказывал супругам — том самом, где когда-то его отец устраивал воскресные семейные застолья. Там, в ресторане, она с удовольствием отведала олью с равиоли и жаренное на рашпере мясо, по совету расторопного официанта-испанца, запив все это полубутылкой ароматного и терпкого «Мендосино».

— Я хочу пройтись, — сказала она потом. — Берегом Риачуэло.

Доехав до окрестностей Ла-Боки, Макс попросил Петросси остановиться и вот теперь шел об руку с Мечей по северному берегу реки, по Вуэльта-де-Роча, а автомобиль медленно следовал за ними по левой стороне улицы. Вдали, за черным ребристым остовом старого парусника, наполовину ушедшего под воду у берега — Макс вспомнил, как в детстве играл там, — высился и тянулся с одного берега на другой мост Авельянеда.

— У меня для тебя подарок, — сказала Меча.

И вложила в руки Макса сверток. Он снял обертку и увидел маленькую продолговатую кожаную коробочку. Внутри оказались золотые наручные часы — великолепный «Лонжин» квадратной формы, с римскими цифрами и хронометром.

— По какому случаю? — спросил он.

— Мой каприз. Я их увидела в витрине на улице Флорида и захотела узнать, как они будут смотреться у тебя на руке.

Она помогла ему перевести стрелки на нужное время и завести часы. Отметив после этого: «Красиво». Они и в самом деле очень красиво выглядели на бронзовом от загара запястье. Отличная вещь, вполне достойная Макса. Вполне достойны тебя, сказала Меча. Твои руки просто созданы для них.

— Полагаю, ты не в первый раз получаешь от женщины такие подарки?

Он взглянул на нее невозмутимо — даже с чуть преувеличенным бесстрастием.

— Не знаю... Не помню.

— Ну, еще бы. Если бы вспомнил, я бы тебя не простила.

Недалеко от берега было много кафе и ресторанчиков — иные ближе к ночи обретали сомнительный вид. Из-под узких, отогнутых книзу полей шляпки, обрамлявшей лицо, Меча взирала на мужчин, которые без пиджаков, в жилетах и кепках сидели у дверей своих домов или на скамьях неподалеку от пароконных ландо и фаэтонов: на площади располагалась биржа извозчиков. Много лет назад Макс слышал, как родители говорили, что в таких местах постигается философия разных наций — меланхолических итальянцев, опасливых евреев, упрямых и грубых немцев, испанцев, одурманенных завистью и убийственным высокомерием.

— Они все еще причаливают к этому берегу, как когда-то мой отец, — сказал он. — Лелея свою мечту. Многие отстают на полдороге, гниют, как этот баркас, занесенный илом. Поначалу посылают деньги женам и детям, оставленным в Астурии, в Калабрии, в Польше... Потом жизнь постепенно гасит их, и они исчезают. Умирают в каком-нибудь грязном кабаке или в грошовом борделе. Сидя в одиночестве за бутылкой, которая никогда ни о чем не спрашивает.

Навстречу шли четыре прачки с огромными корзинами влажного белья, и Меча смотрела на их до срока состарившиеся лица, на распухшие от мыла и щелока руки. Каждую Макс мог бы назвать по имени, о каждой рассказать в подробностях. Именно такие лица и руки — такие и подобные им — видел он вокруг себя все свое детство.

— Женщинам, по крайней мере, тем, кто хорош собой, легче подстроиться к новым обстоятельствам, вписаться в них. В течение определенного времени, конечно. Потом одни — те, кому повезло, — превращаются в увядших наседок. А кому не повезло — в «рюмочниц», самое меньшее. Или самое большее — это зависит от того, как посмотреть.

От этих слов она снова взглянула на него со вновь пробудившимся вниманием:

— Здесь много проституток?

— Ну, представь себе, — Макс обвел рукой все вокруг. — Это же край эмигрантов, и большая их часть — одинокие мужчины. Есть фирмы, специализирующиеся на вывозе женщин из Европы. Самой влиятельной руководит еврейка Цви Мигдал, она занимается главным образом польками, румынками и русскими... Женщин покупают за две-три тысячи песо и меньше чем за год отбивают эти деньги.

Послышался сухой, невеселый смешок Мечи.

— Интересно, во что обошлась бы им я?

Макс не ответил, и еще несколько метров они прошли в молчании.

— Чего ты ждешь от будущего?

— Я хотел бы как можно дольше оставаться в живых, — пожав плечами, чистосердечно отвечает он. — И обладать тем, что мне необходимо.

— Ты не вечно будешь молод и красив. Придет старость. Что тогда?

— Меня это не беспокоит. Есть заботы поважнее.

Макс покосился на нее: Меча шла, жадно рассматривая все вокруг и даже приоткрыв рот от удивления перед тем, сколько нового неожиданно предстало перед ней. Ему показалось, что с внимательностью охотника, уже предвкушающего тяжесть ягдташа с добычей, она старается навсегда запечатлеть в памяти все — протянувшиеся вдоль заржавленных рельсов железнодорожного полотна зеленые и синие, кирпичные и деревянные домики под цинковыми крышами; кусты жимолости в двориках за оградой; стены со вмазанными в гребень осколками битого стекла; платаны и усыпанные красными соцветиями эритрины, через равные промежутки оживлявшие улицы. Меча Инсунса медленно шла посреди всего этого, всматриваясь в каждую подробность с живым любопытством и вместе с тем не изменяя своей обычной томности, сквозившей в каждом движении и воспринимавшейся так же естественно, как три часа назад, когда в комнате Макса она с невозмутимым спокойствием королевы в своей опочивальне разгуливала голая. В прямоугольник солнечного света, падавшего из окна, были четко вписаны удлиненные линии стройного, восхитительно-гибкого тела с мягким руном, золотящимся на лобке.

— А ты? — спросил Макс. — Ты ведь тоже не всегда будешь молода и красива.

— У меня есть деньги. И были еще до того, как я вышла замуж. Теперь это «старые деньги», они, как говорится, привыкли к самим себе.

Она отвечала, не замявшись ни на миг, отвечала спокойно и отстраненно. И слова выговаривала с легким пренебрежением.

— Ты бы удивился, узнав, до чего деньги упрощают жизнь.

Он рассмеялся:

— Могу себе представить.

— Нет. Боюсь, не можешь.

Они расступились, пропуская разносчика льда. Тот шел, перегнувшись на один бок под тяжестью взваленного на плечо, огромного, сочащегося влагой кувшина в резиновой оплетке.

— Ты права, — согласился Макс. — В шкуру богатых не влезешь.

— Мы с Армандо не богатые. Мы, что называется, обеспеченные.

Макс задумался об отличии. Они остановились перед балюстрадой, вившейся параллельно дороге вверх по склону Рочи. Оглянувшись, он убедился, что исполнительный Петросси тоже затормозил чуть поодаль.

— Ну-у, как тебе сказать... — Она глядела на баркасы, шаланды и вздымающуюся за ними громадину моста Авельянеда. — Армандо — интереснейший человек. Когда мы познакомились, он уже был очень известен. Рядом с ним тебя словно подхватывает какой-то вихрь... Друзья, громкие премьеры, путешествия... Разумеется, я бы сама испробовала все это когда-нибудь. Но раньше, чем я предполагала, он увел меня из отчего дома и открыл мне жизнь.

— Ты его любила?

— Почему ты говоришь в прошедшем времени? — сказала Меча, не сводя глаз с моста. — Да и вообще странновато слышать такой вопрос из уст жиголо, за плату танцующего в отелях и на лайнерах.

Макс пощупал тулью с изнанки — уже высохло. И, слегка надвинув на правый глаз, надел шляпу.

— Почему я?

Меча — так, словно ее занимала любая мелочь, — следила за его движениями неотступно. Смотрела внимательно и изучающе. Когда Макс задал этот вопрос, в ее глазах сверкнула искорка веселья.

— Я знала, что у тебя есть шрам еще до того, как увидела его.

И при виде растерянности, охватившей Макса, чуть обозначила улыбку. За несколько часов до этого, обходясь без вопросов и комментариев, она ласкала эту отметину на его теле, водила по ней губами и языком, слизывала капли пота, блестевшие на обнаженном торсе, чуть выше рубца от пули, полученной семь лет назад, когда легионеры карабкались по крутому склону меж валунов и кустов, а в воздухе уже рассеивалась дымка утреннего тумана, возвещая наступление Дня усопших.

— Есть мужчины, которые таят что-то такое во взгляде или улыбке, — добавила она, как бы сочтя, что собеседник заслуживает разъяснений, и снизойдя до них. — Мужчины, которые словно несут в руке чемодан — невидимый, но увесистый.

Теперь ее глаза скользнули от его шляпы к узлу галстука, а от него — к средней пуговице пиджака. Оценивающе.

— А ты, кроме того, красивый и тихий. И дьявольски хорошо сложен.

По какой-то причине, неведомой Максу, она явно была довольна, что он не размыкал губ в эти минуты.

— Мне нравится, Макс, что у тебя холодная голова, — сказала она. — Этим мы с тобой схожи.

Еще секунду она смотрела на него отрешенно, но очень пристально. Потом подняла руку, дотронулась до его подбородка, словно не придавая значения тому, что из автомобиля на них смотрит Петросси.

— Да, мне нравится, что я не могу довериться тебе.

И с этими словами двинулась дальше, а Макс последовал за ней, пытаясь усвоить и осознать происходящее. Справиться с растерянностью. Они шли дальше; старик вертел ручку древней шарманки «Ринальдо», будто смалывал ею стонущую мелодию; лошадь, запряженная в тележку, пустила на брусчатку мостовой густую пенистую струю.

— Мы пойдем завтра в «Ферровиарию»?

— Если твой муж захочет.

— Армандо просто в восторге, — заговорила она совсем иным, почти легкомысленным тоном. — Вечером, когда вернулись в отель, он ни о чем другом говорить не мог и, хотя было уже очень поздно, не мог уснуть: сидел в пижаме, что-то записывал, курил без передышки, напевал себе под нос. Не помню, когда я видела его таким... И еще приговаривал, посмеиваясь: «А Равель, шут гороховый, пусть съест свое болеро под майонезом». Он очень огорчен, что сегодня у него занят вечер — «Патриотическая ассоциация испанцев», или как ее там, чествует его в театре «Колон». Там устраивают гала-концерт, а потом еще потащат в роскошное кабаре «Фоли Бержер» и покажут официальное танго. Да еще предписано быть в вечернем туалете. Представляешь, какой ужас?

— Тебе непременно надо идти?

— Ну конечно. Как я могу отпустить его туда одного? Не тот уровень. Да еще эти волчицы, напудренные «Garden Court», будут шнырять рядом...

С Максом они увидятся завтра, добавила она, помолчав мгновение. Если он свободен, к семи они могли бы прислать за ним машину. Выпить аперитив в «Ричмонде», а потом поужинать в каком-нибудь симпатичном заведении в центре. Ей хвалили недавно открывшийся фешенебельный ресторан — называется, если она не путает, «Лас Виолетас». И еще один — в башне на улице Флорида, возле проезда Гемеса.

— Да нет, не стоит. — Макса совершенно не прельщала перспектива общаться с Мечей при муже и вести церемонные разговоры, да еще в таком месте. — Я зайду за вами в отель, и мы двинемся прямиком в Барракас. А утром у меня дела.

— В таком случае за тобой — танго. Со мной.

— Разумеется.

Они уже собрались перейти улицу, когда позади вдруг грянул звонок трамвая. И, скользя роликом токоприемника по проводам, протянутым на опорах и стенах зданий, он прогрохотал мимо — длинный, зеленый, пустой, если не считать вагоновожатого и кондуктора в форменной фуражке, оглядевшего их с площадки.

— У тебя не жизнь, а сплошные черные дыры, Макс... Этот шрам и все прочее... Как ты попал в Париж, почему покинул его... Тайна. Тайна.

Разговор принимает неприятный оборот, решил он. Но, впрочем, она, вероятно, имеет право знать. Или, по крайней мере, осведомиться. Странно, что не сделала этого до сих пор.

— Да я ничего не скрываю... Никаких особенных тайн. Ты видела рубец... Немного подстрелили меня в Африке.

Она не удивилась, услышав это. Можно было подумать, что наемные танцоры каждый день получают пулевые ранения.

— Что ты там делал?

— Вспомни, я говорил, что был солдатом.

— Солдаты где только не служат... Как тебя угораздило попасть туда?

— Я вроде бы еще на пароходе что-то рассказывал тебе. Тогда случилась катастрофа под Анвалем.[[29]](#footnote-29) Там перебили столько тысяч наших, что в ответ потребовалось устроить резню.

На кратчайший миг он задумался — а можно ли десятком слов выразить такие сложные понятия, как неопределенность, ужас, смерть, страх? Совершенно очевидно — нет.

— Я думал, что убил человека, — безразличным тоном сообщил он. — И поспешил записаться в Иностранный легион. Потом выяснилось, что человек тот выжил, но назад пути мне уже не было.

— В драке убил?

— Да, что-то вроде.

— Из-за женщины?

— Нет, не так романтично. Он мне был должен денег.

— Много?

— Достаточно, чтобы пырнуть парня его же собственным ножом.

Он увидел, как вспыхнули искорки в золотистой глубине. От удовольствия, надо полагать. Уже несколько часов, как Максу был знаком этот блеск.

— А почему в Легион?

Он опустил веки, припоминая лиловатый свет барселонских улиц и дворов, и то, как боялся нарваться на полицию, и как шарахался от собственной тени, и плакат на стене дома под номером девять по Пратс де Мольо: «Тем, кто разочарован в жизни, кто потерял работу, кто живет без надежды и будущего. Почет и прибыль».

— Платили по три песеты в день. И выдавали новые документы. Попав в Легион, человек мог чувствовать себя в безопасности.

Меча снова приоткрыла рот, с жадным любопытством слушая Макса.

— Это хорошо... Ты завербовался и стал другим?

— Похожим.

— Ты, наверно, был еще совсем юн?

— Я прибавил себе несколько лет. Там, кажется, никого особенно не интересовал мой возраст.

— Замечательно устроено. Женщин туда не принимают?

Потом она принялась расспрашивать о других событиях его жизни, и Макс лаконично рассказал, что́ предшествовало его появлению в танцевальном салоне лайнера. Оран, марсельский «Старый порт», дешевые парижские кабаре.

— А кем была она?

— «Она»?

— Ну да. Твоя любовница, которая научила тебя танго.

— С чего ты взяла, что это была любовница, а не хореограф?

— По манере танцевать... Это бросается в глаза.

Помолчав немного и оценив положение, он закурил и скупо рассказал о Боске. Только самое необходимое. В Марселе познакомился с венгеркой-балериной, и та увезла его в Париж. Купила ему фрак, и они выступали какое-то время в «Лапэн Ажиль» и других недорогих заведениях.

— Красивая?

Вдруг показалось, что сигарета горчит, и Макс швырнул ее в маслянистую воду Риачуэло.

— Да. Была какое-то время.

Он больше ничего не стал рассказывать, хотя в голове сейчас же понеслись вереницы образов — великолепное тело Боске, черные волосы, подстриженные а-ля Луиза Брукс, красивое лицо в рамке соломенных или фетровых полей, улыбка, сиявшая в людных и шумных кафе Монпарнаса, где посетители, как с необыкновенным простодушием уверяла она, оставляют классовые различия за дверями. Танцовщица, а время от времени натурщица, неизменно дерзкая, всегда на все готовая, говорящая много и с жаром, хрипловато рассыпающая жаргонные марсельские словечки, она сидела перед чашкой café-crème[[30]](#footnote-30) или стаканом дешевого джина на плетеном стуле на террасе «Дома» или «Клозери де Лила», среди туристов-американцев, писателей, которые не пишут книг, и художников, которые не берут в руки кисти или карандаши. «Je danse et je pose»,[[31]](#footnote-31) — восклицала она во всеуслышание, словно предлагала свое тело тому, кто напишет его на холсте или прославит на эстраде. Завтракала около часу дня — они с Максом редко ложились спать раньше, чем на рассвете, — в своем любимом кафе «У Розалии», где обычно собирались ее друзья — поляки и венгры, — добывавшие ей морфин. И неизменно вертела головой, с расчетливой алчностью разглядывая хорошо одетых мужчин и разряженных женщин в мехах и бриллиантах, роскошные автомобили, сновавшие по бульвару, — точно так же, как смотрела каждый вечер на посетителей третьеразрядного кабаре, где в паре с Максом исполняла салонное танго или — сменив шелковое платье на полосатую блузку и черные сетчатые чулки — танец апашей. Придав лицу соответствующее выражение, заготовив нужные слова, она пребывала в вечном ожидании счастливого случая. Да так и не дождалась.

— И что же сталось с этой женщиной? — осведомилась Меча.

— Она осталась позади.

— Далеко позади?

Он промолчал. Она продолжала оценивающе рассматривать его.

— И как же ты внедрился в хорошее общество?

Макс очень медленно возвращался в явь Буэнос-Айреса. Заново вглядывался в улицы Ла-Боки, сходившиеся на маленькой площади, в берега Риачуэло и мост Авельянеда. В лицо женщины, смотревшей на него пытливо и явно удивленной тем, какое выражение вдруг исказило его черты. Макс заморгал, словно сияние дня резало глаза так же нестерпимо, как когда-то — в Барселоне, в Мелилье, в Оране или в Марселе. Блеск здешнего солнца слепил, прогоняя с сетчатки другой свет — мутный свет былого, заливавший неподвижное тело Боске, ничком распростертой на кровати лицом к стене. В сероватом рассветном полумраке, грязном, как сама жизнь, Макс видел ее голую белую спину. И себя — как он молча затворяет дверь за этим образом, словно осторожно и плавно опускает крышку гроба.

— В Париже это нетрудно, — сказал он. — Там общество смешанное. Богатые люди охотно посещают непотребные места. Вот как ты с мужем пошли в «Ферровиарию» — с той лишь разницей, что им не нужен предлог.

— Вот те на... Не знаю, как и воспринять такое.

— В Африке у меня был друг, — продолжал он, не отвечая. — Я рассказывал тебе о нем на пароходе.

— Русский аристократ с трудным именем? Я помню. Ты сказал, что он умер.

Он кивнул едва ли не с облегчением. Об этом было куда легче говорить, чем о полуголой Боске, тонущей в туманном рассвете, в сумраке, столь схожем с раскаяньем, о последнем взгляде, которым Макс окинул шприц и пустые ампулы, стаканы, бутылки и остатки еды на столе. Этот мой русский друг, сказал он, уверял, что был царским офицером. Воевал в белой армии, вместе с которой эвакуировался из Крыма, потом его занесло в Испанию, а сколько-то лет спустя, после какой-то темной истории с карточным проигрышем, он завербовался в Легион. Человек был особенной породы — презрительный, утонченный, большой любитель женщин. Это он преподал Максу первые уроки хорошего воспитания, навел на него светский лоск — научил, как надо правильно завязывать галстук, как складывать платочек, торчащий из верхнего кармана, чем и в какой последовательности — от анчоусов до икры — закусывать охлажденную водку. Ему по собственным его, вскользь оброненным словам было забавно превратить оковалок пушечного мяса в некое подобие настоящего джентльмена.

— Родня его обосновалась в Париже: одни стали консьержами, другие — таксистами. Но среди тех, кому удалось вывезти деньги, был его кузен, владелец нескольких казино, где танцевали танго. И однажды я отправился к этому самому кузену, показался, получил работу, и дела наладились. Я смог прилично одеться, более или менее нормально жить и даже увидеть мир.

— И что же сталось с твоим русским другом? Отчего он умер?

На этот раз воспоминания Макса не были печальны. По крайней мере, в общепринятом смысле. Но все же губы его скривились в меланхолической усмешке, когда он припомнил, при каких обстоятельствах в последний раз видел капрала Долгорукого-Багратиона: тот занял лучший номер в борделе Тахумы, устроив последнюю в жизни эскападу, выпил бутылку коньяка, переменил трех девиц, а когда покончил с развлечениями, покончил с собой.

— От скуки. Так скучно стало, что он пустил себе пулю в лоб.

Макс сидит под пальмами и часами на маленькой эспланаде бара «Эрколано» и, надев очки, просматривает газеты. Время к полудню — время наибольшей сутолоки, и раздающийся порой громкий автомобильный выхлоп заставляет его оторваться от газеты и поглядеть вокруг. Невозможно поверить, что туристический сезон бьется в предсмертных конвульсиях: на другой стороне улицы, на террасе «Фауно» заняты все столики; в узком устье улицы Сан-Чезарео у лотков, торгующих рыбой, фруктами, зеленью, очень многолюдно и оживленно, а по Корсо Италия проносятся гудящие рои автомобилей и мотороллеров. Неподвижны лишь фиакры, ожидающие туристов, а скучающие кучера покуривают и болтают, собравшись в кружок, поглядывают на женщин, проходящих у подножья мраморного Торквато Тассо.

В «Иль Маттино» напечатан пространный репортаж о матче Келлер — Соколов, где сыграно уже несколько партий. Последняя окончилась вничью, и это, судя по всему, на руку русскому. Как объяснили Максу капитан Тедеско и Ламбертуччи, за каждую партию победителю начисляется очко, а при ничьей обоим соперникам — по пол-очка. И вот теперь Соколов ведет в счете 2,5:1,5. По единодушному мнению шахматных журналистов, положение неопределенное. Макс долго читает все это с большим интересом, хоть и перескакивает через технические тонкости, заключенные в мудреную терминологию вроде «испанского начала», «вариантов Петросяна» и «староиндийской защиты». Гораздо больше его интересуют обстоятельства, в которых разворачивается поединок. «Иль Маттино» и другие газеты настойчиво повторяют, что такая напряженная атмосфера возникла не из-за приза в пятьдесят тысяч долларов, а скорее из-за особенностей политического и дипломатического порядка. Макс только что прочитал, что Советский Союз вот уже два десятилетия сохраняет статус мирового шахматного центра и титул чемпиона мира переходит от одного русского гроссмейстера к другому, потому что после большевистской революции шахматы стали в этой стране национальным видом спорта — из двухсот пятидесяти миллионов ее граждан каждый пятый обожает эту игру, уточняла газета — и аргументом пропаганды, так что для победы на каждом турнире задействуются все государственные ресурсы. А это значит, предрекал комментатор, что Москва ради приза Кампанеллы пойдет на все. Прежде всего потому, что именно Хорхе Келлер через пять месяцев будет оспаривать у Соколова титул чемпиона мира, когда после драматического пролога в Сорренто советская твердокаменная правоверность сойдется в поединке с капиталистической неформальной ересью, и это будет матчем века.

Макс отхлебывает свой негрони, скользит взглядом по заголовкам: группа «Битлз» близка к распаду... французский рок-музыкант Джонни Холлидей пытался покончить с собой... короткие юбки и длинные волосы революционизируют Британию... В разделе международной политики речь идет о других революциях: хунвейбины продолжают наводить ужас на Пекин, в Соединенных Штатах чернокожие борются за гражданские права, окружен отряд наемников, планировавших захватить Катангу. На следующей странице между броским заголовком статьи о предстоящем запуске очередного «Джемини» («Америка возглавила гонки к Луне») и рекламой топлива («Посадите тигра в ваш бензобак!») помещен черно-белый снимок: дюжий американский солдат, сфотографированный со спины, несет на плечах вьетнамского ребенка, а тот, обернувшись, недоверчиво смотрит в объектив.

В проезжающей мимо «Альфа-Ромео Джулия» играет радио: из открытых окошек до Макса доносится мелодия. Он поднимает глаза от фотографии солдата с ребенком — она напомнила ему других солдат и других детей: с тех пор прошло сорок пять лет — и рассеянно глядит вслед автомобилю, удаляющемуся туда, где на продолжении Корсо Италия виднеется желто-белый фасад Санта-Марии-дель-Кармине, меж тем как с опозданием в несколько секунд мозг, уже отвлекшийся от газетных сведений, опознает зафиксированную слухом оркестровую мелодию, которую ведут ударные и электрогитара. Это классическое, вот уже четыре десятилетия знаменитое на весь мир танго «Старая гвардия».

Когда Макс резко, на середине, оборвал па, Меча Инсунса, коротко взглянув, с вызовом прильнула к нему всем колеблющимся из стороны в сторону телом и проскользила бедром вдоль его выставленной вперед, неподвижной ноги. Макс бесстрастно выдержал в высшей степени нескромное прикосновение ее тела под легкой тканью, при том, что с них не сводили глаз посетители — все, сколько их было в «Ферровиарии». И потом, чтобы замять неловкость, отшагнул в сторону, и его дама сейчас же, с необыкновенной легкостью и изяществом повторила фигуру.

— Вот так — хорошо, — шепнула она. — Медленно и спокойно, чтобы никто не подумал, будто ты меня боишься.

Макс приблизил губы к ее правому уху. Ему нравилась эта игра, сколь бы рискованной она ни была.

— Ты настоящая самка...

— Ты еще не знаешь, какая.

От ее близости, от мягкого аромата хороших духов, от испарины, бисером выступившей над верхней губой и у корней волос, вновь всколыхнулось желание, воскресло еще свежее воспоминание о теплом женском теле, о запахе насытившейся и удовлетворенной плоти, чуть скользкой от пота, который сейчас, под руками Макса вновь увлажняет невесомую ткань узкого платья с развевающимся в такт танго подолом. Заведение в этот еще ранний час было полупустым. Трио музыкантов играло «Шикé», и на пятачке вяло и словно нехотя топтались, покачиваясь, как пассажиры в вагоне трамвая, еще только две пары: приземистая толстушка с юнцом в пиджаке поверх сорочки без воротника и галстука и давешняя блондинка славянского типа — она была в той же цветастой блузе, что и в прошлый раз, когда танцевала с Максом. Блондинка скучливо двигалась в объятиях партнера — тот был без пиджака, в одном жилете, по виду рабочий. Время от времени, когда пары сближались почти вплотную, ее голубые глаза на миг встречались с глазами Макса. И не меняли при этом выражения.

— Твой муж чересчур много пьет.

— Тебе-то что?

Он не без тревоги взглянул, как в вырезе черного платья, едва закрывавшего ей колени, сверкает жемчужное колье — сегодня она все-таки его надела. Потом с тем же беспокойством — в «Ферровиарии» не следовало ни щеголять драгоценностями, ни пить сверх меры — посмотрел туда, где за столиком, заставленным бутылками, стаканами и переполненными пепельницами, курил и пил джин, разбавляя его газированной водой из сифона, Армандо де Троэйе в компании того самого Хуана Ребенке, третьего дня танцевавшего танго с его женой. Как только они появились в дансинге, компадрон стал часто поглядывать на них, а потом — преисполненный сознания собственной значимости, а вернее сказать, надутый спесью, усатый, с черными прилизанными волосами, с темными глазами, опасно глядящими из-под шляпы, которую не снимал ни на минуту, — двинулся к ним. Зажав в углу рта дымящийся окурок сигары, он шел к столику неспешной, надменной походочкой, принятой в здешних предместьях, — правая рука в кармане; левый борт кургузого, заношенного пиджака был слегка оттопырен и перекошен от спрятанного под ним ножа. Спросил разрешения присоединиться и с властными ухватками клиента, привыкшего, что по счету платить придется не ему, заказал официантке бутылку джина (обязательно еще не откупоренную) и сифон содовой. Чтобы иметь удовольствие угостить сеньору и сеньоров — он больше смотрел на Макса, чем на композитора, — если, конечно, это не будет сочтено за навязчивость.

Кривой аккордеонист и его коллеги сделали перерыв и по зову де Троэйе подтащили стулья к его столику, куда меж тем уже вернулись Меча и Макс. Древняя пианола, заполняя паузу, с шипением и хрипом воспроизвела поочередно два неузнаваемых танго. После довольно долгой череды тостов и разговоров музыканты вновь взялись за инструменты и завели «Ночную пирушку», а Ребенке, еще более залихватски заломив шляпу, осведомился у Мечи, не желает ли сеньора станцевать. Та отказалась, сказав, что устала, и компадрон, сохраняя улыбчивую невозмутимость, кольнул Макса быстрым опасным взглядом, словно его виня в своей неудаче. Потом, прикоснувшись двумя пальцами к полю шляпы, встал и направился к белокурой девице, и та неохотно, но послушно поднялась, положила левую руку ему на плечо и начала танцевать. Одну руку — с дымящейся сигарой — заложив за спину, а другой без видимого усилия, с видом мужественным и серьезным ведя свою даму, кавалер вывязывал затейливое кружево шагов. Замирал на несколько мгновений после каждого корте и потом, опять начиная замысловатые арабески, наступал и тотчас, без малейшей заминки, делал шаг назад, покуда его партнерша, податливо, покорно и в то же время безразлично — слишком короткая, по парижской моде, юбка, взлетая, открывала ногу до самого бедра — выполняла все фортели, все кунштюки, которые он от нее требовал.

— Как она тебе?

— Не знаю... Вульгарна немного. И вид заморенный.

— Может быть, она работает на тайный синдикат вроде того, о котором ты мне говорил... Может быть, ее обманом вывезли из России или еще откуда...

— Заманили и завербовали в проститутки... — немного заплетающимся языком проговорил Армандо де Троэйе, оценивающе разглядывая на свет очередной стакан джина. Казалось, эта версия его забавляет.

Макс посмотрел на Мечу, силясь определить, всерьез ли она говорит. И через секунду понял: нет, это она так шутит.

— Более вероятно, что она здешняя, местная из этого квартала, — ответил он.

Композитор, раскатившись неприятным смешком, вновь вмешался в разговор. Макс заметил, что от выпитого глаза его уже посоловели.

— Хорошенькая. Вульгарная и хорошенькая.

Меча Инсунса по-прежнему не сводила глаз с танцовщицы, а та, очень тесно прижавшись к партнеру, повторяла его кошачье-плавные шаги по скрипучему полу.

— Тебе нравится, Макс? — спросил де Троэйе.

Макс, выигрывая время, долго тушил в пепельнице окурок. Разговор начинал его раздражать.

— Недурна.

— И только-то? Когда в прошлый раз танцевал с ней, ты явно получал большое удовольствие.

Макс взглянул на карминный след, окрасивший ободок стакана, который Меча поставила на стол, и краешек мраморного мундштука возле дымящейся пепельницы. Он все еще чувствовал этот ярко-алый вкус у себя на губах, когда во время неистового соития в пансионе Кабото, целуя, облизывая, впиваясь, они стерли без остатка всю помаду с губ той, что, содрогнувшись всем телом в последний раз, прошептала ему почти на ухо: «Не в меня, пожалуйста», и он, уже утомленный, держась на пределе, повиновался, медленно выскользнул из нее, прижался влажной плотью к радушной гладкости ее живота и тихо излился на него.

— Танго у нее выходит хорошо, — признал он, возвращаясь в «Ферровиарию». — Ты об этом?

— Танцует хорошо, а сложена еще лучше, — ответил композитор, рассматривая блондинку через поднятый на уровень глаз стакан.

— Лучше, чем я?

Этот вопрос Меча, повернувшись к Максу и приподняв уголок рта высокомерной усмешкой, адресовала ему. Словно мужа рядом не было вовсе. Или, с беспокойством отметил Макс, именно потому, что он был.

— В другом роде, — выговорил он так же осторожно, как когда-то, выставив перед собой карабин с примкнутым штыком, продвигался в тумане, окутывавшем Тахуду.

— Да уж, надо думать, — сказала она.

Макс покосился на композитора — они перешли на «ты» несколько часов назад, сразу и вдруг, по его настоянию, — спрашивая себя, чем это все может кончиться. Однако де Троэйе, казалось, не интересовало ничего, кроме стакана с джином, в который он почти окунул нос.

— Ты выше ростом, — заметил он, прищелкнув языком. — Верно, Макс? И потоньше.

— Как я тебе благодарна, Армандо, — сказала она. — Ты так внимателен — все замечаешь.

С шутовской церемонностью, имевшей еще какой-то потаенный, темный для Макса смысл, муж показал, что пьет за ее здоровье, и замолчал надолго. Макс видел, что время от времени он вперял воспаленные от дыма глаза в пустоту, будто его целиком захватывала ему одному слышная мелодия, и отстукивал по столешнице такты и аккорды с уверенной беглостью, удивительной для человека перепившего. Спросив себя, вправду ли Армандо де Троэйе пьян или только прикидывается, Макс взглянул на Мечу и тотчас — на Хуана Ребенке и белокурую девицу. Музыка смолкла, и компадрон, повернувшись спиной к танцовщице, опять направился к их столику.

— Не пора ли нам? — спросил Макс.

В паузе между двумя глотками Армандо де Троэйе, вынырнув из своих грез, отнесся к этому одобрительно:

— Еще куда-нибудь?

— Спать. Мне кажется, твое танго совсем готово. «Ферровиария» уже дала все, что могла дать.

Композитор не согласился. Ребенке, усевшийся между ним и Мечей, оглядывал всех троих с улыбкой столь неестественной, что она казалась нарисованной у него на лице, и явно старался принять участие в разговоре. Он был заметно задет тем, что никто не восхищается, как они с белокурой только что отделали танго.

— А обо мне, Макс, ты не подумал? — спросила Меча.

Тот, слегка озадаченный, обернулся к ней. Рот ее был чуть приоткрыт, и в текучем меде глаз искрился вызов. И пробившее его, как разрядом тока, желание было столь остро и безотлагательно, поднимало в душе такое жестокое, зверское чувство, что он со всей определенностью понял: в былые времена, в иной жизни у него рука бы не дрогнула перебить всех вокруг, чтобы остаться с этой женщиной наедине. Чтобы, утоляя томление собственной напруженной плоти, рывками содрать с нее эту увлажненную ткань, которая в дымной духоте заведения обтягивала тело Мечи как вторая, темная, кожа.

— Может быть, я еще не хочу спать?

— Мы можем прогуляться по Ла-Боке, — весело предложил де Троэйе, вновь принимаясь за джин так, словно только что вернулся из какой-то дальней дали. — Поискать чего-нибудь такого, что бы нас встряхнуло и освежило.

— Я согласна. — Она поднялась и сняла свою шаль со спинки стула, меж тем как муж доставал бумажник. — И давайте прихватим с собой эту вульгарную красотку.

— Лучше не стоит... — возразил Макс.

Взгляды их сшиблись. «Какого дьявола тебе надо?» — безмолвно спрашивал он. Ответом ему было мелькнувшее в ее глазах пренебрежение. «Хочешь играть — играй, — сказали они ему. — Прикупай — или уходи. Все зависит от того, насколько ты любопытен и отважен. А что́ там, на кону — тебе известно».

— Напротив, — сказал композитор, неверными пальцами пересчитывая купюры по десять песо. — Пригласить эту барышню, я считаю, грандиозная идея.

Ребенке вызвался привести и сопровождать девицу, потому что, сказал он, автомобиль у сеньоров большой и туда поместятся все. Он знает прекрасное место в квартале Ла-Бока. «Марго». Там подают лучшие во всем Буэнос-Айресе равиоли.

— Равиоли в такой час? — не без растерянности переспросил де Троэйе.

— Это кокаин, — перевел Макс.

— И там, — добавил компадрон многозначительно, — вы сможете и встряхнуться, и освежиться.

Он говорил, обращаясь больше к Мече и Максу, чем к композитору, словно инстинктивно чувствовал, кто на самом деле его соперник. А Макса слегка тревожили неизменная улыбка бандита, когда, властно подозвав белокурую танцовщицу, он сообщил, что ее зовут Мелина и что по происхождению она полька, и то, каким взглядом окинул бумажник, прежде чем Армандо де Троэйе, бросив на стол скомканные кредитки — плату за угощение и щедрые чаевые, — сунул его во внутренний карман пиджака.

— Слишком много народу, — вполголоса проговорил Макс, надевая шляпу.

Ребенке все же, наверно, услышал его, потому что еще шире раздвинул губы в улыбке — медленной, оскорбительной и не сулящей ничего хорошего. Разящей, как лезвие опасной бритвы.

— Ты знаешь здешние места, друг?

Макс не мог не заметить перемены обращения. «Ты» вместо «вы», «друг» вместо «сеньор». Было вполне очевидно, что ночь предстоит многообещающая.

— Кое-как, кое-что... — ответил он. — Жил в трех кварталах отсюда. Давно, правда.

Тот оглядел его пристально и цепко, задержавшись на белых манжетах сорочки. На галстуке, завязанном безупречным узлом.

— А говоришь как испанец.

— Работа такая. Приходится.

Еще мгновение они с бесстрастием истинных «портеньо»[[32]](#footnote-32) разглядывали друг друга. Компадрон отрощенным ногтем мизинца сбил столбик наросшего пепла. «Поспешишь — людей насмешишь» — этот завет оба усвоили на одних и тех же улицах. Макс представил себе Ребенке лет десять-пятнадцать назад. Несомненно, он был одним из тех ребят постарше, которым так завидовал мальчуган в фартуке и со школьным ранцем за спиной, глядя, как они толкутся в дверях бильярдных, или едут на «колбасе» трамвайного вагона, чтобы не платить десять сентаво за билет, или громят лотки с шоколадками «Агила», или воруют полулуния свиного сала с прилавка булочной «Эль Морреро».

— На какой улице жил, друг?

— Виэйтес. Напротив остановки сто пятого.

— Рукой подать. Почти соседи.

Блондинка стояла, держа компадрона за руку, с профессиональной свободой манер выпятив груди из-под полурасстегнутой блузы. Плечи ее покрывала дешевенькая, скверного качества шаль, подделка под манильскую, а от вдруг возникшего интереса округлились глаза, приподнялись выщипанные, тоненько отчеркнутые черным карандашом брови. Заметно было, что перспектива хоть ненадолго оставить «Ферровиарию» прельщает ее куда больше, чем изо дня в день час за часом танцевать танго по двадцать сентаво каждое.

— Allons, enfants![[33]](#footnote-33) — весело сказал композитор и первым, прихватив шляпу и трость, не вполне верной походкой направился к дверям.

Все вышли наружу, и Петросси подал лимузин к самым дверям. Де Троэйе сел сзади, между Мечей и танцовщицей, Макс и Ребенке устроились напротив, на откидных сиденьях. Мелина, судя по всему, прекрасно понимала, что происходит и кто устраивает праздник, и послушно выполняла безмолвные приказы, которые компадрон отдавал ей в полутьме. А Макс, напряженный как струна, наблюдал за этим, прикидывая все «за» и «против». Раздумывая, с чем, возможно, придется столкнуться и как бы поаккуратней в нужный момент убраться с этой зыбкой почвы, сохранив человеческий вид и избежав удара ножом в пах. Где, как известно всякому, кто родился в этом квартале, проходит бедренная артерия, которую в случае чего не перетянешь никаким жгутом.

В десять часов вечера партия была прервана. Снаружи уже темно, и в огромных окнах зала накладываются друг на друга отражения и дробящиеся за стеклами огни вилл и отелей на скалистой крутизне Сорренто. Макс Коста рассматривает деревянное табло, где зафиксировано положение фигур после того, как Соколов сделал последний ход. Написав что-то на листке бумаги и вложив его в конверт, он встает из-за столика, меж тем как Келлер продолжает неотрывно смотреть на доску. Но вот и он, не прикасаясь больше к фигурам, что-то пишет на листочке, вкладывает его в тот же конверт, запечатывает и протягивает арбитру, а потом тоже поднимается со своего места. Это произошло сию минуту: вот он скрывается за боковой дверью, и тишина сменяется гулом голосов и рукоплесканиями, и Макс тоже встает, растерянно оглядываясь по сторонам и силясь понять, что все все-таки произошло. Он видит издали, как Меча Инсунса, сидевшая в первом ряду между юной Ириной Ясенович и грузным гроссмейстером Карапетяном, идет следом за сыном.

Макс выходит в коридор, превращенный в шумное преддверие игрового зала, и бродит среди болельщиков, слушает комментарии по поводу отложенной партии — пятой в матче на приз Кампанеллы. В соседнем салоне помещается пресс-центр, и из-за двери слышно, как итальянский радиожурналист ведет репортаж по телефону:

— Черный слон действовал как настоящий камикадзе... Наибольшее внимание все же привлекла не жертва коня, а именно рискованный проход слона через все поле... Атака казалась смертоносной, но Соколова в очередной раз спасло его хладнокровие. «Русский Бастион», действуя так, словно заранее знал об атаке, одним-единственным ходом сумел заблокировать ее и вслед за тем предложил ничью... Чилиец отказался, и партия отложена.

Через открытую дверь другого салона, поменьше, отданного, судя по всему, обычной публике и заполненного толпой поклонников, Макс видит Келлера, который сидит перед шахматной доской вместе с Карапетяном, Ясенович, судьей и еще какими-то людьми. Вероятно, происходит разбор неоконченной партии. Макса удивляет, с какой стремительностью — особенно если сравнить с темпом игры — гроссмейстеры двигают фигуры, делают и отменяют ходы, не переставая при этом обсуждать их.

— Это называется «вскрытие покажет», — слышит он вдруг голос Мечи.

Она стоит рядом, в дверях — он не слышал, когда успела подойти.

— Траурно звучит.

Меча задумчиво заглядывает в гостиную. Здесь, в Сорренто, она неизменно — но Максу ли не знать, что не всегда это было так? — одета наперекор всяким представлениям о моде и вопреки любым ее требованиям. Сегодня на ней темная юбка и мокасины, а руки она держит в карманах замшевой куртки — очень красивой и, без сомнения, очень дорогой. Одна эта куртка, прикидывает Макс, стоит тысяч двести лир. Самое малое.

— Иногда и в самом деле впору объявлять траур. Особенно после проигрыша. Сейчас тут анализируют ходы, стараясь понять, имелись ли варианты получше.

Изнутри по-прежнему слышится частый стук передвигаемых фигур. Иногда доносится краткий комментарий Келлера или шутливое замечание, встречаемое смешками. Постукивание продолжается, почти не прерываясь — даже когда фигура падает на пол, ее быстро поднимают и ставят на доску.

— Невероятно. Какая скорость...

Меча кивает. Она явно польщена его словами и, может быть, даже гордится сыном — но в своей сдержанной манере. Как и всякий гроссмейстер такого уровня, объясняет она, Хорхе помнит каждый ход и, более того, все возможные варианты. Он может воспроизвести любую партию из тех, что были сыграны им за всю жизнь. И большую часть сыгранных соперниками.

— Сейчас он разбирает свои промахи и просчеты — свои и Соколова. Но это так... на публику — для журналистов и друзей. Потом вместе с Эмилем и Ириной за закрытыми дверьми будет анализировать партию уже всерьез, обстоятельно.

Меча Инсунса замолкает и, задумчиво склонив голову набок, смотрит на сына.

— Он встревожен, — говорит она совсем другим тоном.

— А по нему не скажешь, — отвечает Макс, поглядев на Келлера.

— Его сбило с толку, что Соколов предвидел проход слона.

— Да, я что-то слышал об этом только что... О слоне-камикадзе.

— Ну, видишь ли... От Хорхе принято ожидать чего-то в этом роде... Таких вот гениальных импровизаций... На самом же деле это тщательнейшим образом спланировано. Он со своими помощниками долго готовил эту партию, искал способ переломить ситуацию в свою пользу... Использовать всем известную слабость Соколова, когда он сталкивается с гамбитом Маршалла.

— Признаться, я понятия не имею, что такое гамбит Маршалла.

— Я имею в виду, что даже у чемпиона мира могут быть свои уязвимые места. Аналитики на то и нужны, чтобы найти их и воспользоваться ими.

Открывается застекленная дверь соседней гостиной, и появляются советские — открывают шествие двое ассистентов, а за ними — чемпион мира с десятком сопровождающих. В глубине видны стол и шахматная доска с беспорядочно расставленными фигурами. Несомненно, Соколов тоже разбирал отложенную партию, но в отличие от Келлера делал это за закрытой дверью, допустив лишь нескольких журналистов-соотечественников, которые сейчас направляются в пресс-центр. Соколов с дымящейся в пальцах сигаретой проходит совсем рядом с Максом и, встретившись водянисто-голубыми глазами с матерью своего соперника, приветствует ее коротким кивком.

— Преимущество русских в том, что их субсидирует шахматная федерация, а подпирает весь государственный аппарат, — объясняет Меча. — Видишь вон того толстяка в сером пиджаке? Это атташе по культуре и спорту. А вон тот — гроссмейстер Колышкин, председатель Федерации шахмат СССР. А здоровенный блондин — Ростов, он сам когда-то чуть было не стал чемпионом мира, а теперь ассистирует Соколову. И, можешь не сомневаться, в этой группе по крайней мере два агента КГБ.

Они смотрят вслед русским, удаляющимся по коридору в сторону вестибюля. Коттедж, где разместилась русская делегация, стоит невдалеке от парка, окружающего отель.

— Шахматисты на Западе должны зарабатывать себе на жизнь еще чем-то. Хорхе в этом не нуждается, и в этом смысле ему повезло.

— Ну еще бы. У него есть ты.

— Что ж, можно сказать и так.

Меча Инсунса все еще провожает взглядом соперников, словно размышляя, прибавить ли что-нибудь к сказанному. Потом оборачивается к Максу, улыбается рассеянно и задумчиво.

— Что такое? — спрашивает он.

— Нет, ничего... Все нормально.

— Ты вроде чем-то встревожена.

Мгновение она колеблется — отвечать или нет. Потом как бы в нерешительности разводит тонкими изящными руками со старческими пигментными пятнами:

— Хорхе, выходя из зала, успел шепнуть мне: «Что-то не то». И мне не понравилось, как он это сказал. И как при этом взглянул на меня.

— Внешне он вроде бы держится очень спокойно.

— Он и в самом деле спокоен. Но, помимо этого, это часть его образа: он производит впечатление благожелательного, общительного человека. Привык скрывать беспокойство и делать вид, будто все дается ему очень легко. Но ты и представить себе не можешь, сколько часов труда, какие усилия стоят за этим. Какое изматывающее напряжение...

Лицо ее становится усталым, словно это напряжение изматывает и ее тоже.

— Пойдем на воздух.

Коридором они проходят на террасу, где заняты почти все столики. За балюстрадой, над которой горит фонарь, простерся темный круг Неаполитанского залива, и в этом непроницаемом пространстве мерцают, помаргивают дальние огни. Макс кивком благодарит мэтра, который подводит их к столику. Усаживаются. Заказывают шустрому официанту два коктейля с шампанским.

— А что случилось? Почему прервали партию?

— Время истекло. Каждый игрок имеет в своем распоряжении сорок ходов или два с половиной часа. Когда кто-то исчерпывает время, отведенное регламентом, или лимит ходов, партию откладывают.

Макс, перегнувшись через стол, подносит огонек к ее сигарете. Потом закидывает ногу на ногу, стараясь при этом не помять заглаженную складку брюк — привычка, усвоенная еще в те давние времена, когда элегантность входила в профессию и была орудием труда.

— А что это за конверты такие были?

— Соколов перед уходом зафиксировал положение фигур на доске, чтобы завтра восстановить его. Сейчас ход — за Хорхе. И он, записав ход, передает его арбитру в запечатанном конверте. Завтра тот вскроет конверт, передвинет фигуру на доске в соответствии с замыслом Хорхе, пустит часы — и игра возобновится.

— Значит, Соколову будет над чем поломать голову сегодня вечером.

— Не ему одному, — отвечает Меча. — Всем нам. При отложенной партии начинается тайная, скрытая от глаз игра: один соперник пытается угадать, каков будет этот записанный ход, на который ему предстоит достойно ответить; другой — понять, сыграл ли он наилучшим образом, сумеет ли противник раскрыть замысел и противопоставить ему опасную контригру.

А потому придется ужинать и завтракать, поставив на стол карманные шахматы, часами анализировать ситуацию, думать об этом, когда стоишь под душем или чистишь зубы... Вскакивать посреди ночи... Отложенная партия, как ничто другое, превращает шахматиста в одержимого.

— Как у нас с тобой, — замечает Макс.

Верная своей привычке не замечать пепельницы, Меча Инсунса стряхивает пепел на пол и снова подносит сигарету ко рту. Как и всегда, в скудном свете кожа ее кажется свежей, а лицо хорошеет. Медовые глаза — точно такие, какими запомнил их Макс, — неотрывно смотрят на него.

— Да, в определенном смысле это так. Наша история тоже была отложенной партией... В два хода.

В три. Скоро будет сделан третий, думает Макс, но вслух не произносит ни слова.

Когда автомобиль затормозил на углу улиц Гарибальди и Педро де Мендосы, недавно взошедшая луна сбоку выбралась из тьмы, соперничая сиянием с красноватым светом фонаря в переплетении ветвей. Макс, который вылез из машины последним, незаметно подошел к Мече, одной рукой придержал ее за локоть, другой — расстегнул замочек жемчужного ожерелья, дал ему соскользнуть в подставленную ладонь и сунул в верхний карман пиджака. В промежутке от полутьмы до отдаленного отблеска электрического света он успел увидеть расширенные изумлением глаза женщины и зажать ей рот, заглушив восклицание, уже готовое сорваться с губ. Потом, пока все остальные шли от машины к дверям, через открытое окошко протянул колье шоферу, сказав тихо:

— Пусть пока у вас побудет.

Петросси, не задавая вопросов, повиновался. От козырька фуражки лицо его было в густой тени, так что Макс не видел, что оно выражало в ту минуту. Заметил лишь, как быстро и, как ему показалось, сообщнически сверкнули глаза.

— Можете мне одолжить ваш пистолет?

— Конечно.

Шофер открыл ящичек, и в руки Максу, блеснув на мгновение никелем, лег маленький увесистый «браунинг».

— Спасибо.

Он догнал остальных и присоединился к ним, сделав вид, что не замечает пытливого взгляда Мечи.

— Мальчишка, — шепнула она.

И, как будто это само собой подразумевалось, вцепилась ему в руку. Впереди, в двух шагах от них, Ребенке распространялся о достоинствах эфира «Скибб», который свободно продается в аптеках: накапай его чуточку и вдыхай понемножку меж стаканчиками — почувствуешь себя как в раю. Впрочем, и равиоли, которые продает Марго, — при этих словах он гадко хмыкнул, доверительно демонстрируя, сколь прочна недавно завязавшаяся дружба, — в самом деле выше всяких похвал. Разве что сеньоры предпочтут чего-нибудь покрепче.

— Например? — осведомился де Троэйе.

— Опиум, друг, опиум. Или гашиш, если угодно. Есть и морфин... Все найдем.

Так они пересекли улицу, стараясь не споткнуться на рельсах заброшенной железнодорожной колеи, давно поросших кустарником. Макс, ощущая в кармане успокоительную тяжесть пистолета, смотрел в спину компадрону, а де Троэйе рядом с ним, сбив на затылок шляпу и взяв под руку постукивавшую каблучками танцовщицу, шагал так беспечно, словно прогуливался по улице Флорида. Таким порядком они добрались до заведения Марго — некогда великолепного, а ныне запущенного и обветшалого дома, стоявшего рядом с маленьким, закрытым в это время суток ресторанчиком — земля у входа была, как ковром, устлана креветочной шелухой и прочим мусором. Пахло сыростью, рыбьими потрохами, плесневелыми галетами, а от реки тянуло илом, гудроном, ржавым железом якорей.

— Лучшее местечко во всей Ла-Боке, — сказал Ребенке, и Макс подумал, что он один чувствует скрытую в этих словах насмешку.

Они оказались внутри, и все пошло без китайских церемоний. Стоило лишь компадрону шепнуть несколько слов на ухо Марго, хозяйке заведения — перезрелой изобильной даме с медно-красными волосами, — как та рассыпалась в любезностях и предложениях услуг. Макс заметил на стене в вестибюле три портрета, на которых весьма своеобразно были представлены святой Мартин, Бельграно и Ривадавия,[[34]](#footnote-34) из чего сделал вывод, что этот публичный дом посещался в былые времена избранной публикой, а потому тщился выглядеть респектабельно. Но портретами вся респектабельность и исчерпывалась. Вестибюль переходил в дымную полутемную залу, освещенную не электричеством, а старинными лампами, и от испарений керосина трудно было дышать. Помимо керосина, пахло здесь средством от насекомых «Буфах», табаком и гашишем, и к этой смеси, пропитывавшей одежду, гардины и мебель, присоединялся еще и запах пота от десятка плотно сцепленных пар — были тут и мужчины, танцевавшие с мужчинами, — которые очень медленно топтались на одном месте, не заботясь о том, чтобы попадать в такт музыке, гремевшей из виктролы: юный китаец с бакенбардами, подстриженными как у голливудского предателя, время от времени менял пластинки и крутил ручку. Предчувствия Макса подтверждались: «Дом Марго» явно был одним из тех злачных мест, где в ответ на самую невинную шутку из кармана штанов, из-за отворота пиджака, из-за пояса или даже из ботинка вылетали нож или бритва.

— Прекрасно! Все по-настоящему, без подделки, — восхитился Армандо де Троэйе.

Мече Инсунсе, кажется, тоже нравилось. Глаза ее горели, с губ не сходила блуждающая улыбка, рот был полуоткрыт, как если бы сам здешний воздух пьянил ее. Она осматривалась по сторонам, и порой взгляд ее — восторженный, благодарный и многообещающий — встречал взгляд Макса. И тогда давно уже томившее его вожделение делалось просто физически невыносимым — до такой степени, что сумело даже вытеснить тревогу, которую вызывали у Макса это место и здешнее общество. Он вблизи и с большим удовольствием рассматривал, как ходят под платьем бедра Мечи, когда хозяйка повела всех на второй этаж, в гостиную, убранную в турецком стиле — два больших дивана, прожженные ковры на полу — и освещенную двумя зелеными керосиновыми лампами на низком столике. Здоровенный, напоминающий ярмарочного силача официант с пробором посреди головы внес на подносе бутылки сомнительного шампанского и две пачки сигарет; все расселись, кроме Ребенке, который удалился вместе с хозяйкой, пояснив с улыбкой: «За кормом для канареек». Макс как раз в этот миг принял решение и вышел следом, чтобы дождаться компадрона в коридоре. Снизу доносились шипящие звуки граммофона, игравшего «Дорожку в мастерскую». Вскоре появился Ребенке, неся перемешанный с гашишем табак и полдюжины полуграммовых пакетиков из вощеной бумаги.

— Хочу тебя кое о чем попросить, — сказал Макс. — Как мужчина мужчину.

Компадрон глядел на него не без опаски, пытаясь угадать, о чем пойдет речь. И позабыв убрать из-под усов улыбку, словно примерзшую к лицу.

— Я провожу время с этой сеньорой, — продолжал Макс. — А мужу нравится Мелина.

— И что?

— А то, что два да два — четыре. А ты — пятый...

Ребенке на миг задумался о числах четных и нечетных.

— Я вижу, друг, ты меня за олуха держишь, — сказал он наконец.

Резкий тон не смутил Макса. Пока не смутил. Они сошлись здесь как два уличных пса и пока что только обнюхивались. Просто один был одет получше. Вот и вся разница. Вот и решение.

— За все будет заплачено, — сказал Макс, с нажимом произнося слово «все», кивнув на пакетики и гашиш. — И за это, и за все остальное. Сколько б ни было.

— Муж — щелкун, раззява и к тому же еле на ногах стоит, — раздумчиво, как бы делясь своими мыслями, проговорил компадрон. — Видал, какие на нем ботиночки? Пусть знает: здесь ему не Париж.

— В отель вернется пустым. Слово даю.

Последняя фраза понравилась Ребенке, и он внимательно, будто открывая для себя нечто новое, оглядел Макса. В Барракас и Ла-Боке слово стоило дорого и на ветер его не бросали. Здесь к сказанному относились посерьезнее, чем в Палермо или в Бельграно.

— А что насчет колье этой дамочки? — Компадрон для наглядности потыкал себя в белый платок, завязанный на шее вместо галстука. — Делось куда-то. А ведь было.

— Было и есть — не про твою честь. Это другая лига.

Ребенке продолжал смотреть ему прямо в глаза, все так же не сгоняя с лица ледяной усмешки.

— Мелина — девочка не из дешевых. Приносит по тридцаточке за ночь, — он растягивал и проволакивал слова, как шаги в танго, и блатной выговор слышался отчетливей. — Не девочка, а конфетка.

— Ну, разумеется... Да ты не беспокойся, не обидим. Все будет возмещено.

Ребенке немного сдвинул на затылок шляпу и достал из-за уха недокуренную сигару. Он по-прежнему смотрел на Макса с сомнением.

— Слово даю, — повторил тот.

Ребенке молча наклонился и чиркнул спичкой о подошву. Потом выпустил первое облачко дыма, продолжая рассматривать собеседника. Макс опустил руку в карман, чуть оттянутый «браунингом».

— Посиди там, внизу, — предложил он, — послушай музыку хорошую, покури хорошую сигару. Тихо-спокойно... Потом увидимся.

Компадрон глядел на его руку в кармане. Или пытался определить калибр оружия.

— Я, знаешь ли, друг, на мели сейчас... Подкинь на бедность, сколько не жалко.

Макс неторопливо вытянул руку из кармана. Девяносто песо. Ровно столько оставалось у него, если не считать четырех купюр по пятьдесят песо, запрятанных за зеркалом в его номере. Компадрон взял деньги, не пересчитывая, и протянул шесть пакетиков кокаина. По три песо каждый, сказал он с безразличным видом, а гашиш — это вроде бонуса от заведения. Потом подобьем бабки. Подадим общий счет.

— Соды много? — спросил Макс, разглядывая пакетики.

— В самый раз. — Компадрон почесывал нос кончиком длинного ногтя. — Но торкнет как надо, не сомневайся. Пройдет как по маслу.

— Пусть она тебя поцелует, Макс.

Тот покачал головой. Застегнув пиджак и прислонясь к стене, он стоял между одним из диванов и окном, выходившим на улицу Гарибальди. От сладковатого дыма гашиша, спиралями расходившегося в воздухе, веки опухли. Он только что в очередной раз затянулся сигаретой, и теперь она тлела у него в пальцах.

— Пусть лучше твоего мужа поцелует. Ему это больше понравится.

— Не возражаю! — рассмеялся Армандо де Троэйе, поднося к губам бокал шампанского. — Пусть поцелует.

Композитор сидел на другом диване в одном жилете — пиджак был как попало брошен рядом, — завернув манжеты сорочки и ослабив узел галстука. В зеленоватой полутьме время от времени маслянисто отблескивала кожа обеих женщин. Меча устроилась рядом с мужем, томно откинувшись на подушки поддельного сафьяна и закинув ногу на ногу; руки ее были обнажены. Туфли она скинула; время от времени подносила ко рту сигарету с гашишем и делала затяжку.

— Ну же, поцелуй его. Поцелуй моего мужа.

Мелина стояла между диванами. Минуту назад под музыку, через закрытую дверь едва слышно доносившуюся снизу, она исполнила некую пародию на танец. Одурманенная гашишем, босая, в расстегнутой блузе, под которой покачивались тяжелые плотные груди. Чулки и прочее белье кучкой черного шелка валялись на ковре, а завершая свой сладострастный безмолвный танец, она обеими руками вздернула до середины бедер узкую юбку с разрезом.

— Поцелуй, поцелуй, — настойчиво повторила Меча. — В губы.

— Я так не целуюсь, — возразила Мелина.

— А его поцелуешь. Иначе выставлю вон сию же минуту.

Армандо де Троэйе засмеялся, когда танцовщица приблизилась к нему, села верхом, отвела от лица белокурые волосы и прильнула губами к его губам. Чтобы принять эту позу, ей пришлось еще выше поддернуть юбку, и маслянисто-зеленоватый свет керосиновых ламп заскользил вдоль оголенных ног.

— Ты был прав, Макс, — с ноткой цинизма сказал композитор. — Мне вправду это больше нравится.

Он запустил руки под блузу и поглаживал груди танцовщицы. На столе уже валялись два опустошенных пакетика — кокаин помогал де Троэйе справиться с немалой дозой спиртного. Макс, вглядываясь в композитора почти с профессиональным интересом, отметил: о количестве выпитого можно было судить лишь по некоторой замедленности движений да еще по тому, что порой он запинался и с видимым трудом подыскивал потерявшееся слово.

— Неужели так и не попробуешь? — обратился он к Максу.

Тот, сохраняя спокойствие и благоразумие, в ответ уклончиво улыбнулся:

— Не сейчас... Может быть, потом.

Меча дымила сигаретой, покачивала босой ногой, хранила молчание. Макс видел, что она смотрит на него, а не на мужа с Мелиной. Происходившее между ними она воспринимала с задумчивым равнодушием, словно ей это было совершенно безразлично или даже облегчало флирт с Максом. И давало исключительную возможность наблюдать за ним в этой ситуации.

— Почему потом, а не сейчас? — неожиданно сказала она.

И, не выпуская изо рта сигарету с гашишем, медленно поднялась с дивана, машинально оправила юбку и, взяв Мелину за плечи, оторвала ее от мужа, поставила на ноги, подтолкнула к Максу. Та повиновалась покорно, как животное, — влажная ткань расстегнутой блузы липла к покачивающимся обнаженным грудям.

— Хорошенькая и вульгарная, — сказала Меча, глядя Максу прямо в глаза.

— Да на...ать мне на это, — отвечал он почти ласково.

Он впервые позволил себе грубое словцо в присутствии супругов де Троэйе. Меча, не спускала с него глаз, по-прежнему держа Мелину за плечи, а потом мягко толкнула вперед, так что ее влажное горячее тело прильнуло к Максу.

— Будь с ним поласковей, — прошептала она ей на ухо. — Он славный парень, здешний, свой... И дивно танцует.

Мелина с тем же одурелым выражением лица неловко потянулась губами к губам Макса, но тот брезгливо отстранился. Выбросил сигарету в окно и поймал направленный в упор взгляд Мечи, расфокусированный зеленоватой полумглой. Ему почудилось, что взгляд этот профессионально холоден. И выражает крайнее любопытство — любопытство естествоиспытателя. Танцовщица между тем уже расстегнула пиджак и жилет и сейчас возилась с пуговицами, которыми помочи крепились к поясу брюк.

— Волнующе славный парень, — загадочно и настойчиво повторила Меча.

Нажимая ладонями на плечи, она заставила Мелину опуститься на колени и почти уткнуться лицом в пах Максу. В этот миг за спиной раздался голос композитора:

— Что ж вы бросили меня, чертовки?!

Максу редко доводилось видеть такое презрение, каким полыхнули глаза Мечи, прежде чем она обернулась к мужу и молча уставилась на него. Дай бог, мелькнуло в голове Макса, чтобы никогда женщина не смотрела на меня так. Армандо де Троэйе, пожав плечами в знак того, что готов довольствоваться ролью зрителя, налил себе еще бокал шампанского, залпом выпил и принялся разворачивать очередной пакетик с кокаином. Меча в это время уже снова повернулась к Максу и, покуда танцовщица на коленях послушно, с умеренным профессиональным усердием занималась своим делом (по крайней мере, бесстрастно оценил Макс, язык у нее влажный и теплый), бросила сигарету на ковер и придвинулась вплотную, так близко, что совсем рядом он увидел ее глаза, будто плавившиеся в зеленоватом свете керосиновых ламп, но так и не прикоснулась губами к его губам. Так, в упор она глядела на него довольно долго — шея и лицо выступали из полумрака, губы оказались не дальше полупяди от его губ, и он чувствовал нежное дыхание, близость гибкого статного тела, запах гашиша и духов, которые, смешиваясь с легким запахом пота, создавали новый аромат. Именно все это, а не слишком изощренные ласки Мелины пробудило в нем истинное желание, и когда наконец его плоть напряглась и отвердела, Меча, которая, казалось, подстерегала этот миг, резко отстранила танцовщицу и, жадно, яростно впившись ему в губы, подтащила к дивану. За спиной слышался довольный смешок Армандо де Троэйе.

— Нет, этот номер у вас не пройдет, — сказал Хуан Ребенке. — Номер не пройдет, а вы не выйдете.

Опасная улыбка веяла нечистым дыханием, витала между ними и дверью. Сунув руки в карманы, ниже надвинув на глаза шляпу, он картинно стоял в коридоре, загораживая дорогу. Время от времени взглядывал себе под ноги, словно желал убедиться, что башмаки сверкают сообразно обстоятельствам. Макс, предвидевший такой поворот, посмотрел на оттопыренный ножом левый борт его кургузого пиджачка. Потом повернулся к супругам де Троэйе и спросил вполголоса:

— Сколько у вас осталось?

Все последствия минувшей ночи читались на лице композитора — глаза покраснели, на подбородке пробилась щетина, галстук был завязан кое-как. Мелина отпустила его руку и прислонилась к стене со скучающим и безразличным видом: казалось, она думает только о том, как бы добраться до постели, рухнуть и проспать часов двенадцать подряд.

— Пятьсот песо, — растерянно шепнул де Троэйе.

— Давай их сюда.

— Все?

— Все.

Композитор был слишком утомлен, слишком одурманен алкоголем, чтобы возражать. Он повиновался, неловкими движениями достал из внутреннего кармана бумажник и покорно смотрел, как Макс хладнокровно потрошит его. А Макс чувствовал на себе неотступный взгляд Мечи — та стояла чуть поодаль, набросив на плечи шаль, и наблюдала за этой сценой, — но не взглянул в ответ. Надо было сосредоточиться на более насущном. И более опасном. Самое главное — с наименьшими трудностями добраться до автомобиля, где ждет Петросси.

— Держи, — сказал он компадрону.

Тот невозмутимо пересчитал бумажки. Сложил в стопочку и задумчиво похлопал ею по ладони. Потом спрятал в карман и широко улыбнулся.

— Маловато будет, — сказал он, растягивая гласные. Смотрел он при этом не на композитора, а на Макса. Так, словно это касалось только их двоих.

— С чего бы это? — спросил Макс.

— Да уж с того, друг, с того. Мелина — девочка загляденье... Опять же надо было организовать вощеные бумажки... и все прочее, — он быстро, нагло глянул на Мечу. — У вас троих выдался приятный вечер. А мы чем хуже?

— Ни гроша, ни бумаги, — сказал Макс.

От последнего слова, которым в здешних кварталах принято было обозначать деньги, компадрон заулыбался шире.

— А у дамочки?

— Она не носит с собой денег.

— У нее было колье, мне сдается.

— Было — и сплыло.

Ребенке вытащил руки из карманов и расстегнул пиджак. Из-за отворота выглянула перламутровая рукоять ножа.

— Тогда это так оставлять нельзя: надо же выяснить, куда оно девалось, — сказал Ребенке и взглянул на золотую цепочку, блестевшую на жилете де Троэйе. — И заодно узнать, сколько времени, а то у меня часы стоят.

Макс окинул пристальным взглядом манжеты его сорочки и карманы:

— Что-то не похоже, чтобы у тебя были часы.

— Так они бог знает когда остановились... Что ж мне носить неисправные?

Никакие часы не стоят того, подумал Макс, чтобы отдавать за них жизнь. Ни часы, ни жемчужное ожерелье. Однако в улыбке компадрона что-то раздражало его. Быть может, чрезмерное самомнение. Чрезмерная уверенность в том, что он один здесь у себя дома.

— Я, помнится, говорил тебе, что сам буду из Барракас, родился на улице Виэйес?

Улыбка потускнела, погасла, словно ее принакрыла тень густых усищ. «Ну и что с того? — словно говорила она. — Да еще в такой поздний час?»

— Не встревай, — сказал компадрон сухо.

Макс медленно оценивал ситуацию, мысленно взвешивал опасность, исходя из места действия, прикидывал путь отсюда через вестибюль на улицу и к машине. Совершенно не исключено, что поблизости околачивается кто-то из дружков Ребенке, готовых в случае чего прийти ему на помощь.

— Сколько мне помнится, у нас в районе жили по закону, — очень спокойно сказал Макс. — Кое-что знали твердо.

— Что, например?

— Что если нужны часы — пойди да купи.

Улыбка и вовсе исчезла с лица компадрона. Превратилась в угрожающий волчий оскал. Большой палец заскреб лацкан пиджака, будто подбираясь к рукояти ножа. Макс взглядом измерил расстояние. Три шага отделяло его от клинка, который, впрочем, еще надо было выхватить. Он сделал еле заметное движение, разворачиваясь к Ребенке левым боком, чтобы можно было закрыться рукой. Он выучился такого рода расчетам — такой безмолвной и весьма полезной хореографии — в африканских борделях, когда начинали мелькать ножи и разбитые бутылки. С волками, как известно, жить...

— Ох, да перестаньте вы, ради бога, задираться... Не валяйте дурака... — раздался у него за спиной голос Мечи. — Я так хочу спать... Отдайте ему часы, и пошли отсюда.

Макс знал, что никто тут не задирается, но вдаваться в объяснения было некогда. Компадрон не смог проглотить обиду, а обиделся он, скорей всего, из-за самой Мечи. И с той минуты, как впервые ее увидел. С первого танго. И не простил, что сегодня его не допустили в общество, а спиртное, которым он, без сомнения, скрашивал себе ожидание, мало способствовало умиротворению. Часы, ожерелье (благоразумно отданное Петросси), девяносто песо Макса и пятьсот композиторских — все это всего лишь предлог пустить в дело нож, от которого у него зудело под мышкой. Он искал случай показать свою крутизну, сделав Мечу свидетельницей.

— Выходите, — приказал он супругам, не оборачиваясь. — И прямо к машине.

Может быть, от его тона, а может быть, от того, что наткнулась на оценивающий взгляд компадрона, Меча не произнесла больше ни слова. Спустя несколько секунд Макс убедился, что чета де Троэйе находится рядом и по стеночке уже добралась почти до самой двери.

— Э-э, куда так спешить? — сказал Ребенке. — Время наше немереное.

Я презираю его, потому что знаю как облупленного, подумал Макс. Он — это я сам. При другом раскладе я стал бы точно таким же. Глупо думать, что хорошо скроенный костюм делает человека другим. И уничтожает память.

— Выходите на улицу, — повторил он.

Палец Ребенке переместился еще ближе к ножу. Он был уже в сантиметре от перламутровой рукояти, когда Макс сунул руку в карман, ощутив угревшийся там металл «браунинга». Еще прежде, чем спуститься в вестибюль, он незаметно загнал патрон в патронник, а сейчас сдвинул предохранитель. Из-под низко надвинутой шляпы с живым интересом следили за каждым его движением темные, задумчивые глаза компадрона. В дымной глубине салона граммофон заиграл «Рука в руке».

— Никто никуда не выйдет, — заносчиво сказал Ребенке.

И сделанный им шаг вперед возвещал, что сталь скоро начнет чертить вензеля в воздухе. Он уже запустил правую руку за пазуху, но в этот миг Макс поднял «браунинг» на уровень его лица и направил дуло между глаз.

— С тех пор, как изобрели эту штуку, — сказал он спокойно, — храбрецы больше не требуются.

Он произнес эти слова без высокомерия или бравады — сдержанно и негромко, с доверительными интонациями, как говорят со своими. С теми, к кому обращаются на «ты». И одновременно доказывал, что рука у него не дрожит. Ребенке смотрел в черную дырку дула серьезно. Почти задумчиво. Макс подумал, что он держится как профессиональный игрок, прикидывающий, сколько тузов осталось в колоде на столе. И, вероятно, решив, что осталось их мало, в следующее мгновение отвел руку, так и не запустив ее за пазуху.

— А будь мы на равных, не был бы ты таким смелым, — заметил он холодно.

— Да уж, конечно, — согласился Макс.

Компадрон еще минуту не спускал с него глаз. Потом, дернув головой, подбородком показал в сторону двери:

— Вали.

На лице у него вновь заиграла улыбка. Угрозы в ней было столько же, сколько покорного сожаления.

— Садитесь в машину, — приказал Макс супругам, по-прежнему глядя только на Ребенке.

Простучали по деревянному полу высокие каблуки: Армандо и Меча вышли, а компадрон и не взглянул на них. Глаза его, суля нечто зловещее, но несбыточное, все еще были прикованы к Максу.

— А не хочешь все же попробовать на равных, друг? Нож тебе спроворим. Их в квартале предостаточно... Нож — то, что по руке мужчине.

Макс улыбнулся уклончиво. Почти сочувственно.

— Как-нибудь в другой раз. Сегодня я тороплюсь.

— Жаль.

— Жаль.

Не ускоряя шага, пряча пистолет в карман, он вышел на улицу, с облегчением, с удовольствием вдыхая влажную рассветную свежесть. У входа стоял «Пирс-Эрроу»: горели фары, рокотал мотор, и, как только Макс нырнул внутрь и хлопнул дверцей, Петросси отпустил тормоз, дал газу и с пронзительным взвизгом шин рванул с места. От резкого толчка Макса бросило на заднее сиденье между супругами де Троэйе.

— Матерь божья, — пробормотал еще не пришедший в себя композитор. — Скоротали ночку, нечего сказать...

— Заказывали, помнится, старую гвардию?

Меча, откинувшись на кожаные подушки, расхохоталась:

— Кажется, я в тебя влюбилась, Макс. Ничего, Армандо? Ты не против?

— Да ну что ты. Я сам его люблю.

Прекрасное. Великолепное. Вероятно, именно такими словами следовало определить тело замершей во сне женщины, на которую в полумраке спальни смотрел сейчас Макс. Никакому художнику или фотографу не под силу было бы запечатлеть и верно передать, с каким пленительным совершенством природа вычертила удлиненные линии спины, рук, под точным углом обхвативших подушку, как плавно выточила изгиб слегка разведенных бедер, приоткрывавших тайну естества и продолженных бесконечными стройными ногами. И — как идеальный центр, где соединялись продолговатые линии и округлые контуры, — создала этот затылок, беззащитно открытый высоко подрубленными над ним волосами: прежде чем встать с кровати, Макс прикоснулся к нему губами, чтобы удостовериться, что Меча спит.

Одевшись, он потушил сигарету, прошел в ванную, отделанную мрамором и белой португальской плиткой, и завязал галстук перед большим зеркалом над раковиной умывальника. Застегивая жилет, заглянул в комнату, примыкающую к спальне, в поисках пиджака и шляпы, которые накануне оставил в английской гостиной апартаментов в отеле «Палас», где сейчас под непогашенной лампой, скорчившись на диване красного дерева, как бездомный забулдыга — на уличной скамейке, спал Армандо де Троэйе: спал не раздеваясь, сняв только брюки и крахмальный воротничок, и прочая одежда его была в беспорядке. При звуке шагов он открыл глаза, одурело завозил головой по красному бархату обивки.

— Ты, Макс?.. Что случилось? — еле ворочая непослушным языком, спросил он.

— Ничего не случилось. Хочу забрать колье — оно осталось у водителя.

— Вот правильно. Молодец.

Композитор закрыл глаза и перевернулся на другой бок. Макс постоял еще немного, разглядывая его. Сила его презрения к этому человеку могла сравниться лишь с тем, как глубоко был он изумлен всем, что произошло здесь несколько часов назад. На мгновение ему захотелось избить Армандо — избить без пощады и последующих сожалений, но это, хладнокровно заключил он, не даст никаких практических результатов. Иное занимало и подзуживало его. Совсем недавно, неподвижно сидя над спящей в изнеможении женщиной, он размышлял об этом ином, и воспоминания крутились в голове, как водоворот: поддерживая Армандо, они пересекли холл, и ночной портье вручил им ключ, потом сели в лифт, потом, давясь от смеха и что-то пьяно бормоча, вошли в номер. Потом де Троэйе мутно-водянистыми глазами оглушенного быка смотрел, как Макс и Меча, торопливо и совершенно бесстыдно сбросив с себя одежду, присасываясь друг к другу губами и сплетаясь в объятии, добрались до спальни, а там, не закрывая дверь, сорвали покрывало с кровати, и он овладел женщиной с такой неистовой яростью, что это было больше похоже на сведение давних счетов, нежели на любовную страсть.

Он очень аккуратно, стараясь не шуметь, закрыл за собой дверь и вышел в коридор. Мягко ступая по ковру, глушившему звук шагов, покинул апартаменты де Троэйе, стал спускаться по широкой мраморной лестнице и на ходу обдумывать свои дальнейшие действия. Он соврал композитору: ожерелье Мечи вовсе не осталось в «Пирс-Эрроу». Выйдя из машины перед отелем, он попросил Петросси подождать его здесь и потом отвезти в пансион Кабото, вернул ему пистолет и забрал колье, причем ни Меча, ни ее муж ничего не заметили. У Макса оно и оставалось все это время, и сейчас, ощупывая свой левый карман, он чувствовал под пальцами выпуклость. Он пересек колоннаду холла, легким движением бровей приветствовал ночного портье и вышел наружу, где под фонарем, положив фуражку на соседнее сиденье и откинув голову на кожаную спинку, дремал Петросси — он встрепенулся, когда Макс постучал в стекло.

— Отвезите меня, пожалуйста, на Адмирала Брауна... Нет-нет, не надо, не надевайте фуражку. Потом поедете домой.

По дороге не обменялись больше ни единым словом. Время от времени, когда свет фар отражался от фасада или стены, смешиваясь с сероватыми рассветными сумерками, Макс ловил в зеркале взгляд безмолвного водителя. Когда автомобиль затормозил у дверей в пансион, Петросси вышел и открыл перед Максом дверцу. Тот вылез, держа шляпу в руке.

— Спасибо, Петросси.

Шофер смотрел на него невозмутимо.

— Не за что, сеньор.

Макс шагнул было к подъезду, но вдруг остановился и обернулся:

— Рад, что имел удовольствие с вами познакомиться, — сказал он.

В неверном зыбком свете трудно было судить наверняка, но ему показалось, будто шофер улыбается.

— Напротив, сеньор. Почти все удовольствие досталось мне.

Теперь уже Максу пришел черед улыбнуться.

— И «браунинг» ваш оказался как нельзя более к месту. Берегите его.

— Рад, что он вам пригодился.

В глазах водителя мелькнула легкая растерянность, когда Макс внезапно отстегнул с запястья свой «Лонжин» и протянул часы Петросси.

— Это не бог весть что. Но больше у меня ничего нет.

Петросси вертел часы в руках:

— Ну, что вы, сеньор... Зачем? Это необязательно...

— Знаю, что необязательно. Но я вам обязан.

Два часа спустя, собрав багаж и на такси добравшись до внутренней гавани, Макс Коста сел на колесный пароходик, ходивший с одного берега Рио-де-ла-Платы на другой, а спустя еще немного времени, пройдя таможню и иммиграционный контроль, сошел на уругвайский берег. Начатое через несколько дней полицейское расследование, призванное установить, чем занимался жиголо за время своего краткого пребывания в столице Уругвая, выяснило, что по пути из Буэнос-Айреса в Монтевидео Макс Коста познакомился с некоей дамой, гражданкой Мексики, профессиональной певицей, гастролирующей в театре «Пигаль». Вместе с ней Макс поселился в фешенебельном номере отеля «Плаза Виктория», откуда наутро исчез, оставив свои вещи и предоставив платить по счету — за проживание, различные услуги и ужин с шампанским и икрой — взбешенной мексиканке, которую утром разбудил посыльный с горностаевым манто: накануне Макс купил его в лучшем меховом магазине города и велел доставить в отель, поскольку у него с собой якобы недостаточно денег, а банки уже закрыты.

Но к тому времени он уже взял билет на пароход «Конто Верде», ходивший под итальянским флагом и отправлявшийся в Европу с заходом в Рио-де-Жанейро, а трое суток спустя объявился в Бразилии, после чего след его затерялся. Удалось только выяснить, что перед тем, как покинуть Монтевидео, он продал жемчужное колье Мечи Инсунсы румынскому ювелиру, который держал антикварную лавку на улице Андес и давно подозревался в скупке краденого. Ювелир по фамилии Троянеску на допросе в полиции показал, что уплатил за ожерелье из двухсот первоклассных жемчужин три тысячи фунтов стерлингов, то есть чуть более половины его истинной стоимости. Однако молодой человек, рекомендованный ювелиру друзьями друзей и продавший ему колье в кафе «Ваккаро», по всей видимости, стремился совершить сделку как можно скорее. Очень милый юноша. Воспитанный и хорошо одетый. С располагающей улыбкой. Если бы так не торопился и не отдал бы товар за полцены, сошел бы за настоящего джентльмена.

## 6. Проспект Англичан

После ужина в «Виттории» они выходят погулять, наслаждаясь хорошей погодой. Меча Инсунса представила Макса остальным («Мой добрый старый друг — с незапамятных времен»), и он без труда освоился среди них с обычной уверенностью, которая всегда у него наготове для любых ситуаций: в ту пору, когда каждый день был вызовом и схваткой за выживание, сочетание располагающей естественности, хороших манер и осторожной изворотливости открывало ему многие двери.

— Так вы живете в Амальфи? — спрашивает Хорхе Келлер.

Спокойствие Макса неколебимо:

— Да. Наездами.

— Красивейшие места. Завидую вам.

Очень приятный паренек, заключает Макс. И держит себя в струне, что называется: спортивного типа, похож на американских студентов, добывающих кубки и медали для своих колледжей, но при этом в нем чувствуется европейский лоск. Галстук он развязал, рукава сорочки закатал до локтя, пиджак перекинул через плечо — и, глядя на него, не поверишь и не подумаешь, что он претендует на мировую шахматную корону. И отложенная партия его, похоже, не волнует. За ужином был весел и оживлен, перебрасывался шуточками со своим тренером и секундантом Карапетяном. Перед тем как уйти, чтобы проанализировать варианты записанного хода сейчас, а не утром, после завтрака, тот предложил своему подопечному прогуляться. Тебе это будет полезно, сказал он Хорхе, проветришь голову. Развлекись, а Ирина составит тебе компанию.

— Вы давно вместе? — спрашивает Макс, когда Карапетян распрощался.

— Целую вечность, — отвечает Келлер проказливо, как говорит школьник об учителе, едва тот повернется спиной. — Ну, то есть больше половины моей жизни.

— Он меня так не слушается, как его, — замечает Меча.

Юноша смеется:

— Ты ведь только мама... А Эмиль — мой тюремщик и надзиратель.

Макс взглянул на Ирину Ясенович, гадая, есть ли у нее ключи от темницы, на которую намекал Келлер. Она не особенно красива. Но привлекательна, спору нет, в расцвете юности, в мини-юбочке, типичное порождение swinging London...[[35]](#footnote-35) Большие черные миндалевидные глаза. Молчаливая и на первый взгляд нежная. Славная девочка. Они с Келлером казались не столько влюбленными, сколько друзьями, и когда украдкой, как сообщники, переглядывались за спиной у взрослых, возникало впечатление, что объединяющие их шахматы были для обоих сложным, умственным, но необыкновенно увлекательным приключением.

— Давайте чего-нибудь выпьем, — предлагает Меча. — Вон там.

Разговаривая, они спускаются по Сан-Антонино и по Сан-Франческо к парку, окружающему отель «Империаль Трамонтано», где среди пальм, бугенвиллей и магнолий играет оркестр, а человек тридцать — в рубашках поло, в наброшенных на плечи джемперах, в джинсах — занимают столики вокруг эстрады, расположенной невдалеке от крутого откоса на фоне черной воды залива и далеких огней Неаполя.

— Мама никогда о вас раньше не рассказывала. Где вы познакомились?

— На пароходе, в конце двадцатых. На пути в Буэнос-Айрес.

— Макс был платным танцором, — добавляет Меча.

— Платным?

— Профессиональным увеселителем. Танцевал с одинокими дамами и с девочками, и это очень недурно у него получалось. Знаменитое танго моего первого мужа имеет к нему самое прямое отношение.

Юный Келлер не выказывает интереса. То ли до танго ему нет дела, соображает Макс, то ли ему не нравятся упоминания о том, как жила его мать, пока он не появился на свет.

— А-а, ну да, — холодно замечает он. — Танго.

— А в какой области подвизаетесь ныне? — интересуется Ирина.

Шофер доктора Хугентоблера умудряется ответить и убедительно, и общо:

— Бизнес. На севере у меня клиника.

— Неплохо, — замечает Келлер. — От наемного танцора — до владельца клиники и виллы в Амальфи.

— В промежутках бывало всякое, — отвечает Макс. — За сорок-то лет...

— Вы знавали моего отца? Эрнесто Келлера?

Макс старается припомнить:

— Возможно... Но не уверен...

И встречается глазами с Мечей.

— Вы познакомились на Ривьере, в доме Сюзи Ферриоль, — невозмутимо говорит она. — Во время гражданской войны в Испании.

— Ах, ну да, конечно!.. В самом деле...

Они заказывают прохладительные напитки, минеральную воду и негрони для Макса. Когда официант возвращается с подносом, начинают греметь электрогитары и ударные, а певец — немолодой красавец в накладке и в пиджаке-фантази — заводит что-то из репертуара Джанни Моранди.[[36]](#footnote-36) Хорхе Келлер и Ирина, наскоро расцеловавшись, идут танцевать, вместе с другими проворно и легко движутся в живом ритме твиста.

— Невероятно, — говорит Макс.

— Что именно?

— Твой сын. То, каков он оказался. И как ведет себя.

— Ты имеешь в виду, что трудно поверить, будто он оспаривает титул чемпиона мира?

— Именно это.

— Понимаю... Ты думал увидеть бледненького хлипкого заморыша, ничего не видящего, кроме шахматных клеток.

— Ну да, что-то в этом роде.

Меча Инсунса качает головой. Не надо обманываться, предупреждает она. Клетки присутствуют здесь неотступно. В это трудно поверить, но Хорхе продолжает разыгрывать отложенную партию. Но, конечно, главное его отличие от остальных — то, как он это делает. Иные гроссмейстеры удаляются от мира и от жизни, живут, как отшельники, как затворники в скитах. Но Хорхе Келлер не таков. Он поступает как раз наоборот — проецирует шахматы на мир и на жизнь.

— Но внешность обманчива, — заключает она. — Обманчива вдвойне. Он только кажется нормальным обычным молодым человеком. На самом деле он видит мир и все в нем не так, как ты или я.

Макс кивает в сторону Ирины Ясенович:

— А она?

— Странная девочка. Я сама не могу постичь, что там у нее в этой головке... Она, без сомнения, выдающаяся шахматистка. Светлый ум, мертвая хватка. Но вот я, например, не знаю, насколько ее манера вести себя присуща ей самой или же определяется ее отношениями с Хорхе. А как было раньше, до того, как они познакомились, мне неизвестно.

— Не знал, что женщины хорошо играют в шахматы. Всегда считал это чисто мужской игрой.

— А вот и нет... Многие женщины, и прежде всего в Советском Союзе, добились гроссмейстерского звания. Но беда в том, что немногие могут выйти на мировой уровень.

— Почему?

Меча отпивает глоток воды и на мгновение задумывается. У Эмиля Карапетяна, говорит она наконец, есть теория на этот счет. Отыграть несколько партий в турнире — совсем не то же самое, что участвовать в чемпионате мира. Такой марафон требует длительных непрерывных усилий, предельной концентрации сил — причем в течение довольно долгого времени — и эмоциональной стабильности. А женщинам, подверженным колебаниям биоритмов, трудно поддерживать это ровное, однородное состояние неделями или даже месяцами, пока длится матч. И такие факторы, как беременность или материнство, способны нарушить равновесие, жизненно необходимое в подобного рода испытаниях. И потому очень немногие женщины выходят на высший уровень.

— И ты с этим согласна?

— В какой-то степени.

— А Ирина тоже так считает?

— Нет. Категорически возражает. Утверждает, что никакой разницы нет.

— А Хорхе какого мнения?

— Согласен с Ириной. Говорит, что это прежде всего вопрос стереотипов и укоренившихся обычаев. И что в ближайшие несколько лет все изменится неузнаваемо — и в шахматах, и вообще везде. И уже меняется...

— Думается, он прав, — замечает Макс.

— Ты говоришь так, словно не жалеешь об этом.

Меча наблюдает за ним с интересом. Его слова больше похожи на провокацию, чем на учтивую реплику в разговоре. Макс отвечает, придав лицу просветленно-меланхолическое выражение:

— У каждой эпохи есть своя высшая точка. И люди, наиболее полно выражающие ее. Мое время кончилось довольно давно, а затянутые финалы я не люблю.

И отмечает про себя, что от улыбки лицо Мечи молодеет, словно кожа на нем разглаживается. Или, может быть, это от того, что теперь глаза ее, где вспыхивают искры сообщничества, становятся такими, какими он помнит.

— Ты все так же любишь звонкие фразы, друг мой. Было время — я все спрашивала себя: откуда он их берет?

Бывший жиголо говорит так, словно ответ совершенно очевиден:

— Там и тут, где попало... Тут ведь главное — вовремя и уместно ввернуть.

— Вижу, твои манеры остались прежними. Ты все тот же charmeur,[[37]](#footnote-37) с которым я познакомилась сорок лет назад на пароходе — таком белом и чистом, будто его только что сварили всмятку... Но раньше, когда ты говорил о своей эпохе, то меня к ней не причислял...

— Ты — жива. Достаточно посмотреть на тебя с твоим сыном и всеми прочими.

В первой фразе звучит жалобная нотка, и Меча задумчиво разглядывает Макса. Не без внезапной настороженности. Макс чувствует, что в его непроницаемом панцире появилась щель, и, выигрывая время, перегибается через стол, чтобы налить Мече воды в стакан. А когда вновь откидывается на спинку стула, то уже полностью владеет собой. Но женщина смотрит все так же пытливо и пронизывающе.

— Не понимаю, почему ты говоришь так... И откуда эта горечь...

Макс неопределенно кивает. Это ведь тоже, думает он, своего рода шахматы. Может быть, ничем другим я в жизни и не занимался.

— Устал, может быть, — осторожно произносит он вслух. — Человек должен четко сознавать, когда настает момент бросить пить... курить... или жить.

— И это хорошо сказано. Чьи это слова?

— Не помню, — он улыбается, вновь обретя почву под ногами. — Может быть, и мои. Да вот, представь себе. Старый стал, все забываю.

— И когда бросить женщину — тоже? В былые времена ты прекрасно разбирался в этом.

Во взгляде, обращенном на нее, в правильных дозах перемешаны ласка и укоризна, но Меча не принимает игру, отказывается от роли сообщницы.

— И все же я не понимаю, на что ты жалуешься. Или делаешь вид, — повторяет она настойчиво. — Ты вел такую опасную жизнь. И кончиться все могло совсем иначе.

— В нищете, ты хочешь сказать?

— Или в каталажке.

— Бывал я и там, и там. Изредка и недолго, но бывал.

— Удивительно, что ты сумел изменить свою жизнь. Как тебе это удалось?

Макс снова неопределенно разводит руками, как бы вкладывая в это движение все и всякие умопостигаемые возможности. Нередко бывает так, что неточная деталь способна разрушить любовно выстроенную легенду.

— После войны испытал раза два то, что называется «милости судьбы». Повезло с друзьями, повезло с делами.

— И, наверно, подвернулась какая-нибудь женщина при деньгах?

— Да вроде бы нет... Не припомню.

В этом месте человек, которым Макс был когда-то, с невозмутимой элегантностью закурил бы и тем самым сделал бы подходящую паузу. Но он давно не курит, так что приходится изобразить бесстрастие. Меж тем как в голове вертится только одно: где бы раздобыть стакан теплой воды с разболтанной в ней ложкой соды — дает себя знать джин с негрони.

— Ты не тоскуешь по тем временам, Макс?

Меча Инсунса продолжает следить взглядом, как под парковыми фонарями танцуют на площадке Хорхе и Ирина. Теперь это рок-н-ролл. Макс тоже смотрит на них, а потом — на листья, желтеющие в полумраке, и на те, которые, уже облетев, устилают землю меж столиками.

— По юности своей тоскую, — отвечает он наконец. — Вернее, по всему тому, что было возможно благодаря ей... Но с другой стороны, я обнаружил, что осень умиротворяет. В мои годы она заставляет чувствовать себя в безопасности, вдали от всех метаний и треволнений, которые приносит с собой весна.

— Можешь не лезть вон из кожи, стараясь соблюсти учтивость. Говори уж сразу «в наши годы».

— Не скажу никогда.

— Дурачок.

Снова наступает блаженное молчание сообщников. Меча достает из кармана пачку сигарет и кладет ее на стол, но не закуривает.

— Я знаю, о чем ты. Со мной происходит нечто подобное. В один прекрасный день я вдруг с изумлением поняла, что на улицах стало больше неприятных людей, что отели не так уютны, как прежде, а путешествия — не так увлекательны. Что города теперь безобразны, а мужчины огрубели и лишились былой привлекательности. И что война в Европе вымела все, что еще оставалось.

Она замолкает на мгновение и потом добавляет:

— По счастью, у меня есть Хорхе.

Макс рассеянно кивает, размышляя над тем, что сейчас услышал. Она ошибается, думает он, но вслух это не произносит. По крайней мере, на его счет. Он тоскует не по исчезнувшему миру, а по вещам много более прозаическим. Едва ли не всю жизнь он пытался выживать в этом мире, устоять на ногах, зная, что если упадешь — затопчут. Когда же это все-таки произошло, было уже слишком поздно начинать сначала: жизнь перестала быть бескрайним охотничьим заповедником, полным казино, дорогих отелей, кают первого класса в трансатлантических лайнерах и спальных вагонов в курьерских поездах, и элегантная манера закуривать или безупречно ровный пробор уже не могли принести удачу человеку молодому и отважному. Отели, поездки, города, люди — все, как с исключительной точностью сказала только что Меча, лишилось былой привлекательности. И ту старую Европу, которая танцевала когда-то в дансингах и на балах «Болеро» Равеля и танго «Старая гвардия», уже не разглядеть через посверкивающее в бокале шампанское.

— Боже мой, Макс... Ты был обворожителен... Этот твой элегантный и одновременно порочный апломб действовал безотказно.

Она пытливо вглядывается в него, словно отыскивая на постаревшем лице черты юного красавчика, которого знала когда-то. А Макс послушно, несколько бравируя своим особенным стоицизмом — на губах играет мягкая улыбка человека, смирившегося с неизбежным, — позволяет себя изучать.

— Красивая была история, а? — с нежностью произносит наконец Меча. — Ты и я. «Кап Полоний», Буэнос-Айрес и Ницца.

С полнейшим хладнокровием Макс молча перегибается через стол и подносит к губам руку женщины.

— Ты не верь тому, что я сказала тебе в прошлый раз, — Меча благодарит за поцелуй просиявшими глазами. — Ты великолепно выглядишь для своего возраста.

Макс с приличествующей случаю скромностью пожимает плечами:

— Да нет... Я такой же старик, как всякий, кто знавал любовь и разочарование.

На ее звонкий смех оборачиваются из-за соседних столиков:

— Ах ты, отпетый пират! Верен себе!

— Чем это? — отвечает Макс не моргнув глазом.

— Ты помолодел на тридцать лет, когда произнес эти слова... И лицо сделал такое же непроницаемое, как тогда, на допросе в полиции...

— Какой еще полиции?

Теперь смеются оба. Бурно и искренне.

— А вот ты хороша, — говорит он потом. — Ты была... Я никогда не встречал женщины красивее тебя... Самое совершенное существо. Казалось, ты идешь по жизни с фонарем, освещающим каждый твой шаг. Как те киноактрисы, что вроде бы воплощают в жизнь мифы, которые сами же и творят.

Меча внезапно становится серьезна. И спустя минуту неохотно улыбается. Будто откуда-то издали.

— Фонарь давно погас.

— Неправда, — возражает ей Макс.

Меча снова смеется, но на этот раз иначе.

— Ну, довольно, довольно. Мы с тобой — два старых лицемера, лгущих друг другу, пока молодежь танцует.

— Ты тоже хочешь потанцевать?

— Не смеши меня. Старый глупый бесстыдник.

Музыка тем временем сменилась. Певец в накладке на темени и пиджаке без воротника устроил себе передышку; звучат такты инструментальной композиции «Crying in the Chapel»,[[38]](#footnote-38) и пары в обнимку топчутся на танцполе. Среди них и Хорхе Келлер с Ириной. Она склонила голову к нему на плечо, а пальцами обхватила его затылок.

— Настоящие влюбленные, — замечает Макс.

— Не уверена, что это подходящее слово. Тебе бы посмотреть, как они анализируют партию, сидя за доской... Она бывает неумолима, а Хорхе превращается в настоящего тигра. Рассудить их может один Эмиль Карапетян... Но подобное сочетание оказывается очень действенно.

Макс внимательно оглядывает ее:

— А ты?

— Ну-у... я ведь тебе уже сказала: я — мать. И, вот как сейчас, остаюсь в стороне. И со стороны наблюдаю. Всегда готова покрыть любые и всякие издержки... Я — обеспечиваю. И постоянно помню свое место.

— Ты могла бы жить своей жизнью.

— А кто тебе сказал, что эта жизнь не моя?

Она слегка постукивает ногтями по сигаретной пачке. Потом вытягивает одну, и Макс предупредительно дает ей прикурить.

— Хорхе очень похож на тебя.

Меча, выпустив дым, смотрит на Макса как-то опасливо:

— Да? Чем же?

— Ну, внешне, разумеется. Высокий, тонкий... И когда улыбается, в глазах появляется что-то такое, отчего они напоминает твои. Что собой представлял его отец-дипломат? Я плохо помню его. Приятный такой, изысканный господин, да? Мы ужинали в Ницце... И было, кажется, еще что-то.

Меча в сероватых спиралях дыма, тающего под легчайшим ветерком с моря, которое — совсем рядом, слушает с любопытством.

— Тебе не приходило в голову, что отцом Хорхе мог бы стать ты?

— Я умоляю тебя, не говори ерунды.

— Вовсе не ерунда. Задумайся на минутку. Сколько лет Хорхе? Двадцать восемь. Сопоставь.

Макс беспокойно ерзает на стуле.

— Ради бога... Это мог быть...

— «Кто угодно», ты хочешь сказать?!

Она, кажется, обижена и уязвлена. И, затуманившись, резко ввинчивает, давит сигарету, растирает ее в пепельнице.

— Можешь не тревожиться. Он не твой сын.

Макс тем не менее не может выбросить эту мысль из головы. Он продолжает угрюмо размышлять. Делать нелепые подсчеты.

— Но тогда, в последний раз, в Ницце...

— Ах, да перестань, прошу тебя!.. К черту тебя заодно с Ниццей.

Утро выдалось свежим и сияющим. Перед окном номера в «Отель де Пари» в Монте-Карло вздрагивали ветви деревьев, осыпались первые осенние листья — небо безоблачно, но уже двое суток задувал мистраль. Макс — волосы прилизаны фиксатуаром, лицо еще пахло массажным кремом — только что окончил свой вдумчивый и обстоятельный туалет: застегнул жилет и надел коричневый шевиотовый пиджак: этот костюм, сшитый на заказ в лондонском ателье «Андерсон & Шепард», обошелся ему полгода назад в семь гиней. Вставив белый платочек в нагрудный карман, в последний раз оправил галстук в красно-серую полоску, окинул взглядом глянцевый лоск коричневых башмаков и рассовал по карманам лежавшее на подзеркальнике — вечное перо «Паркер Дуофолд», черепаховый портсигар с двадцатью турецкими сигаретами, украшенный, не в пример прошлым годам, его собственной монограммой, кожаное портмоне с двумя тысячами франков, carte de saison[[39]](#footnote-39) в особую зону казино и членский билет «Спортинг-клуба». Оправленная в золото бензиновая зажигалка «Данхилл» лежала на столике перед окном на газете с последними новостями из Испании. «Войска генерала Франко предприняли попытку отбить Бельчисте» — гласил заголовок на первой полосе. Зажигалку он сунул в карман, газету швырнул в мусорную корзину, взял фетровую шляпу и камышовую трость и вышел из номера.

Уже на последних ступеньках великолепной лестницы он увидел под стеклянным куполом холла на диване — справа, неподалеку от входа в бар — двоих мужчин в шляпах и тотчас опознал их род занятий. В свои тридцать пять Макс, который уже семь лет как оставил ремесло наемного танцора, обладал обостренным нюхом на опасность. И даже мимолетного взгляда, брошенного на этих людей, хватило, чтобы убедиться — да, вот она, опасность: заметив его, они перекинулись несколькими словами, а потом уставились с явным интересом. Макс — очень непринужденно, чтобы избежать неуместной сцены — это ведь мог быть и арест, хотя в Монако за ним ничего предосудительного не числилось, — двинулся в их сторону, делая вид, что направляется в бар. Когда же поравнялся с ними, оба поднялись.

— Сеньор Коста?

— Да.

— Меня зовут Мауро Барбареско, а моего друга — Доменико Тиньянелло. Вы не могли бы уделить нам минутку?

Плечистый, горбоносый, с живыми глазами человек в тесноватом сером костюме с вытянутыми на коленях брючинами произнес это на хорошем испанском, хоть и с сильным итальянским акцентом. На его спутнике — он был пониже ростом, коренастый, с меланхолическим лицом южанина, с крупной серьгой в мочке левого уха — неладно сидела темная полосатая тройка, мятая и потертая. Макс отметил, что галстук чересчур широк, а башмаки нечищены. Обоим, судя по всему, было сильно за тридцать.

— У меня мало времени. Через полчаса назначена важная встреча.

— Этого вполне достаточно.

Чересчур дружелюбно сияла улыбка на лице горбоносого, чтобы действовать успокаивающе — Макс по собственному опыту знал, что улыбающийся полицейский опасней хмурого, — но, с другой стороны, если эти двое выступают на стороне закона и порядка, то улыбаться им особенно нечего. Впрочем, в том, что они знали, как его зовут, не было ничего особенного. В Монте-Карло он был зарегистрирован как подданный Венесуэлы Максимо Коста — паспорт был настоящий и в порядке. На текущем счету в банке «Барклай» у него лежало четыреста тридцать тысяч франков, а в сейфе отеля — еще пятьдесят тысяч, что характеризовало его как клиента уважаемого или, по крайней мере, платежеспособного. Тем не менее что-то настораживало. Навостренным чутьем он предощущал неприятности.

— Позволите угостить вас?

Макс заглянул внутрь: бармен Эмилио за стойкой тряс шейкером, несколько посетителей в кожаных креслах у стен, отделанных лакированными деревянными панелями и зеркалами, пили аперитивы. Совсем не то место, чтобы разговаривать с такими, как эти двое, и потому он показал на вертящиеся двери:

— Выйдем лучше на улицу. Посидим в «Кафе де Пари».

Они пересекли площадь, миновав казино, где Макса у входа приветствовал памятливый на чаевые швейцар. Северный ветер ерошил поверхность недальнего моря — вода сегодня была еще синей, чем обычно, а горы, серовато-охристыми кручами нарушавшие плавность береговой линии, казались ближе, виднелись отчетливей среди вилл, отелей и казино, которые и образовывали ландшафт Лазурного Берега — семидесятикилометрового бульвара, где невозмутимые официанты в терпеливом спокойствии поджидают клиентов, медлительные крупье — игроков, быстрые женщины — мужчин с деньгами, а оборотистые пройдохи, подобные самому Максу, — подходящий случай урвать свое.

— Погода меняется, — поглядев на небо, заметил тот, кто представился Барбареско.

По неведомой причине, в которой Макс не счел нужным разбираться, в этих невинных словах ему почудилась угроза или предостережение. Так или иначе, он не сомневался теперь, что неприятности неминуемы. Стараясь сохранять хладнокровие, выбрал столик под зонтиком в самой тихой части кафе. Слева высился монументальный фасад казино, а по другую сторону площади остались «Отель де Пари» и «Спортинг-клуб». Расселись, подозвали официанта и заказали: патриоты-итальянцы — чинзано, а Макс — коктейль «Ривьера».

— У нас к вам есть предложение.

— У кого «у нас»?

Барбареско снял шляпу, провел ладонью по лысому темени. Совершенно голый загорелый череп в сочетании с мощными плечами придавал ему вид атлета.

— Мы — посредники.

— Кого же вы представляете?

Усталая улыбка. Итальянец, не прикасаясь к бокалу, который поставил перед ним гарсон, смотрел на красноватую жидкость. Его меланхолический напарник поднес свою порцию ко рту и глотнул так осторожно, словно боялся ненароком проглотить плававший там ломтик лимона.

— Узнаете в свое время.

— Ладно, — сказал Макс, готовясь закурить. — Итак, в чем же заключается ваше предложение?

— Хотим предложить работу на юге Франции. На великолепных условиях.

Макс, так и не щелкнув зажигалкой, с полнейшим спокойствием поднялся из-за стола, подозвал гарсона и спросил счет. Слишком хорошо знал он ухватки провокаторов, стукачей и переодетых полицейских, чтобы продолжать.

— Рад был познакомиться, господа. Я ведь, кажется, сказал, что у меня мало времени. Хорошего вам дня.

Итальянцы остались сидеть и не изменились в лице. Барбареско достал из кармана удостоверение, раскрыл и показал его Максу.

— Это серьезное дело, сеньор Коста. Мы к вам вполне официально.

Макс взглянул в книжечку. На фоне итальянского герба были вытиснены буквы SIM[[40]](#footnote-40) и приклеена фотография владельца.

— У моего товарища имеется такая же. Верно я говорю, Доменико?

Тот кивнул так угрюмо, словно его спросили, не страдает ли он чахоткой. Потом тоже снял шляпу, обнажив голову, густо поросшую черно-курчавыми сальными волосами, отчего сделался еще больше похож на типичного южанина. Наверно, сицилиец или из Калабрии, подумал Макс. Только уроженцам тамошних мест присуща такая глубочайшая вековая меланхолия.

— Не фальшивые?

— Будьте покойны.

— Пусть так, но ваши полномочия прекращаются сразу же за Вентимильей.

— Считайте, что мы в командировке.

Макс снова опустился на стул. Как и всякий, кто читает газеты, он знал, что Италия, едва лишь Муссолини пришел к власти, стала предъявлять территориальные претензии соседям и требовать, чтобы граница с Францией, как и прежде, проходила по реке Вар. Знал он и то, что из-за гражданской войны в Испании и напряженной обстановки в Средиземноморье да и вообще в Европе вся береговая полоса, включая Монако и французское побережье до самого Марселя, кишмя кишела итальянскими и германскими агентами. Знал он, разумеется, и то, как расшифровывается SIM и что под этим названием действуют спецслужбы фашистского режима.

— Прежде чем перейти к сути дела, сеньор Коста, позвольте сообщить, что мы знаем о вас все.

— Так-таки и все?

— Сейчас убедитесь сами.

Завершив вступление, Барбареско в три больших, разделенных паузами глотка выпил вермут, после чего приблизительно за две минуты с замечательной толковостью изложил все, чем за последние годы занимался в Италии Макс. Среди прочего числилось за ним похищение драгоценностей у гражданки США Хоуэллс из ее квартиры на виа Бабуино в Риме, у бельгийской подданной из номера в «Гранд Отеле», взлом сейфа на вилле Больцано, принадлежащей маркизе Греко де Андреис, а также аналогичное преступление, совершенное в отношении бразильской певицы Флоринды Салгаду в ее апартаментах в венецианском отеле «Даниэли».

— И все это я? Да быть не может!

— Может, может. Уверяю вас.

— Странно, что меня до сих пор не арестовали. Столько доказанных эпизодов...

— О доказательствах у нас речи не было, сеньор Коста.

— А-а.

— На самом деле ни одно подозрение в отношении вас не получило официального подтверждения.

Макс закинул ногу на ногу и наконец закурил.

— Ну, слава богу. Гора с плеч... Теперь говорите, что вам от меня надо.

Барбареско вертел шляпу в руках. Как и у его напарника, пальцы были крепкие, с плоскими ногтями. Можно было не сомневаться, что в случае надобности добычу не выпустят.

— Есть одно дело... Есть проблема, которую нам надо решить.

— Здесь, в Монако?

— В Ницце.

— А почему я?

— Паспорт у вас венесуэльский, но сами вы испанец аргентинского происхождения. Водите обширные знакомства, вхожи в разные круги общества. Есть и еще одно достоинство: во Франции у вас никогда не было неприятностей с законом — не то что у нас. Все это — прекрасная крыша. Верно я говорю, Доменико?

Тот снова туповато кивнул. Похоже, он привык, что разговорную часть их работы берет на себя Барбареско.

— И что же я должен сделать?

— Применить свои дарования нам на пользу.

— Дарования мои весьма разнообразны.

— Ну, если говорить конкретно, — Барбареско снова поглядел на своего товарища, словно заручаясь его согласием, хотя тот не говорил ни слова и вообще сидел с каменным лицом, — нас интересует ваша способность внедряться в жизнь некоторых беспечных людей и особенно — обеспеченных женщин. Кроме того, вы не раз выказывали удивительную способность лазить по стенам, выдавливать оконные стекла и вскрывать несгораемые шкафы... Последнее повергло нас в неподдельное удивление, в коем мы пребывали до тех пор, пока один ваш давний знакомец Энрико Фоссатаро не разрешил наши сомнения.

Макс, оставаясь невозмутим, погасил докуренную сигарету.

— Впервые слышу это имя.

— Как странно... Он-то как раз очень высоко вас ценит... Не так ли, Доменико? Отзывается о вас как о славном малом и настоящем джентльмене. Это его слова.

Внешне Макс был по-прежнему непроницаем, но в душе не мог не улыбнуться при упоминании этого имени — долговязый худосочный чопорный Фоссатаро сначала держал в Конфорти фабрику по изготовлению сейфов, а потом применил свои технические умения по части их взламывания. С Максом они познакомились в кафе бухарестского отеля «Капса» в тридцать первом году и несколько раз объединяли свои таланты и навыки в небезвыгодных начинаниях. Это он научил Макса вырезать алмазом оконные стекла и витрины, а также азам слесарного дела, нужного, чтобы потрошить сейфы и несгораемые шкафы. Энрико Фоссатаро обладал редким даром действовать чрезвычайно аккуратно и чисто, причиняя жертвам своим минимальный ущерб. «Богатых людей надо грабить, — любил повторять он, — а не обижать. Обычно от взлома они худо-бедно защищены, а от неуважительного отношения страдают». До той поры, пока Энрико не сделался полезным членом общества, вступив, как и многие другие, в фашистскую партию, в уголовной Европе он был фигурой легендарной. Страстный книгочей, он однажды забрался в некий дом в Вероне, но, когда узнал, что дом принадлежит писателю Габриэле Д’Аннунцио, отменил дело и ушел. Прославил его и другой эпизод: проникнув в квартиру и усыпив няньку эфиром, Фоссатаро дал соску проснувшемуся и заплакавшему младенцу, меж тем как подручные продолжали грабить.

— И вы, помимо того, что человек обходительный, с прекрасными манерами истинного жиголо, еще и настоящий громила. Cambrioleur,[[41]](#footnote-41) как сказали бы изысканные французы. Хоть и в белых перчатках.

— Вероятно, я должен изобразить недоумение?

— Не стоит. В данном случае знать о вас все — невелика заслуга. Мы с Доменико имеем в своем распоряжении ресурсы всего государства. Вам известно, наверное, что итальянская полиция — лучшая в Европе. Самая эффективная.

— Заткнете за пояс и гестапо, и НКВД?

Барбареско слегка принахмурился.

— Вы, вероятно, имеете в виду людей из OVRA, политической фашистской полиции. А мы — карабинеры. Улавливаете разницу? Военная спецслужба.

— Это утешает.

На несколько секунд повисла тишина. Барбареско с видимым неудовольствием осмыслял иронию, скрытую в словах Макса. Потом решил оставить это на потом.

— Имеются некие документы, представляющие для нас значительный интерес. Они принадлежат человеку, который очень хорошо известен в международном финансовом сообществе. В силу сложных причин, связанных с положением в Испании, находятся они сейчас в Ницце.

— И вы хотите, чтобы я вам их достал?

— Совершенно верно.

— То есть украл?

— Кража — это присвоение чужой собственности, а тут речь идет о возвращении их законному владельцу.

Макс был очень заинтересован, хоть и постарался ничем не проявлять этого. Да и невозможно было не полюбопытствовать.

— И что же это за документы?

— В свое время узнаете.

— А почему именно я?

— Как я уже сказал, вы в такой среде — как рыба в воде.

— Кажется, вы принимаете меня за Рокамболя?

Неизвестно почему, при упоминании этого имени на лице агента по фамилии Тиньянелло заиграла, на мгновение рассеяв хмурость, легкая улыбка. Но сразу вслед за тем он устремил на Макса взгляд человека, ожидающего исключительно дурных вестей.

— Да это ведь шпионаж... А вы — шпионы.

— Как мелодраматично, — Барбареско двумя пальцами попытался восстановить стрелку на своих мятых брюках, в чем нимало не преуспел. — На самом деле мы — обычные государственные служащие. Записываем расходы, соблюдаем диету и тому подобное... — Он обернулся к напарнику: — Верно ведь, Доменико?

Но Макс не дал провести себя.

— А за шпионаж в военное время, — продолжал он, будто не слыша, — полагается смертная казнь.

— Франция ни с кем не воюет.

— Это пока. Времена наступают тяжелые.

— Документы, которые надо заполучить, имеют отношение к Испании... Самое большее, что вам может грозить, — это депортация.

— Но я вовсе не желаю, чтобы меня депортировали. Мне нравится во Франции.

— Я вас уверяю: риск ничтожен.

Макс оглядел обоих своих собеседников с неподдельным удивлением:

— Всегда думал, что спецслужбы располагают для таких случаев собственными кадрами.

— Вот мы с товарищем как раз этим и занимаемся, — Барбареско терпеливо улыбнулся. — Пытаемся сделать вас нашим кадром. А как, по-вашему, это делается? К нам же не приходят претенденты с заявлением: «Желаю быть шпионом». Приходится искать самим. У одних затронешь патриотические струны, других прельстишь деньгами... Вы, сдается мне, не испытываете симпатии ни к одной из сторон, противоборствующих сейчас в Европе. Вам, кажется, это вполне безразлично.

— На самом деле я в гораздо большей степени аргентинец, нежели испанец.

— Может быть, и поэтому. Так или иначе, если патриотические мотивы не действуют, остаются экономические. А в этой сфере ваши убеждения неколебимы. И мы уполномочены предложить вам довольно солидную сумму.

Макс закинул ногу на ногу и обхватил переплетенными пальцами колено.

— Насколько солидную?

Барбареско слегка наклонил голову и понизил голос:

— Двести тысяч франков в той валюте, какую предпочтете, а в виде задатка и на расходы получите чек «Лионского кредита» в Монте-Карло еще на десять тысяч. Чек может быть выдан вам прямо сейчас.

Макс с рассеянным видом смотрел на вывеску ювелирного магазина напротив кафе. Время от времени у него были дела с владельцем, евреем по имени Гомперс, который едва ли не каждый вечер покупал у посетителей казино драгоценности, а утром большую их часть выставлял на продажу.

— У меня ведь начаты свои кое-какие собственные проекты. Если соглашусь на ваше предложение, они замрут.

— Мы уповаем на то, что предложенная сумма с лихвой возместит вам потери.

— Мне нужно время на размышление.

— Нет у вас этого времени. На все про все имеется три недели.

Макс повел взглядом слева направо — от фасада казино до отеля и примыкавшего к нему «Спортинг-клуба»: вдоль всей площади, как всегда, выстроились в ряд сверкающие «Роллс-Ройсы», «Мерседесы» и «Паккарды», а у подножья лестницы стояли, болтая, их водители. Три дня назад он очень удачно выстрелил здесь дуплетом: подцепил более чем зрелую, но все еще очень красивую даму, бывшую супругу австрийского фабриканта, и договорился с ней о свидании, а потом мраморный шарик рулетки, остановившись на цифре 26, принес ему восемнадцать тысяч франков.

— Тогда скажу вам иначе. Мне очень нравится действовать в одиночку, на свой страх и риск. Я — сам по себе и никогда не работал ни на какое правительство. И мне все равно — что фашисты, что нацисты, что большевики, что папа римский.

— Разумеется, вы вправе соглашаться или отказываться, — говорил Барбареско, причем выражение лица противоречило смыслу его слов. — Но все же примите кое-что в расчет... Ваш отказ огорчит наше правительство. Верно, Доменико? И, без сомнения, вынудит нашу полицию изменить свое отношение к вам, когда вы по той или иной причине решите ступить на итальянскую землю.

Макс быстро прикинул в уме. Невозможность появляться в Италии означала отказ от сумасбродных американок на Капри и в Амальфи, от пресыщенных англичанок, снимающих виллы в предместьях Флоренции, от итальянских и немецких нуворишей, предпочитавших казино и бары обществу своих жен, которых оставляли одних на Кортина д’Ампеццо и Лидо.

— И не только, — продолжал развивать свою мысль Барбареско. — Моя страна находится в самых добрых отношениях с Германией и еще несколькими государствами Центральной Европы. Не говоря уж об Испании, где скорая победа генерала Франко — дело более чем вероятное. Вы знаете, наверно, что полиции работают эффективней, чем Лига Наций, и иногда взаимодействуют. Живой интерес к вашей персоне возникнет и у наших союзников, можете не сомневаться. И в этом случае территория, на которой вам нравится действовать в одиночку, на свой страх и риск, ужмется... Представляете? Приятно ли это будет?

— Представляю, — ответил Макс безразлично.

— А теперь представьте обратную ситуацию. И возможности, которые перед вами откроются. Надежные друзья и обширное пространство для охоты. Не говорю уж про деньги.

— Мне нужны подробности. Чтобы понять, насколько реально то, что вы мне предлагаете.

— Узнаете послезавтра в Ницце. В отеле «Негреско» вам на три недели заказан номер — мы знаем, что вы всегда останавливаетесь там. Все еще приличный отель, а? Хотя мы бы предпочли «Руль».

— Вы будете там?

— Хотелось бы, но наше начальство считает, что роскошь подобает только звездам вроде вас. Так что мы будем жить в пансионе возле порта. Верно, Доменико? Лощеные шпионы с камелией в петлице бывают только в кино. Вроде тех, что снимает этот англичанин... как его? Хичкок. И ему подобные болваны.

Четыре дня спустя после этого разговора, сидя под зонтиком за столиком кафе «Фрегат» перед проспектом Англичан в Ницце, Макс — в белых полотняных брюках и темно-синем пиджаке, бросив трость и шляпу на соседний стул — щурил глаза на ослепительное сияние залива. Вокруг сверкали светлые, белые, розоватые, кремовые фасады зданий, и море блистало в солнечных лучах с такой силой, что многочисленные прохожие, шагавшие по набережной, против света казались бесплотными тенями.

Не скажешь, что конец сезона, заключил Макс. Судить об этом можно лишь по тому, что дворники сметают теперь больше опавших листьев, чем прежде, да еще по осенним, серовато-перламутровым тонам, в которые окрашивают пейзаж рассветы и закаты. А на ветвях еще висят апельсины, небо стараниями мистраля остается безоблачным, а море — цвета индиго, и полоса пляжа перед бесконечной вереницей отелей, ресторанов и казино ежедневно заполняется гуляющими. В отличие от других мест на побережье, где к этому времени дорогие бутики уже закрываются один за другим, а из гостиничных парков исчезают парусиновые навесы, здесь, в Ницце, сезон продолжается до самой зимы. И, не в пример Южной Франции, куда после победы Народного фронта хлынули туристы-отпускники — полтора миллиона рабочих, прельщенных неслыханными скидками на железнодорожные билеты, — в Ницце публика оставалась такой же, какой была спокон веку, — богатые пенсионеры, британские супружеские пары с собачками, старые дамы, скрывающие под шляпами и вуалями урон, нанесенный временем, и русские семьи, которые вынуждены были продать свои роскошные виллы и переселиться в скромные квартиры в центре города. И даже в самый разгар летнего сезона чопорная Ницца не наряжается по-летнему — голые спины, пляжные пижамы и сандалии, производящие фурор в соседних городах, здесь встречаются редко, а туристы-американцы, шумные парижане и англичанки, принадлежащие к среднему классу, но склонные пускать пыль в глаза, издавна предпочитают следовать без остановки в Канны или в Монте-Карло, тогда как итальянские и немецкие бизнесмены — бесцеремонные нувориши, раздобревшие под благодатной сенью фашизма и национал-социализма, — наводняют Ривьеру.

От вереницы неразличимых против света силуэтов отделился один, двинулся к террасе, вея ароматом «Worth», обретая по мере приближения зримые черты и очертания. Макс уже успел подняться из-за столика, поправить узел галстука и с улыбкой — широкой, сияющей, как этот полдневный свет, затопляющий все вокруг, — протянуть обе руки навстречу.

— Помилуй бог, баронесса, как вы сегодня очаровательны.

— Льстец.

Ася Шварценберг уселась, сняла солнечные очки, спросила виски с минеральной водой «Перье» и вскинула на Макса большие миндалевидные глаза, выдававшие ее славянское происхождение. Тот показал на меню:

— Пойдем в ресторан или предпочитаешь что-нибудь легкое здесь?

— Лучше здесь.

Макс проглядел названия блюд, напечатанные поверх репродукции Матисса, изображавшей «Средиземноморский дворец» и пальмы Променада.

— Фуа-гра и «Шато д’Икем»?

— Прекрасно.

Женщина улыбалась, показывая белейшие зубы, чуть выпачканные губной помадой, следы которой оставляла повсюду — на мундштуках сигарет, на ободке бокала, на сорочках мужчин, одариваемых прощальным поцелуем. Впрочем, это можно было счесть единственной погрешностью ее вкуса, если не считать аромата «Worth», чересчур, по мнению Макса, душного и плотного. В отличие от многих хищниц международного масштаба, слетавшихся на Ривьеру, баронесса Анастасия Александровна фон Шварценберг носила свой титул по праву. Ее брат, друживший с князем Юсуповым, был среди убийц Распутина, а первый муж расстрелян большевиками в 1918-м. Второй муж, прусский аристократ, умер в 1923 году от разрыва сердца на скачках «Гран-При де Довиль», когда его жеребец Мародер разорил хозяина, на голову отстав от фаворита. Ася Шварценберг — очень высокая, тонкая, с прекрасными манерами, — оставшись без средств к существованию, но сохранив обширные связи, какое-то время работала моделью в парижских «больших домах». Переплетенные подшивки «Vogue» и «Vanity Fair», которые до сих пор лежат в читальнях трансатлантических лайнеров и фешенебельных отелей, хранили множество ее изысканных фотографий, сделанных Эдвардом Штейхеном или братьями Зеебергерами. Еще и сейчас, в непосредственной близости от пятидесятилетнего рубежа, баронесса в темно-синем болеро и широченных кремовых брюках — Макс наметанным глазом определил: «Hermès» или «Schiaparelli» — все еще была ослепительна.

— Меня нужно свести с одним человеком, — сказал Макс.

— Мужчина, женщина?

— Женщина. Здесь, в Ницце.

— Что-нибудь особенное?

— Да. С большими деньгами, с высоким и очень прочным положением в обществе. Я должен проникнуть в ее круг.

Ася слушала очень внимательно и вдумчиво. Прикидывает свой барыш, подумал Макс. Вот уже много лет она, помимо продажи антиквариата, якобы принадлежавшего ее русской семье, занималась подобным посредничеством — добывала приглашения на закрытые вечеринки, помогала арендовать виллу или заказать стол в эксклюзивном ресторане, устраивала репортажи в модных журналах и оказывала тому подобные услуги. Здесь, на Ривьере, баронесса Анастасия Шварценберг была, называя вещи своими именами, кем-то вроде великосветской факторши.

— Не спрашиваю о твоих намерениях, — сказала она, — но угадать нетрудно.

— Да нет, на этот раз все несколько сложнее.

— Я ее знаю?

— Стал бы я иначе тебя беспокоить... Да и потом, есть ли на свете кто-то, кого ты не знаешь, Анастасия Александровна?

Подали фуа-гра и вино, и Макс поневоле замолчал, тем более что и баронесса не выказывала нетерпения. Пять лет назад, после знакомства на приеме в посольстве Санкт-Морица, у них наметился было легкий романчик. Развития он не получил, потому что оба одновременно догадались, что имеют дело с проходимцем без гроша за душой; так что рассвет они (баронесса в норковом манто поверх шелкового вечернего платья, Макс — в безупречном фраке) встретили в кондитерской «Хансельман» за чашкой горячего шоколада с пирожными. С тех пор они поддерживали отношения дружеские и взаимовыгодные, причем никто ни у кого хлеб не отбивал.

— Этим летом вы фотографировались вместе в Лоншане, — сказал наконец Макс. — Я видел снимки в «Marie Claire» или еще где-то.

Баронесса с неподдельным удивлением подняла тоненькие дуги, нарисованные на месте выщипанных и протертых кольдкремом бровей.

— Сусанна Ферриоль?

— Она самая.

Сиденье плетеного стула слегка заскрипело — баронесса откинулась на спинку, села нога на ногу.

— Это крупная дичь, мой милый.

— Потому и прибегаю к твоему содействию.

Макс вытащил портсигар, открыл его и протянул своей даме. Подавшись вперед, дал ей прикурить и потом закурил сам.

— За мной дело не станет... — сказала баронесса задумчиво. — Сюзи я знаю давным-давно... Что тебе нужно?

— Да ничего особенного. Удобный предлог попасть к ней в дом.

— И все?

— Все. Прочее — мое дело.

Баронесса выпустила очередное облачко табачного дыма. Медленно. Осторожно.

— О прочем я ничего не желаю знать. Но хочу предупредить: легкой победы не жди. За ней не числится ни одной истории... Хотя из-за того, что творится в Испании, и здесь теперь все вверх дном. Постоянная мельтешня... люди приезжают, уезжают... Беженцы и все остальные. Совершеннейший кавардак.

«Беженцы, — подумал Макс, — это такой словесный фортель». И задумался о тех несчастных, фотографии которых видел в иностранных газетах, — слезы на морщинистых крестьянских лицах... семьи, спасающиеся от бомбежек... грязные оборванные дети, спящие в каком-то тряпье... отчаяние людей, потерявших все, кроме жизни. Разумеется, большая часть испанцев, нашедших пристанище на Ривьере, ничего общего с ними не имеет. Уютно устроившись в благодатном климате, столь похожем на климат их Отчизны, они арендуют виллы, снимают апартаменты или номера в отелях, загорают на пляже и посещают дорогие рестораны. И не только здесь. Четыре недели назад, готовя одно дельце, которое не удалось провернуть, Макс общался с несколькими такими беженцами во Флоренции — аперитив у «Касоне», ужин в «Пиччьоло» или «Берри». Для тех, кто выбрался из Испании целым и невредимым и сохранил средства на счетах в иностранных банках, гражданская война была не более чем временным неудобством. Тем самым зубом, что за чужой щекой не болит.

— И Тома́са Ферриоля ты тоже знаешь?

— Разумеется, — Ася предостерегающе подняла палец. — С ним держи ухо востро.

Максу вспомнился разговор с итальянцами, который он имел сегодня утром в кафе «Монмор» на площади Массена, неподалеку от муниципального казино. Перед Барбареско и Тиньянелло, являя пример умеренности, стояли стаканы лимонада со льдом; устами первого (второй был так же, как в Монте-Карло, безмолвен и меланхоличен) Максу были изложены подробности предстоящей работы. Сусанна Ферриоль — ключевая фигура, объяснял Барбареско. Ее вилла в Ницце, у подножья горы Борон, — это нечто вроде личной канцелярии ее брата, где решаются самые тайные, не подлежащие огласке вопросы. И он, Томас Ферриоль, приезжая на Лазурный Берег, неизменно останавливается там и там же, в сейфе, хранит секретные документы. Ваша задача — войти в круг друзей Сусанны, изучить обстановку и получить то, что нам нужно.

Ася Шварценберг с любопытством продолжала разглядывать Макса, словно оценивая, на что он способен. И, похоже, не поставила бы на него и пятифранковой фишки.

— Ферриоль, — добавила она после краткого молчания, — не позволит заморочить голову сестре. Он не из таких.

Макс невозмутимо принял предупреждение к сведению.

— А он сейчас здесь?

— То здесь, то там. В прошлом месяце мы виделись дважды — на ужине в «Резерве» и на вечеринке у Дульсе Мартинес де Ос, этим летом арендовавшей дом в Антибе. Томас постоянно курсирует между Испанией, Швейцарией и Португалией. У него теснейшие связи с правительством в Бургосе. Поговаривают, и я склонна этому верить, что он остается основным банкиром генерала Франко... И кто ж не знает, что именно он финансировал первые выступления мятежников...

Макс смотрел вдаль — на автомобили, стоявшие у обочины, и на силуэты прохожих с неразличимыми против света лицами. Неподалеку сидела пара с тощей собачкой — масть цвета корицы, аристократическая мордочка. Хозяйка — молодая женщина в легком платье и шелковой шляпке тюрбаном — время от времени подергивала поводок, не давая собачке облизывать башмаки сидевшего за соседним столиком посетителя, который набивал трубку и созерцал вывеску конторы Кука.

— Дай мне денька два, — сказала баронесса. — Надо будет сообразить, как это лучше сделать.

— Времени у меня немного.

— Я постараюсь. Надеюсь, ты возместишь мне расходы?

Макс рассеянно кивнул. Господин за соседним столиком уже раскурил трубку и теперь поглядывал на них как бы невзначай, отчего Макс чувствовал себя неуютно. Было в этом субъекте что-то знакомое, но он никак не мог понять, откуда он его знает.

— Тебе это обойдется недешево, — продолжала Ася настойчиво. — Сюзи Ферриоль — птичка высокого полета.

— Как высоко она летает? Я предполагал, шести тысяч франков хватит...

— Восемь, мой милый. Восемь. Все дорожает.

Трубочник, судя по всему, потерял к ним всякий интерес и покуривал, разглядывая смутные фигуры, двигавшиеся по проспекту. Макс, стараясь сделать это незаметно, достал из внутреннего кармана загодя припасенный конверт и вложил туда еще тысячу франков.

— Уверен, что ты и в семь уложишься.

— Ладно уж, — улыбнулась баронесса, — уложусь.

Она спрятала конверт. Распрощались. Поднявшийся со стула Макс смотрел ей вслед, потом уплатил по счету, надел шляпу и двинулся между столиками к выходу мимо человека с трубкой, не обратившего на него никакого внимания. Лишь мгновение спустя, стоя на последней из трех ступеней, ведших с террасы кафе на улицу, он наконец вспомнил, кто это. Этого человека он, разговаривая с итальянцами, видел утром перед кафе «Моно» — ему чистили ботинки.

— Возникли сложности, — неожиданно произносит Меча Инсунса.

Они уже давно прогуливаются, болтая о пустяках, по улице Сан-Франческо и паркам, окружающим отель «Империаль Трамонтано». Близок вечер, и, золотя туман над заливом, солнце в дымке клонится налево, за скалы Марина-Гранде.

— Сложности, и немалые, — добавляет она мгновение спустя.

Макс, только что докуривший сигарету, давит раскаленный уголек о железные перила балюстрады, отбрасывает окурок и, удивленный переменой тона, сбоку всматривается в ее неподвижное лицо. Сощурясь, Меча пристально и упорно глядит на море.

— Соколов... — говорит она наконец.

Макс слушает с недоумением. И не очень понимает, о чем речь. Вчера доиграли отложенную партию — вничью. Каждый игрок получил по пол-очка. Вот и все, что ему известно об этом.

— Сволочи, — бормочет Меча.

Недоумение Макса перерастает в растерянность. Меча произнесла это слово со злобой и презрением. Значит, произошло что-то новое. Хотя «новое» — это не совсем то слово. Из забвения неспешно выплывает что-то далекое, общее для него и для нее. Макс уже когда-то слышал это. Слышал целую жизнь назад, в другом мире. Забыть это ледяное сдержанное презрение невозможно.

— Он узнал ход.

— Кто?

Меча — руки в карманах жакета — передергивает плечами, как бы показывая, что ответ совершенно очевиден:

— Русский. Он заранее знал, как сыграет Хорхе.

Мысль доходит до сознания Макса не сразу.

— То есть ты хочешь сказать, что...

— Что Соколов был наготове. И это уже не в первый раз.

Повисает молчание. Долгое и тягостное.

— Он же чемпион мира... — напрягая воображение, Макс пытается переварить услышанное. — В порядке вещей, что иногда подобное случается.

Женщина отрывает взгляд от залива, чтобы посмотреть на Макса. Губы ее плотно сжаты, но в глазах отчетливо читается: «Совершенно даже не в порядке вещей, что подобное случается».

— Почему ты мне это рассказала? — спрашивает он.

— Ты спрашиваешь, почему именно тебе?

— Да.

Она задумчиво наклоняет голову:

— Потому что ты можешь мне понадобиться.

Макс опирается о железные перила: он сильно удивлен. На лице его появляется какая-то неуверенность, а чувство, которое он испытал сейчас, сродни внезапному сильному головокружению. В специфические планы шофера доктора Хугентоблера на светскую жизнь в Сорренто не вписывается, что Меча Инсунса может в нем нуждаться. Совсем наоборот.

— Зачем?

— В свое время узнаешь.

Макс пытается привести мысли в порядок. Рассчитать действия в том, что ему пока неведомо.

— Я спрашиваю себя...

— Я довольно долго думала над тем, на что ты способен, — спокойно прерывает Меча.

Сказано мягко, и взгляд пристально устремлен прямо на него, словно в бдительном, настороженном ожидании подразумеваемого ответа.

— В отношении чего?

— Меня. Тогда.

Он делает небрежное, чуть заметное движение, обозначающее протест. Это прежний Макс, Макс золотых времен, показывает сейчас, что чуть-чуть задет. И не позволяет ни на йоту усомниться в безупречности своей репутации.

— Ты отлично знаешь, что...

— О нет. Не знаю.

Она оторвалась от перил балюстрады и двигается под пальмами в сторону Сан-Франческо. Постояв мгновение в почти театральной неподвижности, он идет следом и, догнав, пристраивается рядом, всем видом своим олицетворяя безмолвную укоризну.

— И в самом деле не знаю, — раздумчиво повторяет Меча. — Но сейчас речь не об этом. И не это меня беспокоит.

Любопытство пересилено благородным негодованием. Заботливо и непринужденно он протягивает руку, оберегая спутницу от двух без умолку болтающих и увлеченно фотографирующих англичанок.

— А что же? Твой сын и русские?

Женщина отвечает не сразу. Она остановилась на углу монастырской стены, возле арки, ведущей внутрь, в крытую галерею. Кажется, она колеблется — стоит ли идти дальше, стоит ли произносить то, что все-таки произносит в следующую минуту:

— У них есть информатор. Кто-то внедрен к нам и сообщает, как Хорхе готовит свои партии.

Макс растерянно моргает:

— Крот?

— Да.

— Здесь, в Сорренто?

— Ну а где же?

— Но это немыслимо! Вокруг Хорхе только ты, Ирина и Карапетян. Или есть еще кто-то, о ком я не знаю?

Меча сумрачно качает головой:

— Нет никого. Только мы трое.

Она проходит в арку, и Макс следует за ней. Миновав темный проход, они оказываются в пустом, залитом зеленоватым светом монастырском дворе, меж каменных колонн и стрельчатых арок. Был тайный ход, объясняет Меча, понизив голос. Тот, который Хорхе записал и в запечатанном конверте вручил арбитру, когда партия была отложена. Всю ночь и следующее утро анализировали этот ход и все его последствия, пытаясь угадать, чем ответит на него Соколов. Хорхе, Ирина и Карапетян методически изучили все возможные варианты и приготовились к любому из них. Сошлись на том, что наиболее вероятным будет следующее: оценив расстановку фигур на доске (что займет не меньше двадцати минут), Соколов слоном возьмет пешку. И тогда появится возможность конем и королевой подстроить ему ловушку, единственным выходом из которой будет рискованный ход слоном — вполне возможный для игрового стиля «камикадзе»-Келлера, но никак не его осторожного соперника. Тем не менее, когда арбитр вскрыл конверт и сделал ход, Соколов взял пешку слоном, то есть прямиком угодил в расставленную ему ловушку. Келлер сыграл конем и ферзем. И тут, не смешавшись, потратив лишь восемь минут на анализ того, над чем команда Келлера билась всю ночь, Соколов сделал именно тот рискованный ход слоном, в отношении которого накануне единодушно было признано, что русский на него не решится.

— Это не может быть случайностью?

— В шахматах не бывает случайностей. Только промахи или попадания.

— Ты хочешь сказать, что Соколов знал, как сыграет Хорхе и как ответить ему?

— Да. Хорхе разработал изысканную, блестящую комбинацию. Не из разряда тех, что можно предвидеть логикой. И за восемь минут придумать, как нейтрализовать ее...

— А если кто-нибудь из посторонних? Например, из числа прислуги? Или в номере есть прослушка?

— Нет. Это проверено.

— Боже милосердный... Что же тогда остается? Кто предатель — Карапетян или Ирина?

Меча молчит, уставившись на деревья небольшого сада.

— Это немыслимо, — продолжает Макс.

Меча глядит на него с легким удивлением, скривив губы в пренебрежительной гримасе.

— Что же тут такого немыслимого, скажи на милость? Это обычная жизнь с ее привычными предательствами... — И внезапно мрачнеет еще больше. — И уж кому-кому, а тебе-то удивляться не пристало.

Макс не парирует этот выпад.

— Тогда вероятней всего это Карапетян.

— Существует такая же вероятность, что это Ирина.

— Ты всерьез?

В ответ — холодная, вымученная улыбка, которую можно трактовать и так, и этак.

— Но почему, с какой стати тренеру или невесте Хорхе предавать его? — спрашивает Макс.

Меча досадливо дергает ртом, словно тяготясь необходимостью объяснять совершенно очевидное. Потом бесцветным голосом перечисляет возможные причины — личные, политические, финансовые. Впрочем, добавляет она чуть погодя, последнее, что тут имеет значение, — это причины измены. Еще будет время выяснить это. А сейчас она должна защитить сына. Поединок в Сорренто близится к середине — завтра играется шестая партия.

— А впереди — чемпионат мира. Представь, какой удар. Какой ущерб.

Через арку только что прошли две давешние англичанки с фотоаппаратами. Макс и Меча уходят подальше.

— Если бы не это подозрение, мы оказались бы в Дублине, не зная, что уже проданы с потрохами.

— А зачем ты все это рассказываешь мне?

— Я ведь тебе уже сказала, — вновь появляется холодная улыбка. — Ты можешь понадобиться.

— Не понимаю... Какое отношение я имею к шахматам...

— Тут не только шахматы. Довольно. И еще я сказала: всему свое время.

Они опять останавливаются. Меча прислоняется спиной к колонне, и Макс при всем желании не может отделаться от давнего наваждения. Сколько бы лет ни прошло, эта женщина хранит отпечаток своей касты. Она уже не так хороша, как тридцать лет назад, но при взгляде на нее по-прежнему приходит на ум безмятежная грация газели. Сравнение вызывает на губах Макса нежно-меланхолическую улыбку. Его пристальное наблюдение творит чудо, сплавляя воедино черты, предстающие ему ныне, с теми, что хранит память: единственная в своем роде женщина, которой в теперь уже далеком прошлом высший свет, искушенный и изысканный, служил одновременно покорным подельником, смиренным кредитором и блистательным антуражем. И магия прежней красоты вновь расцветает сейчас перед его изумленным взором, торжествуя над поблекшей кожей, над отметинами и приметами беспощадного времени.

— Меча...

— Замолчи. Не начинай.

Он замолкает на миг. Мы с ней думали не об одном и том же, заключает он. По крайней мере, я так думаю.

— Что же ты собираешься делать с Ириной или с Карапетяном?

— Хорхе думал об этом всю ночь, а утром мы проанализировали ситуацию вместе. Попробуем «подсадную утку».

— Что это такое?

Понизив голос, потому что англичанки уже невдалеке, она объясняет. Речь идет об определенном действии — одном или нескольких, — которое позволит понять, как реагирует соперник. По ответным ходам Соколова можно будет установить, предупредил ли его кто-либо из команды Келлера.

— Это надежный метод?

— Не вполне. Русский может скрыть то, что ему известно, изобразив растерянность, сделав вид, что испытывает затруднения... Или решить проблему самостоятельно, без посторонней помощи. Но все же есть надежда, что он выдаст себя... И даже его уверенность в себе может послужить верным признаком. Ты заметил, наверное, как пренебрежительно он ведет себя по отношению к Хорхе? Тот раздражает его — и тем, что так молод, и своими небрежными манерами. И, может быть, эта надменность — одно из слабых мест Соколова. Он считает себя в полной безопасности. И теперь я начинаю понимать почему.

— И кого же ты будешь проверять? Ирину или Карапетяна?

— Обоих. Хорхе обнаружил две теоретические новинки — две идеи для одной и той же позиции... Это очень сложно и никогда не осуществлялось на практике в больших шахматах. И обе относятся к одному из любимых дебютов Соколова. Вот на этом и можно будет подловить предателя. Он поручит Карапетяну проанализировать одну дебютную идею, а Ирине — другую. Чтобы они поверили, что работают над одной и той же, он запретит им разговаривать между собой на эту тему — якобы для того, чтобы они не совпали.

— А потом сыграет обе? Я правильно понимаю? И выявит источник утечки?

— Все несколько сложнее, но и это может послужить тебе в качестве вывода... В общем, так и есть. По реакции Соколова Хорхе узнает, кто из двоих готовил дебют.

— Я вижу, ты совершенно уверена, что Ирина ничего не заподозрит? По-моему, напрасно. С кем спишь, от той секретов не хранишь.

— Руководствуешься собственным опытом?

— Нет, исключительно здравым смыслом.

— Ты не знаешь Хорхе, — отвечает она с едва заметной улыбкой. — Не знаешь, как наглухо умеет он закрываться, когда речь идет о шахматах. Как не доверяет ничему и никому. Ни своей невесте, ни тренеру. Ни родной матери. И это когда все в порядке. Представь, каков же он должен быть сейчас, когда его снедает тревога.

— Невероятно.

— Да нет... Просто шахматы.

Теперь, уяснив все до конца, Макс спокойно просчитывает варианты: Карапетян и Ирина, секреты, которые не поверяются на подушке, опасения и предательства. Уроки жизни.

— Я так и не понял, зачем ты рассказала мне это. Почему доверяешься мне. Мы не виделись с тобой тридцать лет... Ты ведь едва знаешь меня теперь.

Меча отделилась от колонны, стала так, что головы их сближаются. Почти касаясь его губами, она шепчет ответ, и Макс, вознесясь над лётом лет, над неизгладимыми следами старости, ощущает гул минувшего и вздрагивает от прежнего возбуждения, которое вызывает в нем близость этой женщины.

— Эти ловушки не единственные... Есть и еще одна, и шахматный аналитик с чувством юмора мог бы назвать ее «защита Инсунсы». Или, может быть, «вариант Макс». И играть его будешь ты, мой милый.

— Почему?

— Сам знаешь почему... Впрочем, может быть, ты так глуп, что и нет. Не знаешь.

## 7. О ворах и шпионах

Вода в бухте Анж оставалась такой же насыщенно-синей. Высокие скалы мыса оберегали берег от мистраля, лишь легкой рябью пробегавшего по водной глади у берега. Опершись о каменный парапет, Макс с усилием отвел глаза от белопарусной яхты, выходившей из гавани, и взглянул на Мауро Барбареско, который стоял рядом: шляпа сбита на затылок, пиджак расстегнут, галстук распущен, руки — в карманах мятых брюк. От усталости под глазами залегли круги, щеки и подбородок требовали вмешательства помазка и бритвы.

— Три письма, — сказал он. — Напечатаны на машинке, сложены в папку и спрятаны в сейф, который находится в кабинете Ферриоля на вилле его сестры. Там, разумеется, есть и другие документы. Но нас интересуют только эти.

Макс посмотрел на Доменико Тиньянелло. Выглядевший не лучше своего напарника, тот стоял в нескольких шагах, устало опершись о дверцу старого черного «Фиата-514» с французскими номерами и грязными брызговиками, и мрачно разглядывал памятник павшим в Великой войне.[[42]](#footnote-42) По виду обоих итальянцев можно было заключить, что ночь у них выдалась беспокойная. Макс представил, как они отрабатывают свое скудное жалованье шпионов невысокого полета, выслеживая кого-нибудь (может быть, как раз его) или мчась на машине от недалекой границы, куря сигарету за сигаретой в свете фар, выхватывающих из темноты черно-серый бетонный серпантин, тронутый белыми мазками на стволах деревьев вдоль обочин.

— Ошибки быть не должно, — продолжал Барбареско. — Взять надо эти три, а никакие иные. Прежде чем положить папку на место — удостоверьтесь. Скорей всего, Томас Ферриоль хватится не сразу.

— Мне нужно точное описание.

— Узнать легко, потому что они — с грифом. Направлены ему в промежутке от 20 июля до 14 августа прошлого года, спустя несколько дней после начала франкистского мятежа... — Итальянец помолчал, как бы раздумывая, стоит ли добавить еще что-нибудь. — Подписаны графом Чиано.

Макс, с бесстрастным видом сунув трость под мышку, достал из кармана портсигар, легонько постучал по крышке кончиком сигареты, зажал ее в зубах, но не закурил. Как и все, он знал, кто такой граф Чиано. Имя этого черноволосого статного красавца, неизменно затянутого в военный мундир или во фрак, часто мелькает на первых полосах газет, а лицо — на страницах иллюстрированных журналов и в выпусках кинохроники: зять Муссолини, муж его дочери и министр иностранных дел фашистской Италии.

— Нелишним было бы узнать что-нибудь еще об этом. Поподробней о письмах.

— Знать вам нужно немногое. Там содержатся конфиденциальные сведения о начале боевых действий в Испании и о том, что наше правительство с симпатией отнеслось к патриотическому выступлению генералов Мола и Франко... По причинам, которые ни нас, ни тем более вас не касаются, корреспонденция должна быть изъята.

Макс слушал очень внимательно.

— Как эти письма там оказались?

— Томас Ферриоль в прошлом году, во время июльских событий, находился здесь. Вилла «Борон» была его резиденцией, а из марсельского аэропорта он на арендованном самолете совершал челночные рейсы в Лиссабон, Биарриц и Рим. Естественно, что его конфиденциальная переписка хранится здесь.

— Речь идет о компрометирующих материалах, насколько я понимаю. Компрометирующих его или еще кого-то.

Барбареско с досадой потер небритые щеки:

— Мы платим не за понимание, сеньор Коста. Ничего, кроме технических деталей, которые могут помочь вам в работе, вас не касается. И, как я сказал, нас тоже. Примените ваши дарования и добудьте нам письма — вот и все.

При этих словах он сделал знак товарищу, который извлек из перчаточного ящика конверт и неторопливо направился к ним, оглядывая Макса грустно и недоверчиво.

— Здесь все, о чем вы нас просили, — сказал Барбареско. — План виллы и сада. Сейф фирмы «Шютцлинг» вмонтирован в стенной шкаф в кабинете.

— В каком году изготовлен сейф?

— В тринадцатом.

Конверт был запечатан. Макс повертел его в руках и, не вскрывая, сунул в верхний карман.

— Сколько прислуги на вилле?

Не размыкая губ, Тиньянелло поднял руку с растопыренными пальцами.

— Пять человек, — уточнил Барбареско. — Горничная, гувернантка, шофер, садовник и кухарка. В самом доме — первые трое из тех, кого я перечислил. Их комнаты на верхнем этаже. Есть еще домик сторожа на въезде.

— Собаки?

— Нет. Сестра Томаса их не выносит.

Макс соображал, сколько времени займет вскрыть «Шютцлинг». Благодаря науке старого подельника Энрико Фоссатаро, он числил в своих трофеях два сейфа «Фишер» и один «Руди Мейер», не считая еще шесть обычных несгораемых ящиков с непатентованными запорами. «Шютцлинги» — сейфы с немного устаревшей механикой — выпускала швейцарская фирма. В благоприятных условиях, применяя подходящую технику, его можно было открыть за час, не больше. Но он понимал, что главная трудность — не как открыть сейф, а как к нему подобраться. И как работать над ним спокойно, без спешки и без помех.

— Мне понадобится Фоссатаро.

— Зачем?

— Ключи. Скажете ему, что мне нужен полный набор «детских ручек».

— Что-что?

— Он знает. И еще: дайте еще денег вперед. Предстоят большие расходы.

Барбареско молчал, словно не слыша. Молчал и смотрел на своего напарника, а тот вновь облокотился на крышу «Фиата» и уставился на монумент павшим героям: большую белую урну в арке, выпиленной в необтесанной каменной стене, с надписью: «Город Ницца — своим сынам, отдавшим жизнь за Францию».

— Памятник навеял на Доменико грусть, — объяснил Барбареско. — Он потерял двух братьев под Капоретто.

Сняв шляпу, Барбареско устало провел ладонью по голому темени. Потом взглянул на Макса:

— Вы не служили в армии?

— Нет.

Итальянец глядел на него не моргая. Казалось, вертя шляпу в руках, он изучает его, стараясь понять, насколько искрен был ответ. Вероятно, подумал Макс, армия накладывает на человека зримый отпечаток. Как проституция или священнослужение.

— А я воевал, — сказал Барбареско чуть погодя. — В Исонсо. Против австрийцев.

— Вот как?

Барбареско снова окинул его пытливым и недоверчивым взглядом.

— На той войне мы были союзниками французов, — сказал он, помолчав. — На следующей — будем противниками.

Макс поднял брови с подобающим простодушием:

— А будет война?

— Можете не сомневаться. Британское высокомерие в сочетании с французским скудоумием... Закулисные козни евреев и коммунистов. Понимаете, о чем я? Добром это не кончится.

— Ну разумеется. Евреи и коммунисты, как же, как же... По счастью, в Германии есть Гитлер. А у вас — Муссолини.

— Да, это так. Фашистская Италия...

И вдруг — как будто спокойная покладистость Макса показалась ему подозрительной — осекся на полуслове. И отвернулся, разглядывая вход в старую гавань и маяк, высившийся на краю волнореза, а потом перевел глаза на вытянутую дугу побережья и город, протянувшиеся на другом берегу Роба-Капеу под зелеными холмами с белыми и розовыми пятнышками далеких вилл.

— Придет день — и этот город вновь станет нашим, — мрачно щурясь, проговорил он. — Придет непременно.

— С моей стороны возражений нет. Хотел бы все же напомнить, что мне нужны деньги.

Снова повисла пауза. Итальянец с видимым усилием, медленно выплывал из своего патриотического морока.

— Сколько вам надо?

— Еще десять тысяч франков. Или в лирах по курсу. Ницца — очень дорогой город.

Итальянец слегка скривился.

— Ну, посмотрим... Вы уже познакомились с Сусанной Ферриоль? Нашли способ войти в ее круг?

Сложив ладони щитком, Макс прикурил сигарету, которую давно вертел в пальцах.

— Завтра я приглашен к ней на ужин.

В оценивающем взгляде Барбареско Макс внезапно заметил искорку одобрения. Вполне искреннего.

— Как вам это удалось?

— Неважно. — Макс выпустил облачко дыма, тотчас рассеянное бризом. — По мере освоения территории буду вам сообщать.

Барбареско криво усмехнулся, краем глаза рассматривая костюм, явно сшитый по мерке и безупречно выглаженный, галстук и сорочку от Шарве, глянцевый блеск купленных в Вене башмаков «Шеер». Максу почудилась в этом взгляде смесь восхищения и злости.

— Только не тяните особенно ни с освоением, ни с сообщениями. Время работает против нас, сеньор Коста. Время — наш враг. — Он надел шляпу и мотнул головой в сторону своего напарника: — Наш с Доменико. И ваш — тоже.

— Русские бьются в Сорренто не за приз, — рассуждает Ламбертуччи. — С этой «холодной войной», атомными бомбами и всяким-разным прочим и шахматы в дело пойдут... Естественно, Советы хотят быть в каждой бочке затычкой.

Приглушенное занавеской из разноцветных пластиковых шнуров, доносится из кухни радио — Патти Право[[43]](#footnote-43) исполняет «Грустного мальчика». За столиком у входа капитан Тедеско с унылым видом — он проиграл две партии — убирает шахматы в ящик, а хозяин ресторанчика разливает по стаканам красное вино.

— Люди в Кремле, — продолжает Ламбертуччи, ставя стаканы на стол, — желают продемонстрировать, что их гроссмейстеры лучше западных. Это докажет преимущество Советского Союза, который непременно добьется победы политической, а надо будет — и военной.

— И что же? Правы они? — спрашивает Макс. — Они в самом деле мастаки играть в шахматы?

Он сидит в одной сорочке с расстегнутым воротом, повесив пиджак на спинку стула, и внимательно слушает. Ламбертуччи всем своим видом выражает уважение к советской шахматной школе.

— Да им есть чем гордиться. Международная федерация пляшет под их дудку и слова поперек не скажет. И для них сейчас представляют угрозу только двое — Бобби Фишер и Хорхе Келлер.

— И угрозу эту приводят в исполнение, — вмешивается капитан, отхлебнув вина. — Эти юные бунтари, свободно мыслящие, ничем не скованные, играют в новые шахматы. Они несравненно изобретательней и заставляют старых динозавров отказываться от привычных, ритуальных ходов, от неспешной позиционной борьбы и выманивают их на неведомые тем просторы.

— Тем не менее, — заключает Ламбертуччи, — тон пока что задают они. Латыш Таль проиграл Ботвиннику, который год спустя сам потерпел поражение от армянина Петросяна. Все они русские. Советские, верней сказать. И чемпион мира сейчас Соколов: русские передают корону друг другу и больше никого к ней не подпускают. И Москва не хочет, чтобы такое положение изменилось.

Макс подносит стакан к губам, смотрит наружу. Под тростниковым навесом жена Ламбертуччи расстилает клетчатые скатерти, вставляет свечи в горлышки порожних бутылок в ожидании клиентов, появление которых в этот час маловероятно.

— И надо так понимать, — осторожно осведомляется Макс, — что шпионаж в этих делах — дело обычное?

Ламбертуччи сгоняет муху, присевшую ему на предплечье, почесывает старую абиссинскую татуировку.

— Самое обычное. Каждый матч — это такой клубок заговоров и интриг, что хоть кино про шпионов снимай... Игроков они прессуют крепко. Для советского человека выбор прост: победишь — получишь разнообразные привилегии, попадешь в элиту, а проиграешь — жди очень больших неприятностей. КГБ не прощает.

— Вспомни историю футболиста Стрельцова.

Бутылка вина успела обойти стол, покуда капитан и Ламбертуччи обсуждали случившееся со Стрельцовым: он, один из лучших в мире футболистов, игрок уровня Пеле, жестоко поплатился за отказ перейти из родного «Торпедо» в московское «Динамо» — команду КГБ. Его осудили по сфабрикованному обвинению и отправили в сибирский лагерь. Он вернулся через пять лет, но его футбольная карьера была сломана.

— Такими методами они действуют, — говорит Ламбертуччи. — И Соколова может постичь та же участь. За доской он кажется очень спокойным, но можно представить, что там у него внутри... Когда вокруг неотступно — все эти тренеры, секунданты, телохранители, когда тебе то и дело звонят из Кремля и Хрущев твердит, что социалистический рай надеется на него, и эти надежды нельзя не оправдать...

Тедеско согласно кивает:

— Истинное советское чудо, что они при всем этом умудряются еще хорошо играть в шахматы. И собираться в нужный момент.

— А как насчет всякого рода «грязной игры»? Без нее не обходится? — как можно более осторожно спрашивает Макс.

Тедеско криво усмехается, щуря свой единственный глаз:

— Помилуй, как можно? Как ты ее обойдешь? Они сызмальства приучены подстраивать замысловатые и сложные каверзы.

И начинает рассказывать о некоторых. На прошлом чемпионате мира в Маниле, когда Соколов встречался с Коэном, сотрудник советского посольства сидел в первом ряду и беспрестанно щелкал фотоаппаратом со «вспышкой», ослепляя израильтянина. На олимпиаде в Варне русские посадили в зал парапсихолога, который силой внушения мешал соперникам сосредоточиться. Еще уверяют, что секунданты Соколова, защищавшего свой титул в матче с югославом Монфиловичем, передавали своему подопечному указания вместе с йогуртами, которые тот ел во время партий.

— Но самое замечательное было с Бобковым, который бежал из Советского Союза, попросив политического убежища, — на турнире в Рейкьявике агенты сумели пропитать его белье, сданное в прачечную при отеле, бактериями, вызывающими гонорею.

Макс понимает, что настал благоприятный момент.

— А бывает так, — спрашивает он словно между прочим, — что шпионы внедрены в команду соперника? Ну там, аналитики...

— Аналитики? — Ламбертуччи взглядывает на него с живым интересом. — О-о, Макс, я вижу, ты стал разбираться в таких тонкостях...

— Да почитал кое-что...

Да, случается иногда, подтверждают оба собеседника. Были громкие скандалы, вроде заявлений одного из секундантов норвежского гроссмейстера Аронсена, который встречался с Петросяном незадолго до того, как Соколов лишил его чемпионского титула. Секундант, англичанин по фамилии Бирн, признался, что передавал сведения организаторам тотализатора, причем ставки на каждую партию доходили до двух тысяч рублей. Вскоре выяснилось, что сведения эти прямиком шли в КГБ, а оттуда — в команду Петросяна.

— А здесь нечто подобное возможно?

— C учетом того, что стоит на кону, может быть все что угодно. Ведь турнир в Сорренто — преддверие чемпионата мира.

Вошедшая со шваброй и совком жена Ламбертуччи просит их убраться — ей надо проветрить и подмести. Прихватив стаканы, все трое выходят на воздух. Чуть поодаль на вишневом капоте «Роллс-Ройса» доктора Хугентоблера возносится серебристая крылатая фигурка.

— Хозяин еще не вернулся? — спрашивает Ламбертуччи, любуясь автомобилем.

— Нет пока что.

— Хорошо ты устроился... Скажи, капитан? Верно ведь? Живешь в свое удовольствие, сам себе хозяин, пока настоящий не вернулся.

Посмеиваясь, все трое проходят мимо волнореза и каменного мола, где уже собрались зеваки поглядеть, хорош ли улов у только что причаливших рыбаков.

— Чего тебя так занимают Келлер и Соколов? — спрашивает Ламбертуччи. — Раньше тебе дела не было до шахмат.

— Приз Кампанеллы разжигает любопытство.

Ламбертуччи подмигивает капитану:

— Не столько Кампанелла, сколько та дама, с которой ты ужинал у меня позавчера.

— На экономку по виду не похожа, — говорит Тедеско с усмешкой.

Макс глядит на него, а потом снова оборачивается к Ламбертуччи:

— Успел разболтать?

— Еще бы! С кем же мне еще поделиться? И потом, я никогда еще не видел тебя таким франтом. Да мне еще пришлось делать вид, что знать тебя не знаю. Затеваешь черт знает что...

— То-то у тебя ухо было вот такое.

— Я чуть не прыснул, когда ты явился при всем параде, в твои-то годы. Ты бы видел его, Тедеско, — вылитый Витторио де Сика в том кино, где он играет липового аристократишку.

Они по-прежнему стоят на молу, над баркасом. Рыбаки выгружают улов; легкий ветерок, повеяв меж весел и тралов, грудой сваленных на палубе, доносит запах чешуи, селитры, смолы.

— Судачите, как две кумушки... Как две старые сплетницы.

— Ладно-ладно, — говорит Ламбертуччи. — Зубы не заговаривай. Колись!

— Да это так... Давние дела. Моя старинная знакомая...

Оба шахматиста переглядываются с понимающим видом.

— Ага, и кроме того — еще и мать Келлера. И не вздумай отбрехиваться, в газетах было ее фото. Узнать труда не составило.

— К шахматам это не имеет ни малейшего касательства. И к сыну ее — тоже. Говорю тебе, давняя приятельница.

Эти слова вызывают двойную скептическую ухмылку.

— Давняя приятельница, — повторяет Ламбертуччи, — которая заставляет нас битых полчаса толковать о русских шахматистах и КГБ.

— С другой стороны, тема волнующая, — возражает Тедеско. — Что тут скажешь? Ничего не скажешь.

— Ну, хватит языки чесать. Кончайте, надоело.

Полный язвительности, Ламбертуччи делает вид, что уступает:

— Как вам будет угодно. Каждый имеет право на секреты. Не хочешь — не говори. Но даром тебе это не пройдет. Мы желаем получить билеты на матч в «Витторию». Они дорогущие, и потому мы туда не ходили. Но теперь, когда ты обрел влияние, положение изменилось.

— Ладно, попробую.

Ламбертуччи докуривает сигарету, едва не обжигая себе пальцы. Швыряет окурок в воду.

— Эх, годы-годы... Видно, что была когда-то хороша собой. Это бросается в глаза.

— Да, это я в свое время понял, — Макс не сводит глаз с окурка, плавающего в маслянистой воде у мола. — Что очень хороша.

Через широкое окно, выходящее на Средиземное море, полдневное солнце очерчивало большой квадрат деревянного пола у стола, за которым сидел Макс. Это было его излюбленное место в ресторане на Жете-Променад — роскошном сооружении, стоящем на сваях в море — напротив отеля «Руль»: оттуда, как на ладони, представали взморье, пляж и проспект Англичан, и казалось, что стоишь у борта корабля, бросившего якорь в нескольких метрах от берега. Окно у столика смотрело на восточную сторону бухты Анж, а вдалеке отчетливо виднелись замок, вход в гавань, мыс Ниццы, где меж зеленоватых скал вилось шоссе на Вильфранш.

Он увидел тень прежде, чем того, кто ее отбрасывал. А еще раньше почувствовал запах английского трубочного табака. Склонившись к тарелке, он доедал салат, когда повеяло сладковатым ароматом, раздался легкий скрип половиц, и затем в прямоугольное пятно света на полу вплыл силуэт. Макс поднял голову, увидел губы, сложенные в учтивую улыбку, круглые роговые очки, руку с трубкой — в другой была измятая шляпа-панама, — указывавшую на свободный стул напротив.

— Добрый день... Вы позволите мне присесть здесь на минутку?

Необычный вопрос, заданный на безупречном испанском, поверг Макса в легкое замешательство. Все еще с вилкой на весу, он некоторое время смотрел на новоприбывшего, не зная, как ответить на такую бесцеремонность.

— Разумеется, нет. Не позволю, — наконец выговорил он, придя в себя.

Спрашивавший позволения остался стоять с несколько растерянным видом, как если бы ожидал другого ответа. И продолжал улыбаться, однако на лице его отразилась еще большая задумчивость и даже замешательство. Он был невелик ростом. Макс прикинул, что, если поднимется, окажется выше его на голову. Миловидная безобидность облика еще сильнее подчеркивалась роговыми очками, галстуком-бабочкой и коричневым костюмом-тройкой, мешковато сидевшим на его тщедушной и хрупкой фигуре. Черные, блестящие от бриллиантина волосы были зачесаны назад и разделены прямым пробором — в самом деле прямым и таким ровным, будто его прочертили рейсфедером.

— Боюсь, я начал не с того, — сказал незнакомец, не согнав с лица улыбку. — Так что прошу извинения за мою неловкость и разрешения на вторую попытку.

И с этими словами, не ожидая ответа, очень непринужденно отошел на несколько шагов и вновь двинулся к столу. Внезапно он перестал казаться таким уж безобидным. И таким уж хрупким.

— Добрый день, сеньор Коста, — сказал он спокойно. — Меня зовут Рафаэль Мостаса, и у меня есть к вам дело. Если разрешите присесть, разговаривать будет удобней.

Улыбка оставалась прежней, но за стеклами очков возник новый, какой-то почти металлический блеск. Макс опустил вилку. Уже оправившись от первоначального удивления, он откинулся на спинку плетеного стула, утер губы салфеткой.

— У нас с вами общие интересы, — настойчиво продолжал незнакомец. — И в Италии, и здесь, в Ницце.

Макс взглянул — официанты в длинных белых передниках стояли далеко, у дверей, возле кадок с цветами. Больше в ресторане никого не было.

— Садитесь.

— Благодарю.

К той минуте, когда он уселся и, мягко постукивая чубуком о подоконник, вытряс из трубки золу, Макс вспомнил, что уже дважды в последние дни он видел этого человека: в первый раз — когда разговаривал с итальянцами в кафе «Монно», во второй — когда сидел с баронессой Шварценберг на веранде ресторана «Фрегат».

— Кушайте, кушайте, прошу вас, — сказал этот человек, одновременно показывая официанту, который двинулся было к ним, что не нуждается в его услугах.

Макс рассматривал его, стараясь не обнаруживать беспокойства.

— Кто вы такой?

— Я ведь уже представился. Рафаэль Мостаса, торговый агент. Если хотите, можно просто Фито. Меня часто так зовут.

— Кто?

Вместо ответа тот лукаво прижмурил глаз, словно обоим был известен некий пикантный секрет. Макс никогда прежде не слышал это имя.

— Торговый агент, вы сказали?

— Совершенно верно.

— И какого же рода товарами вы торгуете?

Мостаса шире раздвинул губы в улыбке, которая была под стать галстуку-бабочке — симпатичная, яркая, но, быть может, немного великоватая. Однако глаза за стеклами очков по-прежнему отблескивали леденящей сталью.

— В наше время все виды коммерции связаны между собой, разве не знаете? Но это неважно. Я хочу вам кое-что рассказать. История моя будет про финансиста по имени Томас Ферриоль.

Макс, не дрогнув ни единым мускулом, поднес к губам бокал с вином — превосходным бургонским. Отпил и вновь впечатал хрустальный кружок туда, где на белой полотняной скатерти остался красный след.

— Про кого, простите?.. Как вы сказали?

— Ах да перестаньте вы, ради бога. Верьте мне. Уверяю вас, история очень занимательная. Позволите начать?

Макс дотронулся до бокала, но в руку брать не стал. Хотя он сидел у открытого окна, его вдруг обдало неприятным жаром.

— У вас пять минут.

— Да вы не скупитесь! Послушаете — и сами прибавите мне времени.

И тусклым голосом, покусывая время от времени мундштук нераскуренной трубки, Мостаса начал рассказывать. Томас Ферриоль был среди тех монархистов, которые в прошлом году поддержали фашистский мятеж в Испании. Именно он первым начал субсидировать Франко и делает это по сию пору. Как всем известно, огромное состояние позволило ему стать официальным банкиром мятежников.

— Признайтесь, — сказал он, уставив на Макса мундштук трубки, — что вам уже интересно.

— Может быть.

— Что я говорил?! Я мастер рассказывать истории.

И Мостаса продолжил. Расхождения Ферриоля с республиканцами были не только идеологического свойства — он неоднократно пытался договориться со сменявшими друг друга правительствами, но всякий раз неудачно. Ему не доверяли — и неудивительно. В 1934 году против него было возбуждено уголовное дело, и, чтобы не попасть в тюрьму, пришлось очень сильно раскошелиться и пустить в ход все связи. С той поры его политическая позиция сводилась к формуле, которую он произнес однажды в дружеском застолье: «Или республика, или я». И вот уже полтора года он усердно пытался уничтожить республику. Все знали, что своими июльскими успехами франкисты были обязаны его деньгам. После встречи с эмиссаром заговорщиков Ферриоль из собственного кармана оплатил самолет и пилота, который 18—19 июля доставил генерала Франко с Канарских островов в Марокко. Аэроплан был еще в воздухе, когда находившиеся в открытом море пять танкеров, которые везли двадцать пять тысяч тонн нефти государственной компании «Кампса», изменили курс и направились в зону, контролируемую мятежниками. По телеграфу им было передано: «Don’t worry about payment».[[44]](#footnote-44) Заплатил за это, переведя деньги со своего счета в банке «Кляйнворт», Томас Ферриоль — за это, как и за многое другое. Было подсчитано, что на одни лишь поставки горючего для мятежников финансист израсходовал миллион долларов.

— Но речь ведь идет не только о нефти, — добавил Мостаса, дав Максу время осмыслить услышанное. — Мы знаем, что Ферриоль вел переговоры с генералом Мола в его памплонской штаб-квартире еще в первые дни восстания и предъявил ему список активов на общую сумму в шестьсот миллионов песет. Любопытная подробность, весьма характерная для его манеры вести дела: он не дал и даже не предложил денег. Он ограничился лишь тем, что показал, насколько надежен как авалист. Предложив себя и все, чем он располагает, в том числе деловые и финансовые связи в Италии и Германии.

Он опять замолчал, посасывая пустую трубку и не отрывая глаз от Макса, пока один гарсон убирал пустую тарелку, а другой ставил заказанное блюдо — антрекот à la niçoise. Прямоугольник света передвинулся и теперь почти касался белой скатерти. Слева на нижней челюсти Мостасы стал виден уродливый шрам, который раньше Макс не замечал.

— Мятежники, — заговорил Мостаса, когда они опять остались вдвоем, — остро нуждались в самолетах. Сперва для того, чтобы перебросить верные им части из Марокко на полуостров, а затем — для ударов с воздуха. В первые четыре дня генерал Франко лично, через военных атташе во Франции и Португалии, попросил прислать десять «Юнкерсов». Просил он германское правительство. Италией занимался Ферриоль.

Он немного приподнялся на локтях, нависая над столом.

Макс изо всех сил старался есть как ни в чем не бывало, но давалось ему это с трудом. И, проглотив еще пару кусочков, положил вилку и нож на край тарелки — так, что, будь они стрелками на циферблате, показали бы пять часов. Потом промокнул салфеткой губы, оперся запястьями в крахмальных манжетах о край стола и молча взглянул на Мостасу.

— Переговоры об итальянских поставках, — вновь заговорил тот, — шли через министра иностранных дел графа Чиано. Сначала они встретились в Риме, потом обменивались письмами, уточняя детали операции. На Сардинии базировались двенадцать самолетов «Савойя», и Чиано, проконсультировавшись с Муссолини, пообещал к августу предоставить их в распоряжение мятежников и перегнать в Тетуан сразу же после того, как поступит платеж в миллион фунтов стерлингов. У Молы и Франко таких денег не было, а у Ферриоля — были. И он оплатил часть наличными, а на остальное выписал вексель. 30 июля двенадцать самолетов вылетели в Марокко. Три упали в море, но прочие добрались до цели и поспели как раз вовремя, чтобы начать транспортировку мавров и легионеров на полуостров. Еще четверо суток спустя зафрахтованный Ферриолем итальянский пароход «Эмилио Морланди» с грузом авиационного топлива и оружия пришвартовался в порту Мелильи.

Как я уже сказал, Италия запросила за «Савойи» миллион фунтов, но все дело в том, что Чиано — человек, привыкший жить на широкую ногу. Очень, я бы сказал, широкую. Он женат на Эдде, дочери дуче, и это не только открывает перед ним бескрайние возможности, но и требует очень крупных расходов... Вы понимаете меня?

— Вполне.

— Очень рад за вас, потому что сейчас мы переходим к тому, что касается вашего участия в этой затее.

Гарсон унес тарелку с почти нетронутым антрекотом. Макс сидел неподвижно, сцепив руки на столе, и смотрел на собеседника.

— С чего вы взяли, что я имею к этому какое-либо отношение?

Мостаса ответил не сразу. Повернулся и взглянул на бутылку вина, лежащую в специальном станке.

— Что вы пьете, извините за любопытство?

— «Шамбертен», — ответил Макс невозмутимо.

— Год?

— Одиннадцатый.

— Чудесно. Знаете, я бы не отказался от глоточка.

По знаку Макса гарсон принес второй бокал и наполнил его. Мостаса положил трубку на стол и посмотрел вино на свет, любуясь насыщенным рубиновым тоном бургонского. Потом поднес бокал к губам, с видимым удовольствием пригубил.

— Я довольно давно хожу за вами, — сказал он вдруг, словно только сейчас услышал вопрос Макса. — Эти двое... Итальянцы...

Он не договорил, предоставляя собеседнику самому сообразить, когда именно один след вывел его на другой.

— И тогда я разузнал все, что мог, о вашем прошлом.

После этого Мостаса вернулся к рассказу. Гитлер и его министры терпеть не могут Чиано. Тот, будучи совсем не обделен здравым смыслом, неизменно считал и считает, что Италии лучше держаться подальше от некоторых проектов Берлина. И, как человек предусмотрительный и дальновидный, завел в подходящих для этого местах банковские ячейки. На всякий случай. Счет в британском банке ему пришлось закрыть из политических соображений, но с банками на континенте все обстоит превосходно. Главным образом со швейцарскими.

— За сделку с самолетами Чиано попросил себе четыре процента комиссионных — сорок тысяч фунтов. Почти миллион песет, и Ферриоль сперва дал на эту сумму поручительство по векселю цюрихскому банку «Сосьете Сюисс», а потом выплатил тем золотом, что было конфисковано в «Банко де Эспанья» на Пальма-де-Майорке... Что скажете?

— Скажу, что это большие деньги.

— Деньги большие, — кивнул Мостаса и сделал еще глоток, — а политический скандал получится еще больше.

При всем своем хладнокровии Макс на этот раз не пытался изображать безразличие.

— Понимаю, — сказал он. — Если, разумеется, это дело всплывет.

— Да, в том-то и все дело. — Мостаса подхватил мизинцем каплю вина, не дав ей упасть на скатерть. — Когда я расспрашивал о вас, мне сказали, что вы хороши собой и весьма неглупы. Ну, до привлекательности вашей мне дела нет — я человек традиционных вкусов. Что касается второго вашего качества, я очень рад, что оно так блистательно подтверждается.

Он замолчал на миг, смакуя бургонское.

— Томас Ферриоль — стреляный воробей. И на все неизменно требует расписку. Дело было спешное, но при этом верное, а то, что Чиано взимает комиссионные, — для Рима давно уж никакая не новость. Тесть об этом превосходно осведомлен и не возражал, если только все происходящее, как до сей поры, не получало огласки... И Ферриоль, по своему обыкновению, озаботился тем, чтобы подтвердить всю сделку документами. А среди них имеются три собственноручных письма Чиано, в которых он оговаривает свой процент... Остальное нетрудно вообразить.

— Почему же вернуть эти письма решили только сейчас?

Мостаса удовлетворенно оглядел почти пустой бокал.

— Тут может быть много причин. То ли возникли трения в итальянском кабинете министров, где позиции Чиано оспариваются другими представителями фашистской элиты... То ли он сам решил принять меры предосторожности в преддверии более чем вероятной победы мятежников. То ли кто-то захотел лишить Ферриоля материалов, а с ними — и возможности дипломатического шантажа. Как бы то ни было, Чиано желает заполучить свои письма, и вас наняли для исполнения его воли.

Все было до такой степени ясно и очевидно, что и Макс перестал темнить.

— И все-таки я не понимаю... И уже говорил это раньше... Почему именно я? Разве у итальянцев не нашлось собственных специалистов?

— Я думаю, что тут все очень просто. — Мостаса достал из кармана кисет и принялся набивать трубку, уминая табак большим пальцем. — Мы ведь во Франции, а положение в мире сейчас требует действовать с особой деликатностью. А вы лишены политических пристрастий и, если можно так выразиться, в этом смысле апатрид.

— У меня — венесуэльский паспорт.

— Я таких хоть полдюжины куплю, уж не сочтите за хвастовство. Не забывайте, что, помимо венесуэльского паспорта, есть у вас еще и несколько уголовных эпизодов — доказанных и нет — в разных странах Европы и Америки... Если что-нибудь не заладится, отвечать вам, и только вам. Итальянцы от всего отопрутся.

— Скажите, а вам-то какое дело до всего этого?

Мостаса, уже раскуривший трубку, взглянул на Макса сквозь первое облачко дыма. И во взгляде этом читалось едва ли не удивление.

— Вот тебе раз... Я думал, вы уже давно догадались... Я работаю на правительство республиканской Испании. То есть сражаюсь на стороне добра... Если, конечно, допустить, что в историях такого рода вообще можно толковать о добре и зле.

Макс, привыкший скользить глазами по страницам романов с продолжением, которые печатаются в иллюстрированных журналах, а читаются в отелях, спальных вагонах и каютах трансатлантических лайнеров, всегда считал, что слово «шпион» применимо лишь к утонченным авантюристам международного класса и зловещим незнакомцам, редко появляющимся при свете дня. И потому очень удивился, когда Мостаса очень непринужденно предложил проводить его до отеля «Негреско», а заодно прогуляться в приятном обществе — определение принадлежало ему же — по Променаду. Возражений не последовало, и они, как двое давних и хороших знакомых, прошли изрядное расстояние, словно болтая о разных пустяках, точно так же, как и прочая публика, фланировавшая по бульвару меж фасадами отелей и берегом моря. Речь, однако, шла совсем не о пустяках. И Мостаса, благодушно посасывая трубку и нахлобучив свою мятую шляпу так, чтобы тень падала на стекла очков, завершил рассказ о предстоящем деле и ответил на вопросы Макса, при внешней безмятежности не расслаблявшегося ни на миг:

— А заплатим мы вам больше, чем фашисты, — повторял он время от времени. — Не говоря уж о том, что республика, само собой, будет вам благодарна.

— Нет и не может быть награды выше, — позволил себе иронию Макс.

Мостаса негромко посмеялся сквозь зубы. Негромко. Почти добродушно. Но из-за шрама на нижней челюсти лицо его при этом принимало какое-то двусмысленное выражение.

— Не зарывайтесь, сеньор Коста. Я ведь представляю здесь законное правительство Испании. Демократического, знаете ли, государства, борющегося с фашизмом.

Поигрывая тростью, Макс краем глаза наблюдал за ним. Если бы не очки, агент напоминал бы переодетого жокея и, когда стоял и шел, казался еще более хрупким и тщедушным. Тем не менее жиголо в силу профессиональной надобности довел до автоматизма свойство сортировать людей по неявным или не бросающимся в глаза деталям. В том неверном и зыбком мире, где он обитал, от жестов или фраз, принятых в общежитии, проку было столько же, сколько за карточным столом — от поведения опытного игрока, тонким блефом вводящего противника в заблуждение. Имелись иные коды, и Макс со временем научился их расшифровывать. И тех сорока пяти минут, что он провел с Мостасой, хватило, чтобы со всей определенностью понять: этот благодушный, располагающий к себе господин, с такой непринужденной естественностью сообщивший, что сражается на стороне добра, может оказаться гораздо опасней угрюмо-грубоватых итальянцев. И, кстати, Максу казалось странным, что они не сидят сейчас на парковой скамейке, пряча лица за развернутыми газетами и не следят за ними неотступно, чтобы со вполне понятным неудовольствием убедиться, что Фито Мостаса осложняет им жизнь.

— Почему вы не поручите выкрасть письма своим службам?

Мостаса, не отвечая, сделал еще несколько шагов. Потом наконец сказал:

— Знаете, Томас Ферриоль любит повторять: «Нет смысла покупать политика до выборов — неизвестно, придет он к власти или нет. Выгодней приобретать уже действующих».

Он энергично пососал мундштук, и ветер отнес назад облачко табачного дыма.

— Мы в сходном положении. Зачем самим организовывать рискованную и дорогую операцию, если можно воспользоваться той, которая уже запущена другими?

С этими словами он прошел еще немного, посмеиваясь негромко и добродушно. Казалось, новый оборот разговора радует его.

— Лишних денег у республики нет, сеньор Коста. Да и песета наша сильно девальвирована. Так что есть некая высшая и поэтическая справедливость в том, что большую часть вознаграждения выплатит вам именно Муссолини.

Макс оглядывал ряды «Роллс-Ройсов» и «Кадиллаков», выстроившихся перед импозантным фасадом «Пале Медитерранé» — целой вереницы фешенебельных гостиниц, которая повторяла мягкий изгиб залива Анж, казалось, уходя в бесконечность. В этой части города от глаз богатого туриста было скрыто все, что могло бы омрачить лучезарную картину мира. Здесь были только отели, казино, американские бары, чудесный пляж, а в двух шагах начинался уже самый центр города с россыпью ресторанов и кафе и роскошными виллами на окрестных холмах. Ни единой фабрики, ни одной больницы. Мастерские, дома мелких служащих и рабочих, тюрьма и кладбище, толпы манифестантов, которые в последние годы особенно часто стали появляться на улицах с пением «Интернационала», «Марсельезы» или с криками «Смерть евреям» — под сочувственными взглядами жандармов, — находятся далеко отсюда, в кварталах, где большая часть фланирующих по проспекту Англичан не бывает никогда.

— А что мне помешает отказаться? Или рассказать о вашем предложении итальянцам?

— Ничего не помешает, — признал очевидный факт Мостаса. — Но оцените, как честно склонны мы вести игру. Без угроз. Без шантажа. От вас и только от вас зависит, сотрудничать с нами или нет.

— А если нет?

— А вот это уже другой вопрос. В этом случае вы должны понимать: мы сделаем все, что в наших силах, чтобы изменить ход событий.

Макс прикоснулся к полю шляпы, приветствуя знакомых — супругов-венгров, соседей по отелю «Негреско», — только что попавшихся навстречу.

— Ну, если это не называется «угроза»... — заметил он иронически.

На лице Мостасы появилось несколько преувеличенное выражение полнейшей покорности судьбе:

— Это замысловатая игра, сеньор Коста. Мы не имеем ничего против вас лично, но вы сейчас выступаете на стороне противника. Если бы не это обстоятельство, вы бы пользовались нашим благорасположением...

— ...которое выразится в сумме большей, чем та, которую предложили итальянцы? Вы, помнится, так сказали?

— Разумеется. Гонорар будет поднят, но все же не до небес.

Они продолжали неспеша идти по Променаду. На каждом шагу встречались гуляющие — элегантные мужчины, красивые дамы с породистыми собаками на поводке.

— Забавный какой город, — заметил Мостаса, завидев двух нарядных дам в сопровождении русской борзой. — Полон женщин, недоступных для обычных мужчин. Не для нас с вами, разумеется... Вся разница лишь в том, что я за это буду платить, а вы — наоборот.

Макс посмотрел по сторонам: что мужчины, что женщины — суть одна. Для этой публики носить в портмоне пять тысячефранковых купюр — в порядке вещей. Сверкающие хромом и никелем автомобили медленно скользят по мостовой, вписываясь в ослепительный пейзаж и украшая его собой. И весь проспект заполнен негромким рокотом хорошо отрегулированных моторов, неторопливым гулом безмятежных голосов. Свидетельство умиротворенного благополучия, стоящего очень и очень недешево. Но я заплатил много дороже, чтобы попасть сюда, подумал он с горечью. Чтобы шагать в этом уюте и благодати вдали от предместий, пропахших прогорклой едой, которую в таких местах, как это, отправляют куда-нибудь подальше, на выселки. И уж я постараюсь никогда больше туда не попадать.

— Однако не думайте, что все дело тут в том, чтобы заплатить больше или меньше, — продолжал Мостаса. — Полагаю, начальство сделало расчет и на мое неотразимое обаяние. Я должен быть с вами убедителен. Доказать вам, что работать на таких сволочей, как Муссолини, Гитлер и Франко, и на законное правительство Испанской республики — совсем не одно и то же.

— Этот пункт опустим.

Мостаса снова посмеялся в свойственной ему манере. Мягко и сквозь зубы.

— Согласен. Идеологию побоку. Сосредоточимся целиком на моем магнетизме.

Остановившись, он осторожно выбил трубку о перила ограды, отделявшей проспект от пляжа. Спрятал в карман.

— Вы мне понравились, сеньор Коста. Занимаясь таким сомнительным ремеслом, сумели сохранить то, что англичане называют «a decent chap».[[45]](#footnote-45) Либо сделать вид, что сохранили. Я внимательно ознакомился с вашей биографией, а также последил за тем, как вы держитесь и ведете себя. С вами будет приятно иметь дело.

— Со мной — да, а с соперниками? — поинтересовался Макс. — Итальянцы ведь могут обидеться. И не без оснований.

Вместо ответа Мостаса тонко улыбнулся. Лишь на мгновение, не больше, блеснул сполох этой улыбки — разбойничьей и почти неприятной. В резком свете уличных фонарей шрам под челюстью казался глубже.

— Сейчас ответить вам не могу, — сказал Макс. — Мне надо подумать.

Из-под шляпы дважды сверкнули стекла очков. Мостаса понимающе кивнул.

— Понимаю. Думайте, думайте спокойно и продолжайте дела с вашими дружками-фашистами. Я буду скромно, не вмешиваясь, наблюдать со стороны, насколько далеко зайдет. Как я уже сказал, в наши планы совершенно не входит форсировать события. Предпочитаем уповать на ваше здравомыслие, да и на совесть вашу тоже... Мое предложение вы можете принять когда угодно, в любую минуту, хоть в самый последний момент. Спешки нет.

— Где вас найти, если надо будет?

Мостаса широко и неопределенно повел вокруг себя рукой, так что трудно было понять, имеет ли он в виду это место или весь юг Франции.

— Пока вы будете думать, я уеду на несколько дней в Марсель, завершу одно давно начатое дело. Туда и обратно. Вы не беспокойтесь, из виду вас не потеряю.

Мостаса протянул правую руку, и Макс, сделав то же самое, ощутил крепкое и искреннее пожатие. Слишком крепкое, сказал он себе. Чересчур искреннее. Вслед за тем Фито Мостаса скорым шагом удалился. Еще несколько секунд Макс видел, как щуплая проворная фигурка ловко лавирует между прохожими. Потом различал лишь светлую шляпу, мелькавшую в толпе. Потом и она скрылась из виду.

День с самого утра выдался погожим и солнечным, как и все предыдущие, и Неаполитанский залив отблескивает синим и серым. По веранде отеля «Виттория» между железными столиками под белыми скатертями снуют официанты с подносами, уставленными кофейниками, хлебницами, пакетиками масла и джема. У западного угла каменной балюстрады завтракают Макс Коста и Меча Инсунса. На ней — замшевая куртка, темная юбка, легкие бельгийские мокасины. Макс — в своем утреннем наряде, неизменном с тех пор, как поселился в этом отеле: темный блейзер, фланелевые брюки, шелковый шейный платок. Еще влажные после душа волосы тщательно причесаны.

— Не решилась проблема? — спрашивает Макс.

За столиком они вдвоем, и соседние пустуют. Но Меча все равно понижает голос:

— Может, и решится. Днем узнаем, сработает ли.

— Ни Ирина, ни Карапетян ничего не заподозрили?

— Ничего абсолютно. Объяснение, что мы не хотим, чтобы они влияли друг на друга, пока действует. Пока.

Макс в задумчивости мажет немного масла на треугольный ломтик подрумяненного хлеба. Встреча вышла случайно. Женщина читала книгу — вот она лежит сейчас на столе, и ее название «The Quest for Corvo» ничего не говорит Максу, — поставив рядом пустую чашку и пепельницу с двумя окурками «Муратти». Когда он вышел из застекленных дверей гостиной и подошел поздороваться, Меча потушила сигарету, закрыла книгу и показала на стул.

— Ты говорила, что я должен буду что-то сделать.

Она внимательно смотрит на него, припоминая. Потом с улыбкой откидывается на спинку:

— А-а, вариант «Макс»! Я же сказала: «Всякому овощу...»

Прожевывая кусочек тоста, он отпивает глоток кофе с молоком.

— Карапетян и Ирина разрабатывают сейчас идеи Хорхе? — уточняет он, промокнув губы салфеткой. — Те самые ловушки, о которых ты мне рассказала?

— Да. Этим и заняты сейчас. Мы их развели. Оба думают, что анализируют одну и ту же ситуацию. Но это не так. Хорхе требует, чтобы они не общались друг с другом и, стало быть, друг на друга не влияли.

— Кто впереди?

— Ирина. И это к лучшему, потому что Хорхе совсем не нравится мысль, что это может быть она... Так что в первой же партии он применит эту теоретическую новинку, чтобы покончить с сомнениями как можно раньше.

— А что Карапетян?

— Эмиля он просил более глубоко и всесторонне проанализировать его вариант и не торопиться, потому что хочет якобы приберечь его для Дублина.

— Думаешь, Соколов попадется в ловушку?

— Может и попасться. Ведь он именно этого и ждет от Хорхе — игры в «стиле Келлера»: смелые жертвы пешек, прорывы в глубь обороны, риск и блеск...

В эту минуту Макс замечает вдали Эмиля Карапетяна — с пачкой газет в руке тот направляется в гостиную. Он показывает на гроссмейстера Мече, и та провожает его взглядом, лишенным всякого выражения.

— Печально, если это окажется он.

Макс не может скрыть удивления:

— Ты предпочла бы, чтобы это была Ирина?

— Эмиль при Хорхе с тех пор, как тот был совсем мальчиком. И он очень многим обязан ему. И он, и я.

— Но как же... У них ведь... Любовь и всякое такое...

Меча смотрит в пол, густо засыпанный пеплом ее сигарет.

— А-а, это... — говорит она.

И сразу же, без перехода, начинает о следующем шаге — о том, что произойдет, если Соколов заглотнет наживку. Ни в коем случае нельзя будет спугнуть шпиона, если им и вправду окажется один из этих двоих. В преддверии матча за чемпионскую корону надо сделать так, чтобы Соколов не заподозрил, что еще в Сорренто попал в ловушку. Ну, а после Дублина, разумеется, шпион, кто бы он ни был, не будет больше работать с Хорхе. Найдется способ удалить его — со скандалом или втихомолку, смотря по обстоятельствам. Такие случаи бывали — француз-аналитик на турнире в Кюрасао, где юному Келлеру предстояли встречи с Петросяном, Талем и Корчным, тоже распустил язык. В тот раз именно Эмиль Карапетян разоблачил внедренного. Договорились, что его просто уволят, чтобы никто ничего не заподозрил.

— Это могла быть подстава, — замечает Макс. — Карапетян ловким ходом отводил от себя подозрения.

— Я думала об этом, — угрюмо говорит женщина. — И Хорхе такая мысль приходила в голову.

Тем не менее он очень многим обязан Эмилю, добавляет Меча мгновение спустя. Хорхе было тринадцать лет, когда она убедила Карапетяна стать его тренером. Пятнадцать лет они вместе, пятнадцать лет, где бы ни оказались — в аэропорту, в купе скорого поезда, в отеле, — они расставляют карманные шахматы и изучают ловушки, отрабатывают дебюты, защиты, гамбиты.

— Полжизни, даже больше, моего сына я видела, как они завтракают перед турниром, стремительно, вслепую обмениваясь ходами, воплощая появившиеся ночью идеи или импровизируя на ходу.

— И ты бы предпочла, чтобы утечки шли от Ирины, — мягко замечает Макс.

Меча словно не слышит.

— Он никогда не был особенным ребенком. Ну, или не до такой степени, чтобы это бросалось в глаза. Принято считать, что великие шахматисты умнее прочих людей, но это не так. Исключительность Хорхе проявляется лишь в его способности одновременно думать о нескольких разных вещах... Немцы определяют это специальным понятием — есть у них какое-то длинное слово, оканчивающееся на verteilung... И еще в умении применять абстрактное мышление к числовым рядам.

— Где он познакомился с Ириной?

— На турнире в Монреале полтора года назад. Она была секундантом канадского гроссмейстера Генри Тренча.

— И как же это было?

— После банкета Ирина и Хорхе всю ночь просидели на скамейке в парке и до утра говорили о шахматах. Потом она приняла решение оставить Тренча.

— Мне кажется, что она действует на него благотворно? Успокаивает в ситуациях, подобных нашей?

— Благотворно... — соглашается Меча. — Так или иначе, он — не одержимый шахматист. Не из тех, кто теряет самообладание в длинной партии, где царит дикое напряжение и каждый шаг непредсказуем... Его спасают чувство юмора и умение отстраниться. Его любимая фраза: «Не собираюсь сходить из-за этого с ума». Такое отношение во многом ограничивает патологические, я бы сказала, проявления, свойственные шахматам... Нормализует, как ты выразился.

Опустив голову, она замолкает в задумчивости.

— Да, наверное. Наверное, Ирина тоже способствует этому.

— Если невеста способна сливать русским информацию, думаю, она может и воздействовать на его способность сосредоточиться в нужный момент.

Но Мечу не заботит эта сторона вопроса. Хорхе, объясняет она, может работать с одинаковой интенсивностью над несколькими проблемами одновременно — причем на первый взгляд одновременно, — но никогда не теряет из виду главное. А главное — это шахматы.

— Ты так и не сказала мне, что думаешь об этом... И веришь ли, что это она информирует русских?

— Сказала. У Ирины и у Эмиля — шансов поровну.

— Но она, похоже, влюблена в него.

— Боже мой, Макс! — Меча рассматривает его с насмешливой полуулыбкой. — И это говоришь ты?! С каких это пор любовь стала помехой для предательства?

— Назови конкретную причину, по которой она могла бы продать Хорхе русским.

— И это тоже дико слышать из твоих уст... По той же самой, что и Эмиль.

Макс прослеживает направление ее ничего не выражающего взгляда. Тремя этажами выше, на балконе соседнего корпуса, сидят, созерцая пейзаж, Хорхе Келлер и Ирина. Оба в белых махровых халатах, кажется, только что встали с постели. Она держит его за руку и опирается о его плечо. Через мгновение они замечают Мечу с Максом и приветственно машут им. Макс отвечает, а женщина остается неподвижна и не спускает с них глаз.

— Сколько же лет ты была замужем за его отцом-дипломатом?

— Недолго, — отвечает она после секундного молчания. — Хотя, клянусь тебе, пыталась сохранить брак... Думаю, главным образом из-за того, что ждала ребенка. В конце концов, в жизни каждой женщины наступает момент, когда она на какое-то время становится жертвой своей матки и своего сердца. Но с этим человеком даже и это было невозможно... Человек был неплохой, невыносим он был не из-за каких-то своих качеств, а из-за настойчивого нежелания уступать. Ничему и никому. Ни за что. Да еще и ставил это себе в заслугу.

Она внезапно замолкает, меж тем как странная улыбка кривит ей губы. Меча кладет правую руку на скатерть — как раз туда, где от пролитого кофе осталось маленькое пятнышко. На тыльной стороне кисти темнеет несколько таких же. Следы протекших лет, приметы близкой старости проступают на увядшей коже. И внезапно воспоминание о том, как свежа и упруга была она тридцать лет назад, делается для Макса невыносимым. Пряча смятение, он наклоняется над столом, смотрит, есть ли еще кофе в кофейнике.

— Это не твой случай, Макс. И ты всегда знал это. О-о, черт... Я часто ломала голову, откуда у тебя такое спокойствие... Такое благоразумие.

Качнув головой в ответ на его молчаливое предложение налить кофе, она продолжает:

— Ты был так очарователен... Богом клянусь. Так благоразумен, так подл и так очарователен...

Макс в замешательстве изучает содержимое своей пустой чашки.

— Расскажи лучше про отца Хорхе.

— Я ведь уже говорила, что ты с ним познакомился в Ницце — ужинали у Сюзи Ферриоль. Неужели не помнишь?

— Помню, но смутно.

Меча медленно и устало убирает руку со скатерти.

— Эрнесто был человек воспитаннейший и изысканный, но ему не хватало таланта и воображения, которыми был в избытке одарен Армандо де Троэйе. Эрнесто был из тех, кто говорит только о себе, а тебя использует как предлог. Бывает, что тебе и в самом деле интересно то, что они говорят, но им об этом знать незачем.

— Да, так бывает.

— Но это опять же не твой случай. Ты всегда умел слушать.

Макс жестом как бы просит пощадить его скромность.

— Профессиональный навык, быть может?

— А в моем случае все потом пошло наперекосяк окончательно, — продолжает она, — и я стала злобствовать, знаешь, так мелко и гадко, как умеем только мы, женщины, когда нам плохо... На самом деле мне вовсе и не было так уж плохо, но и это ему вовсе незачем было знать. Несколько раз он пытался спасти наши отношения от того, что называл «пошлостью», и от полного краха, а потом сдался, отстранился, но, как и большинству мужчин, уйти ему удалось не дальше другой бабы.

Это слово в ее устах звучит почему-то не вульгарно. И это, и еще какие-то, хранимые в его памяти. В былые времена она употребляла и более крепкие слова, произнося их холодно и бесстрастно, как технические термины.

— А вот я ушла очень далеко, как ты знаешь, — говорит Меча. — Имею в виду безнравственность определенного вида. Безнравственность как вывод... Как осознание того, насколько бесплодна и пассивно несправедлива так называемая нравственность.

Она снова равнодушно стряхивает пепел на пол. Потом поднимает глаза на официанта, который, прежде чем подать счет, осведомляется, не угодно ли чего-нибудь еще. Меча смотрит на него, словно не понимает, что он говорит, или как будто его слова доносятся из дальней дали. И наконец качает головой.

— На самом деле я обжигалась два раза, — говорит она, когда официант удаляется. — Как аморальное существо, когда жила с Армандо, и как нравственная женщина, когда была замужем за Эрнесто. И только Хорхе, на мое счастье, сумел все это переменить. Его существование дало еще одну возможность. Открыло третий путь.

— Ты чаще вспоминаешь своего первого мужа?

— Армандо? Ну еще бы. Разве можно его забыть? Его знаменитое танго преследовало меня всю жизнь. Как и ты, в известном смысле. И сейчас — тоже.

Макс отрывается от созерцания чашки.

— Со временем узнал то, что было нам еще неизвестно там, в Ницце... Что его убили.

— Да. В местечке Паракуэльос, под Мадридом. Его увезли туда из тюрьмы и расстреляли. — Она почти незаметно пожимает плечами, как бы показывая, что трагедии, случившиеся много лет назад, зарубцевались и уже не причиняют прежней боли. — Один приказ касался бедного Гарсии Лорки, которого потом едва ли не причислили к лику святых. Второй — моего мужа. Это тоже возвеличило его и сделало легендой. И придало вес его музыке.

— Ты не вернулась на родину?

— Куда?! В унылую, злобную, провонявшую ладаном страну, которой правят спекулянты и ничтожества? Никогда. — С саркастической улыбкой она смотрит на залив. — Армандо было человек образованный, утонченный и либеральный. Творец чудесных миров... Остался бы жив — возненавидел бы этих кровожадных солдафонов, этих головорезов в голубых рубашках и с пистолетом на боку так же сильно, как и неграмотный сброд, от рук которого и погиб.

Помолчав, она переводит на него вопросительный взгляд:

— А ты? Ты-то как жил все эти годы? Ты в самом деле вернулся в Испанию?

Макс мастерит у себя на лице выражение, которое должно бы рассказать о могучих обстоятельствах, о лихорадочном времени, о счастливо подвернувшихся нуворишах, алчных до роскоши, о восстановленных городах и деревнях, о гостиницах, возвращенных прежним владельцам, о бизнесе, расцветающем под сенью нового режима, о волшебных перспективах, открывающихся для всякого, кто умеет держать нос по ветру. Так он резюмирует рассказ о годах ухваченных возможностей и бешеной деятельности, о потоках золота, циркулирующего туда-сюда и льнущего к тем, у кого хватает смекалки и отваги преследовать его — черный рынок, женщины, отели, поезда, границы, беженцы, — о целых мирах, повергнутых в прах на развалинах старой Европы, о лихорадочной уверенности в том, что, даже когда все это кончится, так, как было прежде, не будет.

— Я бывал там наездами. Во время войны мотался взад-вперед между Испанией и Америкой.

— И подводных лодок не боялся?

— Боялся до дрожи. Но выбора не было. Сама понимаешь, бизнес.

Она снова улыбается — почти как сообщница.

— Да, я понимаю... Бизнес.

Ощущая на себе ее взгляд, он с намеренным простодушием наклоняет голову. Оба собеседника знают, что за словом «бизнес» подразумевается очень и очень многое, но Меча Инсунса не подозревает все же, сколь многое. А на самом деле во время гражданской войны Испания была для Макса Косты охотничьим заказником. Защищенный венесуэльским паспортом, который обошелся ему очень недешево, но зато гарантировал почти полную безопасность, Макс со свойственной ему непринужденной общительностью появлялся в ресторанах, в дансингах, на файв-о-клоках, в американских барах, в кабаре — повсюду, где кипела светская жизнь и можно было встретить красивых женщин и богатых мужчин. Профессиональная хватка, к этому времени развившаяся и изощрившаяся до немыслимых пределов, снискала ему вереницу оглушительных побед. Времена неудач, упадка, краха, которые в конце концов загонят его в темную щель, были еще далеко. Новая, франкистская Испания позволяла ему проявить себя; было несколько очень доходных операций в Мадриде и Севилье, была хитроумная афера в треугольнике Барселона — Марсель — Танжер, была очень богатая вдова в Сан-Себастьяне и махинация с драгоценностями, начавшаяся в казино Эшторила и должным образом завершенная на вилле в Синтре. В последнем эпизоде — дама, не слишком привлекательная, приходилась двоюродной сестрой дону Хуану де Бурбону, претенденту на испанский престол — Максу вновь пришлось танцевать, причем много. В том числе и «Болеро» Равеля, и танго «Старая гвардия». И танцевал он, вероятно, дьявольски хорошо, потому что, когда все кончилось, жертва горячей всех отстаивала перед португальской полицией его невиновность. Макса Коста ни в чем заподозрить невозможно, утверждала она. Он джентльмен с головы до ног.

— Да... — задумчиво протягивает Меча, вновь поглядев на балкон, откуда только что ушли Хорхе с Ириной. — Армандо был совсем другим.

Макс знает, она сравнивает первого мужа не с ним. Она продолжает думать о той Испании, что погубила композитора, об Испании, куда она ни за что не желает возвращаться. Макс знает это — но все равно чувствует легкую досаду. След былого раздражения к человеку, с которым, по сути дела, общался лишь несколько дней на борту «Кап Полония» и в Буэнос-Айресе.

— Это я уже слышал... Помню-помню: образованный, с творческим воображением, с либеральными убеждениями... И синяки на твоем теле я тоже помню.

Меча Инсунса, насторожившись уже от его тона, смотрит осуждающе. Потом поворачивает голову к заливу, где чернеет конус Везувия.

— Прошло так много лет, Макс... Это тебя недостойно.

Он не отвечает. Только смотрит на нее. Глаза Мечи сощурены от солнечного блеска, и оттого виднее становятся многочисленные мелкие морщинки вокруг глаз.

— Я вышла замуж очень рано... И благодаря Армандо заглянула в темные глубины себя самой.

— Он развратил тебя. В определенном смысле.

Прежде чем ответить, она качает головой.

— Нет. Хотя, быть может, главное в этом — «в определенном смысле». Все, что я познала, уже пребывало во мне. Армандо всего лишь поставил передо мной зеркало. И провел по моим собственным темным закоулкам. А может быть, и это тоже не так. И он всего лишь мне их показал.

— А ты повторила этот номер со мной.

— Тебе самому нравилось смотреть. Вспомни эти зеркала в отеле.

— Нет. Мне нравилось смотреть, как ты смотришь.

От внезапного звонкого смеха, кажется, молодеют медовые глаза. Она по-прежнему сидит вполоборота и смотрит на залив.

— Нет, друг мой... Ты всегда был другой породы. Совсем другой. Всегда оставался чист, несмотря на все твои грязные трюки. Так душевно здоров. Верен и прямодушен даже в своих изменах и обманах. Настоящий солдат.

— Ради бога, Меча. Ты была...

— Теперь уже не имеет никакого значения, кем и какой я была, — сделавшись внезапно очень серьезной, она поворачивается к нему. — А вот ты был и остаешься обманщиком. И нечего смотреть на меня так. Я очень хорошо знаю этот чрезмерно честный взгляд. Лучше, чем тебе кажется.

— Я правду говорю! — возражает Макс. — Я и подумать не мог, что для тебя это сколько-нибудь важно.

— И поэтому ты смылся из Ниццы? Не дождавшись результата?.. О господи. Такой же дурак, как и все остальные. И в том твоя ошибка.

Она откидывается назад, на спинку стула. И замирает на минуту, словно отыскивает в постаревшем человеке, которого видит перед собой, прежние черты.

— Ты прожил жизнь на вражеской территории, — говорит она наконец. — Ты был на самой настоящей и нескончаемой войне — достаточно было увидеть твои глаза. В таких ситуациях мы особенно остро чувствуем, что вы, мужчины, смертны и задержались возле нас на миг, по пути на фронт, нам неведомый. И тогда мы чувствуем, что готовы влюбиться еще чуточку сильней.

— Мне никогда не нравились войны. Люди вроде меня неизменно их проигрывают.

— Сейчас уже все равно, — холодно кивает она. — А мне вот нравится, что время так и не совладало с этой твоей улыбкой славного малого... С твоей элегантностью последних солдат при Ватерлоо... Ты напоминаешь мне мужчину, которого я забыла. Ты постарел, и я не о физическом облике говорю. Полагаю, это случается со всеми, кто достиг какой-то определенности. Как у тебя обстоит дело с определенностями, Макс?

— Весьма посредственно. Уяснил только, что людям свойственно сомневаться, вспоминать и умирать.

— Без этого нельзя. Только сомнение поддерживает в человеке молодость. Определенность же — нечто вроде зловредного вируса. Он заражает тебя старостью.

Снова на скатерть ложится ее рука. В отметинах лет.

— Воспоминания, ты сказал. Люди вспоминают и умирают.

— В моем возрасте — да. Остается только это.

— А сомнения?

— Сомнений почти нет. Есть неуверенность, а это иное.

— А что вспоминаешь, глядя на меня?

— Женщин, которых забыл.

Меча словно бы чувствует его раздражение — она чуть склоняет голову набок, с любопытством глядя на него.

— Врешь, — произносит она.

— Докажи.

— Докажу. Обещаю тебе. Дай мне несколько дней.

Он смочил губы в джин-фисс[[46]](#footnote-46) и оглядел гостей. Собрались уже почти все, не больше двадцати человек. Это был прием «black-tie»: мужчины в смокингах, дамы в вечерних платьях. Драгоценностей мало, да и те очень скромные, гул разговоров, которые идут большей частью по-французски или по-испански, приглушен. Все это были друзья и знакомые Сусанны Ферриоль. Несколько беженцев — но не того разряда, которых показывают обычно в кинохронике. Остальные — члены международного сообщества, осевшего в Ницце и ее окрестностях. На ужине хозяйка представляла здешним новых людей — супругов Колль, сумевших выбраться из красной Каталонии. На их счастье, помимо барселонской квартиры в доме, построенном по проекту Гауди, виллы в Паламосе, нескольких фабрик и магазинов, ныне принадлежавших тем, кто на них работал, у четы в европейских банках лежали деньги — и в достаточном количестве, чтобы спокойно дождаться, когда в Испании все пойдет как прежде. Несколько минут назад Макс присутствовал при оживленном разговоре сеньоры Колль — низкорослой, широкобедрой, большеглазой и очень бойкой — с несколькими гостями, которым она оживленно повествовала, как они с мужем колебались, не зная, что предпочесть — Биарриц или Ниццу, — и выбрали последнюю по причине благоприятного климата.

— Моя милая Сюзи любезно подыскала нам виллу в аренду. Здесь же, в Бороне... В «Савое» было, конечно, неплохо, но... Свой дом — это свой дом, что там говорить... Кроме того, благодаря «Голубому экспрессу» до Парижа — рукой подать.

Макс поставил пустой бокал на стол между двух огромных окон, откуда открывался вид на все, что окружало ярко освещенный дом, — гравийную дорожку и беседку перед главным входом, шеренгу поблескивавших в свете фонарей автомобилей под пальмами и кедрами и сигаретные огоньки в кучке шоферов, собравшихся у каменной лестницы. Макса привезла в своем «Крайслере-Империаль» баронесса Шварценберг, которая сейчас сидела в соседней гостиной с бразильским киноактером. За деревьями, плотно теснившимися в саду, вдоль темного пятна моря простерлась сверкавшая огнями Ницца с Жетé-Променад, вклинившимся в залив, вправленным в нее, как драгоценный камень — в оправу.

— Еще коктейль, мсье?

Он покачал головой и, пока лакей с подносом удалялся, снова окинул взглядом все вокруг. Приветствуя гостей, маленький джаз-банд играл в гостиной, где сильно пахло цветами в больших вазах из красно-синего стекла. До ужина оставалось двадцать минут. Через застекленную дверь виднелся стол, накрытый на двадцать два куверта. Если верить схеме на пюпитре у дверей, место сеньору Косте было отведено почти на самом конце стола. Соответственно его роли на сегодняшнем вечере — сопровождающего баронессы Шварценберг, то есть далеко не главной. Когда его представили Сюзи Ферриоль, она точно отмерила ему улыбку, не менее точно отвесила несколько слов — ровно столько, сколько полагалось произнести приветливой и знающей свой долг хозяйке: «...очень приятно... рада видеть вас у себя...» — и, проведя в гостиную, познакомив с несколькими приглашенными, поставив рядом с лакеями, мгновенно позабыла о его существовании. Сусанна Ферриоль, Сюзи для близких — черноволосая, очень тонкая, высокая, ростом почти с Макса, женщина с резко очерченным, угловатым лицом, на котором выделялись огромные черные глаза. В нарушение этикета она была не в вечернем платье, а в изящнейшем брючном костюме — белом, в серебряную полоску, который выгодно подчеркивал ее исключительную стройность и наверняка — Макс прозакладывал бы свои перламутровые запонки — где-то на подкладке был помечен ярлычком «Шанель». Сестра Томаса Ферриоля скользила среди своих гостей с утонченно-манерной томностью, без сомнения, намеренной и несколько нарочитой. Как сказала по дороге на виллу баронесса Шварценберг, развалившаяся на заднем сиденье: «Элегантность можно приобрести деньгами, воспитанием, прилежанием и умом, но вот носить ее с полнейшей естественностью, мой дорогой, — фары пронесшейся навстречу машины высветили язвительную усмешку на лице женщины, — дано лишь тому, кто не то что сделал первые шаги, а и ползать-то начинал по настоящим персидским коврам. Да и этого мало, должно смениться два поколения, как минимум. А семейство Ферриоль разбогатело еще слишком недавно: папаша заработал свои первые деньги только во время Великой войны на контрабанде табака с Майорки».

— Но, разумеется, бывают исключения. И ты — одно из них, друг мой. Мало кто умеет так прохаживаться в холле отеля, подносить огня даме или заказывать вино у сомелье, как это делаешь ты. Я, по крайней мере, редко встречала такое. А ведь родилась в ту пору, когда Санкт-Петербург еще не был Ленинградом. Так что поверь, кое-что видела.

Макс сделал несколько по-охотничьи осторожных шагов по гостиной. Хотя сама вилла была выстроена в типичном стиле начала века, внутреннее ее убранство, как предписывали требования новейшей моды, отличалось аскетической простотой и функциональностью — прямые, отчетливые линии, голые стены, лишь кое-где украшенные модернистскими полотнами, мебель из стали, полированного дерева, кожи и стекла. Живые глаза бывшего жиголо, ставшие в силу его профессионального ловкачества особенно цепкими и острыми, зорко, не упуская ни единой подробности, оглядывали и место действия, и действующих лиц. Вечерние туалеты, драгоценности, украшения, разговоры. Табачный дым. Остановившись между гостиной и вестибюлем якобы для того, чтобы достать сигарету, он бегло оглядел лестницу, ведшую на второй этаж. Он изучил план дома и знал, что там располагаются библиотека и кабинет, где работал Томас, когда наезжал в Ниццу. Определить местоположение библиотеки труда не составило: за полуоткрытой дверью золотились в глубине комнаты книжные корешки. Держа в руке портсигар, он сделал еще несколько шагов и снова остановился — на этот раз будто бы желая повнимательней рассмотреть пятерых музыкантов, которые в окружении кадок и горшков с цветами, неподалеку от стеклянной двери в сад играли нежный свинг «I Can’t Get Started». Прислонившись к двери библиотеки рядом с французской парой, о чем-то негромко спорившей, — женщина была белокура и хороша собой, с чересчур ярко подведенными глазами, — он наконец вытащил и прикурил сигарету и, заглянув внутрь, увидел дверь в кабинет, по сведениям итальянцев, неизменно запертый на ключ. Да, проникнуть будет нетрудно, заключил он. Второй этаж, и окна без решеток. Вмурованный в стену сейф находится в шкафу с раздвижными дверцами, возле окна. Возможный путь. Один из двух. А второй — застекленная дверь на террасу, неподалеку от которой устроились музыканты. Алмазный резец для стекла или отвертка для окна, отмычка для дверного замка. Час работы, немного везения — и дело будет сделано.

Макс спохватился, что слишком долго стоит здесь, в вестибюле, один, а это не вполне удобно. Затянулся, оглядываясь по сторонам с самым беззаботным видом. Входили последние припозднившиеся гости. Он уже кое с кем познакомился, обменялся приличествующими случаю улыбками и любезностями. После ужина иные решатся потанцевать, и хотя обычно это открывало Максу широкие возможности (особенно в отношении замужних дам: неурядицы в супружеской жизни, случавшиеся едва ли не у каждой, укатывали ему дорожку и облегчали беседу), сегодня вечером он решил не вступать на эту зыбкую почву. Ни к чему было привлекать к себе внимание. Совершенно ни к чему, не время и не место — на кону стояло слишком многое. Тем не менее он время от времени ловил на себе любопытные взгляды. Донеслось приглушенное: «А кто этот красавчик...» и прочее в том же роде. Максу было тридцать пять лет, и пятнадцать из них он занимался истолкованием таких взглядов. Его присутствие здесь всеми было объяснено как не вполне явная liason[[47]](#footnote-47) с Асей Шварценберг, и это прекрасно вписывалось в рамки общепринятых приличий. Он решил подойти к группе гостей — дама и один из мужчин сидели на кожаном, со стальными ножками диване, а другой стоял рядом. В самом начале вечера Макс успел переброситься несколькими шутливыми словами с этим грузноватым, очень коротко стриженным человеком с пшеничными усами и получить от него визитную карточку, где было написано: «Эрнесто Келлер, вице-консул Чили в Ницце». Знакома ему была и дама. Актриса, кажется, припоминал он сейчас. Тоже испанка. Красивая и серьезная. Кончита что-то там. Монтеагудо вроде бы. Или Монтенегро. Еще не тронувшись с места, в большом овальном зеркале над узким стеклянным столиком он увидел себя — ослепительную белизну платка в нагрудном кармане сорочки меж атласно лоснящихся отворотов, крахмальных манжет, на точно выверенные полдюйма выпущенных из рукавов приталенного смокинга; свою правую руку, небрежно заложенную в карман брюк, и левую, державшую дымящуюся сигарету на весу так, что на запястье виднелась полоска браслета и краешек золотых плоских часов «Патек Филипп» за восемь тысяч франков. Потом оглядел свои лакированные туфли, попиравшие крупные коричнево-белые ромбы ковра, и подумал о капрале Долгоруком-Багратионе. И о том, что́ между двумя бокалами коньяка сказал бы его друг, увидев его при таком параде. Долгий, долгий путь прошел мальчуган, игравший на берегу Риачуэло в Буэнос-Айресе, солдат с винтовкой, бежавший среди трупов по прокаленному склону Монт-Аррюи, прежде чем под ноги ему лег этот ковер, что устилал полы виллы на Лазурном Берегу. Но осталось еще преодолеть нелегкий отрезок пути до двери кабинета, непроницаемо, как Судьба, ожидавшей в глубине библиотеки. Макс коротко вдохнул точно отмеренную порцию дыма, думая меж тем, что на иных дорогах опасные случайности подстерегают человека всегда, — и воспоминание о Фито Мостасе, наложившись на всплывшие в памяти лица итальянцев, вновь всколыхнуло улегшееся было беспокойство. Еще он подумал, что счастливым можно счесть лишь тот день, когда, погружаясь в тревожный и зыбкий сон, понимаешь, что сумел пережить его и оставить позади.

В этот миг откуда-то совсем близко повеяло нежными духами. «Arpège» — скорее угадал, чем узнал Макс. И, обернувшись — со времен Буэнос-Айреса минуло девять лет, — увидел рядом с собой Мечу Инсунсу.

## 8. La vie est brève[[48]](#footnote-48)

— Все еще отдаешь предпочтение турецкому табаку? — заметила она.

Во взгляде Мечи было больше любопытства, чем удивления, словно она пыталась пригнать на место и собрать воедино разбросанные частицы целого — отлично скроенный смокинг, черты лица. Те же отблески электрического света, что, казалось, повисли у нее на ресницах, скользили по атласному вечернему платью цвета мрамора, обрисовывавшему плечи и бедра, по обнаженным рукам, по желобку между лопаток, видному в глубоком вырезе.

— Ты здесь, Макс?

Она произнесла это после секундного молчания. И это был не вопрос, а констатация факта со вполне очевидным значением — делать ему на вилле было абсолютно нечего, и, стало быть, появиться он тут не мог ни под каким видом. Самая замысловатая жизненная траектория естественным порядком не могла бы привести человека, с которым Меча Инсунса познакомилась на борту лайнера «Кап Полоний», в этот дом.

— Отвечай... Что ты здесь делаешь?

В ее настойчивом тоне появились жесткие нотки. Макс, после первоначального ошеломления и мгновенного приступа паники постепенно обретавший хладнокровие, понял, что, если промолчит, совершит ошибку. Подавив желание отступить и сжаться — так, вероятно, поступает устрица, когда на нее выжимают лимон, — он встретил глазами двойной медовый отблеск и попытался оправдать все одной улыбкой.

— Меча, — сказал он.

Улыбка и два слога ее имени. Это был всего лишь способ выиграть время. Меж тем он лихорадочно соображал или пытался соображать. Безуспешно. Осторожно, почти незаметно он стрельнул глазами в обе стороны, проверяя, не привлек ли этот диалог чье-либо внимание. Но, судя по тому, как загустел текучий мед под изогнутыми дугами отчеркнутых коричневым карандашом бровей, Меча перехватила его взгляды. Сохранилась на диво, совершенно не к месту подумал Макс. Расцвела, обрела какую-то законченность, стала еще женственней. Он посмотрел на чуть приоткрытый рот в ярко-красной помаде — гнева на ее лице по-прежнему было меньше, чем ожидания, — потом скользнул взглядом вниз, к шее. Остановил его на ожерелье — на трех витках отборных жемчугов, посверкивающих мягко, почти матово. И не смог совладать со своим изумлением. То ли это была точная копия колье, проданного им девять лет назад, то ли оно вернулось к ней.

Вероятно, это меня и спасло, подумал он чуть погодя. Вот эта растерянность при виде ожерелья. И внезапный промельк торжества в ее глазах, когда она, как сквозь прозрачное стекло, прочла его мысли. Презрение сменилось насмешкой, а потом задвигалось горло, задрожали губы от еле сдерживаемого смеха — и вот он прорвался, выплеснулся наружу. Держа маленькую сумочку-baguette из змеиной кожи в одной руке, она подняла другую, и пальцы — длинные, точеные, с одним-единственным обручальным кольцом и выкрашенными в цвет помады ногтями — легли на ожерелье.

— Я получила его назад через неделю, в Монтевидео. Армандо выкупил его для меня.

В памяти Макса промелькнуло лицо композитора. После Буэнос-Айреса он несколько раз встречал его фотографии в иллюстрированных журналах и видел в выпусках кинохроники кадры в сопровождении его знаменитого танго.

— Где он сейчас?

И, задав этот вопрос, с тревогой завертел головой, спрашивая себя, до какой степени присутствие Армандо де Троэйе способно осложнить его положение. Но успокоился, увидев, как она хмуро пожимает плечами:

— Здесь его нет. Он сейчас далеко отсюда.

Годы рискованных переделок закалили характер Макса, научили самообладанию. Владеть собой, обуздывать свои чувства очень часто означало пройти на волосок от опасности. Вот и сейчас, соображая стремительно и отчетливо, он ясно осознавал, что если выкажет беспокойство, то может оказаться к воротам французской тюрьмы ближе, чем хотелось бы, — и эта непреложность придала ему уверенности. Показала, как перехватить инициативу или хотя бы уменьшить возможный ущерб, парадоксальным образом подсказала, что спасти его может именно колье.

— Колье... — произнес он вслух.

Произнес, не зная, чем продолжить, и желая лишь еще потянуть время, чтобы выстроить оборону. Но и этого хватило. Меча вновь прикоснулась к жемчугам. На этот раз она не смеялась, но глядела с улыбкой вызова и торжества.

— Аргентинская полиция оказалась на высоте. Выслушали моего мужа, заявившего о пропаже колье, и связали его со своими уругвайскими коллегами. Армандо отправился в Монтевидео и выкупил колье у ювелира, которому ты его продал.

Макс уже докурил и теперь с таким видом, словно это требовало предельного внимания, оглядывался, ища, куда бы выбросить дымящийся окурок. Потом погасил в тяжелой пепельнице резного стекла, стоявшей на столике неподалеку.

— Ты больше не танцуешь, Макс?

Он наконец взглянул на нее. Взглянул прямо в глаза, собрав все свое спокойствие. И с надлежащей выдержкой — и потому она, задав свой язвительный вопрос, посмотрела внимательно и задумчиво и кивнула, словно отвечая самой себе на какой-то невысказанный и потому неведомый Максу вопрос. Словно ее разом и забавляло, и удивляло проявленное им спокойствие. Его бесстыдная невозмутимость.

— Веду теперь другую жизнь, — сказал он наконец.

— Ривьера — недурное место для этого. Откуда ты знаешь Сюзи Ферриоль?

— Меня привезла приятельница. Ее и моя.

— Кто именно?

— Ася Шварценберг.

— А-а.

Гости меж тем потянулись в столовую. Оставляя за собой облако чересчур резких духов, мимо прошла хорошенькая блондинка, спорившая со своим спутником, который глядел на карманные часы.

— Меча. Ты...

— Перестань, Макс.

— Я слышал танго. Тысячу раз.

— Да. Наверное, слышал.

— Я хочу кое-что тебе объяснить.

— Объяснить? — Снова блеснул двойной золотистый высверк. — Что-то новенькое... А я, увидев тебя, подумала было, что с годами ты стал хоть чуточку лучше. Предпочитаю твой цинизм твоим объяснениям.

Макс счел, что благоразумней будет не отвечать. Он прямо и очень спокойно стоял рядом с женщиной, сунув четыре пальца правой руки в карман смокинга. И увидел, как она слегка, словно потешаясь над собой, улыбается.

— Прежде чем подойти, я наблюдала за тобой издали.

— Не заметил. К сожалению.

— Я знала, что ты меня не видишь. Ты о чем-то так сосредоточенно размышлял. Интересно, о чем.

Не вытянешь, мысленно ответил Макс. По крайней мере, не сегодня. Или, в крайнем случае, не раньше, чем подадут кофе и предложат курить. Тем не менее, несмотря на эту мгновенную уверенность, он ощущал, что вступает на скользкий путь. Нужно было подумать. И понять, сильно ли Меча Инсунса осложнила положение своим внезапным выходом.

— Я сразу тебя узнала, — продолжала она. — Просто хотела решить, что делать.

Она показала в другой конец вестибюля, где у лестницы на второй этаж стояли кадки с большими фикусами и стол, с которого официант убирал порожние стаканы.

— Я смотрела на тебя, спускаясь по лестнице, потому что ты не присел. Один из немногих. Есть мужчины, которые садятся, а есть которые остаются на ногах. И вот таким я доверять не склонна.

— И давно ли?

— С тех пор, как познакомилась с тобой. Не помню, чтобы ты когда-нибудь присаживался. Ни на пароходе, ни в Буэнос-Айресе.

Они сделали несколько шагов по направлению к столовой и остановились уточнить свои места по схеме рассадки. Макс мысленно выругал себя за то, что раньше не взглянул на имена гостей. Ее имя, разумеется, значилось там. Вот оно: «Сеньора Инсунса».

— И что же ты тут делаешь? — спрашивает он.

— Живу неподалеку... Переехала сюда из-за того, что творится в Испании. Сняла дом в Антибе. Иногда захаживаю к Сюзи. Она моя одноклассница.

В столовой гости меж тем рассаживались вокруг стола, сверкавшего серебром приборов на белой скатерти и витыми канделябрами из разноцветного стекла. Сусанна Ферриоль, заметив, что новое лицо — Макс-то был уверен, что она не запомнила даже, как его зовут, — ведет приватную беседу с ее подругой, поглядела на них в легком замешательстве.

— А ты? Ты ведь еще не сказал мне, что ты делаешь в Ницце? Хотя... могу предположить.

Он послал ей улыбку. Светскую, милую, чуть утомленную. Рассчитанную до миллиметра.

— Боюсь, предположения твои ошибочны.

— Вижу, ты довел эту свою улыбку до полного совершенства, — она взирала на него сверху вниз с насмешливым восхищением. — В чем еще ты прибавил мастерства за эти годы?

Он издали наблюдает за Ириной Ясенович — та стоит у кафедрального собора Сорренто: темные очки, сандалии на плоской подошве, мини-юбка из набивной ткани. Девушка рассматривает витрину одежного бутика на Корсо Италия, а Макс стоит на другой стороне улицы до тех пор, пока Ирина не отправляется дальше — к площади Тассо. Он следит без конкретной цели: хочет просто незаметно понаблюдать за ее действиями теперь, когда обнаружилось, что она тайно связана с командой Соколова. Вероятно, им движет обыкновенное любопытство. Желание подобраться поближе к узлу интриги. Нечто подобное ему уже удалось проделать в отношении Эмиля Карапетяна, когда после завтрака встретил его в одной из гостиных — погрузив в кресло свои обширные телеса, тот сидел с пачкой газет. Все выяснилось в обмене приветствиями и замечаниях о погоде и кратчайшей беседе о возможном развитии матча; причем Карапетян, развернувший на коленях газету, отвечал если не односложно, то скуповато и неохотно и вообще был явно не склонен ни к каким разговорам с этим седоватым, воспитанным и элегантным джентльменом с чарующей улыбкой, состоящим, судя по всему, в давних дружеских отношениях с матерью его воспитанника. Когда же Макс поднялся и позволил наконец собеседнику уткнуться в газету, он смог сделать единственный вывод: армянин слепо верит в превосходство своего подопечного и, каков бы ни был исход матча в Сорренто, ни минуты не сомневается, что через несколько месяцев чемпионом мира станет Хорхе Келлер.

— Он играет в шахматы будущего, — подвел итог Карапетян, и это была самая пространная его тирада за все время разговора. — По сравнению с тем, что он делает за доской, от оборонительного стиля русских явственно несет нафталином.

Карапетян — не предатель, пришел к выводу Макс. Он не из тех, кто продаст своего ученика за тридцать советских сребреников. Тем не менее шофер доктора Хугентоблера и на собственной шкуре, и по опыту ближних знал, как тонки и непрочны нити, которые удерживают человека от измены и обмана. Дело главным образом в том, что предатель, раздумывая над своим решением, получает некий последний толчок — причем со стороны человека, которого намеревается предать. Никто не застрахован от этого, едва ли не с облегчением думает Макс, шагая по Корсо Италия на почтительном расстоянии от невесты Хорхе Келлера. Кто способен сказать, глядя в глаза своему отражению в зеркале: «Я не предавал никогда» или «Я не предам никогда»?

Девушка садится за столик в кафе «Фаусто». После недолгого размышления Макс с независимым видом подходит, заводит разговор. Но перед этим незаметно осматривается. Не потому, что ищет советских агентов, прячущихся за пальмами, — нет, подобные предосторожности давным-давно вошли у него в полезную привычку и стали машинальными. Если у старого волка стерлись клыки и хвост облез, думает он с горьким и извращенным юмором, это еще не значит, что территория, где он охотится, оскудела на неприятные неожиданности.

Едва ли здесь пригодится мне навык общения с юными женщинами, думает он, садясь. Другое поколение. И в ожидании заказанного негрони он болтает о всякой всячине, разглядывая голые коленки.

— В Сорренто прекрасно... А в Амальфи не доводилось бывать? А на Капри? — Испытанные, без промаха бьющие улыбки, любезные повадки, тысячекратно проверенные и отработанные. — В это время года туристов там поменьше. Рекомендую и ручаюсь — не пожалеете.

Писаной красавицей ее не назовешь, еще раз убеждается он. Но и отнюдь не дурнушка. В самом деле очень молода. Пленяет скорее свежестью, нежели чем-то другим. Привлекательность двадцатилетних действует на тех, кто склонен поддаться очарованию юности. Ирина сняла темные очки — несуразно огромные, в белой оправе — и теперь видно, что глаза, выразительные и большие, подведены черным — вот и вся ее косметика. Волосы собраны в хвост и перехвачены широкой лентой того же цвета и в том же стиле «поп-арт», что и платье. Подвижное, легко меняющее выражение лицо сейчас любезно и приветливо. Шахматы не влияют на характер, делает вывод Макс. Ни на мужской, ни на женский. Мощный интеллект, математический склад ума, великолепная память прекрасно сочетаются с безразлично-светской улыбкой, с бесцветной речью, с пошловатыми ужимками. Шахматисты не выделяются умом среди остального человечества, вспоминает он слова Мечи Инсунсы, сказанные дня два назад. Просто у них другой ум. Их приемники работают на другой частоте.

— Представить себе не мог, что из Мечи получится такая заботливая мать, — говорит Макс, пуская пробный шар. — Я запомнил ее совсем другой.

Ирину, кажется, заинтересовали его слова. Подавшись вперед, она ставит локти на стол — между ними в стакане с кока-колой плавают кубики льда.

— Вы давно не виделись с ней?

— Много лет. А дружим с незапамятных времен.

— Какой счастливый случай свел вас в Сорренто.

— По-настоящему счастливый.

Официант приносит ему коктейль. Макс подносит стакан к губам, а девушка смотрит на него с нескрываемым любопытством.

— А с отцом Хорхе вы были знакомы?

— Шапочно. И недолго. Перед войной. — Он медленно ставит стакан на стол. — Первого мужа Мечи я знал лучше.

— Армандо де Троэйе? Музыканта?

— Да. Автора знаменитого танго.

— А, ну конечно. Танго.

Она глядит на конные экипажи, в ожидании туристов стоящие на площади. Кучера собрались под пальмами, в тени.

— Какой, должно быть, это был чарующий мир... Эти наряды... Эта музыка... Меча рассказывала, что вы танцевали совершенно исключительно.

Лицо Макса принимает выражение, находящееся где-то на полдороге от учтивого протеста к скромно-достойному признанию заслуги. Он научился ему лет тридцать назад, подсмотрев в какой-то картине Алессандро Блазетти.

— А какой она была в те годы?

— Элегантна. И необыкновенно хороша. Одна из самых привлекательных женщин, каких я встречал в жизни.

— Мне трудно представить ее такой... Она ведь мать Хорхе.

— А как она справляется с ролью матери?

Пауза. Ирина гоняет соломинкой лед в стакане, но не пьет.

— Думаю, что все же спрашивать об этом надо не меня...

— Она поглощает его?

— В известном смысле она его выковала. — Девушка снова замолкает на мгновение. — Без нее Хорхе не стал бы тем, кем стал. И тем, кем еще станет.

— Хотите сказать, он был бы счастливей?

— Ой нет, ну что вы... Ничего подобного. Хорхе — счастливый человек.

Макс, вежливо кивнув, отпивает еще глоток негрони. Ему не надо напрягать память, чтобы вспомнить счастливых людей, чьи жены изменяли им — с ним, с Максом Коста.

— Она никогда не собиралась сотворить из него чудовище, как другие матери, — добавляет Ирина через минуту. — Старалась воспитывать как обычного ребенка. Но так, чтобы это совмещалось с шахматами. И ей это удалось — хотя бы отчасти.

Последние слова она, глядя на площадь, произнесла торопливо и даже чуть озабоченно, словно Меча Инсунса могла появиться здесь в любую минуту.

— Он в самом деле был вундеркиндом?

— Судите сами: в четыре года он научился писать, глядя, как это делает мать, в пять мог перечислить без запинки столицы всех государств мира... И она очень рано поняла не только то, кем он может стать, но и чего ни в коем случае не должно случиться. И, что называется, разбилась в лепешку, чтобы не допустить этого.

При слове «разбилась» лицо ее на миг каменеет.

— Так было и раньше, и теперь... Постоянно. Она словно боится, как бы его не забыли. Не оттеснили в сторону.

Громкий выхлоп промчавшейся мимо «Ламбретты» заставляет ее вздрогнуть.

— И нельзя не признать ее правоты, — добавляет Ирина чуть погодя. — Многих постигла эта участь. Мне ли не знать...

— Не преувеличивайте. Вы ведь еще так молоды.

От скользнувшей по ее лицу усмешки — быстрой и едва ли не жестокой — девушка кажется лет на десять старше. Потом опять становится прежней.

— Я играю с шести лет. И видела, сколько шахматистов плохо кончили. Превратились в карикатуры на самих себя. Для того, чтобы стать первым, нужна адская работа. Особенно если знаешь, что никогда не станешь.

— Вы мечтали стать первой?

— Почему вы говорите в прошедшем времени? Я продолжаю выступать.

— Виноват. Я не знал. Думал, секунданты — это нечто вроде куадрильи вокруг тореро в Испании. Люди, не сумевшие стать «эспада», переходят в разряд помощников. Но, пожалуйста, простите... я вовсе не хотел вас обидеть.

Она глядит на руки Макса. На старческие пятна, покрывшие тыльную сторону кистей. На выхоленные закругленные ногти.

— Вы не знаете, что такое поражение.

— Как вы сказали?! — едва ли не со смехом переспрашивает Макс. — Чего я не знаю?

— Достаточно лишь раз увидеть его...

— А-а.

— Сидеть за доской и видеть последствия своей тактической ошибки. Убеждаться в том, как легко улетучиваются твой талант, твоя жизнь...

— Понимаю вас. Однако не думайте, что поражения знакомы только шахматистам. Они, знаете ли, далеко не исключение.

Ирина будто не слышит.

— Я тоже помнила все страны и их столицы, — говорит она. — И еще много всякой всячины. Однако дела не всегда идут так, как должны.

Она улыбается с видом почти героическим. В расчете на почтеннейшую публику. Только совсем девчонка может улыбаться так, думает Макс. Веря, что подействует.

— Трудно, когда ты женщина, — произносит Ирина, стирая с лица улыбку. — Все еще трудно...

Солнце, перебираясь со стола на стол, освещает теперь ее лицо. Она щурится, надевает очки.

— Знакомство с Хорхе открыло передо мной новые возможности. Проживать все это вблизи.

— Вы любите его?

— Вы полагаете, возраст дает вам право на такую бесцеремонность? — вопросом на вопрос отвечает она.

— Ну да. Должны же быть хоть какие-то преимущества...

Молчание. Гул машин. Отдаленный автомобильный гудок.

— Меча говорит, когда-то вы были очень хороши собой.

— Разумеется, был. Раз она так говорит.

Теперь лучи дотянулись и до Макса, который видит двойное отражение своего лица в больших черных стеклах ее солнечных очков.

— Да, конечно, — говорит она безразлично. — Конечно, я люблю Хорхе.

Она закидывает ногу на ногу, и Макс невольно смотрит на эти юные обнаженные колени. Кожаные сандалии на плоской подошве открывают пальцы с ногтями, выкрашенными в темно-темно-красный, почти лиловый цвет.

— Иногда я рассматриваю его, когда он сидит за доской, — продолжает Ирина. — Гляжу, как он передвигает фигуры, как делает свои рискованные ходы, и думаю, что очень люблю его... А иногда — когда он совершает ошибку, отказывается от того, что накануне мы приготовили вместе, и в последний момент меняет решение или медлит... В такие минуты я его ненавижу всей душой.

Она замолкает на мгновение, словно прикидывая, насколько точно сформулировала то, что чувствует.

— И мне кажется, что, когда он не играет, я люблю его больше.

— Это естественно. Вы оба еще так молоды.

— Нет... Молодость тут ни при чем.

На этот раз молчание затягивается так надолго, что Макс думает — разговор окончен. Поймав взгляд официанта, он двумя пальцами чертит в воздухе зигзаг, имитирующий роспись на счете.

— А знаете, что я вам скажу? — неожиданно говорит Ирина. — Когда Хорхе играет на турнире, его мать каждое утро спускается в ресторан за десять минут до завтрака, чтобы убедиться: к его приходу все готово.

Максу чудится в ее голосе нотка неприязни. Отзвук досады. Ему ли не знать их?

— И что же? — спрашивает он мягко.

— Да ничего, — Ирина поворачивает голову, и в черных зеркалах очков качается лицо Макса. — Потом спускается он сам, а на столе уже апельсиновый сок, фрукты, кофе, тосты. Все его ждет.

Между темными пространствами воды и неба, время от времени озаряемыми проблесками маяка, медленно скользили красные и зеленые огни корабля, выходящего из порта Ниццы. Отделенная от него угрюмым холмом с замком на вершине, светящаяся кривая города растянулась на другом берегу, повторяя контур залива Анж и слегка изгибаясь к югу, отчего отдельные ее отрезки прорывали непрерывность линии и карабкались кверху, к невидимым окрестным высотам.

— Холодно, — зябко вздрогнула Меча Инсунса.

Она сидела за рулем автомобиля, на котором и доставила сюда Макса: в темноте виднелось светлое пятно ее платья и кружевной шелковой шали с длинными кистями. Макс подался вперед с соседнего сиденья, снял с себя пиджак, набросил ей на плечи. Оставшись в легком жилете поверх сорочки, он тоже почувствовал, как рассветный холод просачивается в салон через щели между корпусом кабриолета и поднятым верхом.

Меча порылась в сумочке. В темноте Макс не видел ее, но слышал, как она смяла пустую пачку сигарет. Она выкурила все, что было, в машине, когда после ужина они приехали сюда. И, кажется, прошла уже целая вечность, думал он. С той минуты, как он занял свое место за столом между сухопарой элегантной француженкой средних лет — дизайнером в ювелирной компании «Ван Клееф & Арпельс» — и молоденькой, чересчур сильно надушенной блондинкой — певицей и актрисой Евой Попеску, оказавшейся очень приятной сотрапезницей. За ужином он, уделяя должное внимание соседкам, занимал обеих дам разговором — при том что все же беседовал главным образом с Евой, а она была откровенно рада, что сидевший слева от нее красивый и стройный джентльмен оказался по происхождению аргентинцем. «Я без ума от танго!» — восклицала она то и дело. И хохотала без умолку, особенно когда Макс в самом деле смешно и похоже показывал, как прикуривают или держат бокал Лоуренс Оливье и Лесли Говард, или рассказывал анекдоты — он делал это мастерски, и его испанский акцент придавал французским фразам особый шарм, так что и художница-ювелирша с улыбкой и интересом поворачивалась к нему. И каждый раз, когда юная Попеску принималась хохотать, Макс, скрывая беспокойство, чувствовал на себе взгляды Мечи, сидевшей на другом конце стола рядом со светлоусым чилийцем. Еще он заметил, что за десертом она выпила две чашки кофе и выкурила четыре сигареты.

Потом все произошло так, как и должно было. Никак не форсируя события, Макс и Меча держались порознь, когда гости встали из-за стола. Несколько позднее, когда он беседовал с супругами Колль, юной Попеску и чилийским дипломатом, к ним подошла хозяйка и сказала баронессе, что ее милая подруга Меча Инсунса приехала сюда из Антиба одна, а сейчас собирается домой, потому что ей немного нездоровится, так что она, Сюзи Ферриоль, была бы бесконечно благодарна Анастасии Александровне, если бы та позволила Максу проводить Мечу домой, тем более что, как сейчас выяснилось, они с Максом — старые знакомые. Макс подтвердил это и изъявил готовность отвезти Мечу домой, на что баронесса Шварценберг после кратчайшей, почти незаметной заминки ответила согласием. Ну, разумеется, воскликнула Ася с обворожительной готовностью, она не станет чинить никаких препятствий. Тем более, прибавила она не без лукавства, Макс может стать прекрасным спутником для любой дамы, которая чувствует себя плохо. А также и для той, кто чувствует себя хорошо. Запорхали понимающие улыбки, извинения, слова благодарности, а затем Макса, получившего от баронессы долгий оценивающий взгляд (просто поразительно, как ты умеешь обтяпывать дела такого рода, казалось, говорила она с восхищением), Сюзи Ферриоль, которая, в свою очередь, глядела на него уже новыми глазами, то есть косилась с плохо скрытым любопытством, увела в холл, где ждала, кутаясь в шаль, Меча Инсунса. Церемонно распрощавшись с хозяйкой, они вышли наружу, где, к удивлению Макса, стоял не лимузин с шофером, а маленький двухместный «Ситроен 7С» с работающим мотором — машину только что подогнал к крыльцу валет. Меча, остановившись у открытой дверцы, подкрасила губы, оглядела себя в карманное зеркальце в свете фонарей, выхватывавших из темноты ступени лестницы и ротонду. Потом они сели в машину и минут пять ехали молча: фары отражались от белых фасадов вилл, и Макс видел лишь изящно очерченный профиль. Потом Меча затормозила у моря, на смотровой площадке возле Лазаретто, под пиниями и агавами, откуда открывался вид на маяк, на вход в порт, темное пятно холма и россыпь городских огней за ним, выключила двигатель; они начали разговор, перемежавшийся длительными паузами, не видя лиц друг друга — кроме тех мгновений, когда уголек сигареты разгорался ярче. И не глядя друг на друга.

— Дашь мне тоже турецкую?

Она еще сохраняла остатки непринужденного тона и манер, которые молодые женщины ее поколения усвоили благодаря кинематографу, романам и иллюстрированным женским журналам, — Макс оценил все это еще на «Кап Полонии». Но за прошедшие девять лет повзрослела, утратила девический стиль. Ей должно быть сейчас года тридцать два, тридцать три, прикинул Макс. На два меньше, чем ему.

— Да, конечно! Извини.

Вытащил из внутреннего кармана портсигар, ощупью вытянул сигарету, щелкнул «Данхиллом». Потом, не гася зажигалку, затянулся, выпустил дым и вложил сигарету не в пальцы ей, а прямо между полуоткрытых губ. При огоньке зажигалки снова, как и всякий раз, когда проблескивал маяк, различил ее неподвижный профиль, обращенный к морю.

— Ты мне не сказала, где твой муж.

Весь вечер он подбирался к этому вопросу. Минуло много лет, но слишком много воспоминаний теснилось у него в голове. Слишком яркие картины сохранились в памяти. Отсутствие Армандо де Троэйе определенно искажало ситуацию. Делало ее неполной, незавершенной. И еще более нереальной.

Дважды вспыхивал и мерк красный уголек сигареты, прежде чем Меча заговорила снова:

— Сидит в мадридской тюрьме... Его арестовали через несколько дней после начала мятежа.

— Несмотря на всю его известность?

Послышался горький смешок. Еле слышный.

— Скорей благодаря ей. Это ведь Испания, не забудь. Райские кущи для завистников, варваров и подлецов.

— Пусть так, но я все равно не понимаю... Почему он? Я не знал, что он имеет отношение к политике.

— Политика никогда не имела для него значения. И друзья у него были и левые, и республиканцы, и правые, и монархисты. А его международный успех вызывал у многих злобу. Кроме того, врагов ему добавили интервью в «Фигаро», где он сетует на хаос и критикует правительство. И, будто всего этого мало, республиканское информационное агентство возглавляет коммунист и тоже композитор — весьма-весьма посредственный... Мягко говоря. Ну, вот я все тебе и сказала.

— Я был уверен, что его громкое имя избавит вас обоих от любых неприятностей. Влиятельные друзья, международное признание...

— Армандо тоже так думал. И я. Вышло иначе.

— Ты была там?

Меча кивает. Военный мятеж застал их в Сан-Себастьяне, и Армандо де Троэйе, увидя, какой оборот принимают события, убедил ее перейти границу. Сам он намеревался встретиться с женой в Биаррице, но перед этим должен был автомобилем добраться до Мадрида и уладить там кое-какие семейные дела. Его задержали немедленно по приезде — донесла консьержка.

— Ты о нем что-нибудь знаешь?

— Было одно-единственное письмо — три месяца назад, из тюрьмы Модело. Судя по всему, он и сейчас там. Я поставила на ноги всех друзей, обращалась и к Пикассо, и в Международный Красный Крест. Мы пытались обменять его на кого-нибудь из тех, кто сидит у франкистов, но безрезультатно. Мне очень тревожно. Постоянно доходят известия о казнях с обеих сторон.

— Но тебе хватает денег вести прежний образ жизни?

— Когда живешь в Испании, всегда следует быть настороже, так что Армандо заблаговременно принял кое-какие меры. Здесь есть порядочные люди, благодаря которым все идет, как должно, до тех пор, пока вся эта безумная свистопляска не кончится.

Макс молча смотрел на проблесковые огни маяка. И размышлял о нормальных людях, у которых чужие деньги пребудут в целости и сохранности, а также о том, какой смысл вкладывают, например, гости Сюзи Ферриоль в понятие «как должно». И размышления эти прервались очень хорошо и давно знакомым уколом смутной злобы. В сущности, заключил он, в том, что Армандо де Троэйе был выдан консьержкой и под конвоем отправлен в тюрьму, нет никакой несуразицы, а, напротив, наблюдается известная логика. Время от времени кто-то должен платить от имени и по счету «порядочных людей». Тем не менее слово «безумная» Меча Инсунса употребила довольно точно. Со своим венесуэльским паспортом Макс несколько месяцев назад по делам побывал в Барселоне. Пяти дней хватило, чтобы дать исчерпывающе-печальное представление о том, как республика погружается в хаос: каталонские сепаратисты, коммунисты, анархисты, советские агенты — и каждый за себя, и убивают друг друга вдали от полей сражений. Сводят меж собой счеты с яростью, которую лучше было бы обратить на франкистов. Меча точно определила: зависть, варварство, подлость. Диагноз поставлен верно.

— К счастью, у меня нет детей, — говорила она тем временем. — Неудобно бежать с ними на руках, когда горит Троя. Ты еще не обзавелся потомством?

— Да нет, насколько мне известно.

Повисла недолгая пауза. Макс почуял в ней осторожность. И угадал следующий вопрос:

— И не женился?

Он улыбнулся, благо Меча не могла видеть его лицо.

— Тоже нет. По крайней мере, я ничего об этом не знаю.

Она никак не отозвалась на его шутку. Вновь воцарилось молчание. В десяти метрах ниже каменного парапета подрагивали в черной тихой воде огни.

— Мне как-то раз показалось, я увидела тебя. Издали... Три года назад, на ипподроме в Лоншане. Могло такое быть?

— Могло, — солгал Макс, никогда не бывавший в Лоншане.

— Попросила у мужа бинокль, но не успела вглядеться. Потеряла тебя из виду.

Макс смотрел туда, где высились невидимые в темноте скалы Лазарето. Вилла Сюзи Ферриоль выделялась вдалеке среди темных сосен. Он должен будет подойти к ней отсюда. Подобраться по самой кромке моря и без труда перелезть через ограду где-нибудь в удобном месте. Так или иначе, надо будет рассмотреть все обстоятельно при дневном свете. Изучить место действия. Понять, как войти и, главное, как выйти.

— Странная память осталась у меня о тебе, Макс... Танго «Старая гвардия»... Наше короткое приключение.

Он медленно возвращался к звуку ее голоса. К неподвижному профилю в полумраке.

— Много лет слышу эту мелодию, — продолжает она. — Везде и всюду.

— Надеюсь, твой муж выиграл пари у Равеля?

— Ты и это помнишь? — В ее голосе ему послышалось удивление. — Танго против болеро... Это было очень забавно. И Равель повел себя как полагается... В тот же вечер, после премьеры в парижском «Плейель», он признал поражение и оплатил ужин в «Гран Вефур»... Там был Стравинский и еще кое-кто из друзей.

— Армандо сочинил чудесное танго. Безупречное.

— На самом деле мы сочинили его втроем... Ты танцевал его?

— Много раз.

— Я имею в виду с другими женщинами.

— Я понял.

Меча откинула голову на спинку.

— А что сталось с моей перчаткой? Помнишь, белая? Была у тебя в нагрудном кармане на манер платочка... Я забрала ее в конце концов?

— Забрала, кажется... По крайней мере, у меня ее нет.

— Жаль.

В пальцах опущенной на руль руки была зажата сигарета, и при каждом проблеске маячного огня становились видны спирали синеватого дыма.

— Ты скучаешь по нему? — спросил Макс.

— Бывает, — не сразу ответила Меча. — Но Ривьера — хорошее место. Нечто вроде твоего Иностранного легиона с той разницей, что сюда допускают лишь людей с деньгами: здесь испанцы, сбежавшие от франкистов, или от республиканцев, или от тех и других разом; итальянцы, которым не нравится Муссолини; богатые немцы, спасающиеся от наци... Неудобство только в том, что я уже год как не была в Испании. Из-за этой жестокой и глупой войны.

— Кто же тебе мешает съездить в зону, контролируемую мятежниками? Граница в Эндайе открыта.

— Жестокость и глупость присущи обеим сторонам.

Снова сверкнул уголек. Потом Меча, повертев ручку, опустила стекло и вышвырнула окурок во тьму.

— Так или иначе, я никогда не зависела от Армандо.

— Ты имеешь в виду только деньги?

— Вижу, что дорогая одежда не притупила твою прозорливость, дорогой.

Он знал: женщина смотрит на него, но не поворачивал голову, уставясь в ту даль, где помаргивал маяк. Меча шевельнулась, и он почувствовал близость ее тела. Теплое, вспомнилось ему. Стройное, нежное и теплое. На ужине у Сюзи Ферриоль он восхищался ее обнаженной спиной, низко открытой вырезом атласного платья цвета мрамора, голыми руками, наклоном головы на стройной шее, движениями, любезной улыбкой в разговоре с другими гостями. Внезапную серьезность, когда, вдруг почувствовав, что с другого конца стола она смотрит на него, он ловил взглядом золотистые отблески ее глаз.

— Я познакомилась с Армандо еще девчонкой. Он обладал целым миром и вдобавок к нему воображением.

В памяти Макса беспорядочно заметались смутные картины, яркостью своей повергая его в растерянность. Слишком много ощущений, подумал он. Он предпочитал это слово слову «чувства». И сделал усилие, чтобы взять себя в руки. И вслушаться в то, что говорила Меча.

— Да, — продолжала она настойчиво. — Лучшее, что было в Армандо, — это его воображение. Поначалу.

В оставленное открытым окошко задувал легкий ночной бриз. Но через мгновение она завертела рукоятку, поднимая стекло.

— Он начал с того, что рассказывал мне про женщин, с которыми был близок, — продолжала она. — Для меня это было как игра... Это занимало. Заводило. Дразнило.

— Это он так тебя обольщал. Сукин сын твой Армандо.

— Не говори так... Ты не понимаешь. Все это было частью игры.

Она вновь пошевелилась, и Макс услышал, как еле слышно зашуршала ткань по коже сиденья. Когда они выходили с виллы, он кратким учтивым движением прикоснулся к ее талии, покуда учтиво пропускал вперед в дверях, чтобы тотчас обогнать и спуститься по ступеням первым. И в тот миг, из-за того, что он напряженно осмыслял непривычность положения, и нахлынули на него ощущения — а может быть, это и впрямь были чувства? А сейчас в почти интимной полутьме автомобиля, вспомнив, как обрисовывало вечернее платье ее бедра, он испытал прилив острейшего желания — всамделишного, а не придуманного. Удивившее его самого алчное влечение к этой коже, к этой плоти.

— И в конце концов мы перешли от слов к делу, — говорила меж тем Меча. — Глядели сами и подставлялись под взгляды.

Он возвращался к действительности словно из дальней дали и не сразу, с трудом понял, что она говорит про Армандо де Троэйе. Про их странноватые отношения, свидетелем и врасплох захваченным участником которых он раза два становился в Буэнос-Айресе.

— Я обнаружила в себе — или он помог мне обнаружить — темные, смутные желания. О каких даже и не подозревала. А они разжигали его желания.

— Зачем ты мне это рассказываешь?

— Сейчас, ты хочешь сказать? Сегодня?

Меча замолчала надолго. Казалось, она озадачена тем, что он прервал ее неожиданным вопросом или самим этим вопросом. И когда заговорила снова, голос ее звучал бесцветно и тускло.

— Тогда, в Буэнос-Айресе... В последнюю ночь...

И осеклась — резко и вдруг. Открыла дверцу, вышла из машины, прошла в сосновой тьме до каменных перил смотровой площадки, нависавшей над скалами и морем. Макс в растерянности выждал немного и потом отправился следом.

— Свальный грех, — произнесла она. — Какое гадкое слово.

Под открытым ночным небом мерцали в отдалении огни Ниццы, и вспыхивающий через правильные промежутки времени маяк, казалось, гасил их. Меча куталась в наброшенный на плечи смокинг, из-под которого виднелись светлые кисти ее шали. Макс озяб в одном жилете. Не говоря ни слова, он подошел еще ближе и развел руки Мечи, придерживавшей лацканы, чтобы достать из внутреннего кармана портсигар. И случайно ощутил под шелком шали, под атласом платья ее ничем не стесненную грудь.

— С деньгами все просто. Армандо мог купить мне все. Любую ситуацию.

Макс постучал по крышке последней сигаретой, поднес ее ко рту. Без всякого труда — последняя ночь в Буэнос-Айресе показала ему достаточно — он мог представить себе, о каких ситуациях говорит женщина. Огонек зажигалки на краткий миг осветил его собственные ладони, прикрывавшие пламя от ветра, и, словно придвинув их к глазам, крупные жемчужины колье.

— Благодаря ему я познала наслаждения, которые продлевают наслаждение, — добавила она. — От которых оно делается ярче и насыщенней... Хоть, может быть, и грязней.

Макс беспокойно затоптался на месте. Он не любил слушать такое. Хотя и сам ведь не чуждался подобных забав, подумалось ему. Да, он сам был соучастником — в «Ферровиарии», в заведении Марго... Белокурая танцовщица, одурманенный спиртным и кокаином Армандо де Троэйе валяется на диване в гостиной отеля «Палас», а они с Мечей бесстыдно совокупляются у него на глазах — мутных и осоловелых. Даже сейчас, при одном воспоминании об этом в нем проснулось вожделение.

— И тогда появился ты, — продолжала женщина. — На чуть покачивающейся танцевальной площадке музыкального салона... С этой своей улыбкой славного малого. Со своими танго. Появился не раньше и не позже, а именно тогда, когда нужно. И все же...

Макс чуть отстранился, отступив в отдаленном отблеске маяка, — луч летел, постепенно слабея, над скалами Лазарето и стенами прибрежных вилл.

— И все же, какого же дурака ты свалял, мой милый.

Он облокотился на парапет. Не такого разговора ожидал он сегодня вечером. Ни упреков, ни обвинений, ни угроз не последовало. И, сидя в машине, он готовился к другому. Собирался достойно противостоять злобе и укоризне, столь естественных для женщины обманутой, а потому опасной, и ждал чего угодно, но только не той странной грусти, что звучала в словах и в молчании Мечи Инсунсы. Он вдруг осознал, что слово «обман» не к месту. Меча ни на миг не чувствовала себя обманутой. Даже в то утро, когда, проснувшись в отеле «Палас», обнаружила исчезновение Макса — и своего жемчужного колье.

— Это ожерелье... — начал было он, но тут же замолчал от внезапного осознания своей неловкости.

— Ах, ради бога! — В ее голосе звучало бесконечное презрение. — Я сию минуту швырнула бы его в море, если бы еще имело смысл что-то тебе доказывать.

Табачный дым вдруг показался Максу горьким. Поначалу он застыл в растерянности, полуоткрыв рот, словно на полуслове, а потом его пронизала внезапная странная нежность. Очень похожая на раскаянье. Он придвинулся бы к Мече, погладил бы ее по голове, если бы мог. Если бы она позволила. Но ведь он знал: не позволит.

— Что ты затеваешь, Макс?

Спрошено было совсем иным тоном. Жестче и суровей. Мгновение ее слабости, понял Макс, истекло скорее, чем были произнесены эти несколько слов. С непривычной, иноприродной тревогой, о существовании которой он до сих пор даже не подозревал, он спросил себя: а сколько бы длилась его слабость? То замирание, тот холод под ложечкой, которые он ощутил минуту назад.

— Не знаю. Мы...

— Я говорю не о нас. Я еще раз спрашиваю, что ты делаешь здесь, в Ницце? В доме Сюзи Ферриоль?

— Баронесса Шварценберг...

— Я отлично знаю, кто она такая. И знаю, что вы с ней не пара. Она тебе не подходит.

— Мы с ней сто лет знакомы. Тут кое-что просто совпало...

— Вот что, Макс. Сюзи — моя подруга. Не знаю, чего ты добиваешься, но надеюсь, что ее это никак не касается.

— Я ничего ни от кого не добиваюсь. И ничего не затеваю. И сказал уже, что веду теперь совсем другую жизнь.

— Тем лучше. Потому что при первом же подозрении я донесу на тебя.

Макс издал сквозь зубы смешок. Не вполне уверенный.

— Ты этого не сделаешь.

— Я бы на твоем месте не рискнула проверять, сделаю или нет. Тут не танцплощадка на «Кап Полонии».

Макс сделал шаг к ней. На этот раз — не рассчитанный заранее. Но в искреннем порыве.

— Меча...

— Не приближайся.

Она шевельнула плечами — и смокинг соскользнул на землю. Лег темным пятном у ног Макса. Призрачно белея, шаль стала медленно удаляться в густом мраке сосен.

— Хочу, чтобы ты исчез из моей жизни. Моей — и всех, кого я знаю. И немедленно.

Покуда он поднимал с земли пиджак и выпрямлялся, зарокотал мотор «Ситроена», и вспыхнувшие фары, выхватив из темноты его силуэт у каменного парапета, ослепили Макса. Потом зашуршали шины по гравию, и автомобиль двинулся в сторону Ниццы.

Макс, подняв для спасения от рассветного холода воротник смокинга, долго шел назад, в отель, по шоссе от Лазарето до порта. На его счастье, возле мола Кассини стоял фиакр со спавшим на козлах возницей. Макс, попросив поднять парусиновый верх, уселся и вскоре задремал, убаюканный покачиванием экипажа, катившего по склону Роба-Капеу, и слышал сквозь сон, как цокают копыта по асфальту, покуда лиловая полоска зари все явственнее прочерчивала границу между неразличимо темными пространствами моря и неба. Вот она, моя жизнь, подумал он, или, по крайней мере, существенная ее часть — ловить на рассвете такси, чувствуя запах женщины либо впустую убитой ночи, да при том, что одно никак не противоречит другому. И порт, и окраины были освещены скудно, но когда обогнули холм с замком на вершине, перед глазами возникла изогнутая линия горящих фонарей на проспекте Англичан, уходившем, казалось, куда-то в бесконечность. Когда добрались до Поншетт, ему захотелось есть и курить, так что он остановил фиакр, вылез, прошел под арками проспекта Салейя и под темными ветвями молодых платанов двинулся мимо пахшего кладбищем цветочного рынка, ища какое-нибудь кафе, открытое спозаранку.

Уплатил двенадцать франков за пачку «Голуаз» и три — за чашку кофе со свежими сливками и ломтик поджаренного хлеба, присел у окна, выходившего на улицу, закурил, глядя, как снаружи темнота из черной делается сероватой, а двое муниципальных служащих, сметя в кучу увядшие лепестки, стебли, листья, подсоединили шланг с длинным медным наконечником и принялись поливать тротуар. Размышляя над событиями прошедшей ночи и теми, что должны произойти в ближайшие дни, Макс пытался ввести в разумные измерения фактор Мечи Инсунсы, так неожиданно вторгшийся в его планы и в саму его жизнь. Чтобы вернуть самообладание, он постарался осмыслить технические детали предстоящего дела, прикинуть меру опасности и возможные варианты. Только так сможешь, сказал он себе. Только так одолеешь свою растерянность, чреватую гибельными ошибками. Он подумал про итальянских агентов, про человека, назвавшегося Мостасой, и беспокойно заерзал на стуле, будто утренний холод сквозь оконное стекло пробрал до костей. Слишком много поставлено на кон, чтобы Меча Инсунса вместе с воспоминаниями и их последствиями могла затуманить ему рассудок. Чтобы столь несвоевременное сочетание случившегося девять лет назад и сегодня ночью могло сбить ему сердечный ритм — впереди так много еще всякого, что он должен быть ровным и четким.

Минут пять он прикидывал, не смыться ли. Вернуться в отель, собрать вещи и удрать в другие охотничьи угодья в ожидании лучших времен. Обдумывая такой вариант, он смотрел по сторонам, как будто искал доводы за и против. Искал, на что бы опереться, чем бы воспользоваться из того, что было в его бурной жизни, в этом ярком и необычном ремесле. К стене кнопками были прикреплены два рекламных плаката — французских железных дорог и Лазурного Берега. Макс, держа сигарету в углу рта, долго и задумчиво смотрел на них сощуренными глазами. Ему очень нравились поезда — гораздо больше, чем трансатлантические лайнеры или замкнутый элитарный мирок авиапассажиров — с их вечной возможностью приключения, с жизнью странной, будто подвешенной в воздухе от одной станции до другой, с немалыми шансами на полезное и выгодное знакомство, с изысканными посетителями вагона-ресторана. Нравилось курить, развалившись на узком диване в купе спального вагона — в одиночестве или с дамой, — слушая, как постукивают колеса на стыках рельс. В памяти осталась одна из последних таких поездок, в «Восточном экспрессе», ходившем по маршруту Стамбул — Вена, когда в четыре пополуночи, на зябком рассвете, он вышел на перрон в Бухаресте, а перед тем тщательно оделся и бесшумно закрыл за собой дверь купе, оставив свой чемодан и фальшивый паспорт у проводника, а карманы пальто набив драгоценностями на две тысячи фунтов. Не сводя глаз со второго плаката, он заулыбался. Он узнал место, изображенное художником: смотровую площадку с видом на бухту Жуан, неподалеку от усадьбы, которую полтора года назад с помощью старого подельника Шандора Эстерхази, взявшего за посредничество и соучастие немалые комиссионные, продал одной богатой американке — некоей миссис Зундель, владелице компании «Зундель & Страус», Санта-Барбара, штат Калифорния, — сумев в ходе романа, подкрепленного рулеткой в казино и прогулками при луне, убедить ее в том, как выгодно будет вложить четыре миллиона франков в этот участок земли у моря. Опустив, правда, одну немаловажную подробность — эта полоска берега шириной в сто метров уже имела собственников, которые и не думали даже выставлять ее на продажу ни целиком, ни по частям.

Нет, убегать не стоит, заключил он. Мир чересчур сузился, и слова «удрать подальше» с каждым днем теряют смысл. Здесь не хуже, чем где-нибудь еще, а может быть, и лучше — умеренный климат и приятное окружение. Если грянет война в Европе, здесь можно переждать непогоду и, более того, извлечь из нее доход. Макс досконально изучил этот край, а там, где придется осесть, будут свои полицейские, угрозы и опасности — свои, но те же самые. У всякого шанса есть своя цена. Везде крутится своя рулетка. Это включает в себя и письма графа Чиано Томасу Ферриолю, и угрожающую улыбку Фито Мостасы, и вселяющую тревогу серьезность итальянских агентов. И — вот уже несколько часов как — нерешенное дело с Мечей Инсунсой.

La vie est brève:

un peu de rêve,

un peu d’amour.

Fini! Bonjour![[49]](#footnote-49)

Он сквозь зубы промурлыкал эту песенку. Отрешенно. Покоряясь судьбе. Никто не скажет, что легко было оставить позади убогий доходный дом в квартале Барракас, африканский берег, вдоль которого валялись иссушенные солнцем трупы и даже гиенам было не до смеха. Есть на свете такие люди — и он один из них, — кому на роду написана дорога в один конец. Путешествие неведомо куда — и без обратного билета. Дойдя до этого места в размышлениях, Макс допил кофе и поднялся, вновь обретая давний профессиональный кураж, который подпитывается сам собой.

...Сколько-то лет назад портье в венецианском отеле «Даниэли», сорок лет видевший, как перед его стойкой останавливаются, прося ключ от номера, самые богатые люди в мире, сказал ему как-то, пряча в карман королевские чаевые: «Единственное настоящее искушение, сеньор Коста, — это женщина. Вам не кажется? Обо всем прочем можно поторговаться».

*Жизнь коротка...*

И неторопливо вышел из кафе — руки в карманы, очередная сигарета в зубах — и по влажной мостовой, отражавшей сероватый утренний свет, направился к остановке трамвая. Приятно быть счастливым, подумалось ему. И осознавать это. На проспекте Салейя пахло уже не увядшими цветами, а мокрой брусчаткой и молоденькими деревцами в обильных каплях рассветной росы.

Сидя под ангелочками и голубым небосводом, которыми расписан потолок в этом зале отеля «Виттория», Макс по настенному табло, где демонстрируют сделанные ходы, следит за тем, как разворачивается партия. С того мгновенья, как в последний раз щелкнули шахматные часы, обозначая тринадцатый ход Хорхе Келлера, воцарилась мертвая тишина. Мягкий свет направлен так, что на эстраде видны только стол и два стула, табло, доска и два игрока, а все прочее тонет в полумраке. Вечереет, и видные в большие окна ветви деревьев вдоль шоссе, спускающегося к порту, тронуты красноватым отблеском.

Макс даже не пытается постичь, что происходит у него перед глазами. От Мечи Инсунсы он знает, что Келлер, играющий черными, должен определенным образом пойти пешкой и слоном, предваряя более рискованные и сложные комбинации. И вот тогда по ответным ходам Соколова станет ясно, ждал ли он такого развития, как и то, что такую информацию могла предоставить ему только Ирина. Приняв жертву черной пешки, русский покажет, что предвидел опасную атаку слона на белого коня — того, по мнению Макса, что стоит слева в строю белых фигур, — и в этом случае наилучшим способом нейтрализовать угрозу будет ход белой пешки на две клетки.

— Эти две клетки выдадут Ирину, — подвела итог Меча, когда они встретились в холле перед началом игры. — Всякий другой ход укажет на Карапетяна.

Справа от Макса, вперив единственный глаз в демонстрационное табло, курит капитан Тедеско, за неимением пепельницы свернув бумажный фунтик. Время от времени, по настоятельным просьбам соседа, он склоняется к нему и шепотом объясняет смысл того или иного хода или позиции. Рядом, сцепив руки в замок и вертя большими пальцами, Ламбертуччи, по такому случаю надевший пиджак и галстук, с напряженным вниманием следит за перипетиями игры.

— Соколов полностью контролирует центр, — очень тихо говорит Тедеско. — Думаю, возможность изменить положение появится, только если Келлер сумеет высвободить своего слона.

— А он сумеет?

— Откуда же я знаю? Эти зубры рассчитывают на много ходов вперед — куда мне до них?

Ламбертуччи, прислушавшись к его словам, подтверждает шепотом:

— Келлер нанесет удар в своем стиле. Вот увидишь. От его слона пахнет порохом.

— А черная пешка? — спрашивает Макс.

Его спутники глядят на табло, а потом, растерянно, на него.

— Какая пешка? — спрашивает капитан.

Макс больше следит не за перипетиями партии, где сталкиваются неведомые ему силы, движимые непонятными механизмами, а за игроками. Держа в пожелтевших от никотина пальцах истаивающую дымом сигарету, склонив светловолосую голову, Соколов не сводит невеселых водянисто-голубых глаз с доски. А Хорхе Келлер покинул свое место. Ослабив узел галстука, повесив пиджак на спинку стула, он только что поднялся — Макс уже замечал, что во время долгого ожидания он встает, чтобы размять ноги, — сунул руки в карманы и с рассеянным видом прохаживается по эстраде, будто измеряет ее широкими шагами, уставившись на носки своих спортивных туфель. При начале партии он вошел, как всегда, ни на кого не глядя, с неизменной бутылкой апельсинового сока. Протянул руку противнику, продолжавшему сидеть, поставил бутылку на стол, дождался, когда Соколов сделает первый ход, и двинул черную пешку. Большую часть времени Келлер остается неподвижен, подперев голову руками и спрятав лицо в скрещенных ладонях, но время от времени отпивает глоток прямо из горлышка или, вот как сейчас, прогуливается взад-вперед. Русский же не встал ни разу. Откинувшись на спинку стула, он чаще смотрит на свои руки, чем на шахматную доску, словно она ему без надобности, и ведет себя с чрезвычайным спокойствием — невозмутимо и безмятежно, — оправдывая прозвище Советский Утес.

Чуть слышный шелест ткани о дерево, предшествующий щелчку шахматных часов, — и Келлер возвращается на место: пошел отсчет времени для его хода. По залу проносится сдержанный, очень тихий ропот. Хорхе смотрит на черную пешку, только что снятую с доски его соперником и поставленную рядом с другими съеденными фигурами. Воспроизведенный мгновение спустя на табло ход русского, похоже, открывает путь одному из слонов чилийца, которые до сих пор были заперты.

— Дело плохо, — шепчет капитан. — Русский, кажется, совершил ошибку.

Макс смотрит на Мечу, сидящую в первом ряду: лица ему не видно — только короткие серебристые волосы и неподвижная голова. Рядом с ней — Ирина. Ее глаза устремлены не на табло, а на игроков. В соседнем кресле — отрешенный от всего, кроме игры, Эмиль Карапетян, с полуоткрытым ртом. С краю, там же, в первом ряду, занимая и часть второго — советская делегация в полном составе: человек пятнадцать, прикидывает Макс. Он разглядывает их одного за другим — костюмы, вышедшие из моды на Западе, белые рубашки, узкие галстуки, дымящиеся сигареты, непроницаемые лица, — задавая себе неизбежный вопрос: сколькие из них работают на КГБ? И есть ли кто-то, кто не работает?

После хода Соколова не прошло и пяти минут, как Келлер передвинул слона поближе к белым пешке и коню.

— Ага, вот оно, — шепчет в предвкушении Тедеско.

— Русский очень рискует, — сипит в ответ Ламбертуччи. — Но смотри: какая выдержка! Глазом не моргнет...

В зале — снова негромкий шумок и сразу вслед за тем — мертвая тишина. Соколов раздумывает; перемена лишь в том, что он закурил и внимательней смотрит на доску — может быть, на белую пешку, которая, как знает Макс, может оказаться ключом к шифру. И в тот миг, когда Келлер, сделав глоток сока, собирается снова встать со своего места, русский двигает свою пешку на две клетки. Двигает резко, напористо и едва ли не с яростью бьет по шпеньку часов. Словно для того, чтобы удержать противника на месте. И ему это удается. Келлер, уже приподнявшись, замирает, глядит на Соколова — в первый раз за всю партию глаза их встречаются — и очень медленно опускается на стул.

— Ого! — удивленно бормочет Тедеско, уразумевший наконец масштаб происходящего на доске.

— Что? Что такое? — допытывается Макс.

Капитан отвечает не сразу, захваченный тем, как стремительно, едва ли не с вызовом противники обмениваются ходами. Слон за пешку, конь за слона, пешка за коня. Только и слышен четкий отрывистый стук. И каждые три-четыре секунды звучит щелчок шахматных часов: игра пошла в таком темпе, словно все ходы были приготовлены заранее. Совсем не исключено, что так оно и есть, думает Макс.

— Проход белой пешки форсировал размен фигур, блокировав атаку слона, — говорит наконец Тедеско.

— Да, у слона — осечка, — подтверждает Ламбертуччи.

— Но какой молниеносный размен...

У Келлера в руке — последняя фигура, взятая им у противника. Он ставит ее в сторонку, рядом с другими, отпивает сока и слегка склоняет голову, как будто вдруг изнемог после длительного усилия. Потом словно ненароком на мгновение окидывает ничего не выражающим взглядом Мечу, Ирину, Карапетяна. Соколов с прежним меланхолическим видом чуть привстает и что-то говорит противнику — слов не слышно: зрители видят лишь, как шевелятся его губы.

— Что происходит? — спрашивает Макс.

Тедеско кивает, давая понять, что дело решилось.

— Думаю, предложил ничью.

Келлер оценивает позицию. Он словно не слышит русского и никак не проявляет своих чувств. Может быть, пытается понять, есть ли еще ход, думает Макс. Или размышляет о другом. Например, о женщине, которая его предала, и о том, почему она это сделала. Но вот он кивает и, не глядя на противника, протягивает руку; оба поднимаются. В пяти метрах от эстрады, в первом ряду сидит окаменевшая за эти последние минуты Меча Инсунса. Маэстро Карапетян сидит с полуоткрытым ртом — похоже, он сбит с толку. Сидящая между ними Ирина пристально и бесстрастно смотрит на табло и пустые стулья.

## 9. Вариант «Макс»

Меча Инсунса останавливается у киоска на Сан-Чезарео и покупает газеты. Макс в сером спортивном пиджаке стоит рядом, смотрит, как она листает их, отыскивая репортажи о вчерашней партии. Под заголовком «Ничья в шестой» «Иль Маттино» поместила снимок игроков в тот миг, когда они поднялись из-за стола: русский с непроницаемой серьезностью смотрит в лицо Келлеру, а тот отвернулся и словно думает о чем-то совсем постороннем или смотрит на кого-то через голову фотографа.

— Утро было и есть напряженное, — говорит Меча, складывая газету. — Они до сих пор совещаются втроем — Хорхе, Эмиль и Ирина.

— Она ничего не заподозрила?

— Ничего. Совершенно ничего. О том у них и идут споры. Эмиль не понимает, почему Хорхе сыграл вчера так, как сыграл. Сидят над доской, перебирают варианты... Когда я уходила, Ирина упрекала Хорхе, что согласился на ничью.

— Что это, такая степень цинизма?

Они идут вниз по улице. И Меча, пряча газеты в сумку — большую, холщовую, с кожаными вставками, — которая висит у нее на плече, отвечает:

— Да нет, не совсем. Партия складывалась так, что он мог бы и продолжать, но не захотел рисковать. Когда подтвердилось, что Ирина работает на Соколова, Хорхе немного растерялся... И понял, что, может быть, не выдержит, не сумеет противостоять натиску до конца игры. И потому принял ничью.

— Держался отлично. Ничем не проявил своих чувств.

— Он достаточно закален... И подготовлен для такого.

— Ну а с Ириной он как себя ведет? Удается притвориться?

— Лучше, чем ей. И знаешь, что я тебе скажу? В его случае это не притворство и не лицемерие. И ты, и я выгнали бы Ирину взашей, на порог бы не пустили... Я так вообще задушила бы ее собственными руками... А Хорхе сидит с ней за доской, с полнейшей естественностью анализирует варианты, которые она предлагает, принимает их или отбрасывает.

Длинная узкая улица еще больше сужается там, где магазинчики выставляют товары на тротуар. Время от времени Максу приходится пропускать встречных прохожих.

— Удар не слишком силен? — спрашивает он. — Хорхе сможет собраться и играть, как обычно?

— Ты его не знаешь. А то бы понимал, откуда это хладнокровие. Он продолжает играть. Для него это не более чем партия, исход которой решается порой в зале, а порой и за его пределами.

Озаряемые желтоватым свечением, которое отражается от стен домов, они то и дело переходят из света в тень. Сувенирные лавки чередуются с магазинчиками колониальных товаров, зеленными и фруктовыми, рыбными и колбасными, и запах снеди перемешивается с запахом кожи и специй. С вешалок свисает одежда.

— Он ни слова не сказал мне об этом, — говорит Меча, — но я уверена: Хорхе играет сейчас против двоих. Против русского и против Ирины. Своего рода сеанс одновременной игры.

Снова замолчав, она без особого интереса разглядывает витрину одежного бутика — стиль «хиппи», лен из Позитано.

— Потом, — продолжает она, — когда кончится матч в Сорренто, Хорхе поднимет глаза и по-настоящему проанализирует то, что здесь произошло. Ту сторону этой истории, которая относится к чувствам. И ему будет трудно. А до тех пор я ни о чем не беспокоюсь.

— Теперь я понимаю уверенность Соколова, — замечает Макс. — Какое-то высокомерие, что ли, чувствовалось в нем на последних партиях.

— Он допустил ошибку. Надо было выждать перед тем, как сделать ход. Устроить небольшое представление. Даже чемпион мира, будь он хоть семи пядей во лбу, не может потратить меньше двадцати минут на оценку этой исключительно сложной позиции... И на принятие решения. А Соколову понадобилось всего шесть.

— Отчего ж такая спешка?

— Гордыня обуяла, думаю. А провозись он дольше, мы бы могли подумать, что он своим умом дошел до такого вывода, и усомнились бы в вине Ирины. И еще, я думаю, Хорхе сумел вывести его из себя.

— Он для этого каждый раз вставал со стула? Провоцировал его?

— Ну естественно.

Теперь они оказались возле галереи Седиле Доминова, где несколько туристов слушают объяснения немецкоязычного гида. Обогнув группу, сворачивают налево — на тенистую узкую улицу Джулиани. В дальнем ее конце возвышается красно-белая колокольня собора, и башенные часы показывают двадцать минут двенадцатого.

— Трудно было представить, чтобы чемпион мира так оплошал... Так повелся... — замечает Макс. — Я считал, что в таких, как он, меньше...

— Человеческого?

— Да.

— От ошибок никто не застрахован, — возражает она. И, пройдя еще несколько шагов, говорит настойчиво, но как бы размышляя вслух: — Мой сын очень его раздражает.

Напряжение перед чемпионатом мира огромно, сейчас же поясняет она Максу. Эти прогулки Хорхе вокруг стола, его манера играть так, будто это не стоит ему ни малейших усилий, лишь внешнее и показное легкомыслие. Русский — полная противоположность ему: он основателен, методичен, осмотрителен. Берет измором. Но вот вчера при всем своем спокойствии чемпион мира, увенчанный шахматной короной, защищенный всей мощью своего государства и авторитетом ФИДЕ, не смог совладать со жгучим желанием проучить дерзкого мальчишку, изнеженного баловня капиталистического мира и западной прессы. Щелкнуть по носу, поставить на место. И он двинул пешку как раз в тот миг, когда Хорхе в очередной раз собирался встать со стула. Нет уж, присядь, говорил он всем своим видом. Посиди и подумай.

— Да нет, — произносит Меча раздумчиво, словно разговаривая сама с собой. — Они тоже не из железа... Ненавидят и любят, как все люди.

Макс и Меча идут парой, в ногу. Иногда соприкасаясь плечами.

— А впрочем, может быть, и нет... — Женщина чуть склоняет голову набок, словно увидела изъян в собственной логике. — Может, и не как все.

— Ну а что с Ириной? Как она себя ведет? Как обычно?

— С удивительным бесстыдством, — голос Мечи становится саркастически-жестким. — Как ни в чем не бывало, изображает верную соратницу и нежную возлюбленную. Если бы я не знала того, что знаю, поверила бы в полную ее невиновность. Но ты не представляешь, как способна притворяться женщина, которая ведет игру.

Макс представляет — и более чем отчетливо, но губ не размыкает. Ограничивается безмолвной гримасой, вспоминая при этом, как в гостиничном номере голые или чуть прикрытые простыней женщины, опустив голову на ту же подушку, где лежит в эту самую минуту и его голова, говорят по телефону с мужем или любовником. С великолепной невозмутимостью, ни единой интонацией не позволяя заподозрить тайные отношения, длящиеся сутки, или месяцы, или много лет. Мужчина в подобных ситуациях выдал бы себя первыми же словами.

— Я спрашиваю себя: можно ли заявить о такой измене?

— Кому?!! — снова звучит скептический смешок. — Итальянской полиции? ФИДЕ? Мы же действуем на свой страх и риск... Были бы конкретные доказательства — могли бы устроить скандал и, если Хорхе проиграет, опротестовать результаты матча. Но даже и с доказательствами мы ничего бы не добились. И за пять месяцев до чемпионата мира только отравили бы атмосферу. А Соколова не сдвинули бы ни на пядь.

— А как Карапетян? Он в курсе этой истории?

Да, отвечает Меча, Хорхе вечером переговорил с ним. И тот не слишком удивился. Бывает, сказал он. Это не первый случай шпионажа, с которым ему приходится сталкиваться. Маэстро Карапетян — человек спокойный. Практичный. И он не советует немедленно принимать какие-то меры против Ирины.

— Он полагает — и сын с ним согласен, — что лучше будет не препятствовать ее доверительным отношениям с русскими. А ее снабжать дозированной дезинформацией... Манипулировать ею как двойным агентом... Короче говоря, использовать втемную.

— Но ведь они рано или поздно поймут, что их дурачат?

— Этот обман может продлиться в течение еще нескольких партий. Отыграно шесть: две за Соколовым, одна — за Хорхе и три — вничью. Разница, значит, всего в одно очко. А впереди еще четыре партии. Это открывает заманчивые перспективы.

Если мы приготовим подходящие ловушки и русский попадется в них, то еще раза два обман сработает. Может быть, неудачу спишут на ошибку, объяснят неполнотой информации или тем, что в последний миг изменили замысел. На второй или третий раз заподозрят неладное. Если все будет слишком уж очевидно, решат, что Ирина работает в пользу Хорхе и в сговоре с ним или что ею манипулируют... Но есть и другой путь — не злоупотреблять тем, что нам известно. Вливать яд, так сказать, по капле и в Дублин приехать вместе с Ириной.

— И это реально?

— Вполне. Это же шахматы. Искусство лжи, убийства и войны.

Они стоят на тротуаре, готовясь перейти оживленную Корсо Италия. Машины, мотоциклы, клубы дыма из выхлопных труб. Макс берет женщину за руку. Ступив на противоположный тротуар, Меча не высвобождается, держится вплотную к нему, так знакомо опирается на его руку. Так отражаются они в большой витрине, заставленной телевизорами. Через мгновение наконец мягким и естественным движением она чуть отстраняется.

— Важен чемпионский титул, — очень спокойно продолжает она. — А здесь происходит всего лишь предварительная пристрелка. Проба сил. И было бы просто великолепно, если бы и в Дублине русские продолжали доверять Ирине. До поры до времени. Представь, что будет, когда Соколов обнаружит, что его шпионка работала под нашим контролем еще с матча в Сорренто... Это может быть сокрушительным ударом для него. Смертельным ударом.

— А Хорхе выдержит такое напряжение? Еще пять месяцев бок о бок с Ириной... И виду не подавать.

— Ты не знаешь моего сына: когда дело идет о шахматах, он дьявольски хладнокровен. А Ирина для него теперь — лишь фигура на доске.

— И что ты собираешься делать с ней потом?

— Не знаю, — в голосе ее опять позванивает металл. — И знать не хочу. После чемпионата мы, вероятно, заключим соглашение — уж не знаю, негласное или публичное. Но как шахматистка международного класса Ирина кончена. Лучше всего ей будет заползти в какую-нибудь щель и затаиться навеки. И я брошу на это все, чем располагаю... Я загоню эту лисичку в ее нору.

— Не понимаю, что ее подвигло на такое... И как давно она работает на Соколова.

— Милый мой... С русскими и с женщинами никогда не знаешь наперед.

Какой-то вымученный и даже неприятный смешок сопровождает эти слова. И Макс отыскивает ответ изящный и благодушный:

— Русские мне любопытны больше. А знаю я их меньше.

Услышав это, Меча смеется уже совсем иначе.

— Черт тебя возьми, Макс! Вот ты и в тираж вышел, и волосы больше не помадишь, а все такой же повеса несносный! Как был котом, так и остался.

— Вашими бы устами... — Он тоже смеется, поправляя под воротом рубашки шелковый шейный платок доктора Хугентоблера.

— Они могли внедрить Ирину с самого начала... Такой долгосрочный проект... — говорит Меча. — А может, завербовали и после... Почему она на это пошла? По тысяче причин — деньги, посулы... Если молоденькой одаренной шахматистке покровительствует ФИДЕ, где всем заправляют русские, то перед ней открываются самые заманчивые перспективы. Ирина совсем не обделена честолюбием.

Они стоят перед железной оградой кафедрального собора — ворота открыты.

— Тяжко быть на вторых ролях, — добавляет она. — И сильно искушение сменить статус.

Раздается звон колоколов. Меча поднимает глаза и потом входит под своды церкви, накрыв голову косынкой. Макс идет следом, и вот они оказываются в просторном пустом нефе, где гулким эхом отдается размеренный стук каблуков по мраморному полу.

— Так что ты намерена делать?

— Как всегда — помогать Хорхе. Помочь ему выиграть здесь и в Дублине.

— Вот тут-то и кончится...

— Что?

— Твое присутствие рядом с ним.

Меча разглядывает росписи под куполом собора. В боковом свете, льющемся из слуховых окон, горят и переливаются лазурь и золото библейских сцен. В глубине, в полумраке теплится лампада.

— Кончится ли и когда кончится — узнаем, дойдя до конца.

Обогнув колонны, они бредут наугад по боковому приделу, рассматривая ниши с образами. Пахнет затхлостью и разогретым воском. В нише над зажженными свечами стоят приношения по обету и «чудеса», сделанные из воска и жести.

— Пять месяцев обмана — это много, — настаивает Макс. — Ты думаешь, Хорхе способен будет притворяться до конца?

— А почему нет? — Ее удивление не кажется наигранным. — Ирина же способна.

— Я ведь веду речь не только о шахматах. Есть и чувства. Они ведь живут в одном номере. И спят в одной постели.

От странной, отчужденной гримаски лицо ее становится едва ли не жестоким.

— Он не такой, как мы с тобой. Я ведь уже сказала. Хорхе живет в нескольких мирах, непроницаемых друг для друга.

Из ризницы выходит священник и, поглядев на них с любопытством, пересекает неф и кладет крестное знамение перед алтарем. Когда они направляются к выходу, Меча, понизив голос почти до шепота, говорит:

— Там, где замешаны шахматы, Хорхе проявляет поразительное хладнокровие. Как будто входит в разные комнаты и ничего не выносит с собой, выходя из них.

Они переступают порог, и солнце ослепляет их. Меча снова опускает косынку на плечи, завязывает вокруг шеи.

— А как отнесутся русские к Ирине, когда все вскроется?

— Вот уж до чего мне нет дела... Все же надеюсь, посадят на свою эту... Любьянку или как ее там? А потом сошлют в Сибирь.

Она выходит за церковную ограду и быстро, как будто вдруг вспомнила о чем-то спешном, идет вдоль по Корсо Италия. Макс, прибавив шагу, догоняет.

— И все это... — слышит он, поравнявшись с ней, — выводит нас на вариант «Макс».

Произнеся эту фразу, Меча останавливается так резко, что он смотрит на нее в растерянности. Потом столь же внезапно придвигается к нему совсем вплотную — так близко, что лица их почти соприкасаются. Сейчас глаза ее напоминают не текучий мед, а твердый янтарь.

— Ты должен кое-что сделать для меня, — говорит она очень тихо. — Точнее, для моего сына.

Из черного «Фиата», затормозившего на площади Россетти возле колокольни собора Сент-Репарат, вышли трое. Макс, при звуке мотора поднявший глаза от страниц «Л’Эклерера» (манифестации рабочих во Франции, судебные процессы и казни в Москве, концлагеря в Германии), взглянул из-под надвинутой шляпы и увидел, как они приближаются: самый длинный и тощий — посередине. Покуда они шли к его столику на углу улицы Сентраль, он успел сложить газету и подозвать гарсона:

— Два перно с водой.

Троица остановилась перед ним. Между Мауро Барбареско и Доменико Тиньянелло стоял высокий сухопарый человек в элегантном костюме цвета каштана, в темно-серой борсалино, лихо сдвинутой набекрень. Концы воротника сорочки в широкую сине-белую полоску под галстуком были сколоты золотой булавкой. В руках — кожаный саквояж, с каким обычно ходят врачи. Они с Максом долго и сосредоточенно рассматривали друг друга. Все четверо — один сидел, трое стояли — пребывали в том же положении, пока подоспевший гарсон не убрал пустой бокал и не поставил две рюмки с анисовым ликером, два стакана холодной воды, ложечки и горки сахару. Макс, насыпав сахар горкой, стал лить на него воду, чтобы тот, растворяясь, капал в зеленоватую жидкость. Потом поставил бокал перед тощим:

— Думаю, ты, как всегда, предпочитаешь это.

Лицо человека, к которому он обращался, стало, казалось, еще костлявей от улыбки, словно внезапный разрез ножа обнажил бескровные десны и пожелтевшие зубы. Он сбил на затылок шляпу, уселся и поднес бокал ко рту.

— Не знаю, что будут пить твои друзья, — пояснил Макс, проделав ту же операцию со своим бокалом. — По крайней мере, ни разу не видел, чтобы они пили перно.

— Ничего не будут, — сказал Барбареско, тоже присаживаясь к столу.

Макс наслаждался крепким и сладким анисовым вкусом. Второй итальянец, Тиньянелло, остался на ногах и озирался по сторонам с обычным своим меланхолически-недоверчивым видом. Потом, повинуясь безмолвному приказу, отошел от стола и двинулся к газетному киоску, откуда, как понял Макс, мог незаметно держать под наблюдением всю площадь.

Он снова оглядел высокого и тощего человека с длинным носом и большими, очень глубоко сидящими глазами. Постарел с прошлой нашей встречи, подумал Макс. Но улыбка все та же.

— Говорят, ты фашистом заделался, Энрико, — сказал он мягко.

— Надо же куда-то подаваться, в наши-то времена.

Мауро Барбареско чуть откинулся назад, словно показывая: он не вполне уверен, что ему понравится этот разговор.

— Давайте к делу, — сказал он.

Макс и Энрико продолжали потягивать перно, глядя друг на друга. Перед последним глотком итальянец чуть приподнял свой бокал, как бы показывая, что пьет за здоровье соседа. Макс сделал то же самое.

— Если не возражаешь, — сказал он, — опустим насчет лет, зим и сколько воды утекло и про то, что годы никого не щадят.

— Согласен, — кивнул Энрико.

— Что поделываешь теперь? И как поживаешь?

— Недурно поживаю. Я сейчас при должности. В Турине. Служащий пьемонтской администрации.

— Политикой решил заняться?

Энрико театрально изобразил обиду:

— Хорошего же ты мнения обо мне! Общественной безопасностью!

— Ах, вот даже как?

Макс улыбнулся, представив себе Фоссатаро в кабинете. Это называется «пустили козла в огород». В последний раз они виделись три года назад, когда вместе проворачивали операцию, проходившую в два этапа: первый — на вилле в окрестностях Флоренции, второй — в апартаментах отеля «Эксельсиор»; Макс обеспечивал предварительное обольщение в отеле, на долю Энрико достались ночные технические работы на вилле. Тогда-то они видели в Арно, как отряды чернорубашечников с пением «Джовинеццы»[[50]](#footnote-50) маршируют по площади Всех Святых после того, как забили до смерти нескольких несчастных.

— Сейф фирмы «Шютцлинг», — сказал он. — Девятьсот тринадцатого года выпуска.

— Да, мне уж сказали: стильный корпус под дерево, с фальшивыми накладками на замки... Помнишь дом на улице Риволи? Ну, где жила та рыжая англичанка, которую ты повел ужинать к «Прокопу»?

— Помню. Но тогда скобяными работами занимался ты. А я — прекрасной дамой.

— Верен себе. Вечно искал путей полегче.

— Ну, уж говорить, какие пути ты ищешь и находишь, было бы нелепо с моей стороны. Сейчас особенно.

Энрико вновь приоткрыл зубы в улыбке. Темные запавшие глаза, казалось, просили о понимании.

— Я говорю всего лишь, что сейфы эти — пустячные. — Он вытащил из кармана несколько рисунков, сделанных под копирку. — Вот я принес кое-какие чертежики. Ты быстро разберешься, что к чему... Работать собираешься днем или ночью?

— Ночью.

— Сколько времени будет в твоем распоряжении?

— Немного. Чем скорей управлюсь, тем лучше.

— Дрель можно будет применить?

— Нет. Никаких инструментов. В доме будут люди.

Энрико Фоссатаро собрал лоб морщинами.

— Потребуется тебе час самое малое. Помнишь сейф «Панцер» в Праге? Мы с тобой от него чуть не спятили тогда.

Макс улыбнулся. Сентябрь тридцать второго. Полночи он потел в кровати одной дамы, пока она наконец не уснула. А на первом этаже Фоссатаро, подсвечивая себе фонариком, бесшумно колдовал над сейфом в кабинете мужа, бывшего в отъезде.

— Еще бы не помнить.

— Я принес тебе список возможных комбинаций для этой модели — глядишь, они сберегут твое время и силы. — Фоссатаро поднял с полу саквояж и протянул его Максу. — И еще набор отмычек: сто тридцать ключей фабричной штамповки.

— Ого... — Едва не уронив саквояж, оказавшийся очень тяжелым, Макс поставил его себе под ноги. — Как это тебе удалось?

— Ты ахнешь, узнав, какие возможности открываются в Италии перед государственным служащим.

Макс вытащил из кармана черепаховый портсигар, положил на стол. Энрико проворно открыл его и сунул в рот сигарету.

— Хорошо выглядишь... — Он мотнул головой в сторону Барбареско, следившего за беседой в полном молчании. — Мой друг Мауро говорит, дела у тебя идут отлично.

— Грех жаловаться, — сказал Макс и, перегнувшись через стол, дал прикурить. — Вот я до самых недавних пор и не жаловался.

— В сложное время мы живем, друг мой, в сложное время.

— И не говори.

Фоссатаро затянулся раза два и, явно довольный качеством табака, одобрительно оглядел сигарету.

— Хорошие ребята, — он показал на Тиньянелло, остававшегося у газетного киоска, и, не прерывая движения руки, на Барбареско. — Разумеется, они могут быть опасны. Ну а где ты видел других? Этого грустного terrone[[51]](#footnote-51) я знаю не очень близко, а вот с Мауро были у нас некогда дела по службе. Верно я говорю?

Тот не ответил. Сняв шляпу, провел ладонью по голому смуглому черепу. Всем видом своим итальянец показывал: вся эта болтовня его утомила, и поскорее бы уж она кончилась. Макс подумал, что и он, и его товарищ всегда выглядели усталыми. Может быть, это характерная черта итальянских шпионов? А их английские, французские или германские коллеги делают свою работу более рьяно? Похоже, что да. Вера, как говорится, горами движет. Есть профессии, где без нее никак не обойтись.

— Потому-то ко мне и обратились, когда всплыло твое имя и тебя предложили в качестве исполнителя, — продолжал Фоссатаро. — Я сказал, что ты отличный малый и большой любитель женщин. Что как никто умеешь носить костюм и заткнешь за пояс профессиональных танцовщиков. Еще добавил, что будь у меня такая смазливая рожа и такой дар убалтывать, я лично давным-давно бы завязал и законопослушно водил бы на поводке пуделька какой-нибудь миллионерши.

— Ну, это ты, пожалуй, хватил через край, — улыбнулся Макс.

— Может быть, не спорю. Но ты войди в мое положение... Долг перед Отчизной и всякое такое... Credere, obbedire, combattere...[[52]](#footnote-52)

Возникшую паузу Фоссатаро заполнил безупречно ровным колечком дыма.

— Полагаю, ты знаешь или хоть догадываешься, что Мауро зовут не Барбареско.

Макс перевел глаза на упомянутую персону, слушавшую их с непроницаемым видом.

— Не все ли равно, как меня зовут, — разомкнул наконец уста итальянец.

— Это верно, — справедливости ради должен был признать Макс.

Фоссатаро выдул еще одно колечко, но на этот раз получилось похуже.

— Мы живем в сложной стране, — заметил он. — Но у нее есть одно достоинство, и состоит оно в том, что мы, итальянцы, всегда найдем способ между собой договориться. Так было до Муссолини, так осталось при нем, так будет и без него, если когда-нибудь такое случится.

Барбареско оставался по-прежнему бесстрастен, и Макс, вернувшись к сопоставлениям, принялся воображать, как бы вели этот разговор агенты разных разведок: британца наверняка обуяло бы патриотическое негодование, немец воззрился бы на собеседников с растерянным презрением, а испанец после того, как признал за Фоссатаро полную правоту, сейчас же побежал бы доносить на него, чтобы заслужить похвалу начальства, или потому, что позавидовал бы его галстуку. Он снова открыл портсигар и протянул его Барбареско, но тот молча покачал головой. Тиньянелло меж тем с газетой в руках уселся на деревянную скамейку — притомился, наверно, стоять.

— Ты завязал правильные знакомства, Макс, — сказал Фоссатаро. — Если все пойдет хорошо, появятся у тебя новые друзья. Правильные ребята. Надо ведь и о будущем думать.

— И брать пример с тебя.

Макс произнес это как бы мимоходом, между прочим, пока прикуривал, но Фоссатаро ответил внимательным и пристальным взглядом. Четыре секунды спустя губы итальянца тронула меланхолическая улыбка человека, кто совершенно непреложно убежден в неисправимом тупоумии рода человеческого.

— Я уже старею, друг мой. А мир, который мы с тобой знали и который кормил нас, обречен. И если грянет новая европейская война, она сметет все. Согласен?

— Согласен.

— Тогда поставь себя на мое место. Мне пятьдесят два года — многовато, чтобы по-прежнему курочить замки и шарить впотьмах по чужим квартирам... А семь лет, не забудь, я провел по тюрьмам. Я вдовец с двумя незамужними дочками. Что еще заставит проникнуться патриотизмом... Вскинуть руку на римский манер, приветствуя того, кто впереди. У Италии есть будущее. Мы — на стороне добра. У нас есть работа, идет строительство жилья и стадионов, а коммунистов мы угостим касторкой и пинком под зад! — После этих слов Фоссатаро, снимая пафос высказывания, подмигнул Барбареско, сидевшему с прежним невозмутимым видом. — Ну и потом хорошо хотя бы для разнообразия сыграть на стороне карабинеров.

Постукивая высокими каблуками, в сторону улицы Сентраль прошли две дамы — шляпки, сумки, узкие юбки. Одна была очень хороша собой и на миг встретилась глазами с Максом. Фоссатаро провожал их взглядом, пока обе не скрылись за углом. «Делаешь дело — с бабами не путайся и одно с другим не путай!» — сколько раз в прошлые времена Макс слышал от него этот каламбур. Если только это было не на пользу дела.

— Помнишь Биарриц? — спросил итальянец. — Отель «Мирамар»?

Он улыбался, погрузившись в воспоминания. И от улыбки лицо помолодело и ожили глубоко запавшие глаза.

— Сколько лет назад это было? Пять?

Макс кивнул. Довольное лицо итальянца вызвало в памяти деревянные мостки над морем, прибрежные бары с вылощенными гарсонами, дам в обтягивающих пижамах с широченными брюками, голые загорелые спины, знакомые лица, вечеринки с киноактерами, певцами, бизнесменами. Подобно Каннам и Довилю, летний Биарриц был первоклассным местом для охоты и сулил богатую добычу тому, кто умел выследить ее и загнать.

— Тот актер с невестой... — напомнил Фоссатаро, продолжая улыбаться.

И рассказал Барбареско о том, как летом тридцать третьего они с Максом провернули очень тонкое и деликатное дело с киноактрисой по имени Лили Дамита, которой Макс, познакомившийся с ней на партии в гольф, посвятил три утра на пляже, три вечера в баре и три ночи на балу. И вот в решающий миг, когда он уже собирался увести ее на танцы в отель «Мирамар», дав Фоссатаро возможность пробраться на виллу и забрать деньги и драгоценности тысяч на пятнадцать долларов, в дверях отеля совершенно неожиданно возник жених Лили, известный голливудский актер, раньше срока окончивший съемки. На руку Макса сыграли два благоприятных обстоятельства. Во-первых, ревнивый бойфренд по пути в отель сильно перебрал, так что уже не очень твердо стоял на ногах, когда его возлюбленная вылезла из такси с неизвестным господином: его шатало, и удар, направленный в челюсть элегантному соблазнителю, цели не достиг. Во-вторых, Энрико Фоссатаро, готовый отправиться на потрошение виллы, находился за рулем прокатной машины метрах в десяти от места действия. Увидев, что происходит, он подоспел на выручку и, покуда Лили Дамита верещала и кудахтала, как курочка, на глазах у которой режут ее петушка, вдвоем с Максом методично и спокойно дал американцу взбучку (причем швейцары, коридорные и прочая отельная челядь взирала на это с удовольствием — крепко пивший актер популярностью не пользовался), отколотив его на все пятнадцать тысяч, только что уплывших у них из рук.

— А знаешь, кто это был? — спросил Фоссатаро, обращаясь к Барбареско, слушавшему теперь с явным интересом. — Ни больше, ни меньше, Эррол Флинн![[53]](#footnote-53) — и расхохотался, хлопнув Макса по плечу. — Представь, мы с этим вот субъектом набили морду самому капитану Бладу!

— Знаешь, что такое книжка, Макс? В шахматах? Не какая попало, а *книжка* ?

Они идут в парке, окружающем отель «Виттория», по боковой аллее, которая тянется на манер туннеля под кронами деревьев, и яростное солнце, пробиваясь сквозь листву, кладет на землю пятна света. За крышами густо увитых плющом беседок видны реющие над утесами Сорренто чайки.

— Это нечто вроде архива, — продолжает Меча Инсунса. — Туда заносятся все партии и их разбор. Ведь за каждым ходом стоят сотни часов размышлений, принятых и отвергнутых вариантов, анализ, сделанный самим игроком или его командой. Гроссмейстер помнит наизусть тысячи ходов, комбинаций и ловушек, созданных его предшественниками или соперниками... И все это систематизируется и становится рабочим материалом.

— Нечто вроде рабочего дневника?

— Вот именно.

Они не спеша возвращаются в отель. Над клумбами кое-где вьются пчелы. Чем дальше Меча и Макс углубляются в парк, тем тише становится гул машин с площади Тассо.

— Игрок не может разъезжать по свету и выступать без своего личного архива. Причем такого, который удобно возить с места на место. Книжка гроссмейстера заключает в себе всю его жизнь — дебюты, варианты, разбор действий соперников, анализ позиций... У Хорхе это — восемь толстых, переплетенных в кожу тетрадей, заполненных его записями за последние семь лет.

Они останавливаются у розария, где изразцовая скамья по периметру окружает стол, густо засыпанный сухими листьями. Без этой книги, продолжает Меча, ставя сумку на стол и садясь, игрок беззащитен. Как бы ни была у него развита память, запомнить все человек не в состоянии. В записях Хорхе содержится то, без чего ему трудно будет противостоять Соколову, — там плоды многолетнего труда.

— Представь себе, что русского будет очень беспокоить королевский гамбит, где все строится на жертве пешки. И что Хорхе, который никогда не пользовался им до сих пор, применит его на чемпионате мира в Дублине.

Макс стоит перед ней и слушает очень внимательно.

— И все это есть в книжке?

— Разумеется. Теперь представь, какая катастрофа будет, если книжка окажется в руках Соколова. Столько трудов впустую! Все его секреты известны сопернику.

— А нельзя восстановить?

— Для этого понадобится вторая жизнь. Не говоря уж о том, какой это тяжелый психологический удар — узнать, что твоими планами, твоими мыслями завладели враги.

Она смотрит куда-то за спину Макса, и тот оборачивается, прослеживая направление ее взгляда. Корпус, где поселилась советская команда, стоит совсем рядом — не дальше тридцати шагов.

— Да неужели Ирина передала записи Соколову?

— К счастью, нет. Случись такое, Хорхе оказался бы безоружен — и здесь, и в Дублине. Нет, я о другом...

Краткая пауза. Золотистые глаза — они чуть светлее, чем проникающие через листву лучи, — приковывают его к месту.

— И тут выходишь ты... — произносит Меча.

Произносит с чуть заметной и странноватой улыбкой. Значение ее непостижимо. Макс поднимает руку, словно призывая к тишине, когда хотят вслушаться в неясный звук или музыкальную ноту.

— Боюсь, что...

Он осекается на непроизнесенном слове и обрывает фразу не в силах продолжить. Но Меча подходит вплотную, нетерпеливо открывает сумочку и роется там.

— Я хочу, чтобы ты раздобыл для Хорхе записи Соколова.

Макс смотрит на нее разинув рот — в буквальном смысле.

— Не понимаю...

— Я объясню, раз не понимаешь. — Она достает наконец из сумки пачку «Муратти», вытаскивает сигарету. — Надо украсть у Соколова книгу его дебютов и ловушек.

Она произносит это с чрезвычайным спокойствием. Макс машинально сует руку в карман, но в ошеломлении так и не вынимает оттуда зажигалку.

— И как же я, интересно знать, это сделаю?

— Влезешь к нему в номер и заберешь.

— Вот так вот просто?

— Без затей.

Жужжание пчел громче и ближе. Макс, не обращая на него внимания, неотрывно смотрит на Мечу. Испытывая неожиданное желание присесть.

— Почему я?

— Потому что проделывал такие вещи раньше.

— Никогда я не крал у русских шахматные записи.

— Зато крал многое другое. — Нашарив в кармане коробок спичек, она прикуривает сама. — Кое-что и у меня тоже. — И, выпустив дым, добавляет: — Ты был жиголо и вор.

— Так ведь «был».

— Но как это делается, наверно, не забыл. Вспомни виллу в Ницце.

— Что за чушь... С тех пор прошло почти тридцать лет.

Женщина молчит. Курит и смотрит на него очень спокойно — с таким видом, будто все уже сказала и теперь от нее ничего уже не зависит. Да она просто развлекается, не без внезапного испуга думает Макс. Ее забавляют и ситуация, и моя растерянность. Но, оказывается, все это не шутка.

— И ты хочешь, чтобы я пробрался в резиденцию советской команды, нашел записи Соколова и отдал их тебе? Как я это сделаю? Скажи мне, бога ради, как ты это себе представляешь?

— У тебя есть и опыт, и полезные знакомства. Пусти их в ход.

— Да ты взгляни на меня! — Словно для того, чтобы ей было видней, он наклоняется так, что лица их соприкасаются. — Я не тот, кто остался у тебя в памяти. Не тот, кто был в Буэнос-Айресе. И не тот, кто в Ницце. Теперь мне...

— Есть что терять? — Она смотрит на него будто из невозможной дали, холодно и презрительно. — Ты это хотел сказать?

— Уже довольно давно я избегаю дел, связанных с риском определенного рода. И живу здесь спокойно, не ожидая неприятностей от полиции. Я отошел от дел. Устранился. Совсем.

Он резко поднимается, делает несколько шагов по беседке, враждебно поглядывая на охристые стены резиденции, — внезапно они кажутся ему зловещими.

— Да и потом, мне уже не по возрасту подобные эскапады, — с непритворным унынием добавляет он. — И силы уже не те, и духа не хватает.

Он оборачивается к Мече. Она все так же невозмутимо сидит и курит, и смотрит на него.

— Почему я должен это сделать?! — настойчиво спрашивает он. — Ответь, почему? Чего ради я должен так рисковать — в мои-то годы?

Меча размыкает плотно сомкнутые губы, собираясь что-то сказать, но не издает ни звука. И еще несколько секунд сидит неподвижно, с дымящейся меж пальцев сигаретой, изучающе глядя на Макса. И наконец, резким движением раздавив окурок о мраморный стол, с таким бесконечным презрением и гневом, словно вдруг прорвалась давно сдерживаемая ярость, говорит:

— Дурак! Потому что он — твой сын.

Чтобы увидеть ее, он отправился в Антиб, оправдывая свой порыв тем, что надо принять меры предосторожности. Опасно, сказал он себе, опасно оставлять ее без присмотра на столько дней. Обмолвится у Сусанны Ферриоль, разоткровенничается с ней — и поставит его под удар. Выяснить адрес труда не составило. Один телефонный звонок Асе Шварценберг — и вот, спустя двое суток после встречи с Мечей Инсунсой, он вылез из такси у ворот обсаженной лаврами, акациями и мимозами виллы в окрестностях Ла-Гаруп. По мощеной дорожке пересек сад, где стоял двухместный «Ситроен», и под кронами кипарисов, особенно четко выделявшихся на безмятежно-сияющем небе, подошел к дому на небольшом, но крутом возвышении — к бунгало с просторной террасой и застекленной верандой с огромными полукруглыми окнами, выходившими в сад и на залив.

Меча Инсунса не удивилась, увидев Макса. И — после того как горничная, открыв ему дверь, молча удалилась — приняла его с обескураживающей непринужденностью. На ней была стянутая в талии японская шелковая пижама, делавшая фигуру еще стройней и слегка обрисовывавшая бедра. Приход гостя застал хозяйку за поливанием цветов во внутреннем дворе, и потому ее босые ноги оставляли влажные следы на черно-белых плитах. Она повела Макса в гостиную в стиле «кемпинг», произведшем в последние годы на Ривьере настоящий фурор, — складные кресла, убирающиеся в стены столы, встроенные шкафы, стекло и хромированный металл и на голых белых стенах — две-три картины, — удивительно подходящем к этому красивому дому, обставленному скупо, просто и с той безыскусностью, которая приобретается только за очень большие деньги. Меча наполнила его бокал; они курили, говорили о пустяках, будто заранее условившись вести себя так вежливо и любезно, как если бы недавние встреча и прощание после ужина у Сюзи Ферриоль прошли самым обычным образом: обсуждали аренду виллы на то время, что продлится смута в Испании, и где лучше всего провести зиму, и мистраль, благодаря которому небо оставалось синим и ясным. Потом, когда общие темы иссякли и легкая, ни к чему не обязывающая беседа сделалась затруднительной, Макс предложил пообедать где-нибудь по соседству, в Жуан-ле-Пен или в «Эден Рок». Меча ответила на это предложение довольно продолжительным молчанием, потом тихо и задумчиво повторила последнее слово и наконец сказала, чтобы Макс сам налил себе чего-нибудь, пока она будет переодеваться. Есть мне не хочется, добавила она. Но отчего бы не прогуляться.

И вот теперь они прогуливались между соснами, росшими на песке, между скалистыми валунами на залитом полдневным солнцем берегу, обрывавшемся в бирюзовый залив и тянувшемся до древних стен Антиба. Меча сменила пижаму наподобие матросского костюма — черные брюки и полосатая сине-белая блуза, — надела темные очки, закрывшие лишь чуть подведенные веки, и ее сандалии ступали по гравию дорожки рядом с грубыми коричневыми башмаками Макса, который снял шляпу, скинул пиджак, перекинул его через руку и на два оборота завернул рукава накрахмаленной сорочки, обнажив загорелые запястья.

— Ты еще танцуешь танго, Макс?

— Иногда.

— И «Старую гвардию» тоже? Думаю, ты все так же хорош.

Он отвел глаза:

— Я ведь теперь не тот.

— Хочешь сказать, ты не этим зарабатываешь себе на жизнь?

Макс предпочел не отвечать. Он думал о том, как впервые в танцевальном салоне лайнера двигалось ее тело в его руках. О солнце, освещавшем ее стройное тело в пансионе на проспекте Адмирала Брауна. О ее губах и бесстыдно неистовом языке — когда в заведении Марго она оттолкнула танцовщицу и оказалась на ее месте. О гнусном смехе Армандо де Троэйе, когда под его мутным, осоловелым от спиртного и наркотика взглядом они жадно и безудержно предавались любви в номере отеля. И еще о том, сколько сотен раз за девять лет, пролетевших с той поры, он вспоминал это, стоило лишь вживую или по радио зазвучать какой-нибудь мелодии де Троэйе. А «Старую гвардию» он танцевал в последний раз пять недель назад в каннском «Карлтоне» с дочерью германского «стального короля», — это танго преследовало Макса, где бы тот ни оказывался, и неизменно вызывало у него в душе ощущение гнетущей пустоты, нехватки, потери и лютую, физически острую тоску по телу Мечи Инсунсы. По ее широко открытым медовым глазам, оказывавшимся совсем близко и будто окаменевшим от наслаждения. По сладостной теплой влажной плоти, которую он так напряженно вспоминал и которая вдруг, в силу странного стечения обстоятельств, снова оказалась совсем рядом, так неожиданно близко.

— Расскажи о себе, — сказала Меча.

— О чем именно?

— Об этом, — она сделала движение, как бы очерчивая его. — О том, чего достиг за эти годы.

Макс осторожно, стараясь обходиться без преувеличений и несообразностей, начал рассказывать. Он искусно смешивал правду и вымысел, ловко вплетал в сюжет забавные происшествия и анекдотические случаи, скрывавшие неприглядные подробности его жизни. С присущей ему легкостью он приспосабливал подлинную историю своей жизни к биографии персонажа, которого изображал, — удачливого и богатого дельца, светского человека, пассажира первого класса спальных вагонов и трансатлантических лайнеров, постояльца фешенебельных отелей в Европе и Латинской Америке, обретшего утонченность и лоск под воздействием времени и общения с людьми особого сорта. Говорил, не задумываясь о том, верит ему Меча или нет, но в любом случае сумел даже не намекнуть на тайную сторону своей деятельности, ловко обойти последствия, к которым иногда приводили его истинные занятия, — словом не обмолвиться о кратчайшей отсидке в гаванской тюрьме, о не получивших развития неприятностях с краковской полицией, возникших после того, как покончила с собой сестра одного тамошнего меховщика, о пуле, по счастью, просвистевшей мимо уха, когда он выходил из подпольного берлинского казино после не вполне чистой игры. Не упомянул он ни о деньгах, с одинаковой легкостью заработанных и потраченных, ни о сбережениях, которые держал на всякий непредвиденный случай в Монте-Карло, ни о давнем и полезном знакомстве с потрошителем сейфов Энрико Фоссатаро. Ни, разумеется, о супружеской чете профессиональных воров, с которыми свела его судьба осенью тридцать первого года в Биаррице, в баре «Шамбр д’Амур», о недолгой совместной работе и о разрыве после того, как жена — меланхолическая англичанка по имени Эдит Кейси, сделавшая своей профессией облапошивание кредитоспособных холостяков, — на собственный страх и риск и несколько расширив рамки делового сотрудничества, сблизилась с Максом, разумеется, втайне от мужа — столь же утонченного, сколь и брутального шотландца, представлявшегося то как МакГилл, то как МакДональд, — чья более или менее оправданная ревность через год и разрушила этот взаимовыгодный союз. Перед расставанием произошла неприятная сцена: к удивлению супругов, всегда считавших Макса юношей миролюбивым и безобидным, тому пришлось припомнить кое-что из усвоенного в Африке во время службы в Иностранном легионе — и МакГилл, или МакДональд, или как его там звали по-настоящему, с расквашенным носом растянулся на ковре в номере довильского отеля «Гольф», а Макс, сопровождаемый криками и бранью Эдит Кейси, ушел оттуда, а заодно и из их жизни.

— А ты?

— О-о... Я...

Меча Инсунса слушала его рассказ молча и внимательно. Теперь, после его вопроса по ее лицу скользнула уклончиво-неопределенная усмешка.

— Большой свет... Так ведь, кажется, пишут в иллюстрированных журналах?

Максу очень захотелось протянуть руку и снять с нее очки, чтобы увидеть выражение глаз, но он не осмелился.

— Никогда не мог понять, как это твой муж...

Он осекся, но Меча не переспросила. Темные стекла уставились на него с безмолвным вопросом — она ждала продолжения.

— Этот ваш стиль... — начал было он и вновь замялся в смущении. — Не знаю, как сказать... Ты и он.

— И третьи лица?

Повисло молчание. Надолго. Слышался только треск цикад.

— В Буэнос-Айресе ведь это было не в первый раз... — наконец продолжила Меча. — И не в последний. Армандо по-своему смотрел на жизнь. И на отношения мужчины и женщины.

— Да, по-своему... Весьма своеобразно.

Она рассмеялась, но совсем невесело. И сухо. Потом, словно демонстрируя удивление, вскинула руки.

— Вот уж не думала, что ты такой пуританин, Макс... В Буэнос-Айресе мне бы и в голову такое не пришло...

Она что-то чертила носком туфли по песку. Похоже на сердце, подумал Макс. Но когда появилась пронзающая его стрела, Меча поспешно затерла рисунок.

— Поначалу это была игра. Провокация. Вызов хорошему воспитанию и морали. Потом стало частью всего остального.

Она сделала несколько шагов к берегу, ступая между мотками водорослей, остановилась так, что силуэт впечатался в слепящую бирюзу воды.

— Так повелось с самого начала... Уже наутро после первой брачной ночи Армандо захотел, чтобы горничная, когда принесет в номер завтрак, застала нас голыми в постели. Не просто голыми и не просто в постели, как ты понимаешь... Мы хохотали как сумасшедшие.

Макс, ослепленный солнечным сиянием, силился разглядеть ее против света и приложил ладонь козырьком ко лбу. Но выражение лица по-прежнему ускользало. Он видел только контур фигуры на сверкающем фоне залива. Меча меж тем продолжала рассказывать монотонно и почти безразлично:

— Как-то раз после ужина мы поехали домой. С нами был наш приятель, итальянский музыкант — очень славный, кудрявый... с томной повадкой. Д’Амброзио, если не путаю... и Армандо все устроил так, что мы занялись сексом прямо у него на глазах. И он ушел не сразу, а сначала долго и внимательно наблюдал за нами с улыбкой и странным блеском в глазах. Тут сказалась его особая склонность к математическому изяществу.

— И тебе всегда это... доставляло удовольствие?

— Нет, не всегда. Особенно поначалу... Мне было очень нелегко забыть вот так, сразу, все, что было привито мне моим католическим воспитанием, так свято заботящимся об условностях и приличиях. Но Армандо особенно нравилось выходить за рамки дозволенного.

У Макса язык присох к нёбу. Солнце палило нещадно, отчаянно хотелось пить. Кроме того, он чувствовал почти физическую дурноту. До такой степени, что потянуло присесть прямо на землю, не боясь выпачкать брюки. Он пожалел, что оставил шляпу на вилле, хоть и понимал, что мутит его не от солнца и не от жары.

— Я была очень молода, — добавила Меча. — И чувствовала себя примерно как актриса, которая выходит на сцену и ждет признания, и надеется услышать аплодисменты.

— Ты была влюблена. Это многое объясняет.

— Да... Наверное, в ту пору я его любила. Сильно любила.

Произнося это, она раздумчиво склонила голову набок. Потом оглянулась по сторонам, словно подыскивала слова или образ. Или, быть может, объяснение. И вот наконец, словно отчаявшись найти, с насмешливым смирением махнула рукой.

— И не сразу поняла, что речь-то идет не только об Армандо, но и обо мне. О темных закоулках моей собственной души. Иначе бы я ни за что не зашла так далеко. Даже чтобы доставить ему удовольствие... Однажды в Берлине он заставил меня развлекаться с двумя юными кельнерами в баре на Тауэнциенштрассе... В тот вечер он даже не прикоснулся ко мне, хотя обычно приходил после того, как отваливались остальные. А тогда всего лишь сидел, курил и смотрел все до конца. И тогда вот я впервые получила настоящее наслаждение от того, что за мной наблюдают.

Она рассказывает это так монотонно, как будто читает фармацевтический проспект, подумал Макс. Тем не менее ее явно интересовало, какое впечатление производит на него услышанное. Опять это ее холодное любопытство, понял он с удивлением. Любознательность естествоиспытателя или инженера. Контраст между этим и его собственными ощущениями был так же разителен, как и неистовый солнечный свет, против которого выделялся лишь черный контур ее фигуры. И Макс скорее со страхом, чем с удивлением, понял, что ревнует. Чувство это было для него новым, неведомым, непривычным. Нежданное неудовлетворенное желание. Звериная ярость.

— Армандо наставлял меня, — продолжала она все так же ровно. — Со свойственным ему методичным терпением учил использовать для секса неограниченные возможности разума. Физическая сторона, повторял он, это всего лишь его часть. Необходимое и неизбежное воплощение всего прочего. Вопрос гармонии.

На миг они остановились. Вернулись на утоптанную тропинку, вившуюся между пляжем и соснами, и Меча, снимая сандалии, чтобы вытряхнуть из них песок, очень естественно оперлась о плечо Макса.

— Потом я засыпала, а он уходил к себе в студию, где стоял его рояль, и до рассвета работал. И мое восхищение им только усиливалось.

Он сумел все-таки пошевелить неподатливым языком:

— А ты продолжаешь использовать разум?

Голос его звучал хрипловато. Во рту было так сухо, что трудно было произносить слова.

— Почему ты спрашиваешь?

— Твоего мужа нет здесь, — он широко повел рукой, как бы обводя залив, Антиб и весь прочий мир. — И вернется он, боюсь, не скоро. Вместе со своим математическим изяществом...

Меча смотрела на него пристально, враждебно угадывая то, что он подразумевал:

— Хочешь знать, сплю ли я с другими мужчинами? Или с женщинами? Покуда его нет? Да. Да, Макс.

Зачем я здесь? — удивляясь самому себе, подумал он. Под этим солнцем, от которого мутится ум? От которого жухнут мысли и сохнет во рту?

— Да, — повторила она. — Иногда.

Она снова остановилась, и силуэт ее возник на слепящем фоне залива. Легкий ветерок трепал ее волосы, летавшие вокруг посмуглевших на ривьерском солнце лица и шеи.

— Как Армандо, — добавила она мрачно. — И как ты.

В черных стеклах ее очков отражались зелень сосновых крон, берег, обрамленный бирюзовой синью. Макс медленно рассматривал ее, останавливаясь взглядом на линии плеч и торса под полосатой майкой-тельняшкой с темными пятнышками пота под мышками. Она стала еще красивей, чем в Буэнос-Айресе, заключил он едва ли не с отчаянием. Красива до такой степени, что это казалось нереальным. Ей должно быть сейчас тридцать два года — идеальный женский возраст, пора зрелого расцвета. Меча Инсунса принадлежала к той категории кажущихся недостижимыми женщин, о которых так страстно мечтается в матросских кубриках и во фронтовых траншеях. Тысячелетиями мужчины воевали, жгли и убивали ради обладания такими, как она.

— Здесь неподалеку есть одно место, — сказала она вдруг. — Пансион «Семафор»... Рядом с маяком.

Он поглядел на нее — и поначалу не без растерянности. Меча показывала туда, где за белой виллой, окруженной пальмами и пиниями, уходила влево и исчезала среди сосен дорожка.

— Заведение очень дешевое, для туристов. Там на веранде — маленький ресторанчик под магнолиями. И сдают номера.

Макс был человек закаленный. Характер и житейские обстоятельства сделали его таким, каким он был сейчас. И сейчас, когда он неподвижно стоял перед Мечей, эта закалка помогла ему унять дрожь в коленях и не разомкнуть плотно сжатые губы. Чтобы ненароком, неуместным словом или жестом не оборвать тоненькую ниточку, на которой висело все.

— Хочу тебя, — подвела итог Меча, прерывая паузу. — И хочу сейчас.

— Почему? — выговорил он наконец.

— Потому что за эти девять лет ты довольно часто являлся мне, когда я, что называется, включала голову.

— Несмотря на...

— Ни на что не смотря, — улыбнулась она. — Даже и на жемчужное колье.

— Ты бывала прежде в этом пансионе?

— Сколько лишних вопросов!.. Лишних и глупых.

Она протянула руку, дотронулась до его пересохших губ. В этом нежном прикосновении было предвестие и обещание.

— Конечно, бывала, — ответила она через секунду. — И снимала номер с большим зеркалом на стене. Отличный обзор.

Жалюзи были сделаны из горизонтальных деревянных реек, неплотно пригнанных друг к другу. И, проникая сквозь эти щели, лучи послеполуденного солнца расчерчивали полосами света и тени кровать и тело спящей. Лежавший рядом Макс осторожно, стараясь не разбудить, повернул голову, стал рассматривать вблизи ее лицо, пересеченное полосой луча, приоткрытый рот и ритмично подрагивавшие в такт легкому дыханию ноздри, груди с темными кружками вокруг сосков, покрытые бисеринками блестящей под солнцем испарины. Шелковистую гладкость живота, расходящиеся надвое бедра и скрытое меж ними лоно, которое еще сочилось влагой на простыню, пропитавшуюся за эти часы смешанным запахом нежного пота и спермы.

Чуть приподняв голову с подушки, Макс перевел глаза дальше, рассматривая два неподвижных тела в зеркале на стене — большом и потускнелом от времени и отсутствия должного ухода, как и весь этот номер с его убогой обстановкой, со шкафом, биде, рукомойником, запыленной люстрой и перекрученными проводами, фарфоровыми изоляторами, прикрепленными к стене, на которой выцветший туристический плакат вяло заманивал в Вильфранш. Номер был из тех, что предназначены специально для коммивояжеров, беглецов от правосудия, самоубийц и бездомных любовников. Все это угнетающе подействовало бы на Макса, отлично помнившего подобные обиталища, куда попадают не по прихоти, а по необходимости, если бы рядом не спала эта женщина, если бы сквозь щели в жалюзи не пробивались солнечные лучи. А Меча, едва переступив порог пансиона, казалась вполне довольна и номером без водопровода, и сонной хозяйкой, которая протянула им ключи, не задавая вопросов и не спрашивая паспортов. Чуть только за ними закрылась дверь, голос Мечи стал звучать хрипловато, кожа будто налилась жаром, и, перебив на полуслове Макса, глубокомысленно рассуждавшего о том, что прекрасный вид из окна отчасти примиряет с убожеством интерьера, оказалась очень близко к нему, приоткрыла рот, словно ей трудно стало дышать, прервала приличный разговор и потянула через голову полосатую фуфайку, открывая этим движением груди — белые на загорелом торсе.

— Ты так хорош, что глаза режет.

Протянув руку, легко, одним пальцем прикоснулась к его подбородку, чуть повернула его голову в сторону, чтобы удобнее было рассматривать. И через секунду добавила совсем тихо:

— Сегодня я не надела колье.

— Жаль, — тотчас нашелся Макс.

— Ты негодяй.

— Да, случается... Бываю временами.

Все дальнейшее происходило в упорядоченном и сложном чередовании. Как только Меча резким движением освободилась от последней детали туалета и растянулась на кровати, с которой Макс успел сдернуть покрывало, он убедился, что она возбуждена до крайности и готова принять его немедленно. Судя по всему, заключил он, этот номер в пансионе способен творить чудеса. Но торопиться не следует, сказал он себе, пока еще скованный всегдашним своим трезвомыслием. И постарался подольше застрять на предварительных этапах, уверенный, что вожделение, от которого гудели нервы и, напрягаясь едва ли не болезненно, подрагивали мышцы — он до скрежета стиснул зубы, пытаясь совладать с яростью наслаждения, — может сыграть с ним дурную шутку. Девять лет было не зачеркнуть этим получасом. И потому он призывал на помощь опыт и все свое самообладание, чтобы продлить ласки, граничившие с насилием, — Меча дважды ударила его по щеке, когда он попытался доминировать, услышать удовлетворенное постанывание, учащенное, прерывистое дыхание в перерыве между приступами, применить два или двадцать два способа целовать, лизать, кусать. В отличие от него Меча не позабыла о зеркале на стене, и в какую-то минуту он, впиваясь в ее губы, вколачиваясь в ее тело, заметил, что она повернула голову, и перехватил ее взгляд, потом еще раз и еще, — и тогда он тоже стал смотреть на сплетенные, будто в жестокой схватке, тела, напрягшуюся спину, руки, так сведенные судорогой, что, казалось, сейчас порвутся мышцы и сухожилия, когда он старался обездвижить ее, а она билась с силой дикого зверя, кусалась и царапалась до тех пор, пока, не сводя глаз со своего отражения, не сделалась вдруг покорной и податливой, не впустила его наконец — или снова? — в свое влажное естество, в самозабвении предаваясь и полностью отдаваясь древнейшему ритуалу. Макс, наблюдающий и наблюдаемый в зеркало, отвернулся от него, чтобы взглянуть не на отражение, а на нее самое — в ее лицо, которое оказалось в каких-то двух дюймах от его лица, и заметить, как насмешливо искрятся медовые глаза, как с вызовом змеится по губам улыбка, опровергая и то, что мужчина овладел ею, и то, что она отдалась ему. Тогда Макс наконец дал себе волю и, подобно поверженному и наконец беззащитному гладиатору, уткнулся лицом в шею Мечи, утратил представление обо всем вокруг и медленно, обильно излился в темные теплые глубины Мечи Инсунсы.

## 10. Стук шаров

Макс плохо спал в ту ночь. Бывали в моей жизни ночи получше, думал он утром, пытаясь стряхнуть с себя дремотную одурь. И эта мысль не оставляла его, пока он водил по щекам и подбородку электрическим «Брауном», рассматривая в зеркале в ванной комнате отеля усталое лицо, на котором к отметинам, проложенным жизнью, прибавились следы недавних тревог и волнений. Поражений и беспомощного удивления, так не вовремя свалившихся в последние часы, новой неопределенности и сомнений, особенно тягостных потому, что уже сейчас, когда почти все уже сносилось и стерлось, слишком поздно переклеивать ярлычки, переосмысляя прожитое. Ночью, ворочаясь в кровати, вновь и вновь то проваливаясь в забытье, то возвращаясь к яви, он, казалось, ясно слышал, как, грохоча, словно рухнувшая на пол стопка фаянсовых тарелок, валится наземь прежняя непреложная убежденность. Итогом его бурной жизни, которую, как ему еще совсем недавно казалось, он все же сумел сохранить в череде катастроф, стало приобретение благопристойно-светского безразличия, учтиво-равнодушного спокойствия. И вот этот защищенный бестрепетным фатализмом последний редут душевного равновесия еще вчера был его единственным достоянием — а сегодня разлетелся вдребезги, истаял дымом. До вчерашнего разговора в саду с Мечей Макс считал, что возможность спать спокойно, уподобившись отошедшему от дел, вышедшему в тираж усталому ветерану, — это то единственное, что ему осталось, и что жизнь уступила ему без спора.

Давний инстинкт, едва лишь стал ощутим далекий запашок опасности, подсказывал, что надо бежать: немедленно свернуть эту бессмысленную, абсурдную авантюру — он не желал называть ее романтическим приключением, потому что терпеть не мог самого слова «романтика», — вернуться к прежней жизни и работе у Хугентоблера, прежде чем земля разверзнется под ногами. Сделать, как он умел когда-то, хорошую мину при отвратительной игре, согласиться с тем, каков он стал ныне, и покорно принять то, каким не может быть никогда. Тем не менее есть эти самые безотчетные порывы, заключает он. Есть неосознанные побуждения, которые иногда губят человека, а иногда подсказывают, на какой цифре остановится шарик рулетки. Есть пути, которыми, вопреки советам элементарного здравомыслия, просто невозможно не следовать, если уж они открылись перед тобой. Если искушают ответами на вопросы, не возникавшие прежде.

И один из таких ответов может найтись сейчас в бильярдной отеля «Виттория». Он поискал его и удивился, что нашел именно там. Эмиль Карапетян объяснил ему, где найти Хорхе Келлера. Минуту назад они сидели на террасе: гроссмейстер завтракал, сидя бок о бок с Ириной — она приветствовала Макса любезной улыбкой, — причем держала себя так естественно, что можно было не сомневаться: она и не подозревает о том, что ее связь с советскими раскрыта.

— В бильярдной? — удивляется Макс: это плохо вяжется с его представлениями о шахматистах.

— Он так отдыхает и отвлекается, — объясняет Карапетян. — Иногда бегает или плавает. Иногда увлеченно отрабатывает карамболи.

— Вот бы не подумал.

— Мы бы тоже. — Армянин со сдержанным юмором пожал могучими плечами. Макс заметил, что он старается лишний раз не смотреть на соседку. — Однако Хорхе у нас такой.

— И он играет один?

— Почти всегда.

Бильярдная располагается на первом этаже, чуть подальше читальни: зеркало, удваивающее свет, который льется из открытого на террасу высокого окна; стойка для киев и стол для французского бильярда под горизонтально висящей лампой в продолговатом латунном абажуре. Келлер бьет шар за шаром; не слышно ничего, кроме слабого щелчка, с которым мягкая суконка на конце кия соприкасается со слоновой костью, и стука шаров, ударяющихся друг о друга с точностью едва ли не однообразной. Остановившись в дверях, Макс наблюдает за шахматистом: тот сосредоточенно и почти механически работает кием, так что кажется, будто каждая тройка столкнувшихся меж собой шаров тянет за собой следующую, и они катятся по зеленому сукну бесконечной вереницей.

Макс жадно рассматривает молодого человека, задерживаясь взглядом на самых мелких подробностях, ища то, что ускользало от его внимания раньше. Сначала, невольно оберегая себя, он пытается восстановить в памяти уже смутные и расплывающиеся в дали времен черты Эрнесто Келлера, чилийского дипломата, с которым познакомился осенью 1937-го, на ужине у Сюзи Ферриоль — помнится, тот был белокурый, безупречно корректный и приятный в общении — и сравнивает их с наружностью того, кто официально считается его сыном. Потом старается совместить это воспоминание с образом Мечи Инсунсы, какой была она двадцать девять лет назад, понять, что́ унаследовал от нее этот парень, который неподвижно стоит перед бильярдом, изучая положение шаров и кусочком мела натирая оконечность кия. Он высок ростом, строен, держится очень прямо. В точности как его мать. Но и как Макс когда-то. Есть что-то общее в фигуре и повадках. И уж точно, вдруг сознает он с внезапным холодком под ложечкой, густые черные волосы, падающие на лоб Хорхе, когда тот наклоняется над бортиком стола, достались ему не от Мечи — еще со времен плавания на «Кап Полонии» Макс запомнил светло-каштановый, почти русый, цвет ее волос — и не от человека, чью фамилию он носит. Если бы шахматист зачесал волосы назад и пригладил бриллиантином, как Макс в ту пору, когда они у него были такие же черные и блестящие, сходство еще больше усилилось бы. Да, у него они были точно такие же, когда он проводил обеими руками от висков назад, прежде чем медленно, шагая в такт музыке, подойти к даме и с мягким щелканьем каблуков, с улыбкой на губах пригласить ее на танец.

Да быть не может, растерянно думает он, отвергая самую возможность этого. Он-то ведь и в шахматы не играет. Чем дольше он стоит у порога бильярдной, наблюдая за Келлером, тем сильнее злится на себя. Такое бывает только в кино или в мелодраматических радиопостановках. И все же он что-то почувствовал, впервые увидев Хорхе, — или это сейчас так кажется. Да, что-то дрогнуло в его душе, какой-то трепет прошел по всему телу, какой-то знак был ему подан. Почувствовал сходство? Или вспомнилось никогда не виденное? Глупо думать, что естественные рефлексы нечувствительны к явлениям такого масштаба. К таким очевидностям. «Голосом крови» называют это в старых мелодрамах о миллионере и сиротке. Но Макс-то не услышал его. Не слышал раньше, не слышит и сейчас, когда его обволакивает опустошительная непреложность необъяснимой ошибки, тяжкой досады, томящей его с неведомой еще силой. Да ничего этого быть не может. Лжет Меча Инсунса или нет — а вероятнее всего, лжет, — все это не более чем огромное и опасное недоразумение.

— Доброе утро.

Несмотря ни на что, ему нетрудно завести разговор. Никогда не было трудно, и годился какой угодно предлог, а бильярд ничем не хуже любого другого. Тем более что Макс владеет предметом еще с тех пор, как служил в барселонском отеле посыльным, ставил три песеты из своих чаевых против тридцати одной в четверной партии, игравшейся в притоне Китайского квартала: там в дверях стояли женщины, а внутри в зеленоватом свете ламп в засиженных мухами абажурах бродили темные личности с булавками в галстуках или в подтяжках, с лоснящимися от пота и дыма лицами, с сигаретами в пальцах, намеливающих кии, там громыхали шары и время от времени слышалась брань, которая иногда и не имела никакого отношения к игре и относилась к тому, что происходило снаружи, — тогда в бильярдной все вдруг замирало и прислушивалось к топоту ног на улице, к полицейским свисткам, одиночным пистолетным выстрелам, грохоту прикладов, взятых к ноге.

— Вы играете, Макс?

— Немного.

Густой чуб на лбу, избавляя Хорхе Келлера от чопорности, придает еще больше небрежной непринужденной раскованности. Он встречает Макса улыбкой, однако ей противоречит его отстраненный взгляд, неотрывно устремленный на кончик кия и вереницу шаров из слоновой кости.

— Берите кий, если есть желание.

Он хороший игрок, убеждается вскоре Макс. Методичный и уверенный. Должно быть, это шахматы учат умению видеть все игровое пространство, собираться в нужный момент и прочему, что необходимо людям такого рода. Молодой человек в самом деле бьет карамболи с обескураживающей легкостью, как будто способен заранее рассчитать, какое положение они займут после многих ударов.

— Вот не знал, что вы и в этом мастак.

— Давайте на «ты», — предлагает Келлер.

— Не знал, говорю, что ты так играешь на бильярде.

— Да как я играю? Одно дело — с самим собой, и совсем другое — три партии с хорошим противником.

Макс, подойдя к стойке, выбирает себе кий.

— В «американку»? — осведомляется Келлер.

— Давай.

Тот кивает и продолжает игру. Мягкие и точные удары кия будто нанизывают вереницы шаров, летящих вдоль бортов.

— Да это такой способ собраться с мыслями, — говорит Хорхе. — Подумать.

Макс смотрит на него с интересом:

— О чем? О том, сколько тут может быть карамболей?

— Забавно, что спросил это, — улыбается Келлер. — А что, заметно?

— Насчет шахмат не знаю, но, наверное, есть что-то общее. Там надо рассчитывать ходы, тут — карамболи.

— По крайней мере, три, — молодой человек показывает на шары. — Вот и вот. Да нет, пожалуй, пять.

— В самом деле похоже на шахматы?

— Не то чтоб похоже... Но кое-что общее есть. Каждую ситуацию можно решить несколькими способами. Я стараюсь предвидеть следующие движения и открыть к ним доступ. Да... как в шахматах, но там это делается логическим мышлением.

— Выходит, ты тренируешься?

— Это было бы слишком громко сказано. Но способствует. Помогает упражнять ум с минимальными усилиями.

Он останавливается, допустив промах — легкий, казалось бы, карамболь не вышел. Понятно, что это сделано из любезности: шары остались невдалеке друг от друга. Макс вытягивает кий, нависает над столом и бьет, заставляя негромко отозваться слоновую кость. Пять раз подряд «биток» ударяется об эластичный борт, вычерчивая каждый раз точный угол.

— Совсем недурно! — одобрительно замечает Келлер. — Много приходилось играть?

— Мало. Да и то в молодости.

Шестой удар — мимо. Келлер, помелив кий, склоняется над столом.

— Ну что? Попробуем трехбортный?

— Не возражаю.

Шары ударяются друг о друга сильней. Келлер связывает один за другим четыре карамболя, а последним ударом отправляет биток Макса в труднодостижимую точку.

— Я знавал твоего отца... — Макс критическим оком созерцает положение на столе. — Давно было дело. На Ривьере.

— Мы мало прожили вместе. Мама вскоре развелась с ним.

Макс наносит слабый удар, стараясь послать свой шар в противоположную от других сторону.

— Когда мы познакомились, тебя еще не было на свете.

Тот не отвечает. Молчит до тех пор, пока противник, проведя два карамболя, перед трудным третьим отправляет биток Келлера в угол, в невыигрышную позицию.

— Ирина... — произносит Макс.

Келлер, уже нацеливший было кий, замирает и взглядом спрашивает Макса, что ему известно.

— Я, видишь ли, очень и очень давно знаю твою матушку, — как бы оправдываясь, говорит тот.

Келлер сверху вниз пошевеливает кием, почти прикасаясь к шару, словно не решается ударить.

— Мне это известно, — говорит он наконец. — Еще с Буэнос-Айреса, где она была с первым мужем.

Он наконец бьет — слабо и неточно. И, оглядев стол, угрюмо поворачивается к Максу. С таким видом, словно винит его в своей неудаче.

— Я не знал, что мама рассказала тебе про Ирину.

— Очень вкратце. Но достаточно, чтобы...

— Что ж, у мамы нашлись свои причины... Но в том, что касается меня... Прости, конечно, но это не твое дело. И желательно, чтобы я не служил темой для ваших с мамой разговоров.

— Я вовсе не...

— Разумеется. Знаю, что ты не.

Макс рассматривает руки молодого человека — тонкие, длиннопалые. Ноготь на указательном слегка скруглен, как и у него самого.

— Когда ты был еще совсем маленьким, она...

Келлер приподнимает кий, прерывая Макса:

— Я могу говорить с тобой прямо? Так вот, Макс: здесь идет игра, где ставкой — мое будущее. У меня — множество проблем, и профессиональных, и личных. И вдруг нежданно-негаданно появляется человек, о котором я никогда раньше даже не слышал. И с которым моя мать невесть почему пускается в немыслимые откровенности.

Произнеся эти слова, он переводит взгляд на бильярдный стол, как будто только что вспомнил о его существовании. Макс берет красный шар — ближайший к нему, — рассеянно взвешивает его на руке и кладет обратно.

— Она ничего больше не говорила обо мне?

— Очень скупо: старинный приятель, с давних времен, с эпохи танго... Что-то в этом роде. Не знаю, был ли у вас роман в свое время. Зато я знаю мать и чувствую, когда она к кому-нибудь относится по-особенному. А бывает это нечасто. — Келлер склоняется над столом, бьет — и шар касается трех бортов, после чего делает чистый карамболь. — Когда мы познакомились, мать не сомкнула глаз всю ночь. Я слышал, как она ходит из угла в угол... Наутро ее номер оказался прокурен насквозь, а все пепельницы забиты окурками.

Негромкий стук столкнувшихся шаров. Келлер сосредоточенно отбрасывает со лба волосы, примериваясь, несколько раз проводит кием взад-вперед по тыльной стороне кисти, упертой в сукно столешницы, и снова бьет. Он не знает, что такое нервы, сказала про него Меча, когда они говорили в последний раз. И печаль. У него не бывает дурного настроения. Он просто играет в шахматы. И это у него не от меня, Макс, а от тебя.

— И, разумеется, я забеспокоился, — продолжает юноша. — У меня и так неприятностей больше, чем я могу справиться.

— Послушай, — говорит Макс. — У меня и в мыслях не было... Я совершенно случайно остановился в этом отеле. Невероятное совпадение.

Келлер как будто не слышит. Пытливо всматривается в биток, оказавшийся в неудобном для удара положении.

— Я не хочу быть невежливым... Ты всем здесь пришелся по душе. И, как я уже сказал, мать очень высоко ценит тебя, хоть это и проявляется как-то странно. Однако есть такое, что не может меня убедить. И что мне не нравится.

Макс вздрагивает от удара кия о шар — очень громкого на этот раз. Шары разлетаются и, ударившись о разные борта, замирают в невозможной позиции.

— Может быть, то, как она улыбается, говоря о тебе, — добавляет Келлер. — Одними губами. Глаза в этом не участвуют.

— Но ведь и у тебя такая улыбка.

Макс жалеет о сказанном, еще не успев договорить. Чтобы скрыть досаду на свою неловкость, он с преувеличенным вниманием рассматривает шары на столе.

— Потому я и говорю это, — резонно отвечает Келлер. — Я как будто уже видел эту улыбку раньше.

И замолкает, словно серьезно обдумывая только что сказанное.

— Или, — добавляет он, — потому, как она смотрит на тебя иногда.

Снова скрывая — на этот раз растерянность, — Макс склоняется над столом, бьет и промахивается.

— С печалью? — Келлер натирает кусочком мела кий. — С грустью былых сообщников? Я правильно понимаю?

— Может быть... Не знаю.

— И мне не нравится, когда я замечаю у нее этот взгляд. Не понимаю, что еще за общая печаль может вас связывать?

— Я тоже не понимаю.

— И мне хотелось бы знать, что там было между вами... Хотя, конечно, сейчас не время и здесь не место.

— Спроси у нее.

— Я спрашивал. «А-а, Макс...» — и все на этом. В такие моменты она напоминает мне вмороженные в лед часы.

Он резко и внезапно, словно вдруг потеряв интерес к игре, кладет мелок на край стола. Потом подходит к стеллажу у стены и ставит на место кий.

— Раньше мы говорили о том, что можно предвидеть карамболи... — говорит Келлер, помолчав. — Нечто подобное происходит и с тобой: есть в твоей игре что-то такое, что вызывает у меня недоверие. А вокруг меня и так в избытке опасностей, причем со всех сторон... Я мог бы попросить тебя исчезнуть из маминой жизни, но подобное — за рамками моих правил. Кто я, чтобы... И потому я прошу тебя исчезнуть из моей.

Макс, тоже поставивший кий, говорит с учтивым протестом:

— Поверь, я совершенно не собирался...

— Верю. Но это не меняет дела. Пожалуйста, держись подальше, — Келлер показывает на бильярд, как будто исход поединка с Соколовым решится именно там. — По крайней мере, пока все это не кончится.

С востока, из-за маяка, высившегося у входа в порт Ниццы, из-за горы Борон шли разрозненные облака, сбиваясь над морем в плотную кучу. Наклонившись вперед, чтобы ветерок не мешал, Фито Мостаса раскуривал трубку и, справившись с этим, выпустил несколько клубов дыма, поглядел на туманный горизонт и из-за стекол очков в черепаховой оправе подмигнул Максу:

— Погода меняется.

Они стояли у постамента памятника королю Карлу-Феликсу, неподалеку от железной ограды вдоль дороги, нависавшей над портом. Встреча Максу была назначена в маленьком кафе, но оно оказалось закрыто, и потому он ждал на улице, поглядывая вниз, на пришвартованные у пирса корабли, на высокие дома вдалеке и на огромную рекламу «Галери Лафайет». Через четверть часа он заметил тщедушную проворную фигурку Мостасы — тот неторопливо шел по склону Роба-Капелю, небрежно сбив на затылок шляпу, в сорочке с галстуком-бабочкой под распахнутым пиджаком, сунув руки в карманы брюк. Увидев, что кафе закрыто, Мостаса безмолвно обозначил шутливое смирение — «Ничего, мол, не попишешь», — достал кисет и принялся набивать трубку, оглядывая все вокруг Макса с каким-то неопределенным любопытством, словно хотел понять, на что́ тот смотрел в ожидании.

— Итальянцы теряют терпение, — сказал Макс.

— Вы с ними виделись, как я понимаю?

Макс был уверен, что Мостаса ответ знает заранее.

— Да, вчера перемолвились словцом.

Мостаса пососал трубку и через мгновение ответил:

— Я примерно так и думал.

Потом, не отрывая задумчивый взгляд от кораблей на воде, от пирамиды ящиков и бочек у железнодорожной колеи вдоль молов, повернулся вполоборота и сказал:

— Решились наконец?

— Решиться не решился, но первым делом рассказал им о вашем предложении.

— Ну, естественно, — Мостаса поверх трубки послал собеседнику философическую улыбку. — Прикрылись как смогли. Понимаю.

— Как хорошо, что еще есть на свете понимающие.

— Все мы люди, друг мой... Со всеми нашими страхами, амбициями, заботами... И как же они восприняли ваше признание?

— Об этом они мне не сообщили. Выслушали внимательно, переглянулись, и мы заговорили о другом.

Мостаса одобрительно кивнул:

— Молодцы ребята. Истые профессионалы. Они этого ждали. Одно удовольствие работать с такими людьми. Или против таких.

— Цените fair play?[[54]](#footnote-54) — с горькой насмешкой спросил Макс. — Может, вам прийти к соглашению, договориться, объединиться и сообща, по-дружески, пересчитать мне ребра? Это сильно облегчило бы мою жизнь.

Мостаса рассмеялся.

— Всему свое время, друг мой. Но скажите же наконец, на что вы решились? На чем остановились? Кого предпочли — фашистов или республику?

— Я продолжаю об этом размышлять.

— Дельно. Но время-то идет. Когда намереваетесь проникнуть на виллу?

— Через три дня.

— Будет что-нибудь особенное?

— Я узнал, что Сусанна Ферриоль идет к кому-то на ужин и ее несколько часов не будет дома.

— А прислуга?

— Предоставьте это мне.

Мостаса, попыхивая трубкой, смотрел на него так, словно взвешивал убедительность каждого ответа. Потом снял очки, извлек из верхнего кармана платок и принялся очень старательно протирать их.

— Окажите мне услугу, сеньор Коста... Что бы вы ни решили, своим друзьям итальянцам скажите все же, что работать будете на них. Можете и обо мне что-нибудь рассказать.

— Это вы всерьез?

— Вполне.

Мостаса посмотрел стекла на свет и удовлетворенно надел очки.

— Это еще не все. Хочу попросить вас, чтобы в самом деле работали на них. И чисто сделали свое дело.

Макс, доставший и открывший портсигар, замер.

— Иными словами, я должен буду отдать документы итальянцам?

— Вот именно, — агент выдержал его удивленный взгляд. — В конце концов, они организовали операцию. Они понесли расходы. Это будет справедливо... А? Какого вы мнения?

— А как же вы?

— Обо мне не беспокойтесь. Я — сам по себе.

Макс спрятал портсигар, так и не закурив. Ему расхотелось курить и более того — оставаться в Ницце. Где он попал в невиданную до сих пор ловушку. «И в какой именно ячейке этой паутины меня опутают? — спрашивал он себя. — И сожрут?»

— И вы для этого меня вызвали сюда?

Мостаса слегка прикоснулся к его локтю, приглашая подойти поближе к кованым перилам балюстрады, нависавшей над портом.

— Посмотрите, — начал он почти сердечным тоном. — Видите, там, внизу у причала пришвартован «Энферне»? Знаете, чье имя он носит? Энферне был моряк родом из Ниццы, при Трафальгаре он командовал фрегатом «Энтрепид». Отказался бежать вслед за адмиралом Дюмануаром и сражался до конца... Видите вон того «купца»?

Макс ответил, что видит черный сухогруз с двумя голубыми полосами на трубе. И вслед за тем Мостаса в немногих словах рассказал ему историю корабля. Он называется «Люциано Канфора» и перевозит в трюмах аммонал, хлопок, медные и латунные отливки, предназначенные для снабжения мятежников. Известно, что через несколько дней он возьмет курс на Пальма-де-Майорка, и предполагается, что фрахт оплатил Томас Ферриоль. Все это организовано группой франкистских агентов, база которых находится в Марселе, а коротковолновый передатчик — на борту яхты, стоящей на рейде Монте-Карло.

— А зачем вы мне это все рассказываете? — спросил Макс.

— А затем, что у вас с этим кораблем много общего. Фрахтовщики уверены, что он пойдет своим курсом на Балеарские острова, и даже не подозревают, что прибудет он в Валенсию — если только не произойдет чего-то экстраординарного. Вот как раз сейчас я убеждаю капитана и главного механика, что для них будет гораздо выгодней — во всех смыслах — перейти на сторону республики... Как видите, сеньор Коста, вы — не единственный предмет моих забот.

— Я по-прежнему не понимаю, зачем вы это рассказываете.

— Затем, что это правда. И за тем, что я уверен: в приливе разумной откровенности вы при случае перескажете это своим итальянским друзьям.

Макс снял шляпу, провел рукой по волосам. Несмотря на плотные тучи над морем и на восточный бриз, его вдруг опахнуло неприятным жаром.

— Я так понимаю, вы шутите.

— Вовсе нет.

— А это не сорвет операцию?

Мостаса уставил ему в грудь мундштук трубки.

— Дорогой друг! «Это», как вы выразились, — часть операции. Берегите здоровье, а мне предоставьте все остальное... От вас требуется только одно: оставаться таким же славным малым, хранящим верность тем, с кем имеет дело, и желающим отделаться от этой докуки... И никто не вправе будет упрекнуть вас ни в чем. Уверен, итальянцы оценят вашу откровенность так же высоко, как оценил ее я.

Макс глядел на него недоверчиво.

— А вам не приходило в голову, что у них может возникнуть желание вас убрать?

— Как же не приходило?.. — Мостаса засмеялся сквозь зубы как над чем-то совершенно очевидным. — Издержки профессии.

Он вдруг замолчал с видом почти задумчивым. Минуту рассматривал сухогруз у пирса, потом вновь обернулся к Максу. Галстук-бабочка не вязался с его улыбкой, которая больше пристала бы пронырливому и дошлому сыщику, знающему все тайные притоны.

— Случается порой, особенно в делах такого рода, — добавил он, дотронувшись до шрама на нижней челюсти, — что умирают другие. Потому что я, скажу без ложной скромности, тоже могу быть опасен... А вам, к примеру, никогда не доводилось представлять для кого-то опасность?

— Едва ли...

— Жаль-жаль, — Мостаса вглядывался в него с каким-то новым интересом, словно сумел заметить нечто такое, что раньше ускользало от его внимания. — А знаете, я кое-что угадываю в вашем характере... Кое-какие потаенные свойства...

— Да мне нет необходимости представлять опасность. Предпочитаю улаживать дела миром, и мне это удается.

— И что же, всегда так было?

— Посмотрите на меня — и убедитесь.

— Завидую вам. В самом деле, завидую. Как бы мне хотелось быть таким.

Мостаса дважды попыхтел трубкой, но увидев, что она не раскуривается, вынул ее изо рта и обескураженно заглянул в чашечку.

— И вот еще что расскажу вам... — продолжал он, ощупывая карманы. — Случилось мне как-то ночь напролет беседовать в купе спального вагона с одним господином. Весьма изысканного вида и прекрасных манер. И, кроме того, очень симпатичным. Вы мне его чем-то напомнили... Так вот, мы с ним чудесно поболтали. А в пять утра я взглянул на часы и счел, что узнал достаточно. И тогда отправился в коридор выкурить трубочку, а некто, ожидавший снаружи, вошел в купе и выстрелил моему милому и воспитанному соседу в голову.

Он достал спички и принялся очень сосредоточенно раскуривать трубку.

— Чудесно, а? Как, по-вашему? — спросил он, помахивая спичкой, чтобы погасить ее.

— Не знаю, что вы имеете в виду.

Мостаса, выпуская один за другим несколько густых клубов дыма, остро глянул Максу в лицо.

— Вы что-нибудь знаете о Паскале? — спросил он неожиданно.

— Не больше, чем о шпионах.

— Был такой философ... Полчища мух, писал он, выигрывают битву.

— Я не понимаю, о чем вы.

Мостаса состроил на лице улыбку — одновременно уважительную, насмешливую и печальную.

— Я вам завидую. Правда. Как, наверное, хорошо быть третьим лицом, ко всему безразличным, и любоваться пейзажем. Находиться между друзьями-фашистами и мной... Делать вид, что искренен со всеми, не принимать ничью сторону и потом спать крепко и сладко. Одному или с кем-нибудь — в такие подробности я не вдаюсь... Но спать покойно и глубоко, что называется, без задних ног.

Макс начал терять терпение. Ему очень хотелось ударить в эту ледяную, абсурдно сообщническую улыбку, скользившую по губам, которые оказались в трех дюймах от него. Однако он знал, что обладатель ее при внешнем тщедушии — не из тех, кого можно ударить безнаказанно.

— Послушайте, — сказал он. — Скажу вам прямо...

— Давно пора. Ну-ну, смелей.

— Ваша война, ваши корабли, ваши письма от графа Чиано — на все на это мне, извините, на...ть.

— Высоко ценю вашу откровенность, — признался Мостаса.

— Мне до этого дела нет. Видите эти часы? Этот костюм, сшитый в Лондоне? Этот парижский галстук? Мне все эти вещи не с неба упали. Дались с большим трудом, как и умение их носить. Я собственной кровью и потом добился всего и попал сюда. А теперь, когда наконец попал, оказывается, что нашлось немало охотников так или иначе лишить меня всего.

— Понимаю... Ваша Европа сулит прибыль и тешит самолюбие, а теперь она блекнет и сохнет на глазах, как сорванный ландыш.

— Ну так дайте же мне время, черт вас всех возьми! Дайте еще пожить всласть!

Мостаса, казалось, отстраненно размышлял над услышанным.

— Да, — выговорил он наконец. — Вы отчасти правы.

Опершись о балюстраду, Макс склонился над портом и вздохнул так глубоко, словно хотел набрать в грудь как можно больше морского воздуха. Прочистить легкие. Вдалеке, на прибрежных скалах за Ла-Резерв можно было различить дом Сюзи Ферриоль и другие виллы, белыми и охряными пятнами усеявшие зеленые склоны горы Борон.

— Вы все скопом втянули меня в какую-то пакостную историю, — сказал он. — И единственное, чего я хочу, — поскорее разделаться с этим. И навсегда потерять вас из виду.

Мостаса сочувственно пощелкал языком:

— Вынужден вас огорчить. Потерять из виду не получится. Мы — это будущее, точно так же, как машины, самолеты, красные флаги, черные, голубые или коричневые рубахи... Вы опоздали на праздник приговоренных к смерти. Где-то здесь, очень близко, — он показал черенком трубки на тучи, продолжавшие копиться над морем, — формируется ураган. Он сметет на своем пути все, ничего прежнего не оставит. И мало тогда будет вам проку от парижских галстуков.

— Не знаю, я ли отец Хорхе, — говорит Макс. — И на самом деле выяснить это я не могу.

— Разумеется, не можешь, — отвечает Меча Инсунса. — Располагаешь только моим словом.

Они сидят на террасе кафе на Пьяцетта де Капри, неподалеку от церковной паперти и колокольни, возносящейся над мостовой, которая тянется вверх от самого порта. Кораблик, раз в полчаса курсирующий между Сорренто и Капри, доставил их сюда после обеда. Идея принадлежала Мече. Хорхе пусть отдыхает, сказала она, а я сто лет как не была на острове. И предложила Максу составить ей компанию.

— В прежние времена ты... — начинает он.

— Хочешь сказать, у меня были мужчины и помимо тебя?

Макс медлит с ответом. Он глядит на окружающих: одни сидят за столиками, другие — с неразличимыми против света лицами — медленно прогуливаются на фоне вечереющего неба. Долетают обрывки английских, немецких, итальянских фраз.

— Включая и Келлера-старшего, — говорит он, словно подводя итог долгим и сложным размышлениям. — Официального отца.

Слышится пренебрежительный смешок. Меча играет с концами шелковой косынки, завязанной на шее поверх серого свитера; черные брюки обрисовывают длинные ноги — они стали тоньше, чем двадцать девять лет назад, — обутые в черные мокасины «Pilgrim»; на спинке стула висит холщовая сумка с кожаными вставками.

— Послушай, Макс... У меня нет решительно никаких резонов требовать от тебя признания отцовства... На этом этапе твоей жизни. Да и моей тоже.

— Я вовсе не собираюсь...

Вскинув руку, она перебивает:

— Отчетливо представляю себе, что ты собираешься и что нет. И всего лишь отвечаю на твой вопрос... О том, ради чего ты должен будешь это сделать. Почему должен рисковать, выкрадывая у русских книжку.

— Я уж не гож для подобных эскапад.

— Гож.

Меча Инсунса рассеянно протягивает руку к бокалу вина, стоящему перед Максом. Тот снова рассматривает увядшую, морщинистую, как и у него самого, кожу, пигментные пятна на тыльной стороне кисти.

— Ты был интересней, когда не боялся рисковать, — добавляет она задумчиво.

— И значительно моложе, — без запинки отвечает он.

Она глядит насмешливо:

— Ты ли так сильно переменился? Или мы оба? Где тот былой зуд в кончиках пальцев? Где учащенный стук сердца?

И надолго засматривается на то, как Макс вместо ответа изящно разводит руками, демонстрируя покорность судьбе, и это движение согласуется с синим свитером, так рассчитанно небрежно наброшенным на плечи поверх белой рубашки-поло, с серыми льняными брюками, с седыми волосами, зачесанными назад и разделенными высоким, безупречно ровным пробором.

— Я спрашиваю себя, как тебе это удалось? — продолжает женщина. — Какой каприз судьбы помог тебе переменить жизнь? И как звали ее... Или их. Тех, кто не постоял перед затратами...

— Да не было никакой «ее», — Макс с легким смущением чуть наклоняет голову. — Повезло, вот и все. Я ведь рассказывал...

— Жизнь удалась.

— Ну да, вроде того.

— Сбылось то, о чем мечтал.

— Не вполне. Но грех жаловаться.

Меча так глядит на лестницу, ведущую от Пьяцетты ко дворцу Черио, словно среди множества людей, которые снуют по ней, ищет знакомое лицо.

— Он — твой сын, Макс.

Молчание. Меча мелкими глотками, почти задумчиво допивает свое вино.

— Не собираюсь предъявлять тебе счет... Ты не отвечаешь ни за его жизнь, ни за мою. Я всего лишь объясняю, почему ты должен ему помочь. Привожу более или менее весомый аргумент.

Макс, стараясь не показывать волнения, старательно разглаживает стрелки на брюках.

— Ты сделаешь это? Правда ведь?

— Ну, руки в самом деле похожи... — признает он наконец. — И волосы тоже. И есть еще что-то общее в манере двигаться...

— Не финти, будь так добр! Да или нет! И прекрати страдать!

— Я не страдаю.

— Нет, страдаешь! Престарелый страдалец, который хочет отвертеться от запоздалой и неожиданной докуки. А докуки-то никакой нет!

Она поднимается, взяла сумку, взглянула на башенные часы:

— Катер отходит в семь с четвертью. Давай еще пройдемся напоследок.

Макс надевает очки и, проглядев счет, снова прячет их в карман. Потом достает бумажник и кладет на стол две тысячелировые купюры.

— Тебя никогда не было у Хорхе. У него была я.

— И твои деньги. Жизнь удалась.

— Это звучит упреком, мой милый. Хотя, если память мне не изменяет, это ты всегда гонялся за деньгами. Им отдавал приоритет перед всем прочим. Да и теперь, когда они вроде бы у тебя появились, мимо рта не пронесешь.

Они шагают вдоль каменного парапета. В красноватом закатном свете, тронувшем Неаполитанский залив, спускаются вниз по склону лимонные деревья и виноградники. Солнечный диск уже погружается в воду, обводя контур далекого острова Искья.

— И тем не менее ты дважды упускал удобный случай. Почему ты так глупо вел себя со мной? Почему оказывался таким тупоумным и слепым?

— Наверно, был чересчур занят... Занят выживанием.

— У тебя не было терпения. Ты был не способен ждать.

— Мы с тобой ходили разными дорогами, — Макс тщательно подбирает слова. — И на твоих мне бывало неуютно.

— Тебе по силам было изменить это. Ты просто испугался, Макс. Хотя, в конце концов, добился своего, сам того не желая.

Она зябко передергивает плечами, ежится. Макс, заметив это, предлагает ей свой свитер; она молча отказывается и, сняв с шеи шелковую косынку, повязывает ею седую стриженую голову. Потом опирается о парапет.

— Ты когда-нибудь любил меня, Макс?

Растерявшись, тот не отвечает. Упорно всматривается в красноватое море и пытается отделить слово «раскаянье» от слова «печаль».

— Ах, какая я дура! — мимолетным ласкающим движением она прикасается к его руке. — Будто сама не знаю?! Конечно, любил.

Вот еще подходящее слово: «опустошение», думает он. Нечто вроде влажной, нутряной жалобы, когда вспоминается то, что было и чего не стало. Тоска по недосягаемой ныне теплоте.

— Ты и не знаешь, что потерял за все эти годы, — продолжает она. — Ты не видел, как рос твой сын. Не видел мир его глазами, по мере того как они становились все зорче...

— Если все так, как ты говоришь, почему я...

— Почему я решила родить от тебя, ты хочешь сказать?

Он отвечает не сразу. Гулкое протяженное эхо ударившего колокола разносится по окрестностям острова. Меча снова смотрит на часы, отходит от парапета и идет к фуникулеру, связывающему Пьяцетту и морской вокзал.

— Так вышло, — говорит Меча, когда они оказываются рядом на скамейке пустого вагончика. — Вот и все. Надо было решать немедля, и я решила.

— Оставить.

— Хорошее слово. Вот именно: оставить себе. Себе одной.

— Отец...

— Ну да, конечно. Отец. Как ты сказал, нечто вполне подходящее. Полезное, по крайней мере, поначалу. Эрнесто был хороший человек. Хорош для мальчика... Потом эта надобность отпала.

Слегка подрагивая, фуникулер ползет мимо покрытых густой растительностью склонов, как между стен. Остаток недолгого пути проходит в молчании, и вот наконец Макс его прерывает:

— Сегодня утром я разговаривал с твоим сыном.

— В самом деле? — Ее удивление кажется неподдельным. — Мы завтракали вместе, и он словом об этом не обмолвился.

— Хорхе попросил меня держаться подальше.

— А чего бы ты хотел? Он умный мальчик. Его наитие действует не только в шахматах. Он чувствует в тебе что-то подозрительное. И в том, что ты оказался здесь, и вообще... Но я думаю, что он ловит какие-то мои волны... Ты ему безразличен. Он чувствует мое отношение, и оно его настораживает.

Когда добрались до гавани, солнце уже село, и здание вокзала изменило цвет — стало серым. Они идут вдоль пирса, разглядывая рыбачьи лодки, покачивающиеся на якорях возле берега.

— Хорхе угадывает, что между нами существует особая связь, — говорит Меча.

— Особая?

— Давняя. Причудливая.

Произнеся это, она замолкает надолго. Макс благоразумно не решается прервать эту паузу.

— Ты вот спросил меня... — наконец говорит она. — Как ты думаешь, почему я решила родить?

Теперь молчит Макс. Поворачивается из стороны в сторону — и, признавая свое поражение, смущенно улыбается. Однако Меча смотрит на него неотрывно, ждет ответа.

— Ну-у... на самом деле... ты и я... — неуверенно начинает он.

Снова повисает молчание. Меча не сводит с него глаз, меж тем как в неуклонно меркнущем свете кажется, что мир вокруг медленно умирает.

— С самого первого танго — там, на пароходе, — договаривает он, — у нас с тобой возникли какие-то особые отношения.

Она все так же пристально смотрит на него, и в глазах ее — такое полное презрение, что Максу стоит почти физических усилий выдержать этот взгляд.

— Это все? Особые, ты сказал? Господи боже! Я влюбилась в тебя с того самого танго. И уже на всю жизнь.

Так же смеркалось и двадцать девять лет назад, в Ницце, когда Макс и Меча Инсунса шли по проспекту Англичан. На небе — почти совсем уже черном — среди темных туч быстро гас последний отблеск заката, и стиралась линия меж небом и неспокойным, глухо рокочущим морем. Крупные разрозненные капли — предвестники сильного дождя — кропили землю, и от этого уныло поникали неподвижные листья пальм.

— Покидаю Ниццу, — сказал Макс.

— Когда?

— Дня через три-четыре. Как только закончу одно дело.

— Вернешься?

— Не знаю.

Она ничего не сказала больше. Уверенно ступая на высоких каблуках, шла по влажной мостовой, сунув руки в карманы непромокаемого плаща, туго стянутого кушаком по тонкой талии. Волосы были спрятаны под черный берет.

— Ты останешься в Антибе? — осведомился Макс.

— Да. Наверное, на всю зиму. По крайней мере, до тех пор, пока не утихнет в Испании. Буду ждать вестей об Армандо.

— О нем что-нибудь слышно?

— Ничего.

Макс закрыл зонтик. Потом снял шляпу, стряхнул с нее дождевые капли и снова надел.

«Пале-Медитерране» только что вспыхнул огнями. Словно повинуясь общему приказу, внезапно зажглись все фонари вдоль протяженного изгиба проспекта, и на фасады отелей и ресторанов легла череда света и тени. Возле гостиницы «Руль», у крытого парусиной мостика-сходней, перед которыми стоял швейцар в ливрее, трое молодых людей в смокингах ловили удачу: подстерегали дам, вылезавших из автомобилей, и направлялись внутрь, на Жете-Променад, откуда слышалась музыка. Было очевидно, что ни у кого из юношей не было сотни франков, чтобы уплатить за вход. Они оглядели Мечу со спокойной жадностью, а один попросил у Макса закурить. От него пахло дешевым одеколоном. Жгучий темноглазый брюнет итальянского типа, он был совсем еще молод и довольно хорош собой. На нем, как и на его спутниках, ладно сидел приталенный смокинг с крахмальной манишкой и галстуком-бабочкой. Смокинг, судя по всему, был взят напрокат, и башмаки оставляли желать лучшего, но юноша держался самоуверенно и даже чуть нагловато, впрочем, не переходя грань приличий, и этот апломб вызвал у Макса улыбку. Он остановился, распахнул свой «Burberry», достал черепаховый портсигар, открыл и протянул:

— Возьмите еще парочку — друзей угостите.

Юноша смотрел на него в легком замешательстве. Потом подцепил три сигареты, поблагодарил, окинул прощальным взглядом Мечу и отошел к своим. Пройдя немного, Макс краем глаза увидел, что женщина наблюдает за ним с интересом.

— Старые воспоминания?

— Ну да.

Меж тем звучавшая им вслед мелодия замирала, иссякала, гасла. Когда смолкли последние ноты, оркестр заиграл следующую композицию.

— Не могу поверить, — засмеялась Меча, беря его под руку. — Ты все это подстроил специально для меня. Включая жиголо.

Засмеялся и Макс, удивляясь не меньше, чем она: из казино, перекрывая шорох прибоя по гальке, летели звуки танго «Старая гвардия».

— Хочешь, зайдем, потанцуем? — в шутку спросил он.

— Что за дикая мысль?!

Они шли очень медленно. Прислушивались.

— Красиво, — сказала Меча, когда музыка стихла. — Лучше, чем у Равеля.

Прошли еще несколько шагов молча. Потом Меча слегка сжала его руку:

— Без твоего участия этого танго не было бы.

— Сомневаюсь, — возразил он. — Зато уверен, что твой муж никогда бы не сумел сочинить его, не будь тебя. Это танго принадлежит тебе, а не ему.

— Глупости не говори.

— Я же танцевал с тобой, ты забыла? Там, на этом складе в Буэнос-Айресе... И помню, как смотрел на тебя Армандо. Так же, как, впрочем, и все мы.

Совсем стемнело, когда они прошли по мосту через Пэйон. Слева, за парком, фонари освещали площадь Массена. Вдалеке, меж темными густыми деревьями, прополз трамвай — об этом можно было судить лишь по искрам, летевшим от ролика токоприемника.

— Скажи-ка мне, Макс, — она дотронулась до своей шеи. — Ты с самого начала решил украсть колье или придумал на ходу? В процессе, так сказать?

— На ходу, — солгал он.

— Врешь.

Он устремил к ней правдивый и честный взгляд:

— Нисколько.

На улицах было почти пусто: лишь изредка по опавшей листве поскрипывали колеса фиакров с поднятым верхом да, слепя влажным туманным светом фар, проносились автомобили. Меча и Макс беспечно пересекли площадь, оставили позади Променад.

— Как назывался тот вертеп? — спросила Меча. — Ну, тот, где мы танцевали?

— «Ферровиария». Неподалеку от станции Барракас.

— Интересно, он еще существует?

— Не знаю. Никогда там больше не был.

По тулье шляпы снова барабанят крупные капли. Но он пока не раскрывает зонт. Прибавляют шагу.

— Мне бы хотелось снова послушать такую музыку... С тобой. Есть в Ницце подобные заведения?

— Злачные места, ты хочешь сказать?

— Не злачные, дурачок, а такие... особенные.

— Вроде пансиона в Антибе?

— Ну, например.

— С зеркалом на стене? Или без?

Вместо ответа она, придержав его за рукав, заставила наклониться. И прильнула к его губам быстрым крепким поцелуем, в котором были и ожившая память о прежнем, и обещание. Макс почувствовал, как туманит голову неотложность желания.

— Конечно, есть, — сказал он с наружным спокойствием. — Такие места есть повсюду.

— Ну, например, — повторила она.

— Здесь поблизости, в старом городе, знаю «Lions at the Kill».

— Прелестное название, — Меча изобразила аплодисменты. — Отправляемся туда немедля.

Макс взял ее за руку и повел дальше.

— Я думал, мы поужинаем. Заказал столик в «Бутто», возле собора.

Меча спрятала лицо у него на плече, так что ему волей-неволей пришлось остановиться.

— Терпеть не могу этот ресторан, — сказала она. — Хозяин непременно выходит приветствовать клиентов.

— Ну и что же тут плохого?

— Да все! Меня сильно раздражает, когда с клиентами смешиваются портные, парикмахеры, повара...

— Платные танцоры, — со смехом договорил Макс.

— Так вот, у меня идея получше. Давай закусим чем-нибудь на скорую руку в «Камбузе» — закажем устрицы, скажем, и шабли. Потом отвезешь меня в это заведение.

— Как хочешь. Только сними ожерелье и браслет, спрячь их в карман перед тем, как войдем... Не надо дразнить судьбу.

Когда они оказались под фонарем, она подняла к Максу лицо. Глаза ее отблескивали, как латунь или медь.

— Там тоже будут парни былых времен?

— Едва ли, — стоически улыбнулся Макс. — Боюсь, что нас там встретят парни времен нынешних.

Название в самом деле было неплохое, однако сулило больше, чем давало. Там было дешевое шампанское во льду, темные пыльные уголки, одетое в черное хриплоголосое существо неопределенного пола, подражавшее Эдит Пиаф, а после десяти — стриптиз. Обстановка была неестественная, нарочитая, а стиль — нечто среднее между опоздавшим «апаш» и убогим сюрреализмом. За столиками сидели несколько американских и немецких туристов, охочих до острых ощущений, матросы, приплывшие из Вильфранша, трое-четверо субъектов, выглядевших как кинематографические злодеи — подстриженные углом бакенбарды, темные костюмы в полоску — и, как заподозрил Макс, нанятых хозяином для придания заведению должного колорита. Меча скучала, томилась и едва дотерпела до середины второго стрип-номера, исполнявшегося пышной египтянкой с большими белыми, трясущимися при каждом движении грудями, так что Макс спросил счет, уплатил двести франков за бутылку, к которой они почти не притронулись, и они вышли на улицу.

— И это все? — спросила Меча разочарованно.

— В Ницце ничего другого нет. Ну, или почти нет.

— Тогда отведи меня в это «почти».

Вместо ответа Макс, раскрывая зонтик, помахал кому-то в конец улицы Сен-Жозеф, от перекрестка поднимавшейся к замку. С карнизов струями бежала вода. Под навесом закрытой цветочной лавки у единственного фонаря две женщины прятались от дождя. Шум его обволакивал Макса и Мечу, пока они под руку медленно направлялись к ним. Одна женщина при виде их юркнула в соседнюю подворотню, но вторая ждала их приближения, не трогаясь с места. Она была высокого роста, худая. В жакете с каракулевым воротником, в темной, очень узкой юбке до середины икры. Юбка отчетливо обрисовывала изгиб бедер, подчеркивала длину ног, казавшихся еще длинней благодаря туфлям на толстой подошве и высоким клинообразным каблукам.

— Хорошенькая, — заметила Меча.

Макс разглядывал женщину. В свете фонаря под коротким полем пропитанной влагой шляпки виднелось молодое лицо с темным пятном накрашенного рта, с густо подведенными веками под выщипанными, подрисованными бровями. На щеках дрожали крошечные капли дождя.

— Может, и хорошенькая, — согласился он.

— Хорошо сложена, складная, гибкая... Даже почти изящная.

Они приблизились вплотную; теперь женщина оглядела их, и быстрый профессиональный взгляд, которым она окинула Макса, тотчас заволокло тусклой мутью безразличия, едва она увидела, что подошедшие идут под руку. Вслед за тем в глазах мелькнуло любопытство, и она оценила внешность и костюм Мечи. Плащ и берет ничего особенного собой не представляли, но вслед за тем Макс заметил, что, оглядев туфли и сумку, она посмотрела на хозяйку с упреком — как, мол, ей не жалко губить их в такой дождь.

— Спроси ее, сколько она стоит, — шепнула ему Меча.

Она склонилась к нему, но при этом не сводила глаз с женщины. Макс слегка замялся:

— Это не наше дело.

— Спроси.

Женщина слышала их диалог — он шел по-испански — и угадывала, о чем идет речь. Она переводила глаза с Макса на Мечу, силясь понять. И на тронутых лиловатой помадой губах возникла тень улыбки — одновременно презрительной и поощрительной. Сумка Мечи и ее туфли теперь не имели значения. И больше уже не проводили разграничительной черты. Не отделяли их друг от друга.

— Сколько? — спросил Макс по-французски.

Женщина с профессиональной осторожностью ответила, что это от них зависит. От того, на время или на ночь, а также от предпочтений месье. Или мадам. Она отшагнула в сторону, спасаясь от хлещущих струй, и оказалась в тени, но перед этим через плечо оглянулась на пару, уперла руку в бедро.

— Он — с вами, а я буду смотреть, — ледяным тоном сказала Меча.

— Еще чего! — запротестовал Макс.

— Помолчи.

Женщина назвала сумму. Макс снова оглядел длинные стройные ноги, обрисованные узкой прямой юбкой. И совершенно против воли испытал прилив желания. Нет, его возбуждала не проститутка, а поведение Мечи. На мгновение он представил, как на съемной квартиренке где-нибудь поблизости, на кровати с несвежими простынями он овладевает этим стройным гибким телом под внимательным взглядом голой Мечи. Как, не смывая с себя сокровенной влаги первой, поворачивается ко второй, проникает в нее. Как внедряется и в это тело, которое сейчас так нетерпеливо подрагивает у его плеча.

— Возьмем ее с собой, — требовательно сказала Меча.

— Нет, — ответил Макс.

В номере отеля «Негрони», под дробный стук капель, которые не на шутку припустивший дождь с силой швырял в стекла, они предавались страсти отчаянной и безудержной, похожей на единоборство, страсти жадной и немой, если не считать стонов, вскриков, звуков ударов, — и это молчание лишь порою внезапно нарушалось бесстыдными непристойными словами, прошептанными на ухо. Воспоминание о высокой худощавой девице под фонарем не оставляло любовников, и присутствие ее ощущалось так явственно и зримо, словно она была с ними третьей, словно смотрела на них и подставляла себя под их взгляды, покорствуя их источающим пот и похоть телам, снова и снова сплетавшимся в свирепых объятиях.

— Я хлестала бы ее по спине, пока ты... — шептала Меча, слизывая капли пота с шеи Макса. — Я кусала бы ее и терзала... Да. Я заставила бы ее кричать от боли.

Была минута, когда в неистовстве страсти она неосторожным движением задела его по носу и, не давая унять кровь, вереницей красных капель пятнающую простыни, с прежней яростью впилась в него поцелуем, сама выпачкавшись в крови, от этого, разумеется, пошедшей обильней, будто обезумела от ее вкуса, как волчица, которая рвет клыками добычу, меж тем как Макс, вцепившись в прутья кровати, искал точку опоры, чтобы не сорваться в пропасть с острой грани, стискивал челюсти, глуша рвущийся откуда-то из самого нутра звериный вой, древний как мир. Сдерживал, как мог, неодолимое, бесповоротное, мучительное желание погрузиться до беспамятства в омут этой женщины, тащившей его к безумию и забвению.

— Я бы выпила что-нибудь, — сказала она потом и закурила.

Макс одобрил эту мысль. Они натянули одежду на еще не простывшие, влажные, остро пахнущие тела и, по широкой лестнице спустившись в просторный холл, вошли в отделанный деревянными панелями бар, который хозяин, испанец Адольфо, уже собирался закрывать. Хмурое лицо просветлело, когда он увидел, кто к нему пришел, — вот уже много лет Макс для него был неотъемлемой частью того избранного сообщества, никак не определяемого ни формальными признаками, ни даже степенью благосостояния его членов, принадлежность к которому официанты, таксисты, метрдотели, цветочницы, чистильщики обуви и прочая, шестеренки и винтики отельной обслуги, благодаря инстинкту или навыку умели узнавать с первого взгляда. И благорасположение это было совсем не случайно. Макс прекрасно знал, сколь полезны при его образе жизни могут оказаться ему эти третьестепенные персонажи, и при всякой возможности стремился завязывать с ними тесные доверительные отношения, умело сочетая дружеский тон и уважительное отношение с приличествующими случаю чаевыми.

— Три «Вест-Индии», Адольфо. Две — нам, одну — тебе.

Покуда бармен готовил для них столик и заново зажигал бронзовые настенные лампы, Меча и Макс присели у стойки очень близко друг к другу — глаза в глаза — и молча выпили.

— От тебя пахнет мной, — сказала она. — Нами.

Да, так оно и было. Запах был насыщен и ощутим. Макс улыбнулся, наклоняясь к ней, — широкая белая полоса внезапно пересекла загорелое лицо с уже пробивающейся щетиной. Хотя Меча попудрилась перед тем, как выйти из номера, на подбородке, на шее и на губах заметны были следы его поцелуев.

— До чего ж ты хорош, негодяй.

Она чуть прикоснулась к его носу, откуда еще слегка сочилась кровь, и тотчас вслед за тем оставила красный отпечаток пальца на одной из маленьких кружевных салфеток, лежавших на стойке.

— И ты... Как сон.

Макс пригубил и оценил: в меру охлажден, правильный. Адольфо, конечно, непревзойденный мастер сбивать коктейли.

— Ты снилась мне в детстве, — прибавил он задумчиво.

Это прозвучало искренне, и это соответствовало истине. Меча, слегка приоткрыв рот, дыша чуть учащенно, смотрела на него. Макс опустил руку на ее талию, почувствовав под лиловым крепом плавную крутизну точеного бедра.

— За все надо платить, — пошутила она, пряча испачканную кровью салфетку.

— Полагаю, за все уже заплатил раньше. Если нет — счет будет сокрушительный.

Она прижала кончики пальцев к его губам, заставив замолчать.

— Goûtons un peu ce simulacre de bonheur.[[55]](#footnote-55)

Снова замолчали. Макс наслаждался коктейлем и близостью этой женщины, непозабытым ощущением ее тела, ее кожи. Тишиной, неотделимой от свежей памяти о наслаждении. Нет, это не подобие счастья, сказал он себе. Он и вправду чувствовал, что счастлив — счастлив тем, что жив, что не оказалось препон на пути сюда. На пути длинном, долгом, нескончаемом и опасном. Но мысль о скорой разлуке с Мечей вызывала невыносимую муку. Боль и ярость. Ему хотелось оказаться за тысячи миль от двоих итальянцев и этого Фито Мостасы. Хотелось увидеть их мертвыми.

— Хочу есть, — сказала Меча.

И взглянула на Адольфо как человек, привыкший к тому, что мир со всеми его услугами находится в полном его распоряжении. Но бармен, приняв официальный тон, извинился. Все уже закрыто. Впрочем, добавил он, чуть поразмыслив, если господа окажут честь сопровождать его, он сможет им кое-что предложить. После этого он погасил огни в баре, с видом заговорщика поманил их за собой в заднюю дверь и повел по скверно освещенной лестнице в подвал. Макс и Меча, взявшись за руки, шли следом, радуясь нежданному приключению, и вот, пройдя по длинному коридору через пустую кухню, оказались перед столом, на котором рядом с огромной грудой сияющих кастрюль лежал наполовину разделанный испанский окорок-хамон — настоящий серрано из Альпухары, с гордостью уточнил Адольфо, разворачивая его.

— Ножом владеете, дон Макс?

— В совершенстве. Я родился в Аргентине, представь себе.

— Ну, так займитесь. Режьте, а я принесу вам бутылку бургонского.

Едва успев вернуться в номер, Макс и Меча нетерпеливо раздевшись, с прежней страстью, как будто впервые, вновь предались любви. Остаток ночи они провели в полудреме и, просыпаясь, каждый раз смыкали объятия с чуткой внимательностью к требовательному желанию другого. Потом, когда сквозь шторы стал просачиваться первый свет зари, наконец заснули, но теперь уже по-настоящему, глубоким и крепким сном сладостного изнеможения и спали до тех пор, пока Макс не открыл глаза, не прошел к окну, из-за которого лилось пепельное свечение и слышался шум так и не утихшего дождя. Вдалеке по гальке пляжа бежала одинокая собака. За стеклами, покрытыми россыпью расплющенных капель, тонула в свинцовой дымке полоска моря, и мокрые верхушки пальм печально клонились к блестящему асфальту Променада. Тогда Макс обернулся и, взглянув на дивное тело спящей женщины, навзничь распростертой на смятых простынях, понял: этот синевато-серый, мутноватый от осеннего дождя свет предвещает, что скоро он потеряет ее навсегда.

Макс знает, что советская делегация живет не в самом отеле «Виттория», а в коттедже, примыкающем к парку. Портье Спадаро сообщил ему, что все апартаменты там заняты русскими. Михаил Соколов обосновался наверху — в просторном номере с балконом, откуда за корпусами отеля, за верхушками высоких столетних пиний виднеется панорама Неаполитанского залива. Там живет чемпион, там он со своими помощниками готовится к очередной партии.

Сидя под крышей увитой плющом беседки и вооружившись полевым немецким биноклем, позаимствованным у капитана, Макс изучает особняк, но делает вид, что наблюдает за птицами. Вывод, который он делает, обескураживает: обычный путь, кажется, заказан. Вчера он убедился в этом и после ужина, сидя с Мечей на этом самом месте, попытался было убедить и ее. Охрана разместилась на нижнем этаже, объяснял он, указывая на освещенные окна. Лестница одна, как и лифт, и расположена в общем холле. Там всегда кто-нибудь из телохранителей. Незаметно проникнуть в особняк Соколова невозможно.

— Должен быть какой-то способ, — возразила Меча. — Сегодня игра.

— Боюсь, что нет. Я, например, его пока не вижу.

— Перед обедом будут играть снова, и это продлится до вечера. Времени у тебя в избытке... А с запорами и замками ты всегда умел обращаться. У тебя есть... как их? Отмычки?

В том, как Макс пожал плечами, чувствовались долгие годы профессионального самоуважения.

— Запоры — не проблема. Во входной двери — современный «Yale», его ничего не стоит открыть. В номере — еще того проще: самый обычный, допотопный замок.

Он помолчал, озабоченным взглядом окидывая тонущее в полумраке здание. Так альпинист перед восхождением оценивает трудный профиль горы.

— Проблема в том, как подойти. Как подняться, чтобы ни один проклятый большевик ничего не заподозрил.

— Большевик... — со смехом отзывается Меча. — Так уже давно не говорят.

Вспышка. Меча прикуривает сигарету. Третью за то время, что они здесь стоят.

— Ты должен что-нибудь придумать, Макс. Как ты делал это раньше. Много раз.

Молчание. Витает легкий запах табачного дыма.

— Вспомни, как это было в Ницце. В доме Сюзи Ферриоль.

Изящно, думает он. Парадоксально — привести как аргумент ту давнюю историю.

— Не только в Ницце, — отвечает он спокойно. — Беда в том, что я тогда был вдвое моложе.

И замолкает на миг, рассчитывая невероятные вероятности. В тишине парка слышится далекая музыка, долетевшая сюда из какого-нибудь бара на площади Тассо.

— Если сцапают...

И осекается, помрачнев. Потому что слово это вырвалось у него, сказалось вслух будто бы само собой.

— Тебе не поздоровится, — договаривает Меча. — Это точно.

— Здоровье меня не очень-то заботит, — беспокойно улыбается Макс. — Мне в тюрьму не хочется.

— Как странно слышать это от тебя.

Удивление ее кажется непритворным.

— Мне и прежде бывало страшновато, — безразлично говорит Макс. — Но сейчас мне шестьдесят четыре года.

Музыка вдали не смолкает. Что-то ритмичное, современное. Но слишком далеко, чтобы Макс мог распознать мелодию.

— Ведь это не кино, — продолжает он. — А я не Кэри Грант в роли гостиничного вора... В реальной жизни хеппи-эндов не бывает.

— Глупый... Ты дал бы Кэри Гранту сто очков вперед.

Она взяла его руки в свои — тонкие, чуть костлявые, теплые, слегка сжала. Макс продолжал вслушиваться в далекую музыку. И вот наконец уловив, поморщился: это было не танго.

— Знаешь?.. Это мне казалось, что ты похожа на девушку из этой картины... Или, вернее, что она похожа на тебя... Она всегда напоминала мне тебя — тонкая, изящная... И до сих пор похожа на тебя... Или ты — на нее.

— Хорхе — твой сын. Уж в этом можешь быть совершенно уверен.

— Может быть, — отвечает он. — Однако...

Он водит ее ладонью по своему лицу, будто приглашая убедиться, что́ сделало с ним время.

— Может быть, существует другой путь, — ее прикосновение кажется лаской. — Может быть, стоит подумать об этом завтра, при свете дня... И ты отыщешь способ.

— Если бы существовал другой путь... — отвечает он, почти не слушая. — Если бы я был моложе и ловчей... Не слишком ли много нереальных условий?

Меча отдергивает руку:

— Я отдам тебе все, что у меня есть, Макс. Сколько скажешь.

В удивлении он снова глядит на нее. Видит в полутьме силуэт, подсвеченный дальними огнями и раскаленным угольком сигареты.

— Это фигура речи, я полагаю.

Силуэт пошевелился. Двойной медный высверк. Глаза женщины устремлены на него.

— Да, это фигура речи, — соглашается она, два раза подряд пыхнув огоньком на конце сигареты. — Но я отдам тебе... Отдала бы все...

— И даже чашку кофе в твоей лозаннской квартире?

— Разумеется.

— И даже ожерелье?

Пауза. Довольно продолжительная.

— Глупости не говори.

Красный светлячок падает наземь и гаснет. Меча снова берет Макса за руку. Музыка вдали смолкла.

— Будь я проклят, — говорит он. — Делаешь из меня какого-то героя-любовника. Заставляешь забыть, сколько мне лет.

— Я того и добиваюсь.

Он заколебался на миг. На миг, не больше. Челюсти ноют, силясь сдержать готовое вырваться признание.

— У меня нет ни сантима, Меча.

Помедлив немного, она отвечает:

— Знаю.

Макс на миг теряет дар речи. Он глубоко ошеломлен.

— Как это «знаешь»? — сказал он, перебарывая приступ паники. — Что знаешь?

Он хочет высвободить руку, выпрямиться, встать. Вырваться отсюда. Но Меча держит его мягко, но крепко.

— Знаю, что живешь не в Амальфи, а здесь, в Сорренто. Что служишь шофером на вилле «Ориана». Что дела твои в последнее время идут неважно.

Хорошо, что я сижу, думает Макс, свободной рукой опираясь о подушку кресла. А не то упал бы.

— Я постаралась кое-что выяснить о тебе, как только ты появился в отеле.

В растерянности и смятении он пытается определить, какие чувства испытывает в эту минуту. Стыд, унижение. Все эти дни он выглядел жалко, смехотворно и нелепо, играя эту роль. Пыжился и вел себя по-дурацки.

— И ты все знала с самого начала?

— Почти все.

— Зачем тогда подыгрывала мне?

— По нескольким причинам. Во-первых, из любопытства. Было очень увлекательно увидеть перед собой прежнего Макса, всегдашнего Макса — элегантного и бессовестного жулика.

Она замолкает на миг, не выпуская из рук его руку.

— И, кроме того, у меня к тебе слабость. Была и есть.

Макс высвобождает руку, поднимается на ноги.

— И остальные тоже в курсе дела?

— Нет. Я одна.

Выйти бы на воздух, думает Макс, глубоко вздохнуть, утихомиривая бурю противоречивых чувств. Или срочно выпить. Чего-нибудь покрепче. Чтоб продрало до самого нутра и прочистило.

Меча в полном спокойствии остается сидеть.

— Не будь тут замешан Хорхе, при других обстоятельствах... Это было бы даже забавно. Побыть с тобой. Понять, чего ты добиваешься. Как далеко намерен зайти.

Она замолкает на мгновение.

— И что ты предлагаешь?

— Сама не знаю... Может быть, воскресить старые времена...

— В каком смысле?

— Да во всех.

Она медленно поднимается. Это стоит ей известного усилия, отмечает Макс.

— Прежние времена минули и сгинули. Вышли из моды наподобие нашего танго. Да, умерли, как твои парни былых времен или как ты сам... Как я. Как мы с тобой.

Она ухватывает его за руку точно так же, как двадцать девять лет назад в Ницце, в тот вечер, когда они шли в «Львиную охоту».

— Это сулит многое, — добавляет она. — Увидеть, как ты воскреснешь ради меня и для меня.

Снова взяв его руку, она мягко подносит ее к губам. Ласково дует. В голосе ее звучит улыбка:

— Сделать вид, что снова смотрю на тебя, как смотрела когда-то.

Солнце уже высоко. Макс продолжает в бинокль наблюдать за резиденцией советских шахматистов, примыкающей к отелю «Виттория». Он только что обошел особняк кругом, внимательно вглядевшись в ворота, ведущие на главную аллею, а теперь, устроившись меж бугенвиллеями и лимонными деревьями, рассматривает противоположную сторону. Поблизости стоит беседка со скамейкой. Оттуда как на ладони весь фасад, включая и балкон соколовского номера, и выложенный красноватой плиткой карниз с водосточным желобом, и тонкий длинный штырь громоотвода на крыше. И желоб, и громоотвод нуждаются в том, чтобы кто-то время от времени следил за их состоянием, соображает Макс. И со вновь пробудившейся надеждой ведет вдоль всего фасада взглядом. И тотчас расплывается в улыбке — улыбке прежних времен, от которой лицо молодеет и сглаживаются следы ущерба, причиненного годами: это он заметил железные скобы-ступени, вделанные в стену.

Спрятав бинокль, Макс прогулочным, неспешным шагом приближается к особняку. Подойдя к ступеням, поднимает глаза. Ступени покрыты ржавчиной, но на вид крепки. Первая — на уровне земли, возле цветочной клумбы. Расстояние до крыши — метров сорок, и ступени расположены не очень далеко друг от друга. Усилия потребуются не чрезмерные — минут десять подъема в темноте, с соблюдением всяческих предосторожностей. Не лишней будет, думает он, и веревка с крюком-кошкой, чтобы на полдороге можно было подстраховаться и отдохнуть, если вдруг станет совсем невмоготу. Прочее снаряжение много места не займет — легкий рюкзак, альпинистский трос, кое-какие инструменты, фонарь. Одежка соответствующая. Он глядит на часы. Магазины в центре города, включая скобяную лавку на Порта-Марина, в этот час уже открыты. Еще понадобятся спортивные туфли и гуталин, чтобы с головы до ног выкраситься в черное.

Он уже повернулся спиной к особняку и удаляется от него по саду, а меж тем, как в золотые годы, его бодрит и возбуждает и то, что скоро придется действовать, и неизбежность этих действий — он ощущает издавна знакомый щекочущий холодок неизвестности, с которым можно было справиться рюмкой или сигаретой в те времена, когда мир еще представлялся охотничьим заказником для смышленых и отважных. Когда от жизни пахло турецким табаком, коктейлями в фешенебельном баре «Паласа», тонкими духами. Наслаждением и опасностью. И вот сейчас, когда припоминается все это, Максу кажется, что каждый его шаг вновь обретает былую легкость, прежнюю проворную упругость. Но лучше всего даже не это. Обернувшись, он замечает, что вновь обрел свою тень. Солнце пронизывает высокие кроны пиний — и тень, продолговатая и четкая, как раньше, как в славные невозвратные дни, ложится на землю, стелется к его ногам. Без возраста, без отметин старости и усталости. Без лжи. И бывший жиголо, вернув себе свою тень, смеется, как уже давно не смеялся.

## 11. Повадки старого волка

В Ницце по-прежнему шел дождь. Мрачно-серый свет обволакивал старый город, и вывешенное на балконах белье свисало, как унылые вымпелы. Макс Коста, в застегнутом до подбородка плаще и с раскрытым зонтиком, пересек, стараясь обходить лужи, где вскипала и пузырилась вода, площадь Жезю и подошел к каменным ступеням собора. Там, прислонившись к закрытым дверям, сунув руки в карманы сверкающего от воды дождевика, пытливо всматриваясь из-под обвисших полей шляпы, стоял и ждал Мауро Барбареско.

— Сегодня ночью, — сказал Макс.

Не сказав ни слова, итальянец направился к улице Друат, и Макс последовал за ним. На углу, за баром, виднелся узкий и темный, как тоннель, проем подворотни. Они молча прошли через открытый двор и, скрипя деревянными ступенями, поднялись на второй этаж. Там Барбареско открыл дверь и пригласил Макса войти. Потом прислонил зонтик к стене, снял плащ и стряхнул с него дождевые капли. В полутемном неуютном жилище пахло вываренной зеленью и волглой заношенной одеждой. Коридор вел к двери на кухню; в другой, полуоткрытой, видна была спальня с незастеленной постелью и гостиная, где стояли два старых кресла, шкаф, стулья. За столом с остатками завтрака Доменико Тиньянелло, в жилете, в сорочке с закатанными до локтей рукавами, листал юмористический журнальчик «Грингуар».

— Обещает сегодня вечером, — сказал Барбареско.

Меланхолическое лицо южанина при этих словах немного оживилось. Он одобрительно кивнул, отложил журнальчик и показал Максу на стол, где вместе с двумя грязными чашками стоял кофейник, бутылочка с оливковым маслом и блюдо с недоеденными хлебцами. Макс молча отказался. В открытое окно проникало пепельное свечение, но углы комнаты оставались в полутьме. Барбареско, скинув дождевик, подошел к окну и вписал свой силуэт в прямоугольник этого мутноватого света.

— Что там слышно про вашего испанского друга? — спросил он, выглянув наружу.

— Во-первых, он мне не друг; во-вторых, я ничего про него не знаю, — спокойно ответил Макс.

— С тех пор, как вы повидались в порту, ничего?

— Ничего.

Итальянец, не заботясь о том, что с дождевика на паркет натекла целая лужа, повесил его на спинку стула.

— Мы тут кое-что проверили. И все, что он вам сказал, подтвердилось: и радиостанция у франкистов имеется в Монте-Карло, и попытка направить «Лючиано Канфору» в один из республиканских портов в самом деле имела место. Не можем только установить пока его личность. Никаких данных на Рафаэля Мостасу у нашей службы нет.

Макс сохранял на лице бесстрастие, сделавшее бы честь хорошему крупье.

— Ну, можно было бы последить за ним... Сфотографировать...

— Может быть, мы так и поступим. — Барбареско как-то странновато улыбнулся. — Но для этого надо знать, когда вы с ним увидитесь.

— Мы не договариваемся о встрече. Он появляется и назначает свидание, когда ему заблагорассудится. В последний раз оставил мне записку на рецепции «Негреско».

Итальянец взглянул на него с удивлением:

— Он что же, не знает, что вы сегодня намереваетесь проникнуть к Сусанне Ферриоль?

— Знает, но от комментариев воздержался.

— Как же в таком случае он думает получить документы?

— Понятия не имею.

Итальянец озабоченно переглянулся с напарником и вновь обратился к Максу:

— Забавно, правда? Его вроде бы не заботит, что вы все расскажете нам... И то, что он не появился сегодня...

— Может быть, и так, — равнодушно согласился Макс. — Но это не мое дело. Вы шпионы, не я.

Он вытащил портсигар, раскрыл и уставился на него в такой задумчивости, словно не было вопроса важней, какую именно сигарету взять. Наконец сделал выбор и спрятал портсигар, не предложив закурить итальянцам.

— И надеюсь, шпионы, знающие свое ремесло, — договорил он, щелкнув зажигалкой.

Барбареско снова оказался у окна и выглянул наружу. Его явно что-то заботило. И похоже, для тревоги появились новые резоны.

— Как-то это странно, — сказал он. — Необычно. Выкладывать карты...

— Может быть, он хочет его прикрыть, — предположил напарник. — Защитить.

— Меня? От кого?

Доменико Тиньянелло угрюмо рассматривал свои волосатые руки. И не произносил ни слова, словно последняя реплика полностью его истощила.

— От нас, — ответил Барбареско, не отходя от окна. — От своих. От вас самого.

— Ну, когда выясните окончательно, расскажете. — Макс выпустил аккуратное колечко дыма. — А мне и без этого есть о чем думать.

— Подлянки не ждать?

— От меня или от Мостасы?

— От вас, разумеется.

— Как бы это у меня вышло?.. Выбора нет. Но на вашем месте я постарался бы найти этого субъекта. И выяснить у него, что к чему.

Барбареско снова переглянулся с Тиньянелло. Потом сожалеюще оглядел костюм, рубашку, галстук Макса, видневшиеся из-под расстегнутого плаща.

— Выяснить, что к чему... В ваших устах звучит особенно элегантно...

Макс в очередной раз подумал: кажется, что эти двое — неизменно плохо выбритые, в мятой одежде, с покрасневшими глазами в набрякших от усталости веках — провели бессонную ночь. А может быть, и не кажется, а так оно и есть.

— Ладно, поговорим о делах поважнее, — бросил Барбареско. — Как собираетесь проникнуть на виллу?

Макс рассматривал влажные, с прохудившимися подошвами башмаки итальянца. В такой дождь носки у него наверняка мокрые насквозь.

— Это уж мое дело, — ответил он. — Мне нужно только знать, где передать вам письма. Если я их раздобуду. Если дело выгорит, конечно.

— Здесь надежное место. Мы будем ждать всю ночь. Внизу в баре есть телефон. Кто-нибудь из нас засядет там до закрытия на тот случай, если будут изменения или новости... Так вы полагаете, что пройдете на виллу без проблем?

— Надеюсь. В Симье, там, где прежде был отель «Регина», состоится ужин. Сусанна Ферриоль приглашена. Это дает мне необходимый временной лаг.

— Все, что нужно, у вас есть?

— Все. Фоссатаро привез превосходный набор отмычек.

Тиньянелло медленно поднял глаза, уставился на Макса.

— Хотелось бы взглянуть, как вы это сделаете, — сказал он неожиданно. — Как справитесь с этим сейфом.

Макс в удивлении вздернул брови. От внезапного интереса угрюмое лицо южанина просветлело и стало почти симпатичным.

— И мне тоже, — сказал Барбареско. — Фоссатаро очень лестно о вас отзывался. Действует, мол, спокойно и уверенно — что с сейфами, что с женщинами.

Кого-то они мне напоминают, думал Макс. Эти двое — их внешность и манеры — вызывали в памяти какой-то смутный, ускользающий образ. Но ухватить ассоциацию он не мог.

— Это не так интересно, как может показаться, — ответил он. — И к женщинам, и к сейфам требуется подход неспешный и вдумчивый. Успех зависит прежде всего от терпения.

Барбареско обозначил улыбку. Ответ ему, судя по всему, понравился.

— Мы желаем вам удачи, сеньор Коста.

Макс окинул его долгим взглядом. И наконец понял, кого напоминают ему эти двое, — вымокших под дождем уличных псов.

— Думаю, да. — Он снова вытащил портсигар и, открыв, протянул его итальянцам. — Думаю, желаете.

Она появляется во второй половине дня, когда Макс готовит снаряжение для ночного предприятия. При звуке звонка он смотрит в глазок, надевает пиджак и открывает дверь. На пороге с улыбкой, сунув руки в карманы куртки, стоит Меча Инсунса. И выражение ее лица, как если бы не было всех этих протекших лет, напоминает Максу — хотя, быть может, это у него в голове путается сейчас прошлое и настоящее — тот день, сорок лет назад, когда она возникла в дверях пансиона «Кабото» в Буэнос-Айресе, нагрянув к нему под тем предлогом, что пришла за белой перчаткой, которую сама же засунула в карман его пиджака на манер платочка или диковинного цветка перед их танго в салоне «Ферровиария». В памяти Макса оживает былое, когда он смотрит, как она переступила порог и как ходит теперь по номеру, медленно оглядывая все вокруг со спокойным любопытством, как наклоняет голову, рассматривая строгий и упорядоченный мир Макса, как останавливается перед окном с видом на Сорренто, как гасит улыбку, задрожавшую на губах при виде предметов снаряжения, которые Макс разложил на кровати со скрупулезной методичностью солдата, готовящегося к бою и унимающего этим ритуальным педантизмом зуд беспокойства, — маленький легкий рюкзачок, фонарик, тридцатиметровую бухту нейлонового троса с узлами, набор инструментов, темную одежду и спортивные туфли, собственноручно вымазанные им сегодня черным гуталином.

— Боже мой, ты и вправду собираешься сделать это, — произносит Меча.

Произносит с задумчивым удивлением — так, словно до этой минуты не верила в его обещания.

— Разумеется, — просто отвечает он.

В его тоне нет ничего притворного или деланого. И сегодня ему не хочется рядиться в доспехи героя. С той минуты, как он принял решение и нашел — или думает, что нашел, — способ его осуществить, им безраздельно владеет полное спокойствие. Он вверился судьбе. В душе его царит мир, а риск и страх совершить ошибку или потерпеть неудачу — все это бесследно растворилось в напряженном поле неминуемого. И Меча Инсунса, и Хорхе Келлер, и заветная книжка Михаила Соколова оттеснены сейчас на периферию сознания. В счет идет лишь тот вызов, который Макс Коста — или тот, кем он был он некогда, — как перчатку, бросает в постаревшее лицо этого седоватого господина, время от времени отражающееся в зеркале.

Меча продолжает внимательно разглядывать его. И в этом взгляде Максу чудится нечто новое. Или то, что еще недавно казалось ему невозможным.

— Партия начнется в шесть, — говорит она. — У тебя — два часа. Если повезет, то и больше.

— А не повезет — меньше?

— Может быть, и так.

— Твой сын знает?

— Нет.

— А Карапетян?

— Тоже нет.

— А что Ирина?

— Они с ней приготовили дебют, но Хорхе не станет его играть — пусть русские думают, что в последнюю минуту он изменил план.

— Подозрений не вызовет?

— Не должно.

Меча перебирает в пальцах трос с таким видом, словно ситуация вдруг предстала ей в новом, неожиданном свете. Она явно встревожена.

— Послушай, Макс... То, что ты говорил раньше, соответствует действительности... Партия и в самом деле может окончиться раньше, чем мы предполагаем. Может возникнуть патовая ситуация... вечный шах... И Соколов со своими людьми, вернувшись, может застать тебя там.

— Понимаю.

— Если увидишь, что дело осложняется, — говорит она, слегка поколебавшись, — бросай. И выбирайся оттуда как можно скорей.

Макс смотрит на нее благодарно. Ему приятно это слышать. И на этот раз его дух старого гаера поддается искушению изобразить на лице приличествующую случаю стоическую улыбку.

— Буду уповать, что партия затянется, — отвечает он. — А потом, post mortem, как у вас говорят, будет еще разбор.

Меча переводит взгляд на сумку с инструментами — там полдюжины полезных орудий труда, включая алмазный резец.

— Зачем ты это делаешь, Макс?

— Это мой сын, — отвечает он, не задумываясь. — Ты мне так сказала.

— Неправда. Тебе совершенно безразлично, твой он сын или нет.

— Может быть, я перед тобой в долгу...

— В долгу?.. Ты?

— Ну, значит, потому, что я любил тебя.

— В Ницце?

— Везде. Всегда.

— Странная у тебя манера любить... Была и есть.

Меча присаживается на кровать, где разложено снаряжение. Максу вдруг хочется снова объяснить ей то, что она и так прекрасно знает. И пусть ненадолго дать волю застарелой злобе.

— Ты ведь никогда не спрашивала себя, как видят мир те, у кого нет денег, правда? Как смотрят они на мир, просыпаясь по утрам?

Она удивленно глядит на него. Макс говорит без горечи, с холодной убежденностью. Как о чем-то несомненном.

— У тебя никогда не возникало искушения, — продолжает он, — объявить личную войну тем, кто спит спокойно и не тревожится о хлебе насущном. Тем, кто приближается к тебе, когда ты им нужен, возносят тебя, когда им этого хочется, но все же не позволяют тебе высоко держать голову.

Подойдя к окну, он показывает на пейзаж Сорренто и на роскошные виллы, ступенями поднимающиеся по склону в пышной зелени Капо.

— А вот у меня возникало, — продолжает он. — И было время, когда мне казалось, что я способен победить в этой войне. И больше никогда не чувствовать себя посмешищем на этом нелепом празднике жизни... Прикасаться к тонкой коже сидений в роскошных автомобилях, пить шампанское из хрустальных бокалов, ласкать красивых женщин... Обладать всем тем, что у тебя и обоих твоих мужей было изначально, благодаря простому и глупому везению.

Он на миг замолкает, чтобы снова взглянуть на нее. С этой точки, в этом свете она кажется почти такой же красивой, как прежде.

— И потому для меня никогда не имело ни малейшего значения, люблю я тебя или нет.

— А для меня имело.

— Ты могла позволить себе такую роскошь. И ее тоже... Меня занимало другое. Любовь не была делом первостепенным.

— А сейчас?

Он подходит ближе, всем своим видом демонстрируя покорность судьбе.

— Я уже сказал тебе об этом два дня назад. Я сел в лужу. Сейчас мне шестьдесят четыре года, я устал. Мне страшно.

— Понимаю... Да, разумеется. Ты делаешь это ради себя самого. Это и привело тебя сюда, в этот отель. Дело не во мне и не в моей просьбе. Причина — не я.

Макс садится рядом с ней на край кровати.

— Да нет, — возражает он. — В тебе. Может быть, не впрямую... В том, какой ты была и какими мы стали... Ты и я.

Меча смотрит на него почти нежно:

— Как ты прожил эти годы?

— После краха? Медленно катился вниз, пока не оказался там, где ты меня видишь. Сам себе напоминал разбитое войско, которое отступает с боями, а меж тем тает на глазах.

На какой-то миг Максу по давней привычке хочется сопроводить эти слова героической полуулыбкой, но он тотчас подавляет порыв. Ни к чему. С другой стороны, все, что он сказал, — правда. И он знает, что она это знает.

— Сразу после войны для меня настало золотое время. Началось восстановление, открылись новые возможности, пошли крупные дела... Так мне показалось. На самом деле на сцену вышли совсем другие люди. Другой класс. Другой вид мерзавцев. Они были не лучше прежних, но грубее и проще. И эта грубая простота вдруг оказалась весьма прибыльна... Мне трудно было приспособиться к этим обстоятельствам, я совершил несколько промахов. Доверился тем, кому доверять не следовало...

— Тебя посадили?

— Да, но дело не в том... Начал рушиться мой мир. Точней сказать, он рассыпался, стоило лишь до него дотронуться. А я это не сразу понял.

Он еще немного рассказывает, сидя очень близко к внимательно слушающей женщине. Десять-пятнадцать лет жизни уложены в несколько слов беспристрастного и сжатого отчета. Коммунистические режимы, установившиеся в Центральной Европе и на Балканах, добавляет он, покончили со старыми схемами, так что снова пришлось искать счастья в Испании и Южной Америке. Впустую, впрочем. Другую попытку он предпринял в Стамбуле, где стал партнером некоего владельца баров, кафе и кабаре, — из этого тоже ничего хорошего не вышло. Оттуда его на какое-то время занесло в Рим, и там он служил элегантной приманкой для американских туристок и иностранных актрис третьего разбора — водил их к «Стреге» и «Дони» на виа Венето, в ресторан «Фортунатто» неподалеку от Пантеона, к «Ругантино» на Трастевере или сопровождал в походах за покупками, получая от владельцев соответствующую мзду.

— Последний взлет везения был у меня несколько лет назад, в Портофино, — завершает он свой рассказ. — Или мне так показалось. Заработал три с половиной миллиона лир.

— Женщина?..

— Неважно. Главное — заработал. Через два дня приехал в Монте-Карло, остановился в дешевой гостиничке. У меня было предчувствие удачи. В тот же вечер пошел в казино и набил карманы фишками. Поначалу везло необыкновенно, и я боялся спугнуть удачу. В итоге проиграл двенадцать раз подряд... Поднялся из-за стола пустой.

Меча рассматривает его внимательно. Чуть удивленно.

— Все спустил?

Макс призывает себе на выручку испытанную улыбку — светскую, припоминающую и сообщническую.

— У меня оставались две фишки по пятнадцать тысяч франков каждая, и я отправился в соседний зал, где играли в рулетку: думал отыграться. Рулетка уже была запущена, а я держал свои фишки в руке и не мог решиться. Потом наконец поставил — и проиграл... Полгода спустя я был уже в Сорренто и служил шофером.

Улыбка медленно, будто улетучиваясь, исчезает с его лица. Теперь губы его студит лишь бесконечное разочарование.

— Я уже говорил тебе, что устал. Но не сказал, до какой степени.

— Еще ты сказал, что тебе страшно.

— Сегодня почему-то не так... Или мне кажется...

— А ты знаешь, что тебе ровно столько лет, сколько клеток на шахматной доске?

— Не задумывался над этим.

— А меж тем это именно так. Как тебе это совпадение? Сойдет за добрый знак?

— Или за дурной.

Меча минуту молчит. Потом, склонив голову, смотрит на свои руки, испятнанные старостью.

— Однажды в Буэнос-Айресе, лет пятнадцать назад, я увидела человека, очень похожего на тебя. Двигался в точности как ты. Я сидела с друзьями в баре отеля «Альвеар», а он вышел из лифта... Мои спутники просто оцепенели, когда я схватила свое пальто и выскочила за ним. Минут пятнадцать я пребывала в уверенности, что встретила тебя... Я прошла за ним до самой Реколеты, где он заглянул в «Бьелу», кафе на углу. Я вошла следом. Он сел за столик у окна, а когда поднял на меня глаза, я увидела, что это не ты. Я обошла его, вышла в другую дверь и вернулась в отель.

— И все?

— И все. Но казалось, что сердце вот-вот выскочит из груди.

Они смотрят друг на друга очень близко, спокойно и пристально. В прежние времена, в другой жизни, думает Макс, будь они у стойки фешенебельного бара, сейчас был бы самый момент заказать еще порцию или поцеловаться. Медленно приблизив лицо, Меча целует его. Очень нежно.

— Поосторожней там завтра.

В зеркале заднего вида уплывала вдаль светящаяся арка на проспекте Англичан, отделявшая его от мглистой полутьмы над бухтой. Миновав Лазарето и Ла-Резерв, Макс остановил машину на одной из смотровых площадок возле моря, выключил дворники и фары, заглушил мотор. Дождевые капли, срываясь с верхушек пиний, барабанили по капоту «Пежо-201», арендованного сегодня днем. Осветив спичкой циферблат, Макс некоторое время неподвижно сидел и курил, покуда глаза не привыкли к темноте. Шоссе, окаймлявшее подножье горы Борон, было пустынно.

Он наконец решился. Выбросил сигарету и вышел из машины — тяжелая сумка с инструментами оттягивала плечо, под мышкой был еще сверток, с полей шляпы подкапывало, прорезиненный темный плащ поверх черного свитера и трико был застегнут доверху, а удобные парусиновые кеды на резиновой подошве промокли после первых же шагов. Горбясь под дождем, он пошел до дороге и, добравшись до угадывавшихся в полутьме вилл, остановился, чтобы проверить направление. Перед одним из домов за высокой оградой горел фонарь, и расплывающийся во влажном воздухе ореол оказался единственной световой точкой. Обходя этот дом, Макс свернул с шоссе, вступил на тропинку, вившуюся меж пиний и кустов, и, хватаясь за них руками, пошел, стараясь не оступиться и не упасть в приливную неспокойную воду, которая поплескивала о скалы совсем неподалеку. Дважды он укалывался о ветки и, пососав ранки, чувствовал солоноватый вкус крови во рту. Дождь, сильно мешавший ему, немного ослабел, когда Макс, сойдя с тропинки, вновь выбрался на шоссе. Фонарь теперь светил ему в спину, едва выхватывая из мрака угол каменной стены. И в тридцати шагах мрачно высился дом Сусанны Ферриоль.

Макс скорчился у подножья кирпичной ограды под темными пятнами пальм. Потом развернул сверток, достал грубошерстное одеяло, обвязал его вокруг пояса, чтобы не сковывало движения, и, обхватив влажный ствол дерева, полез по нему. Расстояние было не больше метра, но прежде чем преодолеть его, он набросил вдвое сложенное одеяло на гребень стены, куда были торчком вмазаны осколки битых бутылок. Потом перебрался на него сам, почувствовав под ладонями безопасные теперь острия, и спрыгнул на другую сторону, перекатившись, чтобы ослабить силу толчка и не повредить ноги. Поднялся, стряхнул с себя воду и грязь. В отдалении, меж деревьев, тускло мерцал фонарь, освещая сторожку и посыпанную гравием аллею, выводящую к главному входу. Стараясь держаться в темноте, Макс обогнул дом сзади. Он двигался очень осторожно, стараясь не шлепать по лужам и не споткнуться о куртину, не натолкнуться на каменные вазы с цветами. От дождя земля раскисла, думает он, и в самом доме, и вокруг него — четкие следы подошв, а на площадке, где он оставил машину, — протекторов. Продолжая с тревогой об этом думать, он снял макинтош и шляпу и сложил их под тем окном, куда собирался влезть. Как бы поздно ни вернулась Сюзи Ферриоль с ужина в Симье, она не сможет не заметить вторжение. Но если повезет, к тому времени, когда появится полиция, он будет уже далеко.

В Сорренто стемнело. Луны еще нет, и это благоприятствует планам Макса. Когда он с большой дорожной сумкой в руке выходит из своего номера в отеле «Виттория», дежурный портье, занятый разбором корреспонденции и раскладыванием ее по полочкам, не обращает на него внимания. Вестибюль и лестница, ведущая в парк, пусты — всеобщее внимание приковано к залу, где Келлер и Соколов играют очередную партию. Выйдя наружу, Макс минует фургон передвижной телестудии и очень непринужденно углубляется в парк по аллее, протянувшейся до самой площади Тассо. На половине пути, когда впереди уже замелькали фары автомобилей и стали видны уличные фонари, он берет в сторону — к беседке, откуда двое суток назад в бинокль рассматривал резиденцию советской команды. Сейчас особняк тонет в темноте, и лишь над входом горит фонарь, да на втором этаже светится окно.

Сердце неприятно частит. Колотится так, словно Макс только что выпил десять чашек кофе. На самом деле выпил он две таблетки макситона, в аптеке на Корсо Италия отпущенных ему благодаря обаятельной улыбке без рецепта. Принял, потому что был уверен, что в ближайшие часы ему понадобятся и силы, и ясность мысли. Но все равно, даже сейчас, когда он стоит неподвижно, стараясь дышать глубоко и ровно и утишить сердцебиение, окружающая его темень, дерзкий вызов, брошенный самому себе, непреложность прожитых лет, лишающая артерии эластичности и сжимающая бронхи, — все это вместе вызывает у него томление, близкое к почти физическому недомоганию. Ощущение неопределенности, к которому примешивается страх. Здесь, в одиночестве, став тенью среди теней парка, он чувствует, что каждый его шаг, рассчитанный заранее, теперь абсурден. И довольно долго стоит, не шевелясь, в душевном мраке, и ждет, когда беспорядочно-учащенные удары сердца вновь обретут привычный ровный ритм. Надо решаться, думает он. Отступать или идти вперед. Потому что времени мало. И, покоряясь неизбежному, он открывает молнию на сумке и достает из нее маленький рюкзак; сменяет уличные башмаки на спортивные туфли, вымазанные черным гуталином. Вместе с пиджаком прячет их в сумку, а ее — в кусты. Теперь он весь в черном с ног до головы и, чтобы скрыть светлое пятно седины, обвязывает голову косынкой темного шелка. Стягивает вокруг пояса нейлоновый трос со стальным карабином — на случай, если выдохнется на подъеме и надо будет отдохнуть. Замечательный у меня, наверное, вид, с горькой насмешкой думает он. В мои-то годы играть во взломщиков. Господи Иисусе, посмотрел бы доктор Хугентоблер, как его респектабельный водитель карабкается по стенам. Вслед за тем, вздохнув — делать нечего, — перекидывает лямку рюкзака через плечо, смотрит поочередно в обе стороны и выбирается из беседки, стараясь держаться там, где гуще тьма, — поближе к лимонам и пальмам. Внезапно его освещают фары автомобиля, въехавшего на дорожку и направляющегося к главному зданию. Максу приходится отпрянуть в спасительную тьму. Спустя мгновение, вновь обретя спокойствие, он выходит назад, идет к резиденции русских. Там, у подножья стены, темнота совсем непроглядна. Макс ощупью нашаривает железную скобу. Понадежнее прилаживает рюкзак, подтягивается, упираясь подошвами в стену, и очень медленно, отдыхая на каждой ступеньке, стараясь рачительно расходовать силы, чтоб не иссякли раньше времени, лезет на крышу.

Большой, выкрашенный под мрамор сейф «Шютцлинг» оказался в точности таким, как описывал Энрико Фоссатаро. В окружении книжных полок, он стоял на полу, в шкафу красного дерева, занимавшем целую стену в кабинете, и производил весьма внушительное впечатление — глухая стальная панель без диска или замочной скважины. Макс минуту всматривался в него при свете фонарика. На полу лежал толстый ковер с восточным орнаментом, и Макс подумал, что это заглушит металлический лязг ключей, когда он начнет подбирать их и пробовать один за другим. Осветив фонариком циферблат, он взглянул на часы на левом запястье. Работа будет долгая — из тех, для которых требуются большая чуткость и много терпения. Он перевел луч на следы своих подошв, тянувшиеся по ковру и паркету от окна, которое он сперва вскрыл отверткой, а потом снова закрыл. Что говорить, наследил сильно, но, по счастью, это окно было в кабинете, и, значит, все, включая отпечатки грязных подошв, оставалось в пределах одной комнаты. Ничего страшного, если только дверь в библиотеку оставалась закрыта. Макс осторожно подошел к ней и убедился, что в замочную скважину вставлен ключ.

На полминуты он застыл, дожидаясь, когда стихнет стук крови в ушах и звуки будут доноситься до него яснее и отчетливей. Шум дождя отчасти заглушит его манипуляции с сейфом, но он же скроет и другие звуки, так что Макс не сразу услышит шаги и спохватится, когда будет уже слишком поздно. Впрочем, так или иначе, риск минимален: кухарка и садовник ночуют в домике для прислуги, экономка спит в своей комнате наверху, а шофер сидит в машине, ожидая хозяйку, Сусанну Ферриоль. Здесь, на первом этаже, есть только горничная. Согласно сведениям, полученным Максом, в этот час она обычно не выходит из своей комнатки, примыкающей к кухне. Слушает радио.

Макс снял шляпу и плащ, опустил на ковер сумку с инструментами и дотронулся до холодного металла. У «шютцлингов» механизмы расположены не на виду, а спрятаны под накладной рамкой, идущей по периметру дверцы. Он нажал — и часть рамки отошла, открывая запоры: четыре замка, расположенных вертикально, причем первый обычного типа, а три остальных — кодовые. Максу надо было сначала открыть три нижних, а это требовало времени. И он взялся за дело. Расположил фонарик так, чтобы он освещал поле, выбрал один ключ из множества принесенных с собой и принялся пробовать им все три замка поочередно, стараясь понять, какой окажется певучим, то есть чувствительней и отчетливей передает звуки, издаваемые внутренним механизмом. Макс дрожал от холода в мокрой одежде и башмаках, а исколотые ветками руки плохо слушались и потеряли необходимую чувствительность. Попробовав на каждом диске все позиции от нуля до девятнадцати, он взялся за нижний замок. Медленно, осторожно поворачивал ключ слева направо и обратно и повторил операцию с двумя другими дисками. Зафиксировав положение, которое могло бы оказаться правильным, вернулся к первому диску. Теперь требовалась величайшая точность, а израненные пальцы потеряли чуткость и пачкали кровью ключ. Это замедляло дело, и он проклял себя за то, что не подумал о перчатках — чтобы прочувствовать едва ощутимую вибрацию, требовалась особая тонкость осязания. Наконец нащупал и, поставив диск на открытие, взглянул на часы. Двадцать четыре минуты заняла у него возня с самым трудным. Энрико Фоссатаро, конечно, справился бы втрое скорей, но даже и так все шло лучше, чем ожидалось. С удовлетворенной улыбкой он расслабил пальцы, потер ноющие подушечки и вставил ключ в скважину второго замка. Спустя еще четверть часа все три диска были поставлены в правильное положение. Тогда Макс погасил фонарик и немного отдохнул. Опустился на ковер и минуты на две застыл в неподвижности, заодно прислушиваясь — все ли тихо в доме. Он старался не думать ни о чем, кроме того, что ему еще предстояло. Шум дождя за окнами смолк, и внутри не ощущалось ни малейшего движения. Он с удовольствием выкурил бы сейчас сигарету, но понимал, что это будет не ко времени. Со вздохом поднявшись, растер одеревеневшие ноги и снова взялся за работу.

Теперь все зависело от терпения. Если ключи подобраны верно, то из ста тридцати отмычек, доставленных в Ниццу Фоссатаро, одна способна будет открыть верхний замок. Чтобы отыскать ее, надо понять, к какой группе она относится, и вслед за тем пробовать все отмычки этой группы одну за другой. Это займет приблизительно от минуты до часа. Макс снова взглянул на часы. Если ничего не пойдет наперекос, то уложится в рамки. И начал пробовать ключи.

Почти через полчаса замок отозвался на ключ номер 107. Послышались медлительные щелчки внутренних шестерней, и когда Макс потянул на себя, массивная дверца открылась бесшумно и легко. Луч фонарика высветил внутри полки с коробками из толстого картона и папками. В коробках обнаружилось немного драгоценностей и деньги, в папках — документы. Они и привлекли внимание Макса. В свое время Барбареско и Тиньянелло показывали ему в виде образчика письма с грифом итальянского Министерства иностранных дел. В одной из папок он нашел три напечатанных на машинке листа и, сверив гриф, тексты, сделанную от руки и расшифрованную ниже подпись «Г. Чиано», убедился: без сомнения, это те самые письма Томасу Ферриолю от 20 июля, 1 и 14 августа 1936 года.

Он спрятал письма в карман, а папку положил на прежнее место. Итальянцы просили его по возможности все оставить как было, чтобы Ферриоль хватился не сразу. И потому, прежде чем приступить к взлому сейфа, Макс запомнил даже положение дисков, чтобы, вскрыв его, вернуть их в первоначальное состояние, по опыту зная: есть владельцы, имеющие обыкновение проверять это перед тем, как открыть. Но сейчас, водя лучом по кабинету, отмечая взломанное окно, видневшиеся повсюду следы мокрых грязных подошв, он убедился, что скрыть проникновение будет невозможно. Нужно несколько часов, чтобы все привести в должный вид, а ему даже нечем это делать. Кроме того, время истекало. Сусанна Ферриоль как раз сейчас, должно быть, прощается со своими радушными хозяевами.

В картонных коробках ничего особенного не оказалось. В одной лежали тридцать тысяч франков и толстая пачка республиканских песет, которые, в отличие от денег, имевших хождение в зоне националистов, обесценивались с каждым часом. Что же касается драгоценностей, Макс догадался, что, вероятней всего, в спальне у Сюзи Ферриоль стоит еще один сейф, потому что в «Шютцлинге» нашлось немногое — золотой медальон, карманные часы «Лосада» и булавка для галстука с крупной жемчужиной. И, кроме того, кошелек с полусотней золотых английских фунтов и старинная, украшенная изумрудами, сапфирами и рубинами брошь в виде стрекозы. Макс в сомнении оглядел кабинет, осветив фонариком оставленные повсюду следы. Теперь уж все равно, подумал он. И золотые монеты, и брошь — вещи опасные и могут выдать его, если он попадется полиции. А вот деньги — дело другое: деньги есть деньги. След их затеряется, едва лишь они перейдут из рук в руки: у них нет ни отличительных особенностей, ни иного владельца, чем тот, кому они принадлежат в данную минуту. И потому, прежде чем закрыть сейф, затереть носовым платком отпечатки пальцев и сложить инструменты в сумку, Макс забрал тридцать тысяч франков.

Небо усеяно россыпью звезд. С крыши особняка открывается великолепный вид на Сорренто и на залив, но Максу сейчас не до любования пейзажами. Утомленный подъемом, да еще с тяжелым рюкзаком за спиной, он лежит ничком у карниза, силясь выровнять дыхание. За освещенными корпусами отеля «Виттория» виднеется море — обширное темное пространство, по краю которого вплоть до отдаленного сияния Неаполя тянутся крошечные огоньки береговой линии.

Немного оправившись, придя в себя и утишив сердцебиение — сегодня он как никогда рад, что одиннадцать лет назад бросил курить, — Макс продолжает работу. Сняв рюкзак, достает из него альпинистский трос с узлами через каждые полметра, ищет, куда бы его понадежнее привязать. В слабом свете, исходящем от корпусов отеля, осматривает крышу, стараясь при этом не оступиться и не сверзиться в пустоту. Наконец он захлестывает петлей бетонное основание громоотвода и для верности обвязывает конец троса вокруг металлической трубы. Потом снова вскидывает рюкзак, отсчитывает шесть шагов влево, ложится над карнизом и, обхватив трос, смотрит вниз. Там, в шести-семи метрах ниже, строго по вертикали, находится номер русского шахматиста. Там темно. Всматриваясь в темный провал под балконом, Макс лежит неподвижно и вздрагивает от напряжения, меж тем как пульс опять начинает частить. Не по возрасту мне такие фортели, думает он, староват стал. В последний раз он попадал в такую ситуацию лет пятнадцать назад. Но вот он глубоко вздыхает, вцепляется в трос. Потом — когда переползал через карниз, ободрал немного локти и колени — медленно начинает спускаться, останавливаясь на каждом узле.

Если не считать постоянных опасений, что вот сейчас закружится голова или дрогнут руки, спуск оказывается легче, чем он предполагал. Через пять минут он уже на балконе и ощупывает застекленную дверь в номер. Вот бы оказалась не заперта, думает он, натягивая тонкие резиновые перчатки. Но нет. Приходится прибегнуть к алмазному резцу, который в былые времена давал отличные результаты: придерживая стекло, он вычерчивает по нему полукруг с дюймовым радиусом с центром в том месте, где находится задвижка. Потом, мягко постукивая, вынимает вырезанную часть, аккуратно опускает ее наземь, просовывает, стараясь не порезаться, руку и поднимает шпингалет. Дверь открывается, впуская его в темную пустую комнату.

Теперь Макс действует стремительно и по старинной методе. К собственному его удивлению, сердце бьется ровно и ритмично, как будто к этому этапу операции он вдруг сбросил сколько-то лет, а прежние навыки, припомнившись, так же неожиданно возвращают ему азарт и профессиональное спокойствие, которые еще минуту назад казались невозможными. И вот, двигаясь с предельной осторожностью, чтобы не споткнуться, он задергивает шторы, достает из рюкзака фонарик. Номер, хоть и очень просторен, прокурен насквозь, весь пропитан застарелым запахом табака. И на низком столике рядом с пустыми кофейными чашками и шахматной доской, где в беспорядке расставлены фигуры, стоит забитая окурками пепельница. Луч фонарика, скользя по номеру, выхватывает из темноты кресла, ковер, картины на стенах, дверь, ведущую в спальню и ванную комнату. И зеркало, на поверхности которого Макс, приближаясь, различает очертания собственной фигуры — черной, неподвижной и таинственной. При виде внезапно появившегося незнакомца он поначалу даже теряется.

Уведя луч в сторону, словно он отказывается узнавать себя в зеркале, Макс оставляет отражение во мраке. Фонарь освещает теперь заваленный книгами и бумагами стол. Макс подходит ближе и берется за поиски.

С темного неба над Ниццей по-прежнему лил дождь, когда Макс остановил «Пежо» у церкви Жезю и прямо по лужам, покрытым рябью от дождевых капель, пересек площадь. На улицах не было ни души. Вокруг уличного фонаря, горевшего у закрытого бара на углу улицы Друат, дождь превращался в желтоватый негустой туман. Макс дошел до соседней подворотни, миновал внутренний двор. Неумолчный шум низвергавшейся с небес воды остался позади.

В подъезде было полутемно: грязная лампочка без абажура давала ровно столько света, чтобы можно было видеть, куда ставишь ногу. На площадке лестницы горела еще одна. Деревянные ступени заскрипели под его башмаками — мокрыми и облепленными грязью. Максу — вымокшему, выпачканному и очень усталому — хотелось только, чтобы все поскорее кончилось. Решить вопрос и рухнуть в кровать, поспать немного, прежде чем собрать чемодан и исчезнуть. И еще спокойно и трезво поразмыслить о своем будущем. Поднявшись по лестнице, он расстегнул макинтош, стряхнул со шляпы капли. Потом покрутил латунную руку звонка, подождал и вслушался. Тишина за дверью слегка обескуражила его. Снова позвонил и снова прислушался. Ничего. А ведь итальянцы должны были бы поджидать его с нетерпением. Странно.

— Рад вас видеть, — раздался голос у него за спиной.

От неожиданности Макс выронил шляпу. На ступеньках следующего пролета сидел в расслабленной позе Фито Мостаса. На нем был темный костюм в полоску с широкими лацканами и, как всегда, галстук-бабочка. Без плаща, с непокрытой головой.

— Теперь я убедился, что вы — человек серьезный. Сказано — сделано.

Он говорил задумчиво и как бы вскользь, словно мысли его в это время были о чем-то постороннем. И оставался совершенно безразличен к растерянности Макса.

— Нашли то, что искали?

Макс довольно долго смотрел на него, не отвечая. Он пытался определить, при чем тут Мостаса и какое отношение все это имеет к нему самому.

— Где они? — спросил он наконец.

— Кто?

— Барбареско и Тиньянелло.

— А-а, эти... Итальянцы...

— Вот именно. Эти.

Мостаса потер подбородок, едва заметно улыбнулся.

— План изменился, — сказал он.

— Я ничего об этом не знаю. Должен с ними увидеться. Так было условлено.

Стеклышки очков вспыхнули — Мостаса в задумчивости наклонил и тотчас снова вскинул голову. Казалось, он размышляет над словами Макса.

— Ну, разумеется. Условия, обязательства... само собой.

Словно нехотя, он поднялся, отряхнул брюки сзади. Поправил бабочку и сошел по ступеням на площадку, где стоял Макс. В правой руке у него блестел ключ.

— Само собой, — повторил он, отпирая дверь.

И вежливо посторонился, пропуская Макса вперед. Тот вошел и увидел кровь.

Есть! Найти тетради с записями партий оказалось так легко, что Макс на мгновение усомнился, что это в самом деле то, что он ищет. Но сомневаться не приходится. Вздев на нос очки для чтения и подсвечивая фонариком, он убеждается: то, именно то. Все совпадает с описанием Мечи: четыре толстые, переплетенные в картон и холстину тетради, похожие на старые конторские книги с записями, сделанными кириллицей и мелким убористым почерком, — диаграммы, заметки, наброски. Профессиональные секреты чемпиона мира. Четыре тетради лежат на виду, одна на другой, среди разбросанных по столу книг и бумаг. Макс не знает русского, но нетрудно установить последние записи в четвертой тетради: полдесятка таинственных строчек — D4T, P3TR, A4T, CxPR, — записанных под вырезкой из свежего номера газеты «Правда» об очередной партии Соколов — Келлер.

Сунув тетради (Книгу, как называет их Меча Инсунса) в рюкзак, а рюкзак снова закинув за спину, Макс выходит на балкон, смотрит вверх. Трос свисает с карниза. Подергав и убедившись, что он привязан прочно, берется обеими руками и пытается влезть по нему на крышу, но после первого же усилия понимает, что не сможет. Что сил долезть до крыши, наверное, хватит, но трудно будет перевалиться через карниз и водосточный желоб, о которые он при спуске ободрал колени и локти. Он плохо просчитал свои возможности. Или переоценил свой задор. Не говоря уж о том, как ему совершать обратный путь по стене, по железным скобам, в темноте, не видя, куда ставит ногу. И никакой страховки, кроме собственных рук.

Непреложность этих выводов окатывает его волной панического страха, от которого пересыхает во рту. Он стоит неподвижно еще мгновение, не выпуская из рук трос. И не в силах решиться. Потом разжимает пальцы, признавая поражение. Сознавая, что угодил в собственный капкан. Избыток самонадеянности подвел его, заставил забыть, как очевидны старость и усталость. Он никогда не сумеет подняться этим путем на крышу и знает это.

Думай, приказывает он себе почти в отчаянии. Думай как следует и поскорее, иначе не выйдешь отсюда. Оставив трос — снять его отсюда невозможно, — он возвращается в комнату. Выход только один, твердит он, и эта уверенность заставляет его сосредоточенно задуматься над дальнейшими шагами. Все зависит от скрытности, заключает он. И, разумеется, от удачи. От того, сколько сейчас человек в доме и где именно. От того, находится ли охранник, обычно сидящий на первом этаже, между номером Соколова и выходом в парк. И Макс, стараясь двигаться бесшумно, ставя сначала пятку, а потом уже всю ступню, выходит из номера в коридор, осторожно прикрывает за собой дверь. Горит свет, и длинная ковровая дорожка тянется до лифта и лестницы, облегчая бесшумный проход. На площадке, вжавшись в стену, прислушивается. Все тихо. Он спускается по ступеням с теми же предосторожностями, поглядывая поверх перил, чтобы убедиться, что путь свободен. Вслушиваться он не может — сердце опять колотится так, что от стука крови в висках он почти глохнет. Уже много лет его не пробирала такая испарина. Он вообще не склонен к избыточной потливости, но сейчас чувствует, что под одеждой весь взмок и белье липнет к телу.

Он останавливается на последнем марше, снова пытается успокоиться. И сквозь шум в ушах улавливает посторонний, приглушенный расстоянием звук. Радио или телевизор? Прижимаясь к стене, Макс минует последние ступени, крадучись приближается к углу холла. В другом его конце — дверь, без сомнения, ведущая в парк. Налево — тонущий в полутьме коридор, направо — двойные двери, и сквозь их почти матовые стекла Макс различает идущий снаружи свет. Оттуда же и доносятся звуки радио и телевизора — теперь гораздо отчетливей и громче. Макс сдергивает с головы косынку, вытирает мокрое лицо, прячет в карман. Во рту у него так сухо, что язык царапает нёбо. Он на мгновение зажмуривается, делает три глубоких вздоха и, пройдя по вестибюлю, бесшумно открывает дверь. Выходит. Свежий ночной воздух, напоенный ароматами сада, будто встряхивает его, заряжает уверенностью и энергией. Таща рюкзак за лямку, Макс бегом припускает через темный парк.

— Простите за беспорядок, — сказал Фито Мостаса, притворяя дверь.

Макс не ответил. Оцепенев, он смотрел на труп Мауро Барбареско. Итальянец навзничь лежал на полу в большой луже подсыхавшей крови. Восковое лицо, остекленевшие, закатившиеся под лоб глаза, полуоткрытый рот и глубоко рассеченное горло.

— Проходите дальше, — предложил Мостаса. — И постарайтесь не ступать по крови. Тут очень скользко.

Они по коридору прошли в дальнюю комнату, где обнаружилось тело второго итальянца. Согнув под прямым углом одну руку, а другую подсунув под себя, тот валялся на пороге кухни лицом вниз, уткнувшись в лужу розовато-бурой крови, разливавшейся под стол и стулья. В комнате стоял какой-то густой и странный, будто отдававший металлом, запах.

— Приблизительно пять литров у каждого, — с холодным неудовольствием произнес Мостаса, словно и впрямь сожалея об этом. — Итого, десять. Прикиньте, какой потоп.

Макс мешком опустился на ближайший стул. Мостаса остался на ногах и продолжал смотреть на него внимательно. Потом взял со стола бутылку вина, налил полстакана и протянул. Макс покачал головой. От одной мысли, что придется пить, когда перед глазами такое, его замутило.

— Глотните, — настаивал Мостаса. — Станет легче.

Макс повиновался, но лишь смочил губы и поставил стакан на стол. Мостаса, стоя у дверей — кровь Тиньянелло была не дальше двух дюймов от его башмаков, — достал из кармана трубку и спокойно принялся набивать.

— Что здесь произошло? — насилу выговорил Макс.

Мостаса пожал плечами.

— Издержки профессии. — И показал на труп мундштуком трубки. — Их профессии.

— Кто это сделал?

Мостаса посмотрел на него с легким удивлением, как будто вопрос сбил его с толку:

— Я, разумеется.

Макс вскочил так резко, что опрокинул стул, но тут же замер, потому что предмет, появившийся из кармана Мостасы, приковал его к месту. Держа в левой руке нераскуренную трубку, правой тот достал маленький, поблескивающий никелем пистолет. В этом движении не было ничего угрожающего. Он держал его на ладони, словно демонстрируя, что опасаться нечего, и даже как бы слегка извиняясь, что пришлось предъявить оружие. Ствол не был направлен на Макса, и палец не лежал на спусковом крючке.

— Стул поднимите и сядьте как сидели. Пожалуйста. Не будем рвать страсти в клочья.

Макс повиновался. Как только он сел на стул, пистолет исчез в правом кармане Мостасы.

— Принесли то, за чем ходили? — спросил тот.

Макс глядел, не отрываясь, на распростертый в огромной луже подсыхающей крови труп Тиньянелло. Одна нога была разута — башмак валялся чуть поодаль. Носок был продран на пятке.

— Вы их не застрелили, — сказал Макс.

Мостаса, раскуривая трубку, смотрел на него сквозь облачко табачного дыма и помахивал спичкой, гася ее.

— Конечно, нет. Пистолет, даже такого мелкого калибра, как этот, — штука шумная. К чему беспокоить соседей? — При этих словах он слегка распахнул полы пиджака, показывая рукоять ножа, висевшего у него на боку, рядом с подтяжкой. — Конечно, грязи больше. Но зато тихо.

Он устремил задумчивый взгляд на лужу крови у своих ног. Казалось, Мостаса прикидывает, насколько уместно в данных обстоятельствах употреблено слово «грязь».

— Уверяю вас, мне это было неприятно, — добавил он.

— Но за что?

— Позднее мы об этом поговорим, если вам будет угодно. А сейчас скажите, удалось ли вам раздобыть письма графа Чиано? Они у вас с собой?

— Нет.

Мостаса поправил очки и несколько секунд смотрел на Макса оценивающе.

— Вот как... — протянул он наконец. — Предосторожность? Или неудача?

Макс хранил молчание. Он был занят расчетами: прикидывал, сколько будет стоить его жизнь, если сейчас отдать письма. Вероятно, столько же, сколько жизни двух несчастных итальянцев, валявшихся на окровавленном полу.

— Встаньте и повернитесь ко мне спиной, — приказал Мостаса.

В голосе его слышалось легкое раздражение, но по-прежнему — ни малейшей угрозы. Так говорят люди, вынужденные заниматься крайне неприятным, но необходимым делом. Макс повиновался и почувствовал, как его окутывает облако дыма, — это Мостаса, зайдя сзади, обшарил его карманы и, разумеется, ничего не нашел, потому что Макс предусмотрительно запрятал бумаги под сиденьем автомобиля, с чем сейчас мысленно и поздравил себя.

— Можете повернуться... Где письма? — От того, что Мостаса говорил, зажав в зубах трубку, слова произносились искаженно. Он вытер о пиджак влажные ладони — макинтош Макса был мокр. — Скажите по крайней мере, удалось ли ими завладеть.

— Удалось.

— Грандиозно! Приятно слышать. Теперь скажите, где они, и покончим с этим раз и навсегда.

— Это в каком же смысле?

— Да полно вам! Не придирайтесь к словам. Ничто не мешает нам расстаться по-хорошему, как цивилизованным людям.

Макс покосился на труп Тиньянелло. Вспомнил его всегдашнюю меланхолическую сумрачность. Печальный человек. И почти растрогался, увидев его лицом вниз в луже собственной крови. Притихшего и беспомощного.

— Зачем вы их убили?

Мостаса беспокойно поморщился, и показалось, что от этой гримасы шрам на подбородке стал глубже. Открыл рот, чтобы сказать что-то неприятное, но в последний момент словно передумал. Быстро оглядел, хорошо ли тлеет табак в чашечке его трубки, потом перевел глаза на тело итальянца.

— Это ведь не детективный роман, — ответил он терпеливо. — Так что не ждите, что в последней главе вам объяснят, как все случилось. И вам незачем знать об этом, да и мне недосуг распространяться... Скажите лучше, где письма, и решим вопрос.

Макс показал на труп:

— Собираетесь решить вопрос со мной так же, как с ними?

Мостаса, казалось, всерьез задумался.

— Да, вы правы, — согласился он. — Разумеется, никто ничего не сможет вам гарантировать. И не думаю, что моего слова будет довольно... Так?

— Так.

Размышляя, он шумно посопел трубкой:

— Я должен внести кое-какие уточнения... На самом деле работаю я не на республику, а на правительство Бургоса. То есть на генерала Франко.

Он плотоядно прижмурил один глаз. Было видно, что растерянность собеседника доставляет ему немалое удовольствие.

— Так или иначе, все остается, можно сказать, в семье.

Макс глядел на него не в силах побороть ошеломление:

— Но ведь это итальянцы... Фашисты. Ваши союзники.

— Послушайте. Мне кажется, вы немного наивны. На этом уровне работы нет союзников. Они хотели добыть письма для своего начальства, я — для своего. Иисус Христос учил, что все люди — братья, но не уточнял, родные или все же двоюродные. Письма, содержащие сведения о комиссии за поставку самолетов, в руках у моего начальства станут козырной картой. Способом крепко взять за яйца итальянцев или их министра иностранных дел.

— А почему вы не обратились напрямую к Ферриолю — ведь он ваш банкир?

— Да уж потому. У меня не было на это ни соответствующего приказа, ни полномочий. И еще я полагаю, что и Ферриоль ведет собственную игру. Добивается того же самого, но своими методами. С испанцами и с итальянцами. В конце концов, он бизнесмен.

— А что за странная история вышла с пароходом?

— С «Люциано Канфорой»? Надеюсь с вашей помощью закрыть этот вопрос. Капитан и старший механик в самом деле собирались доставить груз в порт, контролируемый республиканцами: я самолично их в этом убедил, представившись агентом законного правительства. Мне они показались подозрительными, вот я и взял на себя труд проверить их лояльность... Через ваше посредство слил, так сказать, информацию итальянцам, а те сработали без задержки. Предателей арестовали, а судно направляется куда ему и следует плыть.

Макс кивнул на труп:

— А этих... Их надо было убивать?

— В техническом смысле да. Иначе я бы не смог контролировать ситуацию; сами посудите: вас трое, причем двое — профессионалы... Не оставалось ничего, кроме как расчистить поле.

Он вынул погасшую трубку изо рта. Осторожно постукивая чубуком по столу, вытряхнул пепел и золу. Потом продул мундштук и спрятал трубку в карман — не в тот, где лежал пистолет.

— Ну ладно, — сказал он. — Будем закругляться. Давайте письма.

— Вы же видели, у меня их нет здесь.

— А вы видели мои аргументы. И где же письма?

Глупо было бы упорствовать и дальше, решил Макс. Глупо и опасно. Рискнуть стоит лишь для того, чтобы попробовать выиграть время.

— В надежном месте.

— Ну так ведите меня туда.

— А что потом? Что будет со мной?

— Да ничего особенного с вами не будет. — Мостаса сделал вид, что оскорблен недоверием. — Я ведь вам уже сказал: вам — налево, мне — направо. Всяк сверчок, как говорится, на свой шесток.

Макс даже вздрогнул от острой жалости к себе и почувствовал, что у него ослабели колени. Ему слишком часто в жизни приходилось обманывать самых разных людей, чтобы сейчас не распознать безобманные приметы лжи. И в глазах Мостасы он прочитал свое незавидное будущее.

— Отчего я должен верить вашим словам? — слабо возразил он.

— Можете и не верить, выбора у вас все равно нет, — напоминая собеседнику о пистолете, Мостаса похлопал по оттопыренному карману. — Даже если вы считаете, что я собираюсь вас убить, вопрос в том, что от вас зависит — сейчас или потом. Хотя, повторяю, это не входит в мои намерения. Какой в этом смысл, если письма окажутся в моем распоряжении? Это будет совершенно излишним. Избыточным, я бы сказал.

— А кто мне заплатит?

Вопрос был лишь очередной отчаянной попыткой потянуть время. Однако Мостаса дал понять, что к словопрениям больше не склонен.

— С этим — не ко мне. — Он взял со стула плащ и шляпу. — Ну что ж, пошли.

Он показал на дверь, а другой рукой снова похлопал себя по карману. И внезапно сделался очень серьезен и как-то напрягся. Макс, шедший первым, обогнул труп Тиньянелло и по коридору вошел в комнату, где лежал Барбареско. Уже нашаривая ручку двери, он в последний раз окинул взглядом остекленевшие глаза и полуоткрытый рот итальянца и снова ощутил то самое, непривычное чувство сострадания. А ведь они начинали мне нравиться, сказал он себе. Псы, вымокшие под дождем.

Дверь поддавалась туго. Макс потянул сильнее и, когда она неожиданно распахнулась, должен был слегка попятиться. Мостаса, шедший следом и на ходу натягивавший плащ — одна рука просунута в рукав, другая — в кармане, где лежал пистолет, — тоже предусмотрительно сделал шаг назад. И при этом ступил в лужу подсыхающей крови и поскользнулся. Поскользнулся слегка — пошатнулся, на миг потеряв равновесие. В тот самый миг Макс внезапно проникся угрюмой уверенностью, что получил единственный шанс — и другого этой ночью уже не будет. И в слепой ярости отчаяния кинулся на Мостасу.

Оба поскользнулись на крови и упали на пол. Макс изо всех сил старался не дать ему вытащить пистолет, пока не заметил, что испанец тянется за ножом. По счастью, одна рука Мостасы застряла в рукаве полунадетого плаща, и Макс, воспользовавшись слабым преимуществом, ударил противника в лицо, по очкам. Они с хрустом сломались, и Мостаса, зарычав, изо всех сил вцепился в Макса, пытаясь подмять его под себя. Субтильность его оказалась обманчива: верткий и жилистый, он показал себя умелым и крайне опасным бойцом. Достань он нож — Максу тут же пришел бы конец. И он ударил еще раз, довольно удачно — и оба опять забарахтались, скользя на окровавленном полу: один пытался удержать и нанести удар, другой — высвободить запутавшуюся в рукаве руку. Максу, который уже почти в отчаянии чувствовал, что слабеет, и понимал, что, если Мостаса дотянется до ножа, можно считать себя покойником, пришли на помощь давние, полузабытые навыки — все то, что он в мальчишеские годы постиг на улице Виэйтес, а потом, когда стал легионером, в кабаках и притонах, где случались драки с поножовщиной. Он и видел такие драки, и сам принимал в них участие. И, собрав все силы, ткнул в глаз противнику большим пальцем. Погрузил его довольно глубоко, услышав негромкий треск и звериный вой Мостасы, тотчас ослабившего хватку. Макс попытался встать, но вновь поскользнулся на крови. Попробовал снова — и ему удалось приподняться, нависнуть над противником, стонавшим, как раненое животное. Тогда, использовав как оружие правый локоть, он начал наносить удары до тех пор, пока боль в руке не сделалась нестерпимой, а Мостаса не перестал сопротивляться и, откинув голову, приник разбитым, распухшим лицом к плитам пола.

Макс тоже свалился в изнеможении. И пролежал так довольно долго, пытаясь собрать силы, а потом понял, что теряет сознание — медленно, словно проваливаясь в бесконечный колодец черной тьмы. А когда очнулся — увидел, что из маленького окошка в вестибюле сочится грязновато-серый свет, возвещающий скорое утро. Отполз от неподвижного тела Мостасы и заковылял к лестнице. Он оставлял за собой кровавый след, и в том, что это была его собственная кровь, убедился, когда, ощупав себя мучительно непослушными руками, обнаружил на бедре колотую рану — неглубокую, но совсем рядом с бедренной артерией. Каким-то непостижимым образом, в последний момент Фито Мостаса все-таки сумел дотянуться до ножа.

## 12. «Голубой экспресс»

В номере отеля «Виттория» звонит телефон. Макса это беспокоит. Уже второй раз за последние пятнадцать минут и в шесть утра. Когда он в первый раз снял трубку, там никто не отозвался, и безмолвие оборвалось щелчком разъединения. Теперь он не подходит к телефону и дает ему отзвонить до конца. Макс знает, что это не может быть Меча Инсунса, потому что они договорились держаться подальше друг от друга. Договорились вчера вечером, на террасе «Фауно». Вскоре русские должны были обнаружить кражу, вырезанное стекло и свисающий с крыши трос. Тем не менее уже после одиннадцати, когда Макс, приняв душ и переодевшись, направлялся через парк к площади Тассо, в особняке, занятом советской делегаций, не наблюдалось никаких признаков переполоха. В окнах горел свет, но все казалось спокойно. Может быть, Соколов еще не вернулся в свой номер, заключил Макс, шагая по аллее. А может быть — и это куда более опасная примета, чем полицейские машины у дверей, — русские решили разобраться в происшествии скрытно, не понимая шума. И своими методами.

Меча сидела за столиком в глубине кафе, повесив на спинку стула свою замшевую куртку. Макс, молча усевшись рядом, заказал себе негрони и со спокойной удовлетворенностью огляделся по сторонам, избегая пытливого взгляда женщины. Его еще влажные волосы, причесанные не без кокетства, лоснились на свету, в открытом вороте сорочки под темно-синим блейзером виднелся шелковый шейный платок.

— Эту партию выиграл Хорхе, — несколько мгновений спустя сказала она.

Макс поразился ее выдержке. Ее невозмутимому спокойствию.

— Это хорошая новость, — сказал он.

И наконец взглянул на нее. Взглянул с улыбкой, и Меча поняла ее значение.

— Достал, — не спросила, а утвердительно произнесла она.

Макс улыбнулся еще чуть шире. Уже много лет на его лице не появлялось этого торжествующего выражения.

— О-о, милый, — протянула Меча.

Подошел официант с бокалом. Макс сделал глоток, по-настоящему наслаждаясь вкусом коктейля. Джина чуть-чуть больше, чем положено, с удовольствием отметил он. И это именно то, что ему сейчас надо.

— Ну и как это было? — поинтересовалась Меча.

— Беспокойно, — он поставил бокал на стол. — Годы мои уже не те для таких эскапад. Я тебе говорил.

— Тем не менее ты сумел. Достал записи.

— Достал.

— И где же они?

— В надежном месте, как мы и договаривались.

— И ты не скажешь, где именно?

— Пока нет. Потерпи еще несколько часов — для вящей безопасности.

Она взглянула на него пристально, пытаясь проникнуть в смысл ответа, и Макс знал, о чем она думает. На миг в ее глазах блеснула давняя и почти знакомая искорка недоверия — но всего лишь на миг. Потом Меча чуть склонила голову, словно прося прощения.

— Ты прав, — признала она. — Не надо, чтобы они сейчас были у меня в руках.

— Да, разумеется. Мы ведь обговорили это раньше. Обговорили и договорились.

— Поглядим теперь, что предпримут русские.

— Я только что оттуда — прошел мимо. Там вроде бы все спокойно.

— Может быть, еще не хватились.

— Да нет, уверен, что уже обнаружили. Я сильно наследил.

— Что-нибудь пошло не так? — спросила Меча с беспокойством.

— Все так. Просто я переоценил свои силы, — признался он, не кривя душой. — И потому пришлось импровизировать на ходу.

Он посмотрел туда, где за потоком автомобильных и мотоциклетных огней, несущихся по площади, начиналась аллея. Представил, как русские расследуют происшествие, как изумление мало-помалу сменяется яростью. И, чтобы притушить страх, сделал два глотка негрони. Даже как-то странно, что до сих пор там не завывают полицейские сирены.

— Я чуть было не застрял там — не мог выбраться, — добавляет он. — Как последний олух. Представляешь себе картинку: русские возвращаются после игры, а я, как зайчик, сижу и их дожидаюсь.

— Они смогут установить, кто был в номере? Что значит «наследил»?

— Я имел в виду не отпечатки пальцев или что-то в этом роде. Речь о разбитом стекле, о тросе... Даже слепой сразу увидит, что в номере кто-то побывал. Вот потому и говорю тебе, что они, конечно, уже все знают.

Он неуверенно огляделся. Терраса уже пустела, но кое-где за столиками еще сидели посетители.

— Меня беспокоит эта тишина, — добавил он. — Отсутствие всякой реакции. Может быть, сейчас они наблюдают за тобой. И за мной.

Помрачнев, Меча тоже огляделась по сторонам.

— Едва ли они могут как-то связать нас с ограблением.

— Сама знаешь, могут. И свяжут непременно. А если установят мою личность — пиши пропало.

Он положил на стол руку — мосластую, испятнанную временем. Ладони и костяшки пальцев, оцарапанные и ссаженные вчера, когда он спускался с крыши на балкон Соколова, были вымазаны йодом. И еще поднывали.

— Наверное, мне будет лучше убраться из отеля, — сказал он, чуть помолчав. — Исчезнуть на время.

— Знаешь что, Макс? — Она слегка погладила эти красноватые отметины. — Ощущение какого-то дежавю. Тебе не кажется? Все это уже однажды было.

Она говорила ласково, с бесконечной нежностью. В глазах отражались фонарики террасы.

— Ну да, припоминаю. Кое-что, по крайней мере, — ответил Макс.

— Если бы можно было вернуться назад, все, глядишь, пошло бы... Не знаю... Не так. Иначе.

— Да нет, едва ли. Каждый тащит свой крест. И от судьбы не уйдешь: все происходит так, как должно происходить.

Он подозвал официанта и расплатился. Потом поднялся, чтобы отодвинуть стул Мечи.

— Тогда, в Ницце... — начала она.

Макс набросил ей куртку на плечи. И, опуская руки, с мимолетной лаской скользнул вдоль ее рук.

— Умоляю тебя, не говори о Ницце, — шепнул он, будто прося о чем-то сокровенно личном: он уже много лет не говорил так женщине. — Хотя бы сегодня ночью. Пожалуйста. Не сейчас.

Он улыбался, произнося это. И когда Меча, повернув голову, увидела его улыбку, то улыбнулась в ответ.

— Будет больно, — сказала Меча.

Она капнула йодом на рану, и Максу показалось, что ему в ногу вонзается раскаленное железо. Горело и жгло несусветно.

— Больно, — сказал он.

— Я предупреждала.

Дело происходило на диване в гостиной на вилле в Антибе. Она сидела рядом с ним в длинном элегантном, присобранном в талии пеньюаре и босиком. Когда пеньюар распахивался, становилась видна легкая шелковая ночная рубашка, открывавшая голые ноги. От нее веяло приятным теплом угревшего во сне тела. Она спала, когда позвонивший в двери Макс разбудил сперва горничную, а потом и хозяйку. Сейчас прислуга вернулась к себе, а он валялся вверх лицом в не слишком героическом виде: брюки и трусы спущены до колен — все наружу, — а на правой ляжке нож Мостасы оставил неглубокую рану длиной в полдюйма.

— Могу сказать, тебе повезло. Еще бы немного поглубже — и ты бы истек кровью.

— Из меня и так немало вытекло.

— А лицо тебе тоже он разукрасил?

— Кто ж еще.

Он уже убедился, что один глаз заплыл лиловым, нос разбит, губа распухла, когда два часа назад посмотрелся в зеркало в отеле «Негреско», куда заскочил, чтобы хотя бы смыть кровь, принять две таблетки верамона, собрать вещи и расплатиться за номер, добавив царские чаевые. Постоял еще минутку в подъезде под стеклянным козырьком, по которому продолжали барабанить дождевые капли, в свете фонарей, освещавших Променад и фасады соседних отелей, зорко и недоверчиво оглядывая улицу в поисках тревожных примет. Потом, успокоившись, погрузил свой багаж в машину, завел мотор и погнал в ночь, выхватывая фарами белые полоски на стволах сосен, окаймлявших шоссе на Антиб и Ла-Гаруп.

— Почему ты приехал сюда?

— Сам не знаю. То есть нет, знаю. Мне нужно передохнуть. Собраться с мыслями.

В самом деле, так и было. И подумать следовало о многом. Например, о Мостасе — жив он или нет. И о том, в одиночку ли действовал, или его люди сейчас разыскивают Макса. То же самое относится к итальянцам. О последствиях немедленных и отдаленных, причем ни там, ни там при всем желании не усмотришь мало-мальски отрадной перспективы. Не следовало забывать и о природной любознательности властей: когда в доме на улице Друат будут обнаружены трупы — два несомненных, один под вопросом, — можно не сомневаться, что две спецслужбы в полном составе плюс французская полиция непременно заинтересуются тем, кто все это сделал. И наконец, в качестве завершающего аккорда — совершенно непредсказуемая реакция Томаса Ферриоля, когда он узнает, что письма графа Чиано похищены.

— Почему я? — спросила Меча. — Почему ты пришел ко мне?

— Ты — единственный человек в Ницце, которому я могу довериться.

— Тебя ищут жандармы?

— Нет. Или, по крайней мере, пока нет. Но сегодня ночью меня тревожит не полиция.

Она взглянула на него очень внимательно. И недоверчиво.

— Что им надо от тебя? Что они хотят с тобой сделать?

— Да речь не о том, что они хотят со мной сделать. А о том, что сделал я. И о том, чего не сделал, но что могут на меня повесить... Мне нужно несколько часов отдохнуть. Привести себя в порядок... Потом уйду. Не хочу осложнять тебе жизнь.

Она бесстрастно показала на рану, на пятна крови и йода, покрывавшие простыню, которую успела подстелить, прежде чем уложила Макса на диван:

— Ты пришел ко мне на рассвете с ножевой раной в ноге, перепугал прислугу... О каких еще сложностях можно говорить?

— Я ведь сказал: скоро уйду. Как только оправлюсь немного и пойму куда.

— Ты не изменился, да? А я не поумнела. Я поняла это, как только увидела тебя в доме Сюзи Ферриоль, — тот же самый Макс, что был в Буэнос-Айресе... Какое жемчужное колье утащишь на этот раз?

Он накрыл ее руку своей. И придал лицу выражение беззащитного простодушия — в его арсенале такая мина значилась как едва ли не самая действенная. Она была проверена годами. И не давала осечек. С ней можно голодного пса уговорить, чтобы уступил косточку.

— Порою приходится расплачиваться за то, чего не делал, — сказал он, выдерживая ее взгляд.

— Пошел ты к черту! — Она гневно стряхнула его руку. — Уверена, и половины не заплатишь. А сделал — почти все.

— Когда-нибудь я все тебе расскажу. Клянусь.

— С удовольствием бы обошлась без этого.

Он мягко сомкнул пальцы вокруг ее запястья.

— Меча...

— Молчи, — она снова высвободилась. — Дай мне закончить перевязку и выставить тебя вон.

Меча заклеила рану пластырем, стала бинтовать, невольно дотрагиваясь при этом до его бедра. Он не мог не чувствовать прикосновений ее теплых пальцев, и, хотя рана была совсем близко, близость иная — ее тела, разогревшегося от еще совсем недавнего сна, произвела неожиданное действие. Меча, неподвижно сидя на краю дивана и сохраняя такой равнодушный и спокойный вид, словно бесстрастно изучала нечто такое, что не имело отношения к ним обоим, подняла голову, перевела взгляд на его лицо.

— Вот негодяй, — пробормотала она.

И, распахнув халат, подняв подол шелковой ночной рубашки, оседлала Макса.

— Сеньор Коста?

Один незнакомец стоит на пороге номера в отеле «Виттория». Другой — в коридоре. Древний инстинкт поднял тревогу еще до того, как разум осознал конкретную опасность. С фатализмом, присущим тому, кто уже попадал раньше в такие переделки, Макс молча кивает. От его внимания не ускользнуло, что вошедший как бы ненароком упер ногу в косяк двери, чтобы ее нельзя было закрыть. Впрочем, Макс и не собирается это делать. Знает, что бессмысленно.

— Вы один в номере?

Заметный иностранный акцент. Не полицейский, это очевидно. Или, по крайней мере — Макс лихорадочно перебирает варианты, — не итальянский полицейский. А человек, стоявший на пороге, уже не на пороге, а внутри. Вошел с непринужденным видом и оглядывается, меж тем как спутник его остается на прежнем месте. Посетитель высок ростом, с длинными и жидкими каштановыми волосами. Крупные руки, грязные обкусанные ногти, массивный золотой перстень на безымянном пальце.

— Что вам угодно? — осведомляется Макс.

— Чтобы вы пошли с нами.

Славянский выговор. Это русский, без сомнения. Кто ж еще. Макс отступает к телефону, который стоит на прикроватном столике. Незнакомец наблюдает за его маневром с полным безразличием.

— Не стоит поднимать шум, сеньор.

— Выйдите из моего номера.

Макс указывает на все еще открытую дверь, за которой в коридоре стоит второй — приземистый и коренастый: внушающие тревогу борцовские плечи распирают узковатый кожаный пиджак. Опущенные и чуть расставленные в стороны руки готовы к любой неожиданности. Длинноволосый воздевает руку с перстнем, словно именно это служит решающим аргументом.

— Если предпочитаете итальянских полицейских — бога ради. Вы вправе выбрать, что вам больше подходит. Мы же всего лишь хотим поговорить.

— О чем?

— Прекрасно знаете, о чем.

Макс задумывается секунд на пять, стараясь справиться с захлестывающей паникой. Чувствует, как ослабели колени и колотится пульс. Он рухнул бы на кровать, если бы не боялся, что это истолкуют как капитуляцию или как раскаяние. Как безоговорочное признание вины. Еще мгновение он беззвучно проклинает себя. Ну можно ли было оставаться здесь, словно не предвидя дальнейшего, уподобившись мыши, которая лакомится сыром, когда вот-вот сработает пружина мышеловки? Но он не предполагал, что его вычислят так скоро. Вычислят и установят.

— В любом случае мы можем поговорить и здесь, — решается он.

— Не можем. Есть люди, желающие увидеться с вами в другом месте.

— В каком?

— Здесь рядом. Пять минут на машине.

Длинноволосый говорит, постукивая пальцем по циферблату наручных часов, как бы в доказательство точности и достоверности своих слов. Потом посылает взгляд своему напарнику, который заходит, спокойно прикрывает за собой дверь и начинает методичный осмотр номера.

— Никуда я не поеду, — возражает Макс, изображая непреклонность, которой нет и в помине. — Вы не имеете права.

Длинноволосый невозмутимо, словно обитатель номера на миг перестал его интересовать, предоставляет действовать своему товарищу. А тот неторопливо и сноровисто открывает ящики бюро, заглядывает в шкаф, залезает под покрывало и матрас. Потом произносит на непонятном славянском наречии четыре слова, из которых Макс разбирает только одно — знакомое ему русское «ни-че-го».

— Сейчас это не имеет значения, — длинноволосый возобновляет прерванный разговор. — Есть у нас право или нет... Я ведь вам уже сказал: у вас есть выбор. Беседовать с теми господами, что ждут вас, или с полицией.

— Мне решительно нечего скрывать от полиции.

Незнакомцы после этих слов застывают в безмолвии, холодно глядя на Макса, и эта неподвижность пугает его сильнее молчания. Минуту спустя длинноволосый, в раздумье почесав нос, говорит:

— Полагаю, мы вот как поступим, сеньор Коста. Я возьму вас под руку с одной стороны, мой товарищ — с другой, и мы спустимся в холл, а потом выйдем и сядем в машину, снаружи. Может быть, вам придет в голову сопротивляться, а может быть, и нет. В первом случае произойдет скандал, и администрация отеля вызовет полицию. Вы возьмете на себя свою долю ответственности, а мы — свою. Но если пойдете добром, все будет тихо и без всякого насилия... Что предпочитаете?

Макс пытается выиграть время. Подумать. Поискать выход из положения, прикинуть возможные и невероятные способы бегства.

— Кто вы такие? Кто вас послал?

— Любители шахмат, — явно теряя терпение, отвечает первый. — Мирные люди, желающие обсудить с вами несколько сомнительных партий.

— Да я же ничего в этом не понимаю. Шахматы меня не интересуют.

— В самом деле? А так не скажешь... Ради них вы столько претерпели — и это в ваши-то годы...

С этими словами он снимает со стула висящий на спинке пиджак и нетерпеливым, резким движением протягивает Максу. Судя по всему, запасы его любезности исчерпаны.

Собранный чемодан оставалось только закрыть: башмаки во фланелевых чехлах, белье, аккуратно сложенные сорочки, три костюма. В комплекте с чемоданом — дорожная сумка хорошей кожи. Макс готовился покинуть дом Мечи в Антибе и отправиться на вокзал — был заказан билет на «Голубой экспресс». Три письма графа Чиано были запрятаны под вспоротую и вновь тщательно зашитую подкладку чемодана. Они буквально жгли ему руки, а как распорядиться ими, Макс пока не решил. Нужно было время, чтобы определить, что делать дальше. Осознать масштаб произошедшего на вилле Сюзи Ферриоль и в доме на улице Друат. И просчитать последствия.

Поправив двойной виндзорский узел под воротником безупречно белой рубашки — он был без пиджака, в расстегнутом жилете, — Макс поймал в зеркале спальни свое отражение: блестящие от бриллиантина волосы, расчесанные на высокий, почти прямой пробор, свежевыбритый подбородок, еще пахнущий лосьоном «Флойд». По счастью, следы вчерашней драки с Фито Мостасой были едва заметны: отек на губе спал, как и синяк на скуле. Немного грима — Макс воспользовался пудреницей Мечи — помогло скрыть лиловатую отметину, все еще затенявшую подглазье.

Когда, застегнув жилет на все пуговицы, кроме нижней, он обернулся, Меча стояла в дверях, уже одетая для выхода, с чашкой кофе в руках. Он не слышал, как она вошла, и не знал, давно ли наблюдает за ним.

— В котором часу поезд?

— В половине восьмого.

— Ты все же решил ехать?

— Разумеется.

Меча сделала глоток и задумалась, глядя на чашку.

— Я так и не знаю, что там случилось ночью... Почему ты пришел сюда.

Макс вскинул руки, выставил их ладонями вперед. Мне скрывать нечего, говорил этот жест.

— Я ведь тебе все рассказал.

— Ничего ты не рассказал. Кроме того, что у тебя серьезные неприятности и потому ты не можешь оставаться в «Негреско».

Макс кивнул. Он давно готовился к этому разговору. И знал, что просто так, не задав несколько вопросов, она его не отпустит и что она заслуживает, чтобы ей на них ответили. Воспоминание о ее губах, о ее теле, сплетенном с его, затуманило ему голову, смешало мысли. Меча Инсунса была так хороша, что расставание с ней казалось почти физическим насилием. На мгновение он задумался о том, как далеко во всей этой неопределенности и неразберихе простираются понятия, очерченные словами «любовь» и «желание», о подозрении, о страхе, заставляющем его спешить — торопиться, не имея ни малейшего представления ни о будущем, ни о настоящем. Это угрюмое бегство — неведомо куда, неизвестно чем готовое обернуться — оттесняло все остальное на второй план. Прежде всего надо было спастись, а уж потом поразмыслить, насколько глубоко впечаталась эта женщина в его плоть, в его душу. Речь вполне могла идти и о любви. Макс никогда не любил прежде, а значит, сравнивать было не с чем. Может быть, это невыносимое томление, ощущение жуткой пустоты при одной мысли о неизбежности разлуки, опустошающая печаль, которая сумела вытеснить инстинкт самосохранения, и есть любовь? А может быть, и она меня любит? — подумал он вдруг. По-своему. И может быть, они с ней никогда больше не увидятся?

— Да, это так, — ответил он наконец. — Неприятности, и довольно серьезные. И кончилось дело дракой без правил. И поэтому мне было бы лучше на какое-то время исчезнуть.

Сейчас она глядела на него, не моргая.

— А я?

— А ты, полагаю, останешься здесь, как и прежде. — Макс сделал неопределенное движение, имея в виду то ли эту комнату, то ли Ниццу. — И я буду знать, где найти тебя, когда все уляжется.

Неподвижные медовые глаза были теперь смертельно серьезны.

— И это все?

— Послушай... — Макс надел пиджак. — Не люблю драматизировать, но в самом деле речь, кажется, идет о моей жизни. Да нет, не кажется. Так оно и есть. Ставка и вправду чересчур высока.

— Тебя ищут? Кто?

— В двух словах не объяснить.

— У меня есть время. Я готова слушать столько, сколько ты будешь рассказывать.

Макс, делая вид, что проверяет, не забыл ли чего, избегал ее взгляда. Он закрыл чемодан и затянул ремни.

— Хорошо тебе.... У меня вот как раз времени-то и нет. Ни времени, ни охоты. Я до сих пор все не приду в себя... Случилось такое, чего я никак не ожидал. И теперь не знаю, как с этим справиться.

Откуда-то издали, из глубин дома донеслась трель телефона. Он прозвонил четыре раза и смолк, а Меча даже не шелохнулась.

— Тебя разыскивает полиция?

— Нет, насколько я понимаю, — Макс сделал этот вывод с подобающим бесстрастием. — Иначе бы я не рискнул ехать поездом. Но обстоятельства могут перемениться в любую минуту, и я не хочу, чтобы они застали меня тут.

— Ты не ответил на мой вопрос. Что будет со мной?

В дверях появилась горничная. Мадам просят к телефону. Меча отдала ей чашку недопитого кофе и вышла в коридор. Макс спустил чемодан на пол, сумку закрыл и поставил рядом. Потом подошел к ночному столику забрать то, что там лежало, — часы, вечное перо, бумажник, зажигалку, портсигар. Он застегивал на левом запястье браслет «Патек Филипп», когда вернулась Меча. Он поднял на нее глаза — она стояла у притолоки в точности так же, как перед тем, как выйти, — и тотчас понял: что-то не так. Есть новости, и новости скверные.

— Звонил Эрнесто Келлер, мой друг из чилийского консульства, — подтверждая его опасения, с ледяным спокойствием произнесла она. — Сообщил, что ночью ограбили виллу Сюзи Ферриоль.

Макс замер, потом снова стал возиться с замком браслета.

— В самом деле? — выговорил он. — И как она?

— В добром здравии. — Казалось, в голосе Мечи перекатываются, позванивая, льдинки. — Ее не было дома, когда это случилось: она ужинала в Симье.

Макс отвел глаза, протянул руку к столику и взял «паркер», собрав все душевные силы, чтобы сохранить спокойствие. Сохранить или хотя бы сделать вид.

— Пропало что-нибудь ценное?

— Это у тебя бы надо спросить.

— У меня? — Удостоверившись, что колпачок завинчен плотно, он сунул «паркер» во внутренний карман. — Это почему же?

И, уже оправившись от замешательства, взглянул ей прямо в глаза. С полным спокойствием. Меча, по-прежнему стоя у притолоки, скрестила руки на груди.

— Избавь меня от своих уверток, экивоков и, главное, от вранья! — требовательно произнесла она. — Сейчас я не в настроении снова слушать всю эту чушь.

— Уверяю тебя, что никогда...

— Будь ты проклят. Я поняла, что чем-то подобным кончится, как только увидела тебя в тот день у Сюзи. Поняла: ты что-то замышляешь, но не думала, что дело идет об этом самом доме.

Она подошла вплотную. Впервые за время их знакомства он увидел, как темнеет ее лицо от ярости, как искажаются его черты.

— Сюзи — моя подруга... Что ты украл у нее?

— Ты заблуждаешься, Меча...

Теперь глаза ее, казалось, мечут молнии, и вся она была воплощением такой враждебности и угрозы, что Макс с трудом подавил желание отступить на шаг.

— Заблуждаюсь так же, как тогда, в Буэнос-Айресе, ты это хочешь сказать?

— Я не об этом.

— А о чем? Ответь мне. И как соотнести эту кражу с тем, в каком виде ты вчера явился ко мне... Эрнесто сказал, что, когда Сюзи вернулась домой, воры уже успели убраться.

Макс не произнес ни слова. Старательно скрывая охватившее его смятение, он делал вид, что проверяет содержимое бумажника.

— Что было потом, Макс? Если там драки не было, то где она была? И с кем?

Он продолжал молчать. Предлогов не смотреть ей в глаза больше не было, потому что Меча завладела его портсигаром и зажигалкой и закурила. Потом резко швырнула то и другое на стол. Зажигалка отскочила и упала на пол.

— Я выдам тебя полиции.

Она пыхнула дымом прямо ему в лицо, словно плюнула.

— И нечего так на меня смотреть. Я тебя не боюсь. Ни тебя, ни твоих подельников.

Макс наклонился, подбирая зажигалку. И убедился, что крышка от удара погнулась.

— Подельников у меня нет, — сказал он, пряча зажигалку в жилетный карман, а портсигар — в карман пиджака. — И это была не кража. Меня втравили в такое, чего я не искал...

— Ты всю жизнь ищешь, Макс.

— Нет... Тут другое... Клянусь тебе, на этот раз все было иначе.

Меча по-прежнему стояла почти вплотную к нему, вопрошающий взгляд ее был небывало жёсток и требователен. И Макс понял, что не сможет уклониться от ответа. Во-первых, у нее есть право узнать какую-то часть того, что произошло. Во-вторых, если оставить Мечу в состоянии такой неопределенности, это только пуще распалит ее гнев и досаду, а его нынешнее положение, и без того незавидное, сделает еще более рискованным, причем риск будет совершенно бесцелен. Ему нужно несколько дней затишья. Передышки. Дней или хотя бы часов. И тогда он, бог даст, сумеет совладать с Мечей. В конце концов, она, как и все остальные женщины, сколько ни есть их на свете, хочет только, чтобы ее убедили.

— Это было сложное дело, — сказал он, подавив желание немедленно во всем признаться. — Меня использовали. И не оставили мне выбора.

И сделал точно рассчитанную секундную паузу. Меча слушала и ждала продолжения с таким напряженным вниманием, словно от этого зависела не Максова, а ее собственная жизнь. И он, помявшись еще секунду перед тем, как рассказать остальное, решил не лукавить. Может быть, сказал он себе, это и ошибка — заходить так далеко. Но времени осмысливать уже не было. Другого выхода нет — по крайней мере, не придумывается.

— Двое убитых. Или даже трое.

Меча почти не изменилась в лице. Только губы, в которых дымила сигарета, чуть округлились, приоткрываясь, словно ей вдруг стало не хватать воздуху.

— Это как-то связано с Сюзи?

— Отчасти. Хотя нет... Связано. Целиком и полностью.

— Полиция уже знает?

— Надеюсь, что нет. А может быть, к этому часу уже в курсе. Удостовериться не могу.

Когда Меча очень медленно отвела сигарету от губ, пальцы ее слегка подрагивали.

— Это ты их убил?

— Нет, — он смотрел ей в глаза, не моргая, все вложив в этот взгляд. — Я никого не убивал.

Место малоприятное: старинная вилла с садом, заросшим кустарником и сорняками. Расположена в окрестностях Сорренто, между Аннунциатой и Марсиано, зажата среди холмов, закрывающих вид на море. Приехали на «Фиате-1300» по извилистой, изобилующей рытвинами дороге: длинноволосый сел за руль, а коренастый вместе с Максом поместился сзади; теперь они в комнате с облупившимися стенами, краска на которых почти не видна из-за раскрошенной штукатурки и пятен сырости. Всей меблировки — два стула: на один сопровождающие усадили Макса, а сами остались на ногах. На другом стуле, лицом к Максу — четвертый персонаж: землисто-бледный, густо— и рыжеусый, с беспокойными стальными глазами, припухшими от усталости или недосыпа. Из обшлагов старомодного пиджака выглядывают длинные, узкие белокожие кисти, наводящие на мысль о щупальцах кальмара.

— А теперь, — говорит этот человек, — скажите мне, где находятся рабочие тетради гроссмейстера Соколова.

— Не знаю, о чем вы говорите, — сохраняя безмятежное спокойствие, отвечает Макс. — Я и согласился приехать сюда лишь затем, чтобы разрешить это глупое недоразумение.

Усатый бесстрастно и долго смотрит на него. Потом наконец неспешно, как-то вяло наклоняется, поднимает с пола прислоненный к ножке стула потертый кожаный портфель и ставит его на колени.

— Глупое недоразумение? Вы так это расцениваете?

— Именно и только так.

— Как вы уверенно говорите... Хотя это и неудивительно, когда имеешь дело с таким человеком, как вы.

— Каким «таким»? Вы ничего про меня не знаете.

Одно из щупалец, извиваясь в воздухе, чертит в воздухе что-то вроде вопросительного знака.

— Не знаем? Ах, как вы заблуждаетесь, сеньор Коста. Знаем очень многое. Знаем, к примеру, что вы не тот респектабельный джентльмен, за которого себя выдаете, а шофер и служите у гражданина Швейцарии, проживающего в Сорренто. И что автомобиль на парковке отеля «Виттория» принадлежит не вам. И это далеко не все. Еще мы знаем, что у вас были неприятности с полицией по поводу краж, взломов и менее тяжких преступлений.

— Я не понимаю, о чем вы! Вы явно принимаете меня за кого-то другого.

Да, сейчас самый момент выразить возмущение, решает Макс. Он обозначает намерение резко подняться со стула, но сейчас же чувствует на плечах руки крепыша в кожаном пиджаке. В этом прикосновении нет враждебности. Скорее нечто урезонивающее: сиди тихо, и все будет хорошо. Рыжеусый меж тем открывает портфель и достает оттуда дорожный термос.

— Нет, — отвечает он, отвинчивая крышку-стакан. — Вы тот, кто вы есть. И очень вас прошу не ставить под сомнение мою сообразительность. Я со вчерашнего дня не смыкал глаз, распутывая этот клубок. Все, что касается вас, и ваших правонарушений, и вашего присутствия на матче «Кубок Кампанеллы», и ваших отношений с претендентом. Иначе говоря, все.

— Пусть так, но при чем тут эти записи?

Рыжий наливает в стаканчик горячего молока, выдавливает из пластинки розоватую таблетку, кладет в рот, запивает. Вид у него и вправду усталый. Потом он покачивает головой, как бы призывая Макса не упорствовать.

— При том, что вы ночью проникли через окно в кабинет Соколова и похитили их.

— Тетради?

— Именно так.

Макс пренебрежительно улыбается:

— Вот так просто — взял да похитил?

— Нет, это было совсем не просто. Потребовало больших усилий. Должен признаться, я восхищен. Выполнено было в высшей степени профессионально.

— Послушайте... Это же смешно. Мне шестьдесят четыре года.

— Вот и я, посмотрев сегодня утром ваше досье, сначала подумал, что смешно. Однако вы в хорошей форме, — он показывает взглядом на ссаженные ладони Макса, — хотя, вижу, немного пострадали.

Русский допивает молоко, встряхивает стаканчик, закрывает им термос.

— Вы подвергли себя большому риску, — продолжает он, пряча термос в портфель. — И я не о том, что было бы, заметь вас охрана. Вы ведь могли сорваться с балкона со всеми вытекающими из этого последствиями... Вы этого не допускаете?

— Как я могу допускать или не допускать подобную чушь?

— Вот что я вам скажу... — Русский по-прежнему говорит с мягкой убедительностью. — Разговор у нас неофициальный. Итальянская полиция не в курсе дела: мы не сообщали о краже. Надеемся справиться сами, своими методами. И вы можете сильно упростить дело, вернув нам тетради, если они еще у вас, или сказав, кому их передали. И поведаете заодно, кто вас подрядил на эту работу.

Макс лихорадочно соображает. Да, если он вернет тетради, то, наверное, выпутается, но, с другой стороны, неопровержимо и веско подтвердит подозрения русских. И, зная, как работает в Москве пропаганда, легко представляет себе, как быстро раскрутят эту историю, связав ее с Келлером, чтобы его скомпрометировать. И скандал, можно не сомневаться, сломает карьеру претенденту и не даст вступить в борьбу за чемпионский титул.

— Эти записи делались маэстро Соколовым на протяжении всей его жизни, — продолжает рыжеусый. — И от этих материалов зависят очень важные вещи. Будущие партии... Надеюсь, вы понимаете, мы просто обязаны вернуть тетради — иначе пострадают престиж нашего чемпиона мира и репутация нашей державы. Это дело государственной важности. Украв тетради, вы наносите ущерб непосредственно Советскому Союзу.

— Да я все понимаю! Беда в том, что у меня нет и никогда не было того, о чем вы толкуете. Я не бегал по крышам, не лазил в окна и вообще ни в чей номер, кроме своего собственного, не заходил.

Воспаленные глаза русского всматриваются в Макса так пристально и с таким интересом, что тому становится не по себе.

— Это все, что вы можете мне пока сказать?

В слове «пока», хоть оно и сопровождается улыбкой почти дружелюбной, заключено еще больше угрозы, чем в выражении серо-стальных глаз. И Макс чувствует, что решимость его поколеблена. Такого оборота событий он не предвидел.

— Не знаю, что еще вам сказать... И потом, вы права не имеете удерживать меня здесь. Мы, слава богу, по эту сторону «железного занавеса».

И, еще не успев договорить, понимает, что совершил ошибку. С лица рыжеусого пропадает последняя тень улыбки.

— Вы позволите, сеньор Коста, поделиться с вами сокровенным... Мои познания в шахматах, как говорится, оставляют желать... Но вот что касается искусства заниматься очень сложными делами, превращая их в дела элементарно простые, — тут я, скажу не хвалясь, большой специалист. Мои обязанности при маэстро Соколове состоят в том, чтобы его партии проходили без помех. Я обеспечиваю ему благоприятную среду обитания. И до сих пор моя работа нареканий не вызывала. Но вы нарушили нормальную обстановку. Поставили меня в неудобное положение... Понимаете? Перед чемпионом мира. Перед моим начальством. И уронили мое профессиональное самоуважение.

Макс пытается скрыть охватившую его панику. Наконец удается разжать губы и с должной твердостью произнести четыре слова:

— Отвезите меня в полицию.

— Всему свое время. Сейчас полиция — это мы.

Рыжий делает знак длинноволосому, и от неожиданного хлесткого удара Макс чувствует, как левая сторона головы взрывается гулом и звоном, как будто лопнула барабанная перепонка. И вместе с поваленным стулом внезапно оказывается на полу, щекой на каменных плитках. Он оглушен, ошеломлен, и кажется, что голова превратилась в улей, где звенит рой обезумевших пчел.

— Так что, сеньор Коста? — слышит он голос, доносящийся словно из дальней дали. — Образумились? Поговорим?

Меча Инсунса заглушила мотор, щетки дворников замерли, и за лобовым стеклом, вмиг залитым дождевой водой, расплылись, теряя четкость, очертания такси и пароконных фиакров на вокзальной площади перед тройной аркой входа. Еще не стемнело, но горели фонари, и на мокром асфальте их отсветы дробились, множились и перемешивались с серовато-свинцовым светом сумерек, придавливающих Ниццу.

— Здесь и распрощаемся, — сказала Меча.

Голос ее звучал отчужденно и сухо. Макс повернулся, сбоку взглянул на ее неподвижную, обращенную к нему в профиль голову, чуть склоненную над рулем. Глаза невидяще уставились в пустоту.

— Дай мне сигарету.

Он вытащил из кармана плаща портсигар, прикурил «абдул-пашу» и вложил ее в губы Мече. Несколько секунд она курила молча. И наконец произнесла:

— Мы теперь, наверное, не скоро увидимся.

Это был не вопрос, а утверждение. Макс скривил рот.

— Не знаю.

— Что будешь делать в Париже?

— Шевелиться. — Его усмешка стала шире. — В подвижную мишень трудней попасть. И тем трудней, чем она подвижней.

— Ты не исключаешь, что...

— Кто его знает... Да нет, не исключаю.

Она повернулась к нему, опустив руку с зажатой в пальцах сигаретой на рулевое колесо. Преломляясь через капли на лобовом стекле, уличные огни точками и черточками дрожали на ее лице.

— Я не хочу, чтобы тебе причинили вред, Макс.

— А я намерен как можно сильней затруднить это намерение.

— Ты все еще не сказал, что́ забрал на вилле Сюзи Ферриоль. И почему это была не банальная кража?.. Эрнесто Келлер упомянул, что похищены какие-то бумаги и деньги.

— Тебе незачем знать. Зачем в это впутываться?

— Я уже впуталась, — она сделала движение, как бы обводя их обоих, автомобиль, привокзальную площадь. — Как видишь.

— Меньше знаешь — крепче спишь, Меча. Да, это бумаги. Письма.

— Компрометирующие?

Макс даже подался вперед от того, с таким подспудным презрением было произнесено это слово.

— Это не то, что ты думаешь. Шантаж не по моей части.

— А деньги? Ты в самом деле забрал и деньги?

— Забрал.

Меча медленно наклонила голову. Дважды. Словно в подтверждение собственных мыслей. А времени подумать, с опаской сказал себе Макс, у нее было в избытке.

— Документы Сюзи... Какой тебе от них прок? Зачем они могут тебе понадобиться?

— Не Сюзи, а ее брата.

— А-а. Ну, в таком случае смотри в оба. Томас Ферриоль — не из тех, кто подставляет вторую щеку. И ведет слишком крупную игру для того, чтобы терпеть от какого-то...

— Ничтожества, ты хочешь сказать?

Меча докуривала сигарету, будто не замечая наглой улыбки Макса. Потом открутила окно и выбросила окурок.

— Чтобы сносить неудобства, причиняемые подобными тебе.

— Боюсь, за эти дни я доставил неудобства еще многим. Так что скоро за моей головой в очередь станут.

Меча промолчала. Макс взглянул на часы: четверть седьмого. Еще сорок минут до отправления поезда из Монако, так что нет никакого резона торчать на перроне у всех на виду. Он загодя заказал по телефону одноместное купе в спальном вагоне первого класса. Если все пройдет гладко, утром он будет в Париже — выспавшийся, выбритый и свежий. И готовый вновь смело смотреть жизни в глаза.

— Когда все уляжется, — добавил он, — я постараюсь как-нибудь этим распорядиться. Извлечь выгоду из того, что попало мне в руки.

— Смешно. «Попало в руки»! Можно подумать, с неба упало.

— Я не искал это, Меча.

— Документы у тебя с собой?

Он на миг засомневался, стоит ли вовлекать ее в свои дела еще больше? И ответил:

— Не все ли равно? Зачем тебе это знать?

— Ты не думал о том, чтобы вернуть их Ферриолю? Если он пообещает за это не трогать тебя?

— Разумеется, думал. Но приближаться к нему очень опасно. Да и потом, могут найтись и другие клиенты.

— Клиенты?

— Ну, обратились ко мне тут двое... Два итальянца. Сейчас их уже нет на свете... Нелепо звучит, но я не могу отделаться от мысли, что я им должен.

— Если их нет в живых, то ничего не должен.

— Да, конечно. Им — ничего... И тем не менее.

Он отвел глаза, вспоминая. Бедолаги. От шороха дождя, от монотонного стука дождевых капель о лобовое стекло ему стало еще грустней. Он снова глянул на часы.

— А что скажешь о нас с тобой, Макс? Мне ты ничего не должен?

— Мы увидимся, когда все это схлынет.

— Не уверена, что буду здесь к тому времени. Может быть, мужа обменяют на кого-нибудь. И не забывай: со дня на день война перекинется в Европу. Все может измениться неузнаваемо. Или вообще исчезнуть...

— Мне пора.

— ...и я не знаю, когда все, как ты сказал, схлынет. То ли схлынет, а то ли наоборот...

Макс взялся за ручку двери. И вдруг задержался, застыл, словно вылезать из автомобиля предстояло в пустоту. И вздрогнул от этого ощущения, почувствовав свою уязвимость. Впереди его ждали дождь и одиночество.

— Я не очень люблю читать, — проговорил он задумчиво. — Предпочитаю кинематограф. Только в дороге или в отеле пролистываю романчики с продолжениями, которые печатают в журналах... Но кое-что все же запомнил навсегда. Один воин сказал: «Меня кормят мой меч и мой конь».

Он с напряжением пытался упорядочить мысли, подыскивал слова, которые бы точно выражали все, что он хотел сказать. Женщина слушала молча, не шевелясь. В паузах слышно было только, как барабанят по крыше капли. Теперь их дробь стала реже и медленней. Казалось, это капают слезы бога.

— Вот и я так. Тоже ведь живу лишь тем, что повстречаю на дороге.

— Всему на свете приходит конец, — мягко сказала она.

— Не знаю, каков будет конец, однако начало видел... В детстве у меня почти не было игрушек, а если и были — то из крашеных жестянок и спичечных коробков. Иногда по воскресеньям отец водил меня на утренние сеансы в кинотеатр «Либертад»: билет стоил тридцать сентаво, да еще детей оделяли леденцами и лотерейными билетами. Я ни разу не выиграл. Тапер бренчал по клавишам, а на экране я видел белоснежные накрахмаленные пластроны, элегантных мужчин, красивых женщин, автомобили, празднества, шампанское...

Он снова достал из кармана свой изящный портсигар и, не открывая, вертел его в руках, поигрывал, проводил пальцем по золотой монограмме МК на крышке.

— Я любил останавливаться у витрины кондитерской на улице Калифорнии, — продолжал он, — и разглядывать выставленные там торты, пирожные и прочие лакомства... Или выходил на берег Риачуэло, наблюдал, как сходят на берег татуированные матросы, и воображал те волшебные страны, откуда они приплыли.

Он вдруг замолчал — почти оборвал себя, словно смутившись и спохватившись, что подобного рода воспоминаниям можно предаваться бесконечно. И внезапно осознав, что никогда еще не говорил столько о себе. Никому не говорил. Да еще так правдиво и искренне.

— Есть люди, которые мечтают уехать. Которые решаются на это. Решился и я.

Меча продолжала молчать и слушать, словно не решалась оборвать тонкую ниточку доверенного ей рассказа. Макс вздохнул, глубоко и едва ли не с тоской, и спрятал портсигар.

— Разумеется, всему настает конец, как ты сказала. Но я не знаю, когда и где я встречу свой.

Он отвел глаза от расплывающихся за стеклом огней и силуэтов и, повернувшись, как-то очень естественно поцеловал ее. Нежно. В губы. Меча позволила это, не отстраняясь. От чуть влажного слабого тепла, которым пахнуло на него, еще мрачней и бесприютней показался ему дождливый пейзаж за окнами машины. Потом он подался чуть назад, и они взглянули друг другу в глаза, оказавшиеся очень близко.

— Тебе незачем уезжать, — еле слышно пробормотала она. — Здесь сотни мест, где можно спрятаться... Рядом со мной.

Теперь отстранился он. По-прежнему не сводя с нее глаз.

— В моем мире все на удивление просто: обо мне судят по моим чаевым. И если одна маска не годится или снашивается, я наутро надеваю другую. Пользуюсь чужим кредитом. Особенно не угрызаюсь. И не обольщаюсь. Иллюзий не строю.

— Я могла бы изменить это... Ты не думал об этом?

— Послушай меня. Некоторое время назад я попал на вечеринку в окрестностях Вероны. Вилла... Люди с большими деньгами... Уже под конец гости, поощряемые хозяевами, принялись со смехом серебряными чайными ложечками расковыривать штукатурку, чтобы добраться до фресок. А я смотрел на них и думал, какой все это абсурд. И о том, что никогда бы не смог чувствовать себя так, как они. С их чайными ложечками и фресками, скрытыми под слоем штукатурки. И хохотом.

Он замолк, чтобы, открутив стекло, вдохнуть влажного воздуха. По стенам вокзала развешаны политические плакаты «Action Franҫaise»[[56]](#footnote-56) и Народного фронта вперемежку с рекламой нижнего белья, зубного эликсира и афишами, возвещающими скорую премьеру фильма «Abus de confiance».[[57]](#footnote-57)

— Когда я вижу, как люди напяливают черные, коричневые, красные или голубые рубашки и требуют, чтобы ты примкнул к ним, то думаю, что раньше мир принадлежал богатым, а теперь — озлобленным и недовольным. А я не принадлежу ни к тем, ни к этим. И не могу озлобиться, хоть иногда и впадаю в ярость. А со мной это случается, уверяю тебя.

Он снова взглянул на нее. Она слушала, по-прежнему не шевелясь. В угрюмом молчании.

— И еще я думаю, что в сегодняшнем мире единственно возможная свобода — это безразличие. И потому по-прежнему буду жить мечом и конем.

— Вылезай из машины.

— Меча...

Она отвела взгляд.

— Опоздаешь на поезд.

— Я люблю тебя. Мне так кажется. Но любовь не имеет отношения ко всему этому.

Меча обеими ладонями ударила по рулю.

— Убирайся отсюда наконец. И будь проклят.

Макс надел шляпу, вылез из автомобиля и стал застегивать макинтош. Потом вытащил из багажника чемодан и сумку и зашагал, не обернувшись и плотно сомкнув губы, под моросью. Он чувствовал небывалую тревожную печаль — нечто вроде предчувствия ностальгии, которая будет томить его когда-нибудь. Войдя внутрь, отдал чемодан и сумку носильщику и в толпе людей зашагал следом за ним по направлению к билетным кассам. Потом вступил под стеклянно-стальной купол над перронами. В этот миг медленно вполз окутанный паром локомотив, таща за собой десяток синих вагонов с золоченой полосой вдоль крыши и с вычурной эмблемой «Compagnie Internationale des Wagon-Lits». Металлическая табличка посередине каждого вагона указывала маршрут: Монако — Марсель — Лион — Париж. Макс огляделся, ища тревожные признаки. Двое жандармов в темной форме разговаривали у дверей зала ожидания. Все спокойно, убедился он, и никто не обращает на него особенного внимания. Впрочем, это ничего не значит и ничего не гарантирует.

— Какой вагон, месье? — спросил носильщик.

— Второй.

Он поднялся на площадку, протянул кондуктору билет и стофранковую купюру — вернейшее средство снискать его благоволение на все время пути — и, когда тот одновременно взял под козырек и согнулся в низком поклоне, дал еще двадцать франков носильщику.

— Благодарю, месье.

— Нет, друг мой. Это я вас благодарю.

Войдя в купе, он запер дверь и отдернул немного занавеску на окне — ровно настолько, чтобы можно было беглым взглядом окинуть перрон. Жандармы, не сдвинувшись с места, продолжали болтать. Не наблюдалось ничего, внушавшего тревогу. Пассажиры прощались, проходили в вагон. Махали платочками несколько монахинь, дама привлекательного вида у дверей обнимала своего спутника. Макс закурил, поудобней устроился на диване. Когда поезд тронулся, поднял глаза на чемодан в багажной сетке. Он думал о письмах, спрятанных за подкладкой. И о том, как бы — пока не избавится от них — остаться в живых и на свободе. Меча Инсунса его мысли уже не занимала.

Боль, понимает Макс, рано или поздно достигает такой степени насыщенности, что сила ее уже не имеет значения. Когда пройден некий предел, становится безразлично — двадцать ударов или сорок. И потому боль причиняют не новые удары, а паузы между ними. Потому что труднее всего вытерпеть не избиение, а те минуты, когда палач останавливается перевести дух. Именно тогда страдающая плоть сбрасывает с себя бесчувственное онемение, которым отвечает на насилие, расслабляется и по-настоящему реагирует на мучительство. К таким результатам приводит все, что предшествовало этому.

— Где записи, Макс? Где тетради?

На этом этапе разговора не на равных — избиение подразумевает и другие послабления социальных ролей — рыжеусый, чьи руки так напоминали щупальца креветки, уже называет его на «ты». Искаженный голос долетает до Макса словно издали — потому что голова его обмотана мокрым полотенцем, которое одновременно не дает дышать, заглушает стоны и позволяет наносить удары, которые не оставляют следов и видимых повреждений на лице. Остальные удары он получает в грудь и живот, а поскольку привязан к стулу, то не может ни уклониться, ни прикрыться. Макс знает, что их наносят длинноволосый и его напарник в кожаном пиджаке: время от времени полотенце снимают, и тогда нечетко — потому что слезы заволакивают глаза — он видит, как эти двое потирают костяшки пальцев, меж тем как третий, рыжеусый, сидит чуть поодаль, наблюдая за происходящим.

— Где записи, Макс? Где тетради?

В очередной раз они срывают полотенце с его головы. Макс жадно хватает воздух ртом, втягивает его до самых легких, хотя от каждого вдоха колющая боль пронизывает каждую клеточку избитого тела. Вот он сумел наконец сфокусировать осоловелые глаза и рассмотреть лицо рыжеусого.

— Записи, — повторяет тот. — Скажи, где ты их прячешь, — и покончим с этим.

— Не знаю... никаких... записей...

Малый в кожаном пиджаке, без команды, словно по собственному почину стремясь внести личный вклад в расследование, неожиданно бьет его кулаком в нижнюю часть живота. Новая волна жгучей боли захлестывает Макса, поднимаясь снизу вверх, разливается по груди, отдается в паху, заставляет бессильно корчиться и извиваться, в тщетных попытках прикрыться — веревками он накрепко прикручен к стулу. Внезапно все тело Макса заливает холодный пот, и спустя несколько секунд, уже в третий раз после того, как все это началось, его тяжко рвет, и горькая желчь течет с подбородка на рубашку. Ударивший смотрит на него с отвращением и поворачивается к рыжеусому, ожидая инструкций.

— Записи, Макс.

Не в силах перевести дыхание, тот лишь мотает головой.

— Глядите-ка... — В голосе рыжего звучит сдержанное удивление. — Дедок проявляет чудеса стойкости... В его-то годы.

Следует новый удар — туда же. Макс бьется в судорогах: кажется, будто что-то острое пронизало ему нутро. И наконец, после нескольких мгновений этой бессловесной муки, кричит, и этот короткий, воющий животный крик приносит некоторое облегчение. На этот раз спазм не завершается рвотой. Макс, уронив голову на грудь, дышит прерывисто и тяжко, страдальчески кривится при каждом вдохе. Трясется в ознобе от того, что холодная испарина, пропитав всю одежду, леденит тело.

— Тетради, Макс. Где тетради?

Он чуть приподнимает голову. Сердце стучит суматошно и неровно, а иногда замирает от одного удара до другого, а потом вновь срывается на неистовую, частую рысь. Он не сомневается, что жить ему осталось несколько минут, и сам удивляется собственному безразличию. Своему ожесточенному смирению. Вот не думал, что это произойдет так, думает он в минуту просветления. Что, оглушенный ударами, он без сопротивления, покорно будет вплывать в полузабытье, повиноваться ему как потоку, уносящему во тьму. Однако это именно так. Когда измученное тело так перемолото болью, смерть сулит прежде всего облегчение, прекращение страданий. Долгожданный отдых. Долгий, последний сон.

— Где записи, Макс? Где?

Новый удар, на этот раз в грудь, и следом за ним — вспышка боли, кажется, перешибающей хребет. Тело сотрясают новые спазмы, но ему уже нечего извергнуть из себя. Он непроизвольно мочится и от жгучей боли, сопровождающей это истечение, издает жалобный стон. В голове, будто стиснутой по вискам обручем, несутся, путаясь, бессвязные обрывки мыслей, вереницы странных образов. В помраченном рассудке теснятся в ослепительном блеске какие-то белые пустыни, огромные пространства, волнообразно колышущиеся наподобие ртути. Пустота. Ничего. Иногда в нее вдруг врываются, калейдоскопически мелькая, то лицо прежней Мечи Инсунсы, то фрагменты раздробленного прошлого, то странные звуки. Чаще всего повторяется стук трех шаров, которые ударяются друг о друга и катятся по сукну бильярдного стола, и этот негромкий, монотонный, чем-то даже приятный звук навевает на Макса странный покой. И даже дает ему куража вздернуть подбородок и взглянуть прямо в стальные глаза того, кто сидит напротив.

— Где-где... У мамаши твоей в...

Вслед за последним словом в рыжеусого летит слабый плевок. Жалкий окровавленный сгусток не долетает до цели и падает на пол, чуть не задев собственные колени Макса. Тот, кому он предназначался, рассматривает его с задумчивым видом.

— Отдаю тебе должное, дед. Держишься молодцом.

По его знаку помощники снова заматывают голову Макса мокрым полотенцем.

Экспресс, оставив Ниццу со всеми ее опасностями далеко позади, мчался в ночи на север. Сделав последний глоток арманьяка сорокавосьмилетней выдержки и промокнув губы салфеткой, Макс оставил на скатерти чаевые и вышел из вагона-ресторана. Дама, с которой он сидел за одним столом, поднялась чуть раньше — минут пять назад — и удалялись по направлению ко второму вагону, где ехал и Макс. Счастливый случай свел его за столом с той самой дамой, которая так нежно прощалась на перроне с мужем — судя по всему и скорей всего. Она оказалась француженкой, лет, наверно, сорока, а в ее неброско элегантном tailleur[[58]](#footnote-58) наметанный глаз Макса тотчас признал творение модного дома Магги Руфф. Не ускользнуло от его профессионального внимания и обручальное кольцо на левой руке, которое дама носила вместе с оправленным в золото сапфиром. Усевшись в ресторане напротив, он не стал заводить никаких разговоров, ограничившись лишь чопорным «bonsoir». Ужинали в молчании и обменивались учтиво-безразличными улыбками, лишь когда встречались глазами или когда официант наполнял бокалы. Привлекательная, отметил Макс, разворачивая накрахмаленную салфетку, большеглазая, с тонкими, отчеркнутыми карандашом бровями, с накрашенными без излишку кроваво-красными губами. Покончив с filet de bouef-forestière,[[59]](#footnote-59) она отодвинула десерт и достала из сумочки пачку «Житан». Макс, потянувшись через стол, дал ей прикурить от своей зажигалки. Слегка погнутая крышка откинулась не сразу, и это дало повод обменяться первыми словами, после чего завязался непринужденный легкий разговор: Ницца, дожди, зимний сезон, скорое закрытие Всемирной выставки в Париже. Выяснилось, что провожал ее в самом деле муж. Что живут они круглый год в Кап-Ферра, но одну неделю в месяц она проводит в Париже по служебным делам: заведует отделом мод в журнале «Мари-Клер». Спустя пять минут она уже смеялась Максовым шуткам и, когда он говорил, смотрела на его губы. «Вы никогда не думали о карьере модели?» — спросила она чуть погодя. Наконец взглянула на свои миниатюрные часики, заметила, что время уже позднее, широко улыбнулась на прощанье и покинула вагон-ресторан. Опять же по счастливому совпадению оказалось, что едут они в соседних купе — номер четыре и номер пять.

Макс миновал поездной салон-бар — где в этот час было шумно и оживленно, как в баре отеля «Ритц», — пересек площадку между вагонами, где громче слышался грохот локомотива и монотонный перестук колес по стыкам, потом тамбур и остановился перед купе проводника: тот проверял список пассажиров, и в неярком свете маленькой лампочки поблескивала вышитая на кармане его форменной тужурки эмблема железнодорожной компании — два маленьких золоченых льва. Проводник — лысый, усатый, со шрамом на макушке (потом, когда Макс поинтересовался, откуда эта отметина, оказалось, что получил ее на Сомме от осколка гранаты) — был чрезвычайно любезен. Они потолковали немного о шрамах, о войне, затем — о спальных вагонах, пульманах, поездах и международных линиях. В нужный момент Макс вытащил портсигар, поднес сигарету к огоньку спички, предупредительно извлеченной из фирменного коробка и чиркнутой, так что вскоре, когда они уже покурили и поболтали доверительно, всякий, кто проходил мимо, счел бы их друзьями давними и закадычными. Еще через пять минут Макс взглянул на часы и тоном, подразумевающим, что, случись ролям перемениться, уж он-то не задумываясь оказал бы проводнику любую услугу, попросил открыть своим ключом внутреннюю дверь между четвертым и пятым купе.

— Не могу, — слабо возразил проводник. — Нельзя. Не положено.

— Знаю, знаю, друг мой, что не положено... Но знаю и то, что вы сделаете это для меня.

С самым безразличным видом он сопроводил эту реплику почти незаметным движением, в результате которого в руке проводника оказались две стофранковые купюры, неотличимые от полученной при посадке. Тот еще минутку отнекивался, хоть и было очевидно, что делает он это исключительно ради того, чтобы поддержать престиж «Compagnie Internationale des Wagon-Lits». Но вот наконец спрятал деньги в карман и жестом светского человека надел фуражку.

— Завтрак прикажете подать в семь? — с полнейшей естественностью осведомился он, пока шли по коридору.

— Да. К этому часу будет то, что надо.

Последовала почти неуловимая заминка:

— На двоих?

— На одного, будьте добры.

При этих словах проводник, уже дошедший до двери четвертого купе, устремил на Макса благодарный взгляд. Спокойней работается, читалось в нем, когда знаешь, что не перевелись еще на свете джентльмены, умеющие соблюдать приличия.

— Будет исполнено.

И в ту ночь, и в следующие Макс мало спал. Женщину звали Мари-Шанталь Эльяр: она оказалась жизнерадостной, темпераментной, приятной, и он наведывался к ней и в те четыре дня, что оставался в Париже. Помимо прочего, это было превосходное прикрытие, а вдобавок он получил от нее и прибавил к тем тридцати тысячам франков, что извлек из сейфа Томаса Ферриоля, еще десять. На пятый день, после длительных размышлений о ближайшем будущем, Макс снял со счета в банке «Барклай — Монте-Карло» все, что там лежало. Потом в конторе Кука на улице Риволи купил билеты: один — на поезд до Гавра, другой, первого класса, на трансатлантический лайнер «Нормандия» до Нью-Йорка. Расплатившись за номер в отеле «Мёрис», он положил в плотный желтый конверт письма графа Чиано и с рассыльным отправил их в итальянское посольство. Не приложив никакой сопроводительной записки или пояснения. Все же перед тем, как вместе с чаевыми вручить конверт портье, он немного помедлил и задумчиво улыбнулся. Потом вытащил из кармана перо и, там, где обычно указывают отправителя, вывел прописными буквами имена Мауро Барбареско и Доменико Тиньянелло.

Макс потерял представление о времени. Тьма, боль, допрос, непрестанные удары, и, когда в очередной раз с его головы сдергивают мокрое полотенце, он удивляется, что снаружи в комнату еще проникает свет. А голова болит сильней всего, болит так, что кажется, глаза в буквальном смысле лезут на лоб каждый раз, как он чувствует беспорядочное биение крови в висках и перебивчивый стук сердца. Впрочем, вот уже некоторое время его не трогают. Сейчас он слышит звуки русской речи, и, покуда глаза еще не привыкли к свету, едва различает смутные силуэты. Когда же наконец четкость зрения к нему возвращается, видит, что в комнате появился еще один человек — крупный и светловолосый, он с любопытством смотрит на Макса водянистыми голубыми глазами. Облик кажется ему знакомым, но в таком состоянии он не может напрячь память, собрать мысли. В следующую секунду любопытство на лице вошедшего сменяется недоверчивым неодобрением. Качнув головой, он о чем-то коротко переговаривается с рыжеусым, который сейчас уже не сидит напротив Макса, а поднялся на ноги и тоже внимательно его рассматривает. Судя по тому, что он отвечает резко, нетерпеливо и с заметным раздражением, рыжеусому не нравится услышанное. Разговор теперь идет на повышенных тонах — блондин на чем-то настаивает. И вот он отрывисто и сухо произносит что-то — явно отдает приказ — и выходит из комнаты как раз в ту минуту, когда Макс наконец узнает его. Это гроссмейстер Михаил Соколов.

Рыжеусый приближается к Максу. Критически оглядывает его, словно оценивая причиненный ущерб. И, сочтя, вероятно, что тот не слишком велик, мрачно бросает несколько слов своим помощникам. Макс снова весь поджимается в ожидании мокрого полотенца и очередной серии ударов — но нет. Длинноволосый наливает стакан воды и резко подносит его к губам пленника.

— Повезло тебе... несказанно повезло, — раздумчиво замечает рыжеусый.

Макс пьет жадно, захлебываясь и проливая воду на подбородок и грудь. Потом, подняв голову, встречает угрюмый взгляд.

— Ты вор, взломщик и нежелательный иностранец с несколькими приводами в полицию, — говорит русский, придвинувшись так близко, что почти касается лица Макса. — Сегодня же в своей клинике на озере Гарда твой хозяин доктор Хугентоблер будет оповещен обо всем. Узнает он и про то, как ты раскатывал по Сорренто в его «Роллс-Ройсе», носил его барахло и сорил его деньгами. И самое главное: Советский Союз не забудет то, что ты сделал. Куда бы ты ни уехал, мы тебя найдем и постараемся всячески портить тебе жизнь. До тех пор, пока однажды кто-нибудь не постучит в твою дверь, чтобы довести до конца то, что пришлось оставить на полдороге сегодня... Помни об этом наяву и во сне.

Произнеся эту тираду, рыжеусый подает знак, и в руке малого в кожаном пиджаке щелкает пружина ножа. Макс, который все еще оглушен и потому видит все как в тумане, чувствует, что веревки, стягивающие его тело, ослабли. Жгучие мурашки ползут по рукам и ногам, заставляя его застонать от неожиданной боли.

— Теперь убирайся отсюда, забейся в какую-нибудь нору поглубже и затихарись... Живи покуда, но помни: с этой минуты ты — человек конченый. Человек мертвый.

## 13. Перчатка и колье

Макс с трудом добрался до цели. Прежде чем машинально поправить пиджак и галстук и позвонить в дверь, он взглянул на себя в зеркало в коридоре, чтобы, в свою очередь, оценить ущерб. И установить, как далеко с прошлого раза сумели продвинуться страдание, старость, смерть. Но нет: оказалось, ничего особенного и ужасного. Чрезмерного, точней сказать. Мокрое полотенце, думает он, разглядывая отражение одновременно и с горечью и с облегчением, сыграло свою роль: никаких следов, если не считать лиловатых кругов под воспаленными нижними веками. Глаза тоже покраснели, и белки покрыты крохотными кровоизлияниями — лопнули капилляры. Сильнее всего пострадало то, что не на виду, думает он и, уже подойдя к номеру Мечи, останавливается, опирается о стену, чтобы перевести дух, — живот и грудь наверняка покрыты сплошными кровоподтеками; пульс — редкий и неровный, и это изнуряет, и каждое движение требует напряжения всех сил, а вслед за тем холодный пот заливает все тело под одеждой, на малейшее прикосновение которой болезненно отзываются раны; слабость, от которой подкашивались ноги, когда он, огромным усилием воли скрывая ее, заставлял себя бодро шествовать через вестибюль отеля. И главное — необоримое желание упасть где-нибудь, закрыть глаза и надолго заснуть. Раствориться в благостной пустоте, умиротворяющей, как смерть.

— Боже мой... Макс!

Меча стоит на пороге своего номера, в изумлении глядя на гостя. Улыбка, которую сумел выдавить из себя Макс, как видно, не успокаивает ее, потому что Меча торопливо подхватывает его под руку и, преодолевая слабое сопротивление, помогает сделать последние шаги к двери.

— Что случилось? Ты болен? Тебе плохо?

Макс не отвечает. Ноги у него подкашиваются, и путь до кровати кажется нескончаемым. Наконец он стаскивает пиджак и с неимоверным облегчением садится, держась обеими руками за живот и едва не стеная от боли, пронизавшей все тело при перемене позы.

— Что они с тобой сделали? — Меча наконец все поняла.

Он не помнит, как это произошло, но в следующую минуту уже лежит на спине. Меча, присев на край кровати, одной рукой считает ему пульс, другую положила ему на лоб, смотрит встревоженно.

— Поговорили... — сдавленным голосом и не сразу удается выговорить Максу. — Всего лишь... поговорили...

— С кем?

Он с равнодушным видом пожимает плечами. Но улыбка, сопровождающая этот жест, тем не менее разглаживает сведенное страдальческой гримасой лицо.

— Не все ли равно?

Меча тянется к телефону, стоящему у изголовья:

— Я вызову врача.

— Не надо мне никакого врача... — слабой рукой он перехватывает ее руку. — Я просто очень устал.

— Это были полицейские? — Ее тревога, кажется, относится не только к здоровью Макса. — Люди Соколова?

— Нет, не полиция. Пока что все келейно. По-домашнему.

— Сволочи!

Макс силится изобразить стоическую усмешку, но получается лишь какая-то обиженная гримаса.

— Ты поставь себя на их место. Мы сделали неверный ход.

— Как ты думаешь, они заявят о краже?

— У меня не создалось такого впечатления... — Он осторожно ощупывает ноющий живот. — Впрочем, хватило и иных впечатлений...

Меча смотрит на него, словно не понимая, о чем он. Потом кивает, нежно приглаживая его растрепанные седые волосы.

— Тебе доставили то, что я послал? — спрашивает он.

— Да, конечно. Это в надежном месте.

Нет ничего проще, думает Макс. Невинный на вид сверток попадает к портье Тициано Спадаро, а потом рассыльный приносит его в указанный номер мадам Мече Инсунса. Старый способ обделывать дела. Простой и верный.

— Твой сын знает об этом? О том, что я сделал?

— Лучше рассказать ему все по окончании матча. Хорхе хватает забот и с Ириной.

— А как она? Она знает, что ты ее раскусила?

— Пока нет. И надеюсь, заподозрит не скоро.

От неожиданного и болезненного спазма он стонет. Меча пытается расстегнуть ему влажную от пота рубашку.

— Позволь, я взгляну, что там...

— Ничего, — он отводит ее руки.

— Скажи, что они делали с тобой.

— Ничего особенного. Я же сказал, разговоры разговаривали.

Сдвоенный золотистый сполох вспыхивал так близко, что в ее глазах Макс видит отражение собственного лица. Мне нравится, что она смотрит на меня так, решает он. Мне это очень нравится. Особенно сегодня. Сейчас.

— Я не сказал ни слова, Меча. Ни единого слова. Ничего не признал. Даже в том, что касалось меня самого.

— Не сомневаюсь, Макс... Потому что знаю тебя.

— Хочешь верь, хочешь нет, но это оказалось нетрудно. Мне было все равно, понимаешь? Что бы они со мной ни делали...

— Ты вел себя отважно.

— Это не отвага. Это именно то, что я сказал. Безразличие.

Он старается дышать поглубже, полной грудью, будто стремясь обрести потерянную энергию, хотя каждый вздох отзывается во всем теле адской болью. Он чувствует такую усталость, что, кажется, проспал бы несколько суток кряду. Сердце по-прежнему стучит с перебоями — то частит, то замирает. Меча, судя по ее встревоженному лицу, догадывается, что ему худо. Поднимается и подает ему стакан воды, которую он пьет осторожными маленькими глотками. Вода освежает горящий рот, но потом от нее желудок сводит болью.

— Позволь мне вызвать врача.

— Даже не думай. Мне нужно только передохнуть. Поспать немного.

— Да, конечно, — женщина гладит его по лицу. — Поспи.

— Я не могу оставаться в отеле. Всякое может случиться. Хоть они и не донесли на меня в полицию прямо, но неприятности очень вероятны. Мне надо вернуться на виллу «Ориана»... вернуть машину в гараж, а вещи — в шкаф...

Он беспокойно пытается приподняться, Меча нежно удерживает его:

— Лежи-лежи... Не вставай пока... Дело терпит... Есть еще несколько часов. Я схожу в твой номер и соберу чемодан. Ключи у тебя с собой?

— В пиджаке.

Она снова подносит к его губам стакан, и Макс отпивает еще немного, пока боль в животе не становится непереносимой. Тогда он в изнеможении откидывается на подушку.

— Я все-таки сделал это, Меча.

В этих словах слышится оттенок гордости. Меча улавливает ее и улыбается с задумчивым восхищением:

— Сделал. Клянусь богом, сделал. И сделал безупречно.

— Потом, когда сочтешь, что время пришло, скажи сыну, что это — моя работа.

— Скажу непременно. Не сомневайся.

— Скажи, что я влез на крышу и унес эти проклятые тетради. Теперь мы расквитались за Ирину. Как говорят в шахматах, ничья.

— Да, конечно.

Он улыбается с надеждой:

— Может быть, Хорхе станет чемпионом мира... Значит, и я пригодился...

— Уверена в этом.

Он снова приподнимается и сжимает ее запястье. Спрашивает с неожиданным волнением:

— Теперь ведь ты можешь сказать мне... Он — не мой сын, правда ведь? Или, по крайней мере, ты в этом не уверена.

— Спи-спи... — Она снова заставляет его прилечь. — Старый жулик. Обворожительный дурень.

Макс то засыпает глубоко, то погружается в легкое полузабытье. Иногда вдруг вздрагивает и жалобно стонет, когда снятся бессвязные, бессмысленные кошмары. Реальная боль перемешивается с приснившейся, накладывается на нее, переплетается с ней, соперничает в силе, так что невозможно отличить, наяву все происходит или во сне. Каждый раз, открывая глаза, он не сразу понимает, где находится: покуда он спал, свет за окном постепенно мерк, и вот теперь очертания всех предметов в комнате словно растушеваны полутьмой. Силуэт рядом с ним чуть светлее и четче всего, что окружает Макса: рядом, у изголовья кровати, по-прежнему сидит Меча; он чувствует ее близкое тепло, видит огонек ее сигареты.

— Ну как ты? — спрашивает она, заметив, что он пошевелился и проснулся.

— Устал... Но сейчас получше... Полежал вот так, в тишине и покое — и как будто отчасти вернулся к жизни... Мне нужно было поспать.

— И было, и есть. Постарайся снова заснуть. Я покараулю.

Макс, все еще плохо соображая, озирается. Пытается вспомнить, как он попал сюда.

— А где мои вещи? Мой чемодан?

— Я все собрала и принесла его. Стоит у двери.

Он с облегчением прикрывает глаза, испытывая блаженство от того, что сию минуту ничего не надо делать. И наконец вспоминает все, что с ним было.

— Ты сказала, что мне лет столько же, сколько клеток на шахматной доске.

— Так и есть.

— Это было не для твоего сына... Не ради него...

Меча гасит сигарету.

— Совсем, ты хочешь сказать?

— Да. Захотел — и сказал.

Она чуть сдвигается от изголовья вниз, устраиваясь на кровати ближе к нему. Рядом с ним. Говорит тихо:

— Тогда я не знаю, зачем ты ввязался в это.

Темнота делает все происходящее каким-то странным, думает Макс. Ирреальным. Словно мы перенеслись в другое время. В другой мир. В другую телесную оболочку.

— Поэтому ты поселился в этом отеле... и все прочее?

— Ну да.

Макс, сознавая, что она не видит его лица, улыбается.

— Хотел стать таким, как тогда, — отвечает он искренне. — Почувствовать себя таким, как тогда. И среди самых абсурдных моих планов на почетном месте — намерение снова обворовать тебя.

— Хочешь, чтобы я в это поверила? — отвечает она удивленно и скептически.

— Ну, может быть, «обворовать» не вполне точно сказано. Разумеется, нет. Хотя искушение возникало. И не в деньгах тут дело... И не...

— Довольно, — прерывает она, наконец убежденная его словами. — Я поняла.

— Я в первый же день побывал в твоем номере. Обнюхивал твои следы, можешь себе представить? Двадцать девять лет спустя узнавал тебя в каждой вещице. И нашел колье.

Он вдыхает ее близкое тепло, прислушивается к своим ощущениям. От нее пахнет табаком и — приглушенно — какими-то очень мягкими, почти выветрившимися духами. Неужели, спрашивает он себя, от ее кожи, поблекшей и увядшей, испятнанной временем, исходит тот же аромат, что в Ницце и в Буэнос-Айресе? Разумеется, нет. Без сомнения, нет. Как и от него.

— Я предложил самому себе украсть твои жемчуга, — говорит он через мгновение. — Только их. Как бы соблазнить тебя в третий раз. Унести колье, как в ту ночь, когда мы вернулись из Ла-Боки.

Меча отвечает не сразу.

— Жемчуга сейчас сто́ят не как в те дни, когда мы познакомились. Боюсь, сейчас ты не выручил бы за них и половины тех денег.

— Не в этом дело. Не о том речь, больше или меньше они стоят... Это способ... Ну... Не знаю, как сказать... Способ.

— Почувствовать себя юным победителем?

Позабыв, что вокруг темно, он качает головой:

— Сказать тебе, что не забыл того, что было. Тогда и потом.

Снова молчание. И новый вопрос:

— Почему ты никогда не оставался со мной?

— Ты была воплотившейся мечтой, — он отвечает раздумчиво, стараясь подбирать самые точные слова. — Тайной... Существом из другого мира. Никогда не чувствовал, что у меня есть право...

— Было у тебя это право. Прямо перед твоими глупыми глазами.

— Не видел. Это казалось немыслимым. Ты не вписывалась в мою картину мира.

— Мешали твой меч и твой конь?

Макс честно пытается напрячь память.

— Не помню, — признается он.

— Конечно, не помнишь. Зато я помню. Как и каждое твое слово.

— Так или иначе, я неизменно чувствовал, что меня случайно занесло в твою жизнь.

— Как странно, что это говоришь ты. Это я себе всегда казалась посторонней.

Она поднимается, подходит к окну. Немного отдергивает штору, и в свете фонарей на террасе отеля вырисовывается ее темный и неподвижный силуэт.

— Всю свою жизнь я жила этим, Макс. Нашим безмолвным танго в «пальмовом салоне» лайнера... Перчаткой, которую сунула тебе в карман в «Ферровиарии» тем вечером, а потом пришла забрать в твой пансион в Буэнос-Айресе.

Макс кивает, хоть она и не может видеть это в темноте.

— Перчатка и ожерелье... Да. Помню, как свет из окна падал на каменный пол и на кровать. Помню твое тело и то, как поразила меня твоя красота.

— О боже, — шепчет она словно бы про себя. — Ты был немыслимо хорош, Макс. Элегантен и обворожителен. Идеал джентльмена.

Он смеется сквозь зубы.

— Вот уж кем никогда не был.

— Был — и больше, чем почти все мужчины, которых я знавала. Настоящий джентльмен — это тот, кому безразлично, джентльмен он или нет.

Меча возвращается к кровати. Штора осталась незадернутой, и тускловатый свет из окна четче очерчивает предметы в номере.

— И сильней всего меня очаровало твое бесстрастное, лишенное алчности тщеславие... Такая флегматичная безнадежность...

Она снова закуривает. Огонек спички освещает чуть костлявые пальцы с выхоленными ногтями, устремленные на Макса глаза, пересеченный морщинами лоб под коротко стриженной сединой.

— Боже... Меня начинала бить дрожь при одном твоем прикосновении...

Она гасит спичку — теперь в темноте светит лишь красный уголек сигареты. И его мягкий медный отблеск, двоящийся в золотистых глазах.

— Молод был, вот и все, — отвечает он. — Был охотником, желавшим выжить. А вот ты... я уже сказал тебе, ты была прекрасна как сон. Ты была чудом, и право заполучить его имеем мы, мужчины, лишь когда молоды и дерзки.

Меча по-прежнему стоит у кровати перед Максом, силуэт ее вырисовывается в полумраке.

— Это удивительно... Ты и сейчас так поступаешь, — уголек мерцает ярче, раз и другой. — Как тебе удается это спустя столько лет? Умел показывать фокусы со словами и без слов, надев маску мудреца. Произносил слова, которые тебе, скорее всего, не принадлежали, а были мимоходом подхвачены из журнальной статьи или из чужого разговора, а у меня мурашки шли по коже, и, хотя ты через полминуты уже забывал их, это ощущение не проходило... И сейчас не проходит. Смотри — дотронься. На тебе живого места нет, ты разбит и лежишь в изнеможении, а со мной — такое... Честное слово.

Протянутая рука ищет руку Макса. И он убеждается, что Меча говорит правду. И, несмотря на годы, кожа осталась теплой и мягкой. И силуэт высокой стройной фигуры в полутьме кажется таким же, как прежде.

— И эта твоя улыбка... Спокойная негодяйская улыбка... Да, и дерзкая тоже... Ты сохранил ее, вопреки всему. Прежнюю улыбку жиголо.

Меча резко, будто падая, опускается на кровать рядом. Опять ее близкое душистое тепло. Красная точка становится больше, и Макс чувствует у щеки жар горящего табака и бумаги.

— Каждый раз, когда я ласкала маленького Хорхе, я представляла, что глажу тебя. И сейчас — так же. В нем я вижу тебя.

Повисает молчание. Потом Макс слышит ее тихий, счастливый смех.

— Твоя улыбка, Макс... Ты в самом деле ее не помнишь?

Чуть приподнявшись, она ощупью находит пепельницу и гасит окурок.

— Расслабься, отдохни, дай себе волю хоть раз в жизни... Я ведь сказала, посторожу...

Он чувствует, как ее тело приникает к нему, и блаженно прикрывает глаза. Он спокоен. Неизвестно почему — и доискиваться причины не хочется, — его тянет рассказать ей одну давнюю историю.

— Впервые я был с женщиной в шестнадцать лет, — он говорит негромко и медленно, — когда служил на побегушках в барселонском «Ритце»... Для своего возраста я был высоким, а она — такая зрелая элегантная дама. Она под каким-то предлогом заманила меня к себе в номер... Когда понял, что от меня требуется, расстарался как мог... Все получилось в лучшем виде. А потом, когда я уже одевался, она сунула мне сто песет. Уходя, я по наивности потянулся поцеловать ее, а она отстранилась с такой, знаешь, брезгливой досадой... И потом, встречая меня в отеле, не удостаивала взглядом.

Он на миг замолкает, словно отыскивая подробность или оттенок, которые поточнее передали бы смысл только что рассказанного.

— И за те пять секунд, что она отстранялась, я кое-что усвоил и уже никогда не забывал, — договаривает он наконец.

На этот раз молчание дольше. Меча, положив голову ему на плечо, слушает не шевелясь, не говоря ни слова. Потом придвигается еще ближе и вот уже прильнула вплотную. Макс ощущает ее тонкое, почти хрупкое тело, чувствует сквозь блузу прикосновение маленьких, опавших грудей — совсем не таких, какими он помнил их когда-то. И это загадочным образом трогает его. Вселяет странную нежность.

— Я люблю тебя, Макс.

— До сих пор?

— Все еще.

Губы с бессознательной, почти усталой нежностью отыскивают губы. Поцелуй покоен. И печален. Потом, не размыкая объятий, Макс и Меча долго лежат неподвижно.

— Тебе так трудно жилось в последние годы? — спрашивает она чуть погодя.

— Да, могло бы и получше, — отвечает Макс.

И едва успев договорить, думает о том, как туманно он выразился. Потом негромко и бесстрастно излагает длинный унылый перечень своих бед — физическое дряхление, упадок сил, конкуренция молодых и лучше приспособленных к новому миру. И наконец, как следствие череды просчетов и неудач, — отсидка в афинской тюрьме. Не очень продолжительная, однако и этого хватило, чтобы по освобождении понять: все кончено. Опыта и навыков хватало лишь для того, чтобы пробавляться мелкими аферами, перебиваться чем попало, ловчить или мошенничать. В течение какого-то времени Италия предоставляла для этого широкие возможности, но вскоре Макс потерял даже и былую привлекательность. И подвернувшаяся тогда надежная тихая служба у доктора Хугентоблера показалась настоящим подарком судьбы. Теперь не стало и ее.

— Что же с тобой будет? — спрашивает Меча после долгого молчания.

— Не знаю. Выкручусь как-нибудь. Всегда умел это делать.

Она шевельнулась в его объятиях, словно возражая.

— Я могла бы...

— Нет, — и сжал ее крепче, не позволяя двинуться.

Она снова затихает. Макс лежит с открытыми глазами, уставясь в темноту. Меча дышит медленно и неглубоко. Кажется, что уснула. Но вот снова шевелится, скользит губами по его лицу.

— Во всяком случае, — слышит он ее шепот, — запомни, что я должна тебе чашку кофе, если когда-нибудь попадешь в Лозанну. Повидаться.

— Ладно. Может, и попаду. Когда-нибудь.

— Запомни это, пожалуйста.

— Запомню.

На какой-то миг Максу, ошеломленному таким совпадением, кажется, что откуда-то издалека доносятся знакомые звуки танго. Вероятно, это радио в соседнем номере. Или музыка на террасе ресторана, думает он. И не сразу понимает, что это он сам мысленно выводит мелодию.

— Нет, все-таки жизнь была неплохая, — доверительно и очень тихо говорит он. — Большую часть ее прожил на деньги других и так и не начал ни презирать их, ни бояться.

— Сальдо, похоже, в твою пользу.

— И еще познакомился с тобой.

Она приподнимает голову, лежащую у него на плече, отвечает со смехом сообщницы:

— Ах, да перестань ты лицемерить! Мало у тебя было знакомых женщин?!

— Я их не помню. Ни одну. А тебя помню. Ты мне веришь?

— Да, — она снова укладывается рядом. — Сегодня ночью верю. Может быть, и ты меня любил всю жизнь.

— Может быть. Может быть, и сейчас люблю. Кто знает?

— Да, конечно... Кто знает?

Макс просыпается от жаркого прикосновения солнечного света. Узкий и слепящий луч проникает в щель меж задвинутых портьер. Макс медленно, с болезненным усилием поднимает голову с подушки и обнаруживает, что он на кровати один. Дорожные часы на столике показывают половину одиннадцатого. Пахнет табаком: рядом с часами — пустой стакан и пепельница с десятком окурков. Меча, догадывается Макс, провела ночь рядом с ним. Оберегала его сон, как и обещала. Молча и неподвижно сидела здесь, курила, смотрела в первом свете зари, как он спит.

С трудом, еще отуманенный сном, он встает, ощупывает свою измятую одежду и, расстегнув рубашку, убеждается, что кровоподтеки приобрели отвратительный темный оттенок — как если бы половина всей имеющей у него крови пролилась туда, в пространство между кожей и мышцами. Болит все тело от паха до шеи, и каждый шаг дается мучительно, покуда он, едва переставляя онемевшие ноги, ковыляет в ванную комнату. Собственное отражение тоже заставляет Макса с грустью вспомнить о том, что случалось ему выглядеть и получше, — из зеркала на него с опаской взирает старик с остекленевшими воспаленными глазами. Открутив кран, Макс подставляет лицо под струю холодной воды, сильно и долго растирает щеки и лоб. Потом, прежде чем вытереться полотенцем, снова всматривается в черты постаревшего, осунувшегося лица в глубоких морщинах, по бороздам которых, повторяя их изгиб, ползут капли.

Медленно пересекает номер, подходит к окну, отдергивает шторы — и вот уже дневной свет с неистовой силой хлынул внутрь, затопил смятую постель, синий блейзер, висящий на спинке стула, собранный чемодан у двери, разбросанные по всей комнате вещи Мечи — одежду, сумку, книги, кожаный пояс, кошелек, журналы. Поначалу ослепленный, Макс скоро привыкает к свету, и глаза различают теперь темно-синее море, незаметно сливающееся с небом, береговую линию и темный конус Везувия, растушеванный голубым и серым. Моторный катер с обманчивой медлительностью удаляется по направлению к Неаполю, оставляя на кобальтовой глади короткую белую полоску кильватерного следа. Тремя этажами ниже, на террасе отеля, за столиком рядом с мраморной женщиной, коленопреклоненно взирающей на море, Хорхе Келлер и его тренер Карапетян играют в шахматы под взглядом Ирины — поставив босые ноги на сиденье стула и обняв колени, она сидит чуть поодаль: и рядом, и как бы в стороне. Будто уже отделена невидимой чертой от их игры и от их жизни.

Меча Инсунса — в одиночестве, в отдалении, у балюстрады. В темной юбке, в вязаном бежевом кардигане, наброшенном на плечи. На столе — кофе и газеты, но она не читает и не пьет. Застыв в такой же каменной неподвижности, как изваяние у нее за спиной, она невидящим взглядом уставилась на море. А Макс, упершись лбом в холодное оконное стекло, смотрит на нее: за все это время она пошевелилась только раз — подняла руку к затылку, прикоснувшись к стриженой седине, и на миг задумчиво поникла головой, прежде чем вздернуть ее и замереть вновь, неотрывно глядя на залив.

Макс отворачивается от этой картины, снимает со спинки стула пиджак. И, надевая его, задерживается взглядом на крышке бюро. А там, на самом видном месте, положенное с таким расчетом, что не заметить нельзя, на длинной белой дамской перчатке матово поблескивает в ярчайшем свете, заливающем номер, жемчужное ожерелье.

И став, как вкопанный, перед перчаткой и колье, старик, который минуту назад смотрел на себя в зеркало, чувствует, как с пугающей отчетливостью память выстраивает образы, картины, предыдущие жизни. Жизни собственные и чужие — и губы его складываются в улыбку, похожую и на гримасу боли, хотя, может быть, боль эту причиняет как раз то самое, навек потерянное или невозможное, что вызвало и меланхолическую улыбку. И вот опять мальчуган с ободранными коленками идет, балансируя, по сгнившему настилу корабля, наполовину затянутому илом, и юный легионер карабкается по склону холма, заваленному трупами, и закрывается дверь, отделяя Макса от женщины, которая спит, окутанная лунным светом, смутным и неверным, как раскаяние. И, покуда еще не замерла усталая улыбка, чередой воспоминаний проносятся поезда, отели, казино, крахмальные пластроны, обнаженные спины, блеск драгоценных камней, играющих в огнях хрустальных люстр, а двое молодых красивых людей, охваченных страстью, безотлагательной, как сама жизнь, не сводя друг с друга глаз в пустом и безмолвном салоне трансатлантического лайнера, плывущего во тьме, танцуют еще не написанное танго. И, сплетясь в объятии, выскальзывают, сами того не замечая, за грань ирреального мира, чьи утомленные огни уже начинают гаснуть навсегда.

Но не только это. В памяти человека, который смотрит на перчатку и ожерелье, есть еще и покорно поникшие под дождем кроны пальм, и мокрый пес, носящийся в сероватом тумане по берегу, под окнами гостиничного номера, где прекраснейшая в мире женщина на смятых и сбитых простынях, пахнущих теплом недавней близости и покоем, безразличным ко времени и жизни, ждет, когда обнаженный юноша у окна обернется к ней, чтобы снова овладеть этой радушной и безупречной плотью, проникнуть в то единственное во всей вселенной место, где можно забыть странные правила, по которым она живет. И еще: покуда на зеленом сукне бильярда с негромким стуком сталкиваются три шара слоновой кости, он, внимательно наблюдая за игроком, узнает у него на губах свою улыбку. Видит совсем близко и двойной блеск медвяных глаз, которые смотрят на него так, как не смотрела ни одна женщина, чувствует, как губы ему щекочет влажное тепло ее дыхания, слышит голос, шепчущий старые слова так, будто они только что родились на свет и проливают бальзам на его давние раны, оправдывают его обманы, двусмысленности и провалы, уносят прочь номера дешевых пансионов, фальшивые паспорта, полицейские участки, тюремные камеры, все неудачи, одиночество и унижения, заполняющие последние годы, когда мутный сумрак все никак не наступающих рассветов, не сулящих будущего, мало-помалу стирает тень, которая ложилась когда-то под ноги мальчику с берегов Риачуэло, легионеру, шедшему под солнцем, юному статному фрачнику, танцевавшему с красавицами в роскошных салонах лайнеров и отелей.

И вот, не угасив последний отблеск улыбки, которая все еще покачивается на отливной волне стольких жизней, прожитых им, Макс откладывает в сторону жемчужное колье, берет белую дамскую перчатку, всовывает ее в верхний карман пиджака, быстрым, не лишенным кокетства движением, выпростав и расправив пальцы так, словно кончик платка или лепестки цветка в петлице. Потом, проверив, все ли в порядке в номере, в последний раз оглядывает колье, брошенное на бюро, и коротко кланяется в сторону окна, прощаясь с невидимой публикой, награждавшей его воображаемой овацией. По такому случаю, думает он, застегивая и оправляя пиджак, следовало бы, наверное, покинуть сцену с подобающим бесстрастием и под звуки танго «Старая гвардия». Но, впрочем, это будет чересчур. Слишком уж предсказуемо. И потому он открывает дверь, подхватывает чемодан и выходит в коридор — в никуда, — насвистывая «Тот, кто банк сорвал в Монако».

1. «Гамбург‑Зюд» (полное название — Hamburg Südamerikanische Dampfschifffahrts‑Gesellschaft) — германская судоходная компания, основанная в 1871 году. [↑](#footnote-ref-1)
2. Принятое в Италии вежливое обращение к человеку, окончившему университет (dottore); удостоенному высоких правительственных наград (commendatore) или занимающему высокое положение в обществе (cavaliere). [↑](#footnote-ref-2)
3. Условия человеческого существования (*фр*.); здесь — «природа человеческая». [↑](#footnote-ref-3)
4. Негрони — коктейль‑аперитив на основе джина и вермута. Назван в честь изобретателя, французского генерала Паскаля‑Оливье графа де Негрони. [↑](#footnote-ref-4)
5. Шаффлборд — настольная игра: монеты или металлические диски щелчком передвигают по разделенной на девять клеток доске; палубный шаффлборд — вариант той же игры на палубе с палками и деревянными дисками. [↑](#footnote-ref-5)
6. «Номер плюс завтрак» — схема обслуживания в гостинице, когда в стоимость номера включается стоимость завтрака (*англ*.). [↑](#footnote-ref-6)
7. Так мило (*англ.*). [↑](#footnote-ref-7)
8. Популярный в двадцатые годы танец в ритме чарльстона. [↑](#footnote-ref-8)
9. «Шах и мат» (*ит*.). [↑](#footnote-ref-9)
10. Курительный салон (*фр*.) [↑](#footnote-ref-10)
11. «Малютка из Тонкина» (*фр*.) — популярная французская песенка, написанная «на пересечении польки, танго и военного марша». На протяжении многих лет пользовалась необыкновенным успехом. [↑](#footnote-ref-11)
12. Косметичка (*англ*.). [↑](#footnote-ref-12)
13. Останься со мной (*ит*.). [↑](#footnote-ref-13)
14. Длинный (до середины бедра) однобортный пиджак, со складками спереди и на спине, часто дополненный поясом или полупоясом. [↑](#footnote-ref-14)
15. Тонкий атлас (*фр*.). [↑](#footnote-ref-15)
16. Рудольф Валентино (1895—1926) — знаменитый американский актер немого кино. По происхождению итальянец. [↑](#footnote-ref-16)
17. Гардель Карлос (1890—1935) — аргентинский музыкант, певец и киноактер. Известен как «король танго». [↑](#footnote-ref-17)
18. Традиционное блюдо испанской кухни из турецкого гороха, мяса (или птицы) и овощей. [↑](#footnote-ref-18)
19. Фалья Мануэль де (1876—1946) — испанский композитор и пианист. [↑](#footnote-ref-19)
20. Лифарь Серж (Сергей Михайлович) (1905—1986) — французский артист балета, хореограф, педагог. Выходец из России. Ученик и сподвижник С. П. Дягилева. [↑](#footnote-ref-20)
21. Памела — женская соломенная шляпа с большими полями. [↑](#footnote-ref-21)
22. Постоянный спутник дамы, кавалер замужней женщины на прогулках и увеселениях (*фр*.). [↑](#footnote-ref-22)
23. «Либерти‑стиль» — (*англ.* liberty style) — одно из названий стиля модерн в Западной Европе конца XIX — начала XX века. [↑](#footnote-ref-23)
24. Каннело́ни — разновидность пасты: трубочки, заполненные начинкой из сыра, шпината, мяса и пр. и запеченные в духовке. [↑](#footnote-ref-24)
25. Имеется в виду пистолет «Astra 400», выпущенный в 1921 году испанской фирмой Astra‑Unceta у Cia SA. Был принят на вооружение испанской армией. [↑](#footnote-ref-25)
26. Rebenque (*исп*.) — кнут, плеть. [↑](#footnote-ref-26)
27. Легкая мягкая шелковая ткань, гладкокрашеная или с набивным рисунком. [↑](#footnote-ref-27)
28. Популярный в 1960‑е гг. эстрадный исполнитель. [↑](#footnote-ref-28)
29. Анваль — местечко в области Риф (Северное Марокко), у которого с 21 по 26 июля 1921 года произошло сражение между марокканскими рифскими отрядами под руководством Абд‑аль‑Керима и испанским экспедиционным корпусом генерала Сильвестра, закончившееся полным разгромом испанской армии. Большая часть испанского корпуса погибла, остальные попали в плен к рифам; генерал Сильвестр покончил жизнь самоубийством. [↑](#footnote-ref-29)
30. Кофе с молоком (*фр*.). [↑](#footnote-ref-30)
31. Танцую и позирую (*фр*.). [↑](#footnote-ref-31)
32. Жители Буэнос‑Айреса. [↑](#footnote-ref-32)
33. Вперед, сыны [Отчизны]! — первая строка «Марсельезы». [↑](#footnote-ref-33)
34. Бельграно Мануэль (1770—1820) — один из руководителей освободительной борьбы народов Ла‑Платы против испанского господства, генерал.

    Ривадавия Бернардино (1780—1845) — государственный и политический деятель Аргентины, борец за независимость Южной Америки. [↑](#footnote-ref-34)
35. Swinging London (*англ.*) — «веселящийся Лондон»; в шестидесятые годы английская пресса использовала это определение для рекламы Лондона как центра мод, музыкальной жизни и проч. [↑](#footnote-ref-35)
36. Джанни Моранди (р. 1944) — популярный итальянский музыкант. [↑](#footnote-ref-36)
37. Обольститель, чаровник (*фр*.). [↑](#footnote-ref-37)
38. «Плачущий в часовне» — песня, написанная композитором Арти Гленном в 1953 году и получившая популярность благодаря исполнению Элвиса Пресли. [↑](#footnote-ref-38)
39. Абонемент (*фр.*). [↑](#footnote-ref-39)
40. Servizio Informazioni Militari (*ит*.) — военная контрразведка Италии до 1949 года. [↑](#footnote-ref-40)
41. Взломщик (*фр*.). [↑](#footnote-ref-41)
42. Имеется в виду Первая мировая война 1914—1918 гг. [↑](#footnote-ref-42)
43. Итальянская певица (род. 1948). [↑](#footnote-ref-43)
44. «Не беспокойтесь об оплате» (*англ*.). [↑](#footnote-ref-44)
45. Достоинство (*англ.*). [↑](#footnote-ref-45)
46. Коктейль из джина и содовой воды с лимонным соком и сахаром. [↑](#footnote-ref-46)
47. Связь (*фр*.). [↑](#footnote-ref-47)
48. Жизнь коротка (*фр*.). [↑](#footnote-ref-48)
49. Жизнь коротка: Мечта невелика. Немного любви. Вот и все! Лови! (*фр.*) [↑](#footnote-ref-49)
50. «Юность» (*ит.*) — популярная песня итальянских фашистов. [↑](#footnote-ref-50)
51. Так северяне с оттенком пренебрежения называют жителей юга Италии. [↑](#footnote-ref-51)
52. Верить, повиноваться, сражаться (*ит*.). [↑](#footnote-ref-52)
53. Эррол Лесли Томсон Флинн (1909—1959) — знаменитый голливудский актер австралийского происхождения, кинозвезда и секс‑символ 1930‑х и 1940‑х годов. [↑](#footnote-ref-53)
54. Честная игра (*англ*.). [↑](#footnote-ref-54)
55. Отведаем же это слабое подобие счастья (*фр.*). [↑](#footnote-ref-55)
56. «Французское действие» (*фр*.) — монархическая политическая организация, возникшая во Франции в 1899 году под руководством Шарля Морраса и организационно оформившаяся в 1905 году. В 30‑х годах приняла профашистский характер. [↑](#footnote-ref-56)
57. «Злоупотребление доверием» (1937) — фильм режиссера Анри Декуана с Даниэль Дарье в главной роли. [↑](#footnote-ref-57)
58. Английский костюм (*фр*.). [↑](#footnote-ref-58)
59. Тушеная говядина с грибами (*фр*.). [↑](#footnote-ref-59)